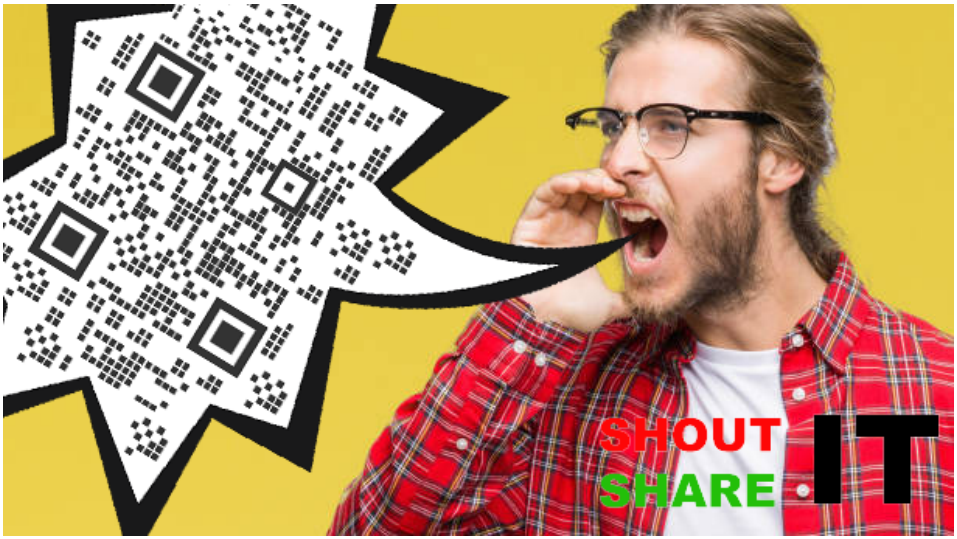
Вера Инбер

Эхо прошедшего


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

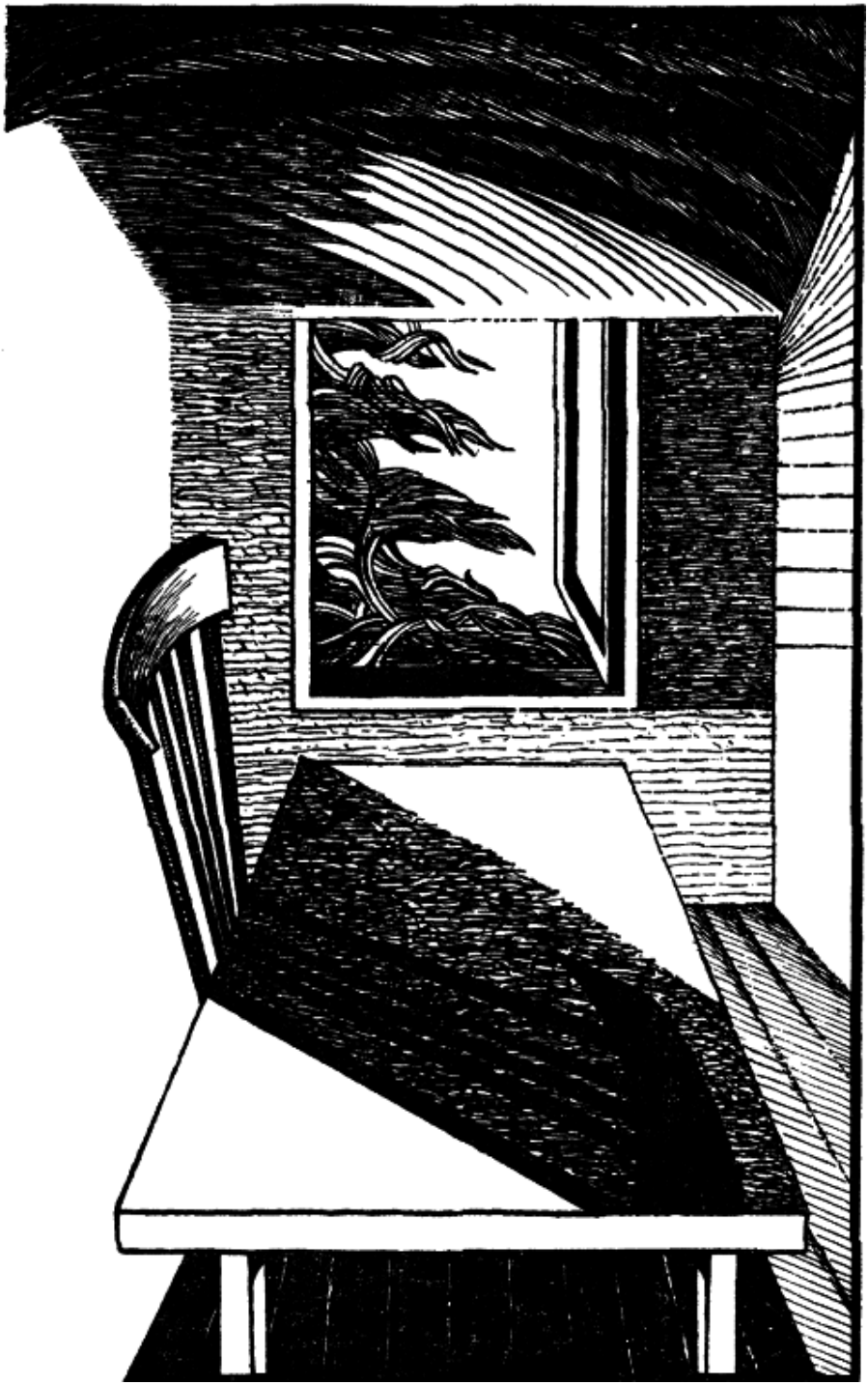
Роман «Эхо прошедшего» Веры Андреевой, дочери известного русского писателя Леонида Андреева, 115-летний юбилей со дня рождения которого отмечается в этом году, является продолжением книги «Дом на Черной речке».

Вера Леонидовна была знакома со многими замечательными людьми: Мариной Цветаевой, Константином Бальмонтом, Сашей Черным, Александром Вертинским. Рассказам о встречах с ними, а также о скитаниях вдали от родины, которые пришлись на детство и юность писательницы, посвящена эта книга.

- Вера Леонидовна Андреева
  -
  - Дом на Черной речке
  - Эхо прошедшего

Вера Леонидовна Андреева
ЭХО ПРОШЕДШЕГО

Дом на Черной речке



Мне часто снится один и тот же сон. Он преследует меня. Стоит мне уснуть, как знакомое чувство тревоги охватывает душу. Делается душно, и больно колотится сердце. Я знаю, что сейчас будет.

Летний вечер. Тишина. Зарево заката охватило полнеба. Я иду по незнакомой дорожке, но я знаю, что это дорожка нашего сада, что вот сейчас из-за поворота покажется красная крыша нашего дома с его белыми трубами и башней.

Вот и дом!

Так это неправда, что его нет! Он жмется своими крышами к башне, как будто охваченный каким-то страхом. Он стоит на пригорке, и заходящее солнце окрашивает его в красный цвет. Красным горит его крыша, красным светятся его стены, увитые диким виноградом, окна пылают бездымным, загадочно беззвучным пламенем. Он весь горит, как факел, и только крыши жмутся к башне в непонятной тревоге. Мне делается страшно.

В самом деле, почему такая тишина? Почему из кухонной трубы не поднимается дым, почему никого не видно? Я хотела бы остановиться, но ноги сами несут меня, я скольжу невесомо над самой дорожкой, а дом медленно поворачивается передо мной, приближаясь, как в немом кинокадре. Совсем близко я вижу его детали: в увеличенном виде, очень отчетливые, они плавно проходят перед глазами. И тут я замечаю, что некоторые окна разбиты, что на крыше зияют дыры, а башня покосилась и в безумном страхе таращит на меня уцелевшие окна. Вот я уже внутри.

Какой ужас! Все сломано, разбито. Лестница покосилась, в ней черные провалы. Теперь я вижу, что дом только каким-то чудом удерживается на месте, — стоит только ступить на лестницу, как она упадет, рассыплется в прах. Но я иду внезапно отяжелевшими ногами, шаркаю по пыльному полу, лезу по каким-то балкам, с мучительным чувством всматриваюсь в углы, как будто ищу кого-то.

Комнаты мертвы. Уцелевшие окна покрыты пылью, паутина кутает потолки своей серой безжизненной пеленой, и только закат бросает на стены живые кроваво-красные пятна.

Где же папа, мама?

«Ну да, их же нет, они умерли», — вспоминаю я. И вдруг из отдаленной двери выходит мама. У нее вполне обычный вид, на седых волосах повязка, в руке метла. «Что же ты стоишь, здесь надо прибрать!» — говорит она, на ходу поправляя загнутый угол пыльного ковра. С радостным криком я устремляюсь к маме, но она отворачивается равнодушно и уходит, исчезает за каким-то занавесом, и только его пыльные складки еще колеблются за нею. Я протягиваю руки, хочу бежать вслед, но в полу провалы, я балансирую на расшатанных балках над пропастью, цепляюсь за трухлявые доски, мои ноги скользят, я проваливаюсь. С невыразимым чувством леденящего страха, от которого

шевелятся волосы и останавливается сердце, я падаю… И просыпаюсь вся в слезах, с криком, еще звучащим в сонной тишине ночи.

Почему мне никогда не приснится наш дом, мой любимый дом на Черной речке, таким, каким я его помню?

Большим, красивым, полным шумной жизни. Он гордо стоит на холме, его широкие трубы четко вырисовываются на синем небе. Красная крыша весело светится на солнце, от ворот едут коляски. Это гости. Медный гонг звучными ударами сзывает всех к чаю.

На кухонное крыльцо выходит тетя Наташа. Она сбивает белки для чего-то вкусного, и звонкие удары вилки по тарелке доносятся до самых отдаленных уголков сада, где мы возимся с постройкой своего жилища-шалаша или сидим на ветках излюбленных деревьев, раскачиваясь и напевая «Шумел, горел пожар московский…».

В скользящей тени берез, отдельной группой стоящих на лужайке перед домом, сидит папа за столом, уставленным всякой снедью. Пыхтит самовар, пуская тоненькую струйку пара. Около него суетится бабушка, перетирая и без того чистые стаканы. Самый большой стакан она наполняет крепким пахучим чаем и протягивает папе. Он берет его своей небольшой загорелой рукой, с обручальным кольцом на среднем пальце. Как весело, как добродушно улыбаются его темные глаза, как хорошо, светло все кругом!

Через призму лет, долгих лет, наполненных лишениями, горем и смертью, кажется, что веселый шумный дом потерял свои живые краски, радость и тепло. Он превратился в мертвую развалину, в страшный дом моего сна. Все умерло, истлело, давным-давно забыто. Все, что, казалось, было создано для радости, для счастья, каким-то злым волшебством превратилось в горе и смерть. Призрачный дом населяют призраки давно умерших людей, и эхо их голосов шелестит в пустых пыльных комнатах — ты помнишь?..

* * *

Наша детская — большая и светлая комната. У меня уютная кроватка с опускающейся сеткой. Последнее, что я вижу, засыпая, это печь — большая кафельная печь, занимающая весь угол комнаты. Она светлая, красивая, наверху цыплята — ярко-желтые, веселые, — идут себе друг за дружкой по зеленому полю.

Над кроваткой — часы с кукушкой. Очень милая избушка, похожая на ту, что в моей любимой книжке, но не такая страшная, — там, на картинке, забор из кольев, на которые насажены черепа с горящими глазами, а вокруг темный и дремучий лес… Подходящее жилище для бабы-яги, что и говорить! В нашей избушке живет вовсе не баба-яга, а веселая и жизнерадостная кукушка. Впрочем, ее появление тоже не лишено таинственности. В какой-то определенный, но всегда неожиданный момент широко распахиваются расписные ставни окошка, оттуда высовывается кукушка и, проворно кланяясь, начинает звонко выкрикивать свое «ку-ку». Иногда она кричит долго, так, что сбиваешься со счета, а иногда мало, всего даже раз, и сразу скрывается, как будто чего-то испугавшись. Как нарочно, она никогда не появляется, когда этого хочешь, но только отойдешь и забудешь про нее, как она выскакивает, — такая насмешница. Внизу висят две гири в виде еловых шишек — одна повыше, другая пониже.

Когда мне надоедает считать цыплят на печке или рассматривать избушку, я подолгу разглядываю узор из черных и коричневых кружочков от сучков на светло-желтом деревянном потолке, силясь понять, что он изображает. Почему-то я никогда не могла прийти к какому-нибудь определенному решению, так как кружочки начинали смешиваться и расплываться у меня в глазах. Особенно уютно было рассматривать потолок, когда по нему скользили блики и тени от горящих в печке дров, — они ласковые и теплые, совсем нестрашные. Глаза сладко слипаются, а в соседнюю комнату приоткрыта дверь, оттуда падает на пол широкая полоса желтого света и слышатся приглушенные голоса. Иногда звякнет ложечка, мамин голос скажет нежно: «Ну, Сапатосик, не пора ли тебе спать?» Что отвечает Саввка, мне уже не слышно, так как я медленно опускаюсь на дно глубокой сонной реки широкими плавными взмахами — взмах направо, взмах налево, все глубже, глубже… Так опускается на дно брошенный в воду кусок тонкой жести. А дно-то у речки теплое, пухлое, все устланное снами.

Утром я просыпаюсь от громкого голоса тети Наташи, которая что-то говорит няне Паше. С неудовольствием я поднимаю голову с подушки и, еще не совсем проснувшись, тупо смотрю вокруг. Что такое? Как все изменилось! Комната залита ярким светом, зимнее солнце ослепительно сияет в морозных узорах окон, все предметы и мебель кажутся новыми, какими-то праздничными. Какой пестрый, веселый линолеум на полу, какой белый, блестящий стол! На высоком стульчике с перильцами уже сидит Тинчик, мой младший братишка. У него в руке зажата ложка, которой он звонко ударяет по пустой коробочке из-под монпансье, в то время как няня Паша ловко засовывает ложку с кашей в его маленький ротик.

Спать уже вовсе не хочется, прилив бодрости щекочущей волной поднимается где-то в желудке и быстро распространяется по всему телу. Я вскакиваю и кричу басом: «Няня, одеваться!» Но она делает вид, что не слышит, и я с неудовольствием вспоминаю, что с недавних пор мне приказано одеваться самой. Какое неприятное и сложное занятие! В особенности проклятый лифчик с пуговками, к которым пристегиваются резинки для чулок и штанишки, всегда приводит меня в крайнее замешательство, — я забываю, которую петлю нужно застегивать первой, которую второй, а тут еще пальцы вспотели… Наконец все как будто надето правильно, но лифчик почему-то скривился на сторону, а чулки спиралью крутятся вокруг ног. Приходится все-таки няне вмешаться, и под аккомпанемент ее ворчания ловкие пальцы в три счета разбираются в сложной системе петель и пуговиц, все выравнивается, нигде не тянет, не жмет — чудеса, да и только! Потом меня тащат в ванную — это тоже новшество, так как раньше я умывалась тут же, в детской, в своем собственном маленьком тазике.

Я одета, умыта и рвусь к окну, но няня уже вносит тарелки с едой и чашки с молоком, конечно, горячим, и с отвратительными морщинистыми пенками. Этим молоком щедро заливают холодные лиловые куски «смоленской каши», которую мы все дружно ненавидим и зовем почему-то «курчонком». Приходится, однако, есть, так как няня с грозным видом стоит над душой, и не в моих интересах ее сердить — пожалуется потом тете Наташе или, упаси бог, маме, и тогда нечего и думать о прогулке, наверняка не пустят, да еще и в углу придется постоять.

Наконец «курчонок» съеден, какао выпито, и я могу делать, что хочу, пока между взрослыми идет совещание — можно ли выпускать детей в пятнадцатиградусный мороз и что следует в таком случае на них надеть.

Я взбираюсь на возвышение перед окнами, расположенными

под углом друг к другу. Двойные стекла густо покрыты морозным узором — таинственные тропинки среди пышных пальм и диковинных папоротников. «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей», — как будто шепчет мне кто-то маминым голосом. Между стеклами подушка из ваты, а в ней углубления с рюмочками, наполненными темно-желтой жидкостью, — для чего она? Саввка сказал, что это яд. Как страшно! Жидкость медленно подсыхает по краям, и в ней виднеются останки злополучной мухи, поплатившейся жизнью за неуместное любопытство. Но морозные узоры так весело розовеют, искрятся, края пышных листьев так красиво вспыхивают бенгальским огнем, что страх быстро проходит, — кто знает, может быть, Савка наврал про яд и муха там просто утопилась?

Совещание взрослых заканчивается в нашу пользу, и начинается тщательное одевание. Очень долго натягивают рейтузы из верблюжьей шерсти, валенки, шубки, завязывают под подбородком ленты капоров.

Наконец выходим. До чего же красиво и весело на дворе! Расчищенные дорожки — одна широкая, от парадного крыльца, плавным поворотом упирается в ворота, другие, поуже, ведут к дворницкой, на задний двор, к конюшням. По сторонам дорожек вздымаются высокие снежные валы со следами метлы — это дворник Никанор подметал выпавший ночью снег. Молоденькие березки, совсем пушистые от инея, стоят неподвижно, а солнце зажигает на их ветвях свои холодные, но ослепительные огни.

Вооруженные ведерками и лопаточками, мы набирали снег, сыпучий и сухой, как сахарный песок. Мы и воображали, что это сахар, и без конца играли в лавку и купца, торгующего сахарным песком и скрипучей картофельной мукой.

Сколько времени прошло, когда мы успели вырасти, я не могу сказать, но эти развлечения с купцом мы вспоминали с презрительной усмешкой чуть ли не на другой год, как мне казалось. Опять была зима, опять мы надевали свои рейтузы, но уже не шубки и капоры, а спортивные свитера из той же знаменитой верблюжьей шерсти, такие же вязаные шапки с какими-то особенными прорезями для глаз и теплые варежки. Еще бы, ведь теперь мы опытные спортсмены, у нас лыжи и санки!

Небольшая комната около кухни вся заставлена санями и лыжами. Тут лыжи короткие и широкие для ходьбы по глубокому, пушистому снегу, длинные и узкие для гоночного бега. Они не для нас, а для папы, наших бесконечных дядей и прочих гостей. Наши лыжи куда более скромные с виду — поцарапанные, с облупленными носами, с заскорузлыми ремешками, они тем не менее бесконечно дороги нашему сердцу — они легкие, удобные,

и как ловко залезает валенок в эти самые потрепанные ремешки!

Саней тоже было великое множество — большие, маленькие, норвежские, финские, они в порядке стояли вдоль стены. Среди них выделялись весьма курьезные швейцарские сани — длинные, узкие, с большим рулем. Говорили, что на них надо ложиться животом, а руль поворачивать руками. Папа с гордостью демонстрировал сани гостям, распластывался на них, крутил рулем, а гости удивлялись и восторженно ахали. Впрочем, я никогда не видела этих саней в действии, так как фантастическая поза катающегося и узкие, врезающиеся в снег полозья, видимо, не только нам одним не внушали доверия. Были еще в комнате необыкновенные финские сани — келки или подкукелки — сооружение, похожее на стул, стоящий на длинных узких полозьях. Перед стулом полозья загибались, заканчиваясь угрожающе острыми концами.

Человек боязливый — обыкновенно это была тетя Наташа — с опаской усаживается на хлипкий стульчик, умоляя «ехать потише». Храбрая спортивная личность, вроде меня или Саввки, становилась сзади на полозья, специально утолщенные в этих местах — в виде площадочек для ног. Держась руками за спинку стула, одной ногой стоишь на полозе, а другой отталкиваешься — вполне остроумный способ для транспортировки разных немощных особ по хорошо укатанной дороге. Впрочем, мы никогда не завидовали тем, кто сидел на стульчике, — его явная неустойчивость и полная беспомощность сидящего требовали большого искусства и хладнокровия со стороны водителя. По ровной дороге оно еще было безопасно, но с горки проклятые подкукелки развивали бешеную скорость, и «жертва» могла только жалобно вскрикивать или ругаться, — оба эти проявления ее темперамента ни в коем случае не могли задержать неумолимый ход событий.

Один раз подкукелки, везшие одну знакомую даму, понеслись с горы и врезались в какое-то препятствие. Водитель, оглушенный визгом дамы, остался далеко позади и мог только наблюдать страшные последствия катастрофы — от толчка дама слетела со стула прямо на загнутые, подобно рогам севильского быка, концы полозьев… Раздался душераздирающий вопль… Ужасная история! Потом бедняжка еще долго, ссылаясь на острый приступ ишиаса, не могла без содрогания сесть даже на мягкое кресло, а подкукелки были прокляты и с тех пор мирно ржавели среди всякой рухляди в чулане.

Из всего множества саней мы облюбовали одни. Они были большие, тяжелые, обитые темно-зеленым сукном, и сидеть на них было мягко и удобно. С горы они летели быстро, бесшумно,

никуда не сворачивая. На сани мы не садились просто, как обыкновенные люди, с торчащими по бокам ногами, а лихо вскакивали сзади на одно колено. Правая нога волочилась сзади, где нужно нажимая и описывая за санями зигзаги, наподобие руля у лодки. Конечно, валенок сильно страдал от такого управления, и вскоре у всех наших валенок с правой ноги красовались на носу кожаные заплаты.

Из-за глубокого снега кататься можно было только по укатанным дорогам. Недалеко от нас был перекресток — три дороги с разных сторон спускались вниз и около маленького заросшего пруда перекрещивались. Мы тайком уходили туда, так как взрослые не поощряли езду по дорогам: там всегда была опасность столкновения с какими-нибудь крестьянскими санями или даже, упаси бог, с автомобилем. Правда, автомобили существовали больше в разгоряченном воображении бабушки и тети Наташи, чем в действительности, но раз мы в самом деле видели автомобиль. Он проехал — черный, удивительно элегантный, красиво сигналя на поворотах, — даже собаки все попрятались от неожиданности, а мы долго бежали следом, замирая от восхищения.

На Трехглавой горке произошло много событий, вошедших в историю нашего детства: вот канава, в которую свалилась тетя Наташа, когда училась ездить на велосипеде, вот домик старушки, где в моем воображении жил тот самый геройский песик Фунтик, спасший свою неблагодарную хозяйку от страшных хабьясов.

Это папа рассказывал нам про хабьясов — страшный марш, который они напевали, все еще звучит в моей памяти: «Пойдем, пойдем в избушку, съедим старика и старушку!..»

Интересно, откуда взялись эти полугномы-полупризраки — таинственные лесные существа? Невидимые человеку, они были тем не менее обнаружены чутьем верного пса. Была ли это папина неистощимая фантазия или существовали хабьясы в поверьях русского народа? Я так и не узнала этого, но их загадочные образы, коварно-ласковые, хитрые, неуловимые, выразительно представленные папой, навсегда остались жить в моем воображении. Сгорбившись и хитро прищурив глаза, папа крался, припадая к земле, и в такт движениям приговаривал монотонно и зловеще: «Пойдем-пойдем в избушку…» Как нам становилось жутко, с каким облегчением мы вздыхали, когда совсем другим, веселым тоном папа говорил: «Фунтик залаял, хабьясы испугались и убежали!»

Мы очень радовались, когда после оттепели глубокий снег покрывался крепким ледяным настом и мы получали

возможность кататься без дорог, с любой горки.

Особенно хороша была гора Колдуньи — высокая, страшно крутая, она размашистыми уступами спускалась на широкое поле. Свое название гора позаимствовала из сочинений Хаггарта, которыми мы увлекались. В его романе «Нада» было два героя: Умслопагас и Галаци-волк. Они охотились со стаями своих друзей-волков по диким уступам горы Колдуньи, нечистого места, проклятого зулусами. В романе были чудесные картинки, на одной был изображен Галаци, сидящий в задумчивой позе где-то наверху, на горе. Он был необычайно красив — гордое лицо, небрежная поза мускулистого тела, вокруг бедер волчья шкура. Под картинкой написано: «Галаци-волк сидел на камнях Колдуньи…» С тех пор прошло чуть ли не полвека, но я все помню выражение тоски, с которой он всматривался с высоты в очертания родной деревни далеко внизу, откуда его изгнали суеверные и глупые люди.

Не знаю, как мы решились один раз съехать со знаменитой горы. Мы как-то не успели хорошенько сообразить, что делаем, как сани уже заскользили вниз. Они почти не касались земли — с уступа на уступ они летели просто по воздуху. Во мгновение ока мы очутились внизу и там врезались в занесенную снегом канаву. Пробив наст, сани резко остановились, и мы совершили сложный полет друг через друга, причем тот, кто сидел сзади, очутился впереди всех на снегу.

Мы обалдело сидели, оглядывая друг друга, а потом разразились громким, но довольно-таки нервическим хохотом. Только окончательно оправившись, мы смогли с восхищением осмотреть след наших дерзновенных саней на девственной поверхности горы Колдуньи, — он действительно прерывался в тех местах, где мы летели по воздуху.

Нас было трое: Тин, самый младший, Саввка, старший, и я — девчонка между ними. Я горько сетовала на судьбу, сотворившую меня девочкой, и жгуче завидовала братьям, стараясь ни в чем не отставать от них. Надо сказать, что это мне удавалось довольно хорошо, так как сами мальчишки порой забывали, что я девчонка, и никогда не изгоняли из своей компании. Мы дружно поливали презрением своих многочисленных родственниц, всяких там двоюродных и троюродных сестриц, за их страх перед мышами, пауками и змеями, за их неумение влезть на дерево или перепрыгнуть канаву. Мы ни с кем особенно не дружили, держались гордо и независимо, слывя на всю округу отчаянными сорванцами.

С финскими мальчишками у нас была вражда, едва прикрытая холодным нейтралитетом, который время от времени

прерывался «вооруженными» столкновениями.

Однажды мы катались с очень удобной, хорошо накатанной горки, проходившей через «вражескую» деревню. Когда мы в очередной раз взобрались наверх и уже усаживались на санки, внизу неожиданно появилась шайка финских мальчишек, вооруженных до зубов кольями, выдернутыми, видимо, из своих же «финских» заборов. С угрожающими криками, среди которых можно было различить и неизменное: сатана, пергола, юмалаута! — они двинулись наверх, не оставляя ни малейшего сомнения в своих намерениях. Миг короткого замешательства — что делать? Ехать вниз, но они только этого и ждут, убегать тоже поздно — догонят. Между тем «неприятель» продвинулся уже до середины горы — медлить было нельзя. С отчаянной и веселой решимостью мы уселись на санки, рулевой хорошенько разогнал их, вскочил сзади на колено, и вот мы несемся, все ускоряя ход, прямо на мальчишек. Они расступились, встали по обе стороны дороги и подняли палки с очевидным намерением опустить их на наши головы в тот момент, когда сани будут проноситься мимо. Мы закрыли глаза и втянули головы в плечи… Раздался свист воздуха, рассекаемого дубинами, и… удар обрушивается на дорогу за нами — они не попали! Внизу мы слезли и долго глумились над одураченным врагом, благо находились уже в нейтральной зоне.

Чаще, чем на санях, мы отправлялись кататься на лыжах. Нельзя сказать, что мы имели какое-нибудь хотя бы отдаленное понятие о слаломах и прочих лыжных маневрах, но мы лихо съезжали с изрядно крутых гор, террен которых изобиловал всякими коварными пнями, полузанесенными заборами и канавами.

У нас был свой неписаный закон чести, по которому считалось недопустимым и постыдным смалодушествовать перед препятствием и пустить в ход природный тормоз — на полном ходу просто сесть в снег. Глубокая рытвина в снегу, оставляемая сзади, яснее слов говорила о проявленной трусости, и лучше было влететь в овраг, сломать лыжу, чем услышать слово, брошенное сквозь скривленные презрением губы: девчонка! Кроме постыдности такого рода торможения этот способ таил в себе и ряд других неприятностей. Сидишь, бывало, в глубокой борозде и с тоской следишь за своей лыжей, которая бесшумно и проворно исчезает где-то за кустами на дне оврага. Изволь потом, проваливаясь выше колен, брести по снегу, лезть в овраг, продираясь сквозь кусты, вылезать — все это под огнем уничтожающих взглядов дорогих братцев.

Самым восхитительным был, конечно, бег по укатанной

лыжне, когда летишь, отталкиваясь палками, и от избытка чувств воешь диким голосом, изображая охотящуюся стаю волков из «Белого клыка». Вечереет, кругом «белое безмолвие», только лыжи ритмично постукивают да разноголосый вой жутко разносится в промерзлом лесу.

Домой мы вваливаемся красные, разгоряченные быстрым бегом. Начинается раздевание на скамейке в прихожей, которая вся заваливается нашей задубевшей, распространяющей холодный морозный запах одеждой. Из валенок вытаскиваются спрессованные куски снега, смешные рукавицы, смерзшиеся в комок, еще долго сохраняют следы лыжных палок — круглые заледеневшие отверстия посередине. Тетя Наташа суетится, бабушка ужасается, а в дверях появляется папа и с довольным видом щурит глаза.

Иногда папа уступает нашим просьбам, надевает свои огромные валенки, отделанные кожей, и, веселый, с развевающимися ушами меховой шапки, отправляется вместе с нами. Мы страшно любили эти прогулки с папой. Он выдумывал всякие замысловатые состязания, он вникал во все наши законы езды и тут же сочинял новые, хохотал вместе с нами и валялся в снегу, смешно задирая черную бороду, когда снег забирался за шиворот.

Один раз в конце зимы мы пошли с папой на берег моря. Оно было белое, замерзшее до самого горизонта, где слабо виднелись дымки Кронштадта. Ровная, однообразная его поверхность была кое-где испещрена пешими и, конными следами и никак не привлекла нашего внимания. Но у берега была навалена широкая гряда вкривь и вкось нагроможденных льдин. По-видимому, задолго до того была сильная буря, ветер в море взломал лед, поднял уровень воды, как это часто бывает в этом месте Финского залива, и волны нагромоздили льдины на широкий пляж. Потом вода спала, а лед остался на берегу. Это было похоже на лунный пейзаж — такие же фантастические горные хребты, кратеры и остро ограниченные тени. Только не было безжизненности, холода бесконечных космических пространств, — здесь весело сияло ласковое солнце — и огромное, беспричинное веселье охватило нас.

Мы карабкались по льдинам, прыгали с одного тороса на другой, скользили, падали, куда-то проваливались. Вдруг папа, шедший впереди, как-то странно взмахнул руками и исчез — бесшумно провалился в самые недра земли. Осторожно приблизившись, мы увидели дыру среди льдов, а внизу обширный грот, дно которого было устлано гладким и твердым песком, а потолок весь сквозил и сиял голубовато-зеленым волшебным

светом. На дне грота стоял папа и с таинственным видом манил нас к себе. С мягким шуршанием льдины провалились, расступились, и мы плавно опустились на дно. Сквозь ледяной покров светило солнце, и зеленый призрачный свет струился сверху. Мы стояли разинув рты в немом восхищении, а на папином лице было мечтательно-счастливое выражение, делавшее его молодым и неправдоподобно красивым. Потом нас охватило буйное веселье, мы лезли вверх и мягко проваливались, и льдины ласково шуршали, и новые волшебные пещеры открывались нам, и мы хохотали и кричали, и наши голоса звучали то глухо, как из-под земли, то звонко, как в пустом зале.

Папа был остроумным и веселым старшим другом, учителем и озорным товарищем наших игр, но я помню его и другим.

Он сидит за столом, заставленным всякими кушаниями и посудой, но перед ним стоит один его большой стакан с крепким, почти черным чаем. За столом много людей, все говорили, смеялись, а теперь смолкли и слушают, что говорит им папа своим глуховатым, сдержанно взволнованным голосом. Его лицо с блестящими глазами выразительно и красиво. Я не понимаю ни слова из того, что он говорит, но я слышу звук его голоса, слежу за игрой его лица, за движениями его широковатой руки с обручальным кольцом на среднем пальце. Вот его рука зажигает спичку, папа замолкает и закуривает, — он совершенно меняется: на его лице, ярко освещенном лампой, застывает тяжелое, скорбное выражение. Брови нахмурены, между ними пролегла глубокая складка. Глаза потухли и с каким-то болезненным ужасом смотрят прямо перед собой. «Может быть, у папы вдруг заболела голова?» — думаю я вскользь, так как все мое внимание поглощено спичкой, про которую папа забыл и которая все еще горит в его пальцах. С замиранием сердца я жду, когда огонь до них доберется, — тогда папа опомнится, тряхнет рукой, спичка потухнет. Неужели он не чувствует жара, ведь сейчас обожжется, вот сейчас! Невольный вздох вырывается у меня, потому что папа вдруг встряхивает рукой, спичка гаснет, а он, как бы проснувшись, взглядывает на собеседника, который уже раз пять спрашивает его о чем-то. Его выражение опять изменилось, оно сделалось таким же, каким было всего минуту тому назад. Но какое-то смутное беспокойство остается во мне, какой-то осадок, — может быть, папа болен?

Может быть, в первый раз я задумываюсь над странной ночной жизнью папы. Ведь мы довольно редко видим его днем, только после обеда он выходит из спальни. Что он делает по ночам вместе с мамой в своем большом, мрачном кабинете? Всем известно, что он работает, пишет сочинения, я тоже это знаю,

хотя не совсем себе представляю, в чем заключается этот процесс. Сколько раз я вхожу в папин кабинет, стараясь увидеть там следы его деятельности, но там пусто, прибрано, только на огромном письменном столе стоит пишущая машинка «Ремингтон».

Убранство кабинета мне известно до мельчайших подробностей. Пол устлан темно-синим гладким ковром, мебель тоже темная, кажется коричневая. Тяжеленные дубовые кресла с высокими спинками, наверху какие-то украшения, — похоже, что там уселся черный ворон и вот-вот клюнет сидящего в голову.

На письменном столе кроме машинки «Ремингтон» еще множество бумаг, перьев, карандашей. Медная змея, угрожающе поднявшись на хвосте, открыла пасть и высунула раздвоенный язык — на нем висят круглые, как шар, стеклянные часы. Они очень смешны — круглое стекло преломляет лучи света, и стрелки кажутся то коротенькими и толстыми, то длинными, невероятно тощими. Сзади сквозь стекло виден весь механизм часов: там проворно движутся во все стороны бесчисленные колесики, шестеренки, — очень интересно!

На другой стороне стола сидит на камне бронзовая горилла. Она держит в руке человеческий череп и, задумавшись, очень внимательно его рассматривает, даже палец другой руки положила себе на подбородок — совсем как человек, который что-то соображает. Но тонкие, благородные очертания человеческого черепа являют глубокий контраст с низким звериным лбом и могучими челюстями обезьяны. Может быть, этот контраст поразил и гориллу?

Над громадным камином — картина, нарисованная углем на сером картоне. Это копия картины Гойи. Она занимает почти полстены — там изображены в человеческий рост два черта. Они, видимо, собираются на какой-то бал у себя в аду и тщательно занимаются своим туалетом. Один сидит, выставив вперед мозолистую ногу и молитвенно подняв голову к небу, а другой, вооружившись здоровенными ножницами, стрижет ему страшные загнутые когти. Лица у чертей человеческие, — у того, кто стрижет, даже вытянуты от усердия губы, — а над ними распростерты их перепончатые, как у летучих мышей, крылья, с когтями на концах. У меня к этой картине особенное отношение. Кто-то сказал, что я, когда пишу или что-нибудь старательно делаю, то выпячиваю губы, как тот гойевский черт. Я подолгу всматриваюсь в его безобразное лицо и в эти губы и с обидой думаю — неужели действительно я на него похожа?

С другой стороны камина на таком же сером картоне, как и черти Гойи, нарисован еще один черт. Или это уже не просто черт, а сам сатана или, может быть, рок? Он сидит на земном

шаре и держит на коленях большую раскрытую книгу. В одной руке у него гусиное перо, другая рука своим длинным указательным пальцем с загнутым когтем на конце в знак внимания показывает вверх. Длинные мохнатые уши насторожены — от их слуха ничего не уйдет. Я понимаю, что хотел сказать художник: какая-то высшая темная сила знает все о человеческой жизни. Она видит и слышит все, что происходит на земле, и все записывает в книгу судьбы. Мне было довольно страшно проходить мимо: ведь он — я так и называла это существо «он», — наверное, следит за каждым моим движением, и даже мои мысли ему понятны — он запишет, а другие будут читать…

В самом темном углу кабинета — большой портрет Толстого на смертном одре. Страшно исхудавший, со всклокоченной седой бородой, он лежит в ночной рубашке на кровати и смотрит прямо на дверь, через которую входишь в кабинет. Его строгие, нечеловечески проницательные глаза следят за мной, и я даже спиной чувствую их лихорадочный, какой-то безумный взгляд, когда поспешно прошмыгиваю в библиотеку.

Библиотеку замечаешь не сразу — ее отделяет от кабинета тяжелый темно-синий занавес. Откинув его, опускаешься на одну широкую ступеньку. Комната кажется небольшой от высоких, под самый потолок, застекленных шкафов с книгами, которыми заставлены все стены. Посередине стоит низкий круглый стол, заваленный газетами и журналами, вокруг стола глубокие кожаные кресла.

У меня было какое-то особенное чувство радости и благоговения каждый раз, как я входила в библиотеку. Папа научил нас чрезвычайно бережно относиться к книгам и, всегда снисходительный к нашим шалостям, приходил в настоящую ярость, когда мы пачкали или рвали книгу.

Благополучно миновав все Сциллы и Харибды папиного кабинета и скрывшись от взоров Льва Толстого за занавесом, я прямо устремляюсь к «нашим» полкам шкафа. Чего там только не было! Полное собрание сочинений Жюля Верна, чуть ли не в восемьдесят томов, Луи Буссенар, тоже чрезвычайно плодовитый писатель, конечно, Майн Рид, Фенимор Купер, Дюма. Были там красные с золотом издания «Золотой библиотеки» — прелестные и трогательные греческие мифы в этом издании были моей любимой книжкой. Лидия Чарская со своими падающими в обморок слезливыми институтками возбуждала острое презрение мальчишек, — чтобы не уронить себя в их глазах, я вслух тоже глумилась над героинями Чарской, но втайне любила несчастную и гордую княжну Джаваху и очень жалела бедную институтку Лиду, так страдавшую — за что? — от ненавистной мачехи.

Бессмертным произведением, навеки поразившим мое воображение, был, конечно, «Всадник без головы». Я до сих пор помню начало: «Конский топот разбудил в полночь техасского оленя. Животное подняло голову, насторожилось. Топот повторился — на этот раз копыта звучали по каменному грунту…» Мы с Тином даже решили переписать всю книжку в тетрадь и действительно начали этот героический труд, но потом как-то отвлеклись и забыли.

А капитан Немо — таинственный, жестокий, но такой все ж таки благородный человек! Почему он рыдал над роялем в этот одинокий ночной час, что за горе терзало его сердце?

А чудесные рассказы Сетона-Томпсона о зверях, которые своим благородством и мужеством так превосходили жестоких и корыстных людей! Горячие и, пожалуй, самые искренние слезы за всю свою жизнь я пролила, читая о могучем виннипэгском волке, умирающем от тоски в неволе, о бедном голубе Арно, который погиб от руки какого-то мерзавца в нескольких шагах от своего дома, куда он так стремился после долгого изгнания, о мустанге-иноходце, который предпочел смерть в пропасти постыдной неволе во власти коварного человека.

Я очень рано научилась читать, — кажется, при помощи детских кубиков с нарисованными на них буквами. Еще раньше, лет трех от роду, я говорила наизусть всякие детские стихи, и, когда приходили гости, меня заставляли демонстрировать им свое искусство. Я приходила с толстой книгой, раскрывала ее в нужном месте и начинала «читать», сильно шепелявя: «Жил-был кот бархатный живот, жили-были мыфки серые пальтифки…» Я переворачивала страницу, когда это требовалось, и с важным видом «читала» дальше.

«Какая умная девочка! — восклицали наивные слушатели. — Такая маленькая, а уже умеет читать!» Папа подмигивал мне и хохотал.

С самого детства мы были окружены книгами, — в доме был настоящий культ книги. Все мы читали запоем, и мне кажется, что во времена своего детства я прочла бóльшую часть книг, прочитанных мною за всю жизнь. Тин и Саввка тоже читали очень много, в особенности Тин, — он единственный мог сравниться со мной в быстроте чтения: если мы вместе читали, то в одно и то же время переворачивали страницу. Ни с кем другим этого не получалось — я поспевала два раза прочитать страницу и уже начинала скучать, когда наконец мой медлительный партнер удосуживался дочитать ее.

Тин был скромный на вид мальчик — худенький и довольно болезненный. Впоследствии он окреп, но так и остался

небольшого роста и худощавым. В то же время он был подвижным, шустрым и предприимчивым. О его наружности тетя Наташа выражалась, на мой взгляд, довольно невразумительно: «ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца». При чем тут какой-то молодец? — недоумевала я. Действительно, мы с Саввкой были смуглыми, черноглазыми и черноволосыми, похожими скорее на жителей островов Тихого океана, чем на детей чисто русских родителей, — Тин же был светлым шатеном с маленьким носиком пуговкой, с длинноватой верхней губой и тонкими, как нарисованными кисточкой, бровками, высоко поднимавшимися над зеленоватыми глазами. Очень у него были хороши ресницы — длинные, густые, с загнутыми концами.

Тин был большим плутом, инициатором всех наших проказ и очень ловко умел заметать следы. Все же он чаще других стоял в углу, и папа даже дал ему прозвище — «угловой житель» (были в ту пору бедные люди, которые снимали только угол в какой-нибудь густо населенной комнате). Достаточно часто и я, однако, попадала в угол, так как была неуклюжа и простодушна, в силу чего всегда попадалась на месте преступления.

Я была рослой, здоровой девочкой. Звали меня почему-то Лялькой, хотя крестили Верой, и еще Пучей — сокращение от пучеглазой. Когда мне было года три-четыре, мама наконец возмутилась и строго запретила всем звать меня Лялькой, — на обращение «Лялька» я не смела отвечать. Как сейчас помню — Саввка хотел позвать меня из соседней комнаты и уже сказал: «Ляль…» — но, видно, вспомнил, что нельзя, и замолчал. С замиранием сердца и я готовилась ответить на непривычное обращение «Верка», но он, видимо, сам сконфузился и не сказал ничего.

Саввка был поразительно красив — смуглый, черненький, с карими глазами. Незнакомые люди останавливались на улице, завидя его, и даже шли за ним, громко выражая свое восхищение. Избалован он был ужасно. Если кто-нибудь осмеливался перечить его желаниям и капризам, Саввка бросался на пол, предварительно сдернув с кроватей одеяла и подушки, валялся, легая ногами и испуская дикие вопли. Прибегали няньки, гувернантки, толпились вокруг, приговаривали медовыми голосами: «Саввочка, Сапатосик, перестань плакать, скажи, что ты хочешь!» — а Саввочка только визжит и норовит лягнуть как можно сильнее.

Один раз Саввка пришел со страшным ревом к папе и пояснил: «Я Веку бю-бю, а она не пацет!» Он меня, видите ли, бил, а я из упрямства — потому что обыкновенно я была жуткой ревой — на этот раз плакать не захотела. От огорчения, что я не плачу,

когда ему этого хочется, Саввка сам пустился в рев и пришел жаловаться на меня папе. «А ты палкой не пробовал?» — спросил папа и к превеликому Саввкиному возмущению отшлепал его.

Он долго картавил, неправильно произносил слова и, будучи уже большим мальчиком, пил из соски. Так и ложился на скамью где-нибудь в парке и спокойно сосал из бутылочки к вящему изумлению прохожих.

При нем все расхваливали вслух его красоту и таланты, и ничего не было удивительного в том, что он так избаловался. Но он в самом деле был очень способным мальчиком, в особенности к рисованию. Ему было всего пять лет, когда он нарисовал голову лошади. Она была как живая — глаза блестели, ноздри раздувались, вот-вот заржет! Он мне всегда напоминал Остапа, старшего сына Тараса Бульбы, — никогда не врал, не обманывал, не изворачивался, был храбр до безрассудства.

У нас было еще два брата: Вадим и Даниил. Вадим был гораздо старше и жил где-то у родственников, приезжая на Черную речку только на летние и рождественские каникулы. Он был носатый, худой подросток с ужасно жесткими волосами, которые, как щетины, протыкали насквозь его берет и торчали наружу. Я знала, что наша мама приходится Вадиму мачехой, но не придавала этому никакого значения, просто не задумывалась над этим, но однажды я слышала, как он вбежал, рыдая, в комнату и, перед тем как хлопнуть со страшной силой дверью, закричал пронзительным голосом: «Мачеха!» Какое холодное, жестокое слово! Оно прокатилось эхом по всему дому, и я в первый раз подумала, что Вадим может быть несчастным, каким-то неполноценным, как будто бы у него не хватало руки или ноги. Потом я забыла об этом впечатлении, так как Вадим выглядел опять обыкновенно.

Мы относились к нему как к взрослому, уважали и слушались безоговорочно. Наверное, для того чтобы еще больше укрепить его авторитет у нас и дать Вадиму полезное занятие, мама предложила ему заниматься с нами русским языком и литературой.

Учителем Вадим был весьма суровым и требовательным. Его система заключалась в том, что он не обременял нас грамматикой, а заставлял много читать, рассказывать прочитанное и писать диктовки и сочинения. Мы писали и писали без конца. Много затруднений было у меня с буквой «ять». Ведь никаких правил, где полагалось писать эту букву, не было. Надо было просто запоминать. В некоторых случаях «ять» писалась и тогда, когда явственно слышалась буква «ё», и эти слова надо было знать наизусть: «звёзды, гнёзда, цвёл, приобрёл…» —

твердили мы до одурения. Вадим заставлял по многу раз переписывать слово, в котором была сделана ошибка. Слово «белый», в котором я упорно писала «е» вместо «ять», Вадим, разозлившись, заставил меня написать сто раз!.. Под конец я в отчаянии начала даже жульничать и вместо проклятого слова делала волнистую черту. Суровая система нашего учителя принесла тем не менее великолепные плоды. Мне не было еще и восьми лет, как я совершенно без ошибок писала по старой орфографии, и впоследствии мне стоило немалых трудов привыкнуть к новой. До сих пор имя «Вера» и слова: «хлеб», «снег», «еда», «звезда» — мне кажутся какими-то некрасивыми, пресными и маловыразительными без красивой и какой-то гордой буквы «ять».

Брата Даниила я не помню совсем. Один раз только худенький беленький мальчик сидел на камне около кухонного крыльца. «Это ваш брат Даня», — сказали нам. Даня воспитывался и всегда жил у родных своей матери, Александры Михайловны в Москве.

Лень и нерадивость наказывались одиночным заключением в пустой комнате. Была у нас такая на втором этаже — она вечно пустовала в ожидании приезжающих из Петрограда гостей. Мебели там никакой не было, только на полу лежал матрас, на который мы и ложились, запасшись предварительно какой-нибудь книгой. Лежишь, бывало, на животе и читаешь Буссенара. После нескольких часов чтения о необыкновенных приключениях парижского мальчика Фрикэ в африканских дебрях у меня начинало мутиться в голове — что бы предпринять? Встаю, подхожу к окну, смотрю вниз. Там кухонное крыльцо, собака дремлет на цепи и бродят скучающие куры. Мой взгляд блуждает по подоконнику — хорошо бы запустить чем-нибудь в кур! Ничего под рукой нет. Я ложусь грудью на подоконник и собираю побольше слюней во рту, терпеливо поджидая, пока какая-нибудь из беспечно гуляющих пернатых не приблизится на расстояние выстрела. Тогда, тщательно прицелившись, я плюю в курицу. Плевок летит, но на лету меняет направление, его относит в сторону — недострел! Какая досада! Опять ждешь, но куры отошли, теперь уже не попасть. Скучно!

Вдруг внизу хлопает дверь — выходит тетя Наташа. Куры поспешно бросаются к ней, второпях чуть не тыкаясь грудью в землю и бестолково взмахивая неуклюжими крыльями. Напрасный спех — тетя Наташа даже не посмотрела на них и идет себе по дорожке к погребу. Я злорадствую, а куры не могут скрыть своего разочарования — они уныло разбредаются по двору и рассеянно тянут скучным голосом «ко-ко-ко»…

Скорей бы обед, что ли. Но обед приносят и просовывают в дверь, как какому-нибудь арестанту. Опять читаешь, опять бродишь по комнате, рассматриваешь обои. Ох уж эти обои, до чего же знаком их узор из голубеньких цветочков, с убийственным однообразием повторяющийся через равные промежутки! До чего же изучен потолок с трещиной на нем в виде реки Нила, с его типичным изгибом и дельтой, — там даже пятно, — это Александрия? А тут стоят Хеопсовы пирамиды, а дальше «…вечно чуждый тени, моет желтый Нил раскаленные ступени царственных могил…».

Наверное, про меня забыли? Но вот шаги, гремит ключ — это наша милая, жалостливая тетя Наташа! Она улыбается таинственно и шепчет: «Иди на кухню, там что-то оставлено». Я лечу стремглав через гимнастическую комнату, или просто «гимнастику», через холл. По лестнице я не бегу, а съезжаю по перилам — широким и до блеска отполированным нашими животами. Промчавшись через огромную столовую, я влетаю на кухню — там на чисто выскобленном столе стоит аппетитная тарелка, рядом стакан с молоком. Начинаешь поедать восхитительные блинчики с вареньем, от избытка чувств и нахлынувшей энергии дрыгая ногами под столом, — куда приятнее, чем даже вкус блинчиков, это чудесное ощущение свободы!

Я любила наш громадный деревянный дом на Черной речке. Даже трудно называть это чувство любовью — ведь оно было неосознанным, но таким естественным и простым, как дыхание. Мне было хорошо в нем, так хорошо, как нигде в мире. Мне странно было слышать иногда от взрослых, что дом наш неуклюж и несуразен, что комнаты слишком велики и неуютны, — что они понимают?

Дом был построен молодым архитектором Андреем Андреевичем Олем, папиным другом и родственником, — Оль был женат на папиной сестре Римме. Папина фантазия задумала создать дом, похожий на старинный норвежский замок, — весь из толстых сосновых бревен, с башней, откуда открывался бы широкий вид на окрестности, на Финский залив, на Кронштадт.

Наверное, Дрюнечка, как папа лаского называл шурина, не слишком успешно справился со своей задачей, потому что потолок папиного кабинета обрушился еще во время постройки, и его пришлось укреплять поперечными балками, тяжелая черепичная крыша протекала, башня очень скоро покосилась, и ее крен увеличивался с каждым годом. Постройка обошлась очень дорого, и папа в шутку называл нашу дачу «Вилла Аванс», так как на нее пошли деньги, взятые авансом у издателя. Пятнадцать

комнат, огромные печи и камины поглощали неимоверное количество дров — дворник Никанор полдня таскал большие охапки и с грохотом сваливал их перед прожорливыми топками печей. Тем не менее многие комнаты оставались сырыми и холодными. Но так говорили взрослые!

Странный, конечно, был дом. Повсюду был заметен печальный, мятущийся дух его владельца, — на всем лежала его печать.

Широкая лестница на второй этаж образовывала площадку, на которой было всегда темно. И на самой темной стене висел огромный картон с нарисованным на нем «Некто в сером». Серые тяжелые складки его одеяния падали до самого пола, в руке он держал зажженную свечу. Ее желтый свет снизу резко освещает его каменное, равнодушное лицо. Страшные глаза, чуть сощурившись, неотступно глядят на пробегающие фигурки людей. Мне всегда казалось, что тени и световые блики на его лице слегка двигаются, отчего оно странно оживало, тяжелые веки приподнимались и взгляд загорался жестоким огнем. Чувствуя, что ноги деревенеют и коленки дрожат, я, не смея поднять глаз на «Некто в сером», поспешно пробегала мимо.

Наверху лестница выходила в большую переднюю-холл, где у широкого окна за перегородкой стояли пальмы, филодендроны и другие растения в кадках. С середины потолка свешивался красивый ажурный фонарь, — разноцветные его стекла бросали движущиеся пестрые тени на стены, на двери папиного и маминого кабинетов. Но что это? На стене виднеются какие-то следы — черные следы чьих-то здоровенных босых ног! Они начинались у самого пола, шли вверх по стене, поднимались на потолок, шли — о ужас! — по потолку и внезапно обрывались у покачивающегося фонаря.

Однажды папа с испуганным видом пришел к бабушке и зашептал ей: «Ты не слышала ночью шагов в прихожей и покашливания? Я прихожу, а там следы на потолке, — наверное, домовой?» Суеверная бабушка, быстро крестясь, шептала: «С нами крестная сила!» — а папа, страшно довольный, хохотал, так как не кто другой, как он сам, намалевал эти следы черной масляной краской. И хотя все это знали и я сама прекрасно видела застывшую каплю краски, стекавшую от одной из страшных черных пяток домового, тем не менее смотреть на следы было жутко — только подумать! — ходить по потолку вниз головой и не упасть!

Здесь же в холле небольшая дверь вела в коридорчик, откуда темная узкая лестница поднималась на чердак и на башню. Нам, детям, было строжайше запрещено ходить по этой лестнице. Но

мы редко ходили даже в коридорчик, потому что там тоже было страшновато. Была там дверь в маленькую, совершенно темную комнатку, где часто запирались папа с мамой. Когда приоткрывалась дверь, то в жутком красном свете маячили их фантастические тени, что-то делавшие за столом, резко воняло какой-то химией и слышались то радостные, то огорченные возгласы. «Кто открыл дверь? — вдруг кричал папа. — Скорей закройте!» На двери была надпись: «Палата № 6».

Папа увлекался цветной фотографией, которая была редким достижением науки того времени. Он выписывал пленки откуда-то из-за границы, у него был большой фотографический аппарат на длинных ножках, который он приносил, как только видел что-нибудь примечательное. Он без конца снимал каждый уголок нашего дома и всех родных и знакомых. В период увлечения фотографией в доме только и слышно было разговоров, как о негативах, позитивах, фиксажах и проявителях. Говорилось об освещении удачном и неудачном, об игре света на носу какого-нибудь гостя, и частенько случалось, что папа срывался из-за стола, тащил аппарат, гостя усаживали на фоне какой-нибудь пальмы, и, сконфуженно улыбаясь, тот покорно поворачивался, куда ему приказывали, а папа щелкал аппаратом и восторженно кричал: «Ты только посмотри, Аня, какой эффектный свет! Вот это будет снимочек!»

Иногда папа не довольствовался обычным видом своих моделей и заставлял их надевать фантастические тюрбаны, какие-то греческие хитоны, в руки совал какую-нибудь палку в виде скипетра и ставил их в героические позы.

Фотографии делались на стекле, и надо их было рассматривать на свет в специальный стереоскоп, чтобы картина приобретала перспективу и глубину. Это было очень красиво: нежные, совершенно натуральные краски сообщали фотографии живость и природную естественность. Казалось, в открытое окно созерцаешь какой-то изумительно красивый вид, — иллюзия была так велика, что чувствовалось даже легкое прикосновение ветерка на щеках и запах цветов, так ярко цветущих на снимке.

Но постепенно увлечение фотографией проходило, и папа вдруг превращался в художника: на нем бархатная куртка с небрежно повязанным мягким галстуком, небольшая вандейковская бородка, черные волосы львиной гривой падают на отложной воротник. Удивительнее всего, что папа преображался не только внешне, — подобно талантливому актеру, он настолько вживался в свою роль, что превращался в настоящего художника. Его интересовала только живопись, он мог говорить только о ней. Его кабинет был завален холстами, мольбертами, ящиками с

мелками, сангиной, углем. Как по волшебству, все в доме менялось — он наполнялся людьми, причастными к живописи, все как одержимые пробовали рисовать, — рисовал даже лакей Андрей, у которого папа обнаружил недюжинные способности. Всюду висели и на всех столах лежали репродукции творений великих мастеров, — папа преклонялся перед гением Микеланджело, его привлекали мрачные фантазии Гойи, он восхищался реалистическим мастерством Репина и Серова.

Мои детские годы все прошли среди книг, картин и музыки, которой занималась мама. Папа сам не музицировал, хотя очень любил музыку и его глубоко трогали студенческие и народные песни. Будучи в хорошем настроении, он всегда напевал какую-нибудь шутливую песенку вроде «Девица гуляла во своем саду — ду-ду…» или про тетушку Аглаю. Слов этих песенок папа не произносил, а только мычал, причем мама всегда махала на него рукой, чтобы он замолчал. Хитро взглянув на маму, папа переходил на свист и свистел очень верно и мелодично. В то время только что появился граммофон, и папа сейчас же его купил. Он покупал массу пластинок, и я до сих пор помню эти концерты из русских и итальянских опер в исполнении Собинова, Шаляпина, Давыдова. Немудрено, что мы все всегда что-то пели, особенно цыганские и итальянские романсы, перевирая слова, но с большим увлечением, к величайшей потехе папы. Он научил Савку свистеть, и когда хотел позвать его, то насвистывал первую строчку «Чижик, чижик, где ты был?», — а Савка должен был отвечать тоже свистом: «На Фонтанке водку пил!»…

Простенькая мелодия «Собачьего вальса» наигрывалась всеми нами на рояле двумя пальцами, — она сохранилась в моей памяти как некий гимн нашего дома, так как папа часто насвистывал ее, а порой и мама садилась к роялю, и тогда наивная песенка превращалась в настоящую гремящую музыку, и мы все застывали, восторженно раскрыв рты.

Нет почти ни одного папиного рассказа, ни одной пьесы, где бы не упоминалась или не воспроизводилась какая-нибудь песня или музыкальное произведение. Одна из его пьес так и называется «Собачий вальс», а название другой, «Дни нашей жизни», заимствовано из студенческой песни того времени.

Удивительный язык, стиль папиных произведений тоже подчинены невидимой гармонии, ритму. В них ясно чувствуется размер, как в стихах, где сознательно подобраны слова, имеющие музыкальную слаженность и звучность: «…Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо…», или: «… Смотрите и слушайте, вы, пришедшие сюда для забавы и смеха. Сейчас перед вами пройдет вся жизнь человека, с ее темным

началом и темным концом. В ночи небытия вспыхнет светильник, зажженный неведомой рукой, — смотрите на пламень свечи! — это жизнь человека!»

К сожалению, в музыке папа не мог так проявить себя, как в литературном творчестве или в живописи. Музыка служила только фоном, дополнительным аккордом для полнейшей обрисовки душевного состояния его героев, в то время как живопись была проявлением его собственного душевного мира — в своих рисунках папа мог полностью выразить свои фантазии и мечты.

Возможно, что многим покажется странным, что на маленькую, едва восьмилетнюю девочку, какой была я в то время, папины порой болезненно тяжелые, тревожные образы, уродливые, замученные лица производили такое глубокое впечатление. Но, может быть, именно поэтому они и запоминались, они внушали страх и тревогу, а такие чувства не забываются.

В холле наверху висела картина, нарисованная папой разноцветными мелками. Это головы Иисуса Христа и Иуды Искариота. Они прижались друг к другу, один и тот же терновый венец соединяет их. Но как они непохожи!

И странная вещь: несмотря на то что сходства нет никакого, по мере того как всматриваешься в эти два лица, начинаешь замечать удивительное, кощунственное подобие между светлым ликом Христа и звериным лицом Иуды Искариота — величайшего предателя всех времен и народов. Одно и то же великое, безмерное страдание застыло на них. Постепенно начинает казаться, что губы Христа искривлены той же судорожной гримасой, что тот же скрытый ужас смерти проглядывает сквозь одухотворенную бледность его лица, таится под закрытыми веками глаз, прячется в фиолетовых тенях около рта. Кажется, что от обоих лиц веет одинаковой трагической обреченностью.

Картина болезненно действует на мое воображение и часто преследует меня во сне. Мне кажется, что распятые оживают, открывают страшные, опустошенные горем глаза и, обнявшись как братья, идут ко мне. Они рады бы отделиться друг от друга, но терновый венец связывает их неразрывно — так и кружатся в нелепой, безумной пляске, заламывая худые окровавленные руки.

…Но жизнь была прекрасна, а детское легкомыслие не позволяло долго задумываться над непонятными явлениями и особенностями нашего дома.

Мы росли порядочными дикарями, несмотря на то что наше воспитание было поручено боннам и гувернанткам. Возможно, что эти особы не могли полностью развить свои педагогические

дарования в обстановке нашего дома, так как обыкновенно они ненадолго в нем задерживались. Кажется, они не выдерживали главным образом сношений с Саввкой, который не переносил насилия над своей личностью и решительным образом восставал против их робких попыток научить его хорошим манерам.

Как-то раз одна из очередных жертв Саввкиного тиранства осмелилась во время обеда поставить перед ним зеркало: пусть-де мальчик посмотрит, как некрасиво ставить локти на стол, чавкать и швырять огрызки себе за спину, как это делал Генрих Восьмой на туманной заре человеческой цивилизации.

«Мгновенно гневом возгоря», Саввка схватил зеркало и запустил им прямо в злополучную гувернантку. Испустив жалобный крик, несчастная проявила недюжинное присутствие духа и увернулась от просвистевшего у нее над ухом снаряда. Эта увертливость несомненно спасла ей жизнь, так как зеркало врезалось в стену точно в том месте, где только что находилась ее голова. Гувернантка, шатаясь, выбежала из комнаты, истерически рыдая и крича: «Ни минуты больше не останусь в этом доме!»

Нас с Тином не так баловали, как Саввку. Мы оставались дома, в то время как он ездил с мамой и папой в шхеры на моторной яхте «Далекий»; он путешествовал по Италии, так что мы подолгу были лишены его общества. Это обстоятельство неуловимо отдаляло его от нас, мы от него отвыкали, а он присваивал себе право командовать нами, показывая свою опытность и «превосходство европейца над неотесанными дикарями». Иногда его влияние нельзя было назвать хорошим, — вдвоем с Тином мы бы никогда не додумались мучить животных.

Однажды, например, Саввка поймал курицу и трудолюбиво выщипал ей перья на шее якобы для того, чтобы она стала похожей на кондора. Не знаю, удалось ли ему добиться этого сходства, но лиловая шея несчастной курицы, покрытая гусиной кожей, производила на редкость отталкивающее впечатление. Не скажу, чтобы нам стало особенно весело, но мы угодливо хихикали.

Потом Саввка организовал травлю «газетчика» — скромного и невзрачного петуха неопределенно-белого цвета. Он никому не делал вреда, старался поскорее стушеваться при нашем появлении, но мы его замечали и сейчас же устраивали травлю. Как-то раз мы особенно долго преследовали «газетчика». Обессилившая птица забилась в кусты и лежала там неподвижно, а мы тыкали в нее палками. Моя палка упиралась в живое, вздрагивающее тело, и было что-то настолько дикое и безобразное в этой полной беспомощности приготовившегося к смерти животного, что нам троим, здоровым детям, вооруженным

крепкими палками, стало наконец стыдно. Не глядя друг на друга, мы потоптались, криво усмехнулись и побросали палки. С тех пор мы оставили петуха в покое, но ощущение этого податливого тела, в смертельном страхе вздрагивающего под моей палкой, и этой смеси любопытства, жестокости и жалости мне не забыть никогда.

Истязания животных прекратились совершенно, так как мы поняли основную истину, что плохо и стыдно обижать слабого, который не может защищаться. То чувство гадливости и отвращения к самим себе, какое охватило нас при травле несчастного «газетчика», и было тем голосом совести, который, раз пробудившись, уже никогда не оставляет человека.

Тем не менее мы продолжали вести свои наблюдения над животными и проверять сведения, полученные от чтения книг и разговоров взрослых. Вряд ли некоторые наши опыты могли быть названы бережным отношением к животным, но они были лишены элемента бессмысленной и нездоровой жестокости.

Так, однажды мы решили проверить способность кошки оставаться невредимой после падения с высоты, — об этом необыкновенном свойстве мы достаточно были наслышаны.

Мы поймали нашу кошку, по имени Елизавета Воробей, и, невзирая на ее сопротивление, втащили на чердак. Когда мы поднесли ее к окошку, она удесятерила свои усилия, стараясь вырваться, но железные руки Саввки, покрытые боевыми царапинами, удерживали ее над пропастью. «Мрачному предавшись пессимизму», как говорит Саша Черный, Елизавета издала последний утробный крик и полетела вниз… С жадным любопытством естествоиспытателей мы следили за полетом и увидели, что, еще не долетев до земли, кошка стала проворно перебирать ногами и, едва коснувшись почвы, вихрем шарахнулась в кусты, — падение ей действительно нисколько не повредило!

Столь же успешно прошел и второй опыт с Лизой Дворянское Гнездо — новое прозвище Елизаветы. На этот раз проверялось предполагаемое неумение кошек плавать. Мы затащили Лизу в море и торжественно опустили в воду. Ого, как здорово она умела плавать! Ныряя меж волнами, Лиза проворно достигла берега и «черной молнии подобна» пронеслась по песку в прибрежные кусты. Мы долго выманивали ее оттуда, чтобы вручить приз, припасенный заранее, — лакомый кусок печенки. Наконец она вышла, и мы ужаснулись ее изменившемуся виду — невероятно тощая, с тонюсенькой шейкой… Оказывается, ее полнота была только кажущейся — это все была только пушистая шерсть.

Аналогичный опыт был проделан с петухом, но уже не

«газетчиком», а другим крупным и гордым представителем породы куриных. Он был словлен на заднем дворе, где важно и независимо прохаживался среди своих кур. На заднем дворе, под крышей сарая, стояла большая бочка, почти до краев наполненная дождевой водой, там плавали стоймя красные булавочки — это были такие червячки. Они передвигались странным образом — толчками, ломая пополам свое туловище.

Мы решили проверить, сможет ли петух, поставленный в условия водоплавающей птицы, употребить свои ноги для плавания, или же он сразу пойдет на дно. Перепуганные червяки бросились врассыпную, когда мы осторожно опустили петуха в непривычную стихию. Против ожидания, он и не подумал тонуть, — спокойно и с достоинством озираясь, он величественно поплыл вдоль стенок бочки. Восхищенные таким мастерством, мы дружно закричали «ура!».

Посещения заднего двора не особенно поощрялись взрослыми, но мы всегда находили предлог попасть туда, так как нас страшно привлекали конюшни, коровники и тот маленький хорошенький домик, где жили свиньи — гладкие, розовые, с двумя загадочными сосисками, висящими под подбородком, — порода, что ли, была такая? Загончик у них был перемешен ногами в непролазную грязь, но они бродили по ней с видимым удовольствием и даже валялись, блаженно хрюкая. Потом они теми же грязными ногами становились в корыто и ели свое месиво, так страшно чавкая, что мы сконфуженно отворачивались — вот уж настоящие свиньи!

В коровник мы не заходили вовсе, потому что громадные коровы внушали страх и уважение, — недаром мы выросли в Финляндии, где коров очень много и они бродят в полудиком состоянии во всех лесах и по всем дорогам. Няньки пугали нас ими, и только Саввка проявил раз необыкновенную храбрость — он гулял с мамой в саду и вдруг увидел страшную рогатую голову, выглядывавшую из-за забора. Вцепившись в мамину юбку, Саввка смело закричал корове: «Мука, ди, я за маму дезуся!»

На конюшне стояла добродушная кобыла Поляна с белой звездой на лбу со своим озорным сыном Хабьясом. Это было коварное животное, не поддававшееся никакой дрессировке со стороны Мики — кучера. Один раз Хабьяса запрягли в коляску, но он пронесся карьером, на крутом повороте у ворот тряхнул коляску о камень, лежавший там, ликуя, порвал постромки и помчался в поле. Мика, однако, не выпустил вожжей и не то как-то ехал, не то бежал за лошадью через канавы, поля и заборы.

Этот Хабьяс так и не сделался окончательно ручным и однажды зимой вывернул сани, в которых мама с тетей Наташей

везли сотню мерзлых зайцев, прямо в канаву, заваленную снегом. Сани перевернулись и накрыли пассажирок, а Хабьяс умчался куда-то далеко по дороге.

Вскоре он скрылся за поворотом, а за ним скрылся и кучер Мика, напрасно взывавший свое «сатана, пергола…».

Когда, кряхтя и стеная, мама и тетя Наташа вылезли из-под саней, дорога была пуста, и им пришлось самим ставить сани на дорогу и разгребать сугробы в поисках зайцев. Многих тогда недосчитались, но это не было большой бедой, так как зайцы всем смертельно надоели. Они подавались каждый день к столу то жареные, то печеные, то под соусом, то в виде паштета… Ведь это уже были те времена, когда стало мало продуктов, и летом мы ели хлеб зеленого цвета, испеченный из небольшого количества муки и большого количества травы, — такая трава буйно растет под заборами и на помойках, она дурно пахнет, и листья у нее сочные и большие. Ее варили, пропускали через машинку и смешивали с мукой. Получался ярко-зеленый, прямо-таки изумрудный хлеб, который был изумительно вкусен, особенно с парным молоком. Отлично помню, как, за что-то наказанная, я была оставлена без обеда и посажена в пустую комнату. Рыдая, я сидела на матрасе, как вдруг отворилась дверь и сердобольная тетя Наташа просунула в щель кружку с молоком и большой кусок только что испеченного зеленого хлеба. Сейчас же горе было забыто, и я с наслаждением стала есть хрустящую горбушку, запивая вкусным финским молоком и от избытка чувств болтая в воздухе своими босыми, заскорузлыми ногами.

Это были уже те времена, когда папа — чтобы отвлечься немного от мучительных мыслей о войне, чтобы скоротать длинные пустые дни, когда почему-то перестали приезжать гости, чтобы не думать о нерадостных вестях, приносимых телеграммами, — придумал построить дорожку, которая вела бы по обрыву к берегу Черной речки.

Этот наш обрыв был самым интересным, диким и романтическим местом сада. Глубокая река крутой излучиной огибала обрыв, которым неожиданно заканчивался пологий спуск холма. Это был поразительный контраст, — куда вдруг исчезал наш культурный сад с его расчищенными дорожками, клумбами, с изящными группками молодых березок, с его пестрыми лужайками и серебристыми пихтами. Он исчезал, проваливался в дикий обрыв, где все перепутывалось в непроходимую чащу. Там в таинственной зеленой тени росли ландыши, там куковали кукушки, там цвела черемуха. Разве увидишь где-нибудь в Европе, во всех ее унылых, причесанных лесочках, простое русское дерево черемуху?

Вот она стоит на крутом спуске обрыва, спрятанная другими, более высокими деревьями, в непролазной гуще всяких кустов и травы. Ее сочные темные листья блестят от росы, а цветы — белые, пахучие — тяжелыми гроздьями свешиваются вниз, покрывают все дерево, наполняют воздух таким необыкновенным, единственным в мире ароматом. Потянешь за ветку, и пахучие капли росы падают на лицо, на шею, — они холодные в тени, тогда как верхушка дерева уже просохла, прогретая солнцем, и четко вырисовывается на синем небе, споря белизной с облаками, такими, каких тоже не увидишь в Европе.

Это был настоящий гончаровский обрыв, где, казалось, еще слышались таинственные выстрелы, шипящим эхом раскатывающиеся по крутому берегу Волги, то бишь Черной речки, это там стояла ветхая беседка, уничтоженная приказом бабушки Татьяны Марковны, только на нашем обрыве это была водокачка — хорошенький домик, где всегда шумели и тарахтели какие-то машины.

По обрыву спускалась лестница, вырубленная в земле, со ступеньками, местами обвалившимися и заросшими травой. В густой тени деревьев она шла зигзагами прямо на берег зеркально тихой Черной речки, получившей свое название от темного цвета воды, — налитая в таз, она и там казалась коричневатой. У берега был глубокий, тихий заливчик, отделенный от берега небольшой отмелью, где при низкой воде выступал крошечный песчаный островок. В мелком проливчике между отмелью и берегом было место наших купаний, потому что там светло-коричневая вода прогревалась солнцем. Маленькие рыбешки мелькали около наших загорелых ног, которые как будто бы ломались и прогибались в солнечных лучах. В заливчике, где было очень глубоко, купались взрослые. Они сходили в воду по деревянной лесенке — верхние ее ступеньки были сухие и теплые, а нижние, холодные и скользкие, уходили куда-то глубоко в темную воду. Задумчивые жуки, как опытные фигуристы, скользили по гладкой воде, — под их ничтожной тяжестью она только слегка продавливалась, пружинила. Мерцая голубым огнем, стремительно появлялась стрекоза и присаживалась отдохнуть на длинный стебель камыша, — только, затаив дыхание, протянешь руку, как она срывается и исчезает, как видение, а стебель камыша еще долго покачивается в теплом неподвижном воздухе.

На берегу стояла купальня — уютный деревянный домик с крылечком. В купальне стояли скамейки, на которых виднелись подсыхающие следы мокрых тел, висели пестрые мохнатые полотенца и душно, жарко пахло смолой нагретых солнцем досок. Оттуда слышится говор и смех переодевающихся людей, гулко отдающиеся в маленьком помещении, — все веселы, все шутят. Их бывало много, этих веселых, молодых людей: барышни в белых платьях, — они кажутся мне все на одно лицо, но это совсем разные «тети» — тут папины и мамины сестры, их подруги, знакомые; франтовато одетые мужчины в белых фланелевых костюмах время от времени бросают палку в воду, для того чтобы наш красавец сенбернар Тюха принес ее обратно. Пес с готовностью бултыхался в воду, быстро и ловко доставал палку и гордо нес ее тому, кто бросил. С его густой шерсти стекали ручьи воды, — дойдя до людей, он останавливался и вдруг изо всех сил встряхивался, скрываясь в облаке радужных брызг… Что тут делалось! Барышни с визгом бросались врассыпную, стараясь спасти свои туалеты, а мы хохотали, так как, зная коварный нрав Тюхи, заранее предвкушали это зрелище.

В правую сторону от купальни начинались владения нашего соседа Плаксина, отгороженные жидким заборчиком. Наивно было думать, что такой забор может служить непреодолимым препятствием для нашей предприимчивости, — увы, во многих местах, скрытых от взрослых, но прекрасно известных нам, имелись вполне благоустроенные лазейки, через которые мы проникали в священные владения господина Плаксина и беспрепятственно обворовывали его богатые плантации малины и крыжовника. У нас в саду тоже росла всякая ягода, так что было непонятно, зачем нам нужна чужая, но нас привлекал риск самого предприятия: лезть через забор, красться к огороду — все это было очень интересно, а кроме того, как известно, запретный плод сладок, а мы были вдобавок уверены в своей безнаказанности. Если свирепый садовник Плаксина и зацапает нас, он все равно не посмеет жаловаться — папино имя служило надежной защитой от всех доносов. Злоупотребляя этим исключительным положением, мы однажды под предводительством Вадима, нашего наставника и учителя, трудолюбиво выбили из рогаток все разноцветные стеклышки в китайской беседке несчастного Плаксина.

С другой стороны купальни была построена дамба, по которой можно было пройти к пристани, плававшей на бочках на самом глубоком месте реки. Там стоял весь наш речной флот в виде больших и малых лодок, каких-то диковинных баркасов с пробковыми бортами, шлюпок и тузиков. Среди этого множества

выделялась большая моторная лодка, потом уродливый и неуклюжий баркас с надписью, выведенной белыми буквами, — «Хамоидол», нечто длинное и зеленое под неблагозвучным именем «Сопля» и крошечный тузик «Лягушонок».

Иногда к пристани пришвартовывалась яхта «Савва», которая с трудом пробиралась через мелководные места Черной речки, в то время как большая морская яхта «Далекий» принуждена была стоять у причала яхтклуба в Або. Это был настоящий корабль, блестевший коричнево-красным лаком и надраенными медными частями, пахнувший просмоленным канатом и далекими морскими просторами. На нем папа уходил на целые месяцы в море, в шхеры. Как бывалый морской волк — бритый и загорелый, в белом кителе и капитанской фуражке с белым верхом, — он возвращался из этих путешествий. Мама сопровождала его повсюду. Она умела разбираться в метеорологии, точно определяла погоду на завтра, силу и направление ветра и гребла не хуже любого балтийского матроса.

Она была матросом и коком — в маленьком камбузе «Далекого» мама готовила всякие вкусные вещи, вроде жареных грибов в сметане, которые так любил папа.

Они совершали удивительные поездки в шхеры — крошечные безлюдные островки Финского залива. Они высаживались в миниатюрных бухтах из серовато-розового гранита, отражавшегося в зеркальной поверхности бледно-голубого моря, они лазили по округлым скалам, купались в мелкой прозрачной воде, собирали грибы и ягоды на полянках среди берез и елей.

Довольно часто в такие плавания брали Саввку, — он был старший и мог более сознательно относиться к окружающей красоте. Нечего и говорить, что он очень возгордился и, возвращаясь домой, совершенно подавлял нас с Тином своим авторитетом бывалого мореплавателя. Чтобы продемонстрировать мне свое умение управлять кораблем, он предложил мне раз покататься на лодке. Я была всего на год моложе его, а было мне в ту пору четыре года. Роста я была, однако, одинакового с Саввкой и значительно толще. Он быстро усыпил мои сомнения насчет того, что скажут папа и мама относительно нарушения строжайшего запрета ходить к реке, заявив авторитетно, что ведь никто не узнает. Дружно взявшись за руки, мы спустились к реке и по мосткам взошли на пристань. До сих пор мне было очень весело, но тут я взглянула на воду — черную и гладкую, подозрительно спокойную, — в перевернутом виде в ней отразилось мое собственное лицо с вытаращенными глазами. Мне стало страшно. А Саввка между тем уже влез в лодку, что-то там сделал с веслами и говорит: «Готово! Лезь,

Пуча!» Я попятилась. А он за руку схватил и тянет в лодку, а лодка-то понемножку отъезжает, и страшная, черная полоса воды все шире. Я упираюсь, а он тянет, и я все больше, все ниже наклоняюсь над водой… Потом раздался чей-то страшный крик, все заколыхалось перед глазами, стало темно и холодно.

Конец нашей авантюры опять весьма отчетливо запечатлелся у меня в памяти. Мы с Саввкой ревем дружным дуэтом — он тонко и со всхлипами, а я тяну мерным и мрачным басом. Мы взбираемся по лестнице от реки, вот последние высокие ступеньки, уже виден залитый солнцем сад. Сзади идет папа с хворостиной. Он равномерно в такт шагам подхлестывает нас и приговаривает: «Не ходи к реке! Не ходи к реке!»

Оказывается, садовник, работавший наверху обрыва, посмотрел случайно вниз и увидел нас в то мгновение, когда я падала в воду. Рискуя сломать себе шею, он бросился по круче вниз и благополучно выудил меня из воды. Ну а папа откуда взялся — неизвестно.

Куда исчезло то беззаботное счастливое время? Когда совершилась эта перемена, сделавшая жизнь неустойчивой и странной? Понимали ли мы тревожный смысл телеграмм, которые приносили папе прямо на дорожку, постройкой которой он старался отвлечься от своих мыслей?

Незаметно сделалось так, что к папе все стали относиться как к больному. «Тише, дети, у папы болит голова! Не шумите, папа спит! Не ходите в кабинет, папа работает!» — только и слышно было в доме. Но я видела, что папа не работал, а ходил взад и вперед по своему огромному кабинету, и его неумолчные шаги слышались даже ночью. Он не болен, потому что к нему не зовут доктора и он не лежит в постели, а в то же время у него такой вид, как тогда, когда он зажигал спичку. По молчаливому уговору все стараются припрятать для него самую вкусную еду, которая, кстати сказать, становилась все более скромной. Эти наивные усилия были направлены на смягчение, улучшение его жизни, тяжесть и нелепость которой с каждым днем все больше наваливалась на него, страдальчески сдвигала брови, горела лихорадочным огнем в запавших глазах.

Постройка дорожки, возбуждение и рабочий азарт, споры о технических деталях, измерения натянутым шнуром, борьба с обрывом, с упрямыми корнями деревьев — все это был самообман. Так смертельно усталый пловец еще двигает руками и ногами, стараясь доказать себе, что у него хватит силы доплыть до берега, но его судорожные движения не могут никого обмануть, и гребцы, сгибая весла, уже мчатся ему на помощь. Но папе никто не мог помочь…

А мы, дети, с искренним увлечением возили взад и вперед наши маленькие тачки, сделанные папой, копали, нагружали, выгружали.

А на обрыве росла черемуха, ландыши прятались в его тенистых, одним нам известных уголках, и в нагретой траве душно пахло дикой гвоздикой, — ее тоненькие, липкие на суставчиках стебельки с лилово-красными звездочками цветов густо росли на склоне. На том же, обращенном к югу, покатом склоне обрыва, среди поблекшей от солнца травы, росли скромные, неяркие цветочки — кошачьи лапки. Все так же мы плели из них венки, не подозревая о том, что скоро одному из этих венков суждено будет проехать по всем печальным дорогам Европы. Этот засохший венок из родных кошачьих лапок нашего сада будет окружать рамочку с наглухо закрытыми дверцами, а за дверцами на фотографии мертвая папина голова, тяжело вдавленная в подушку.

Безмятежно и беззаботно мы радовались жизни, не придавая никакого значения наступившим переменам, а подчас и вовсе не замечая их.

А перемены наступали незаметно и для более наблюдательного глаза, — с виду все было благополучно и даже счастливо. Не всегда папа выглядел таким мрачным и озабоченным, иногда он шутил и смеялся по-прежнему, как будто бы его вновь согрели какие-то надежды. Мы так любили папину улыбку, что инстинктивно старались сделать ему какое-нибудь удовольствие для того, чтобы он улыбнулся, мы старались заранее предугадать его желания и стремглав бежали исполнить их. Мы изучили до мелочей все его привычки, вкусы. Мы собирали полевые цветы, причем букет из папиных любимых маков, ромашек и колокольчиков ставился обязательно в кабинет, на письменный стол. Для остальных членов семьи тоже собирались букеты: мамин — ландыши и шиповник, бубушкин — дикая гвоздика и кашка, тети Наташин — ночная фиалка и те желтые, нежные цветы, которые растут на сырых тенистых лугах, — у них круглые головки и лепестки завернуты внутрь, как у маленьких брюссельских капусток. Возможно, что одаренные нами взрослые для того только, чтобы доставить нам удовольствие, так шумно выражали свой восторг, но мы принимали их эмоции за чистую монету и не жалели трудов, лазая по оврагам и бегая на отдаленные луга в поисках их любимых цветов.

Бегали обыкновенно мы с Тином, — так уж повелось, что Саввка такими мелочами жизни не занимался.

Папа очень любил класть себе в чай несколько ложек

земляники или малины. В саду у нас было вдоволь малины и были грядки с особой «ананасной» клубникой — ее желтовато-розовые ягоды в виде пузатых бутылочек были необыкновенно душисты, но папа предпочитал дикую малину и лесную землянику.

Мы с Тином вставали рано, когда солнце еще косо освещало дом и мокрая от росы трава холодила босые ноги, и, вооружившись кружками, проникали сквозь лазейку в сад Плаксина. Там был лужок, полого спускавшийся к реке. Если идти снизу и осторожно раздвигать траву, то тут и там можно было увидеть красные земляничины, скромно прячущиеся под листьями. Драгоценных ягод бывало, однако, очень мало, и нам в голову никогда не приходило положить какую-нибудь в рот. Осторожно, чтобы не помять, мы срывали их дрожащими от напряжения пальцами и клали в кружку, причем ягоды помельче и похуже клались вниз, а самые крупные и спелые составляли верхний слой. Мы рыскали в неприступных оврагах, обшаривали самые крутые склоны, обыскивали все известные нам места, где когда-либо посчастливилось найти несколько ягодок. Полные охотничьего азарта, мы забирались далеко от дома и, несчетное число раз примерившись, достаточно ли высоко поднялся уровень ягод в кружках, мы наконец решали бежать домой, чтобы не опоздать к чаю. Небольшая задержка у молоденькой липки — ягоды лучше всего выглядят на ее больших круглых листьях, и нужно их нарвать побольше, — мы, усталые, голодные, исцарапанные, но бесконечно счастливые, рысью устремлялись по знакомым тропинкам домой.

Для подбодрения духа и для быстроты срезались хлыстики, непременно из молодых побегов рябины или ивы, причем на конце обязательно оставлялся пучок мягких листочков. Пробираясь рысцой по заросшим подорожником тропинкам, мы легонько стегали себя по ногам этими хлыстиками, приговаривая в такт: «Мендель-рысью, мендель-рысью…» Что это заклинание должно было означать и откуда оно взялось, этого никто не знал, но оно значительно облегчало бег и придавало ему известный ритм и гармонию. Такой «мендель-рысью» мы могли пробежать много километров, а на лицах у нас в это время расплывались блаженные улыбки, вызванные ритмичной слаженностью движений.

Прискакав домой, мы шли в столовую, где огромный стол был уже накрыт к утреннему чаю. Торопливо, пока никто не вошел, мы раскладывали на скатерти наши липовые листья и распределяли землянику по точно установленному правилу: папе самая большая кучка тщательно отобранных спелых ягод, маме

кучка поменьше, бабушке еще меньше, другим домочадцам уже просто по нескольку ягод. Ведь, собственно говоря, вся земляника была папина, остальных мы только угощали, так сказать, от его имени. Себе, конечно, мы не оставляли ничего — как можно! — самим собирать, потратить столько трудов и вдруг съесть — даже совсем невкусно!

Когда все порции были как можно декоративнее разложены, мы с Тином отступали на шаг, чтобы еще раз окинуть взором всю картину, — как красиво выделялись красные ягоды в зелени листьев на белоснежной скатерти! Смешно сказать, но мы чуть ли не с благоговением смотрели, как папа набирает на ложечку землянику, опускает ее в стакан, раздавливает в чае и пьет. Он улыбается и подмигивает нам. Этот момент сторицей вознаграждает нас за труды. Да какие там труды!

Почти теми же благоговейными глазами на папу смотрела его мать, наша бабушка Анастасия Николаевна. Это была небольшого роста, еще не с седыми, а с темными волосами старушка, всегда очень аккуратная, подтянутая, гладко причесанная на прямой пробор. Она боготворила папу и предпочитала жить у него, а не у других своих детей, хотя шумная обстановка нашего дома должна была ей казаться малопонятной и чужой. В самом деле, несмотря на свой природный ум, бабушка была проста и полуграмотна, писала со страшными ошибками, верила в чертей и домовых, перевирала фамилии и слова иностранного происхождения и ничего не понимала в произведениях Гойи и Микеланджело. Но папа платил ей самой нежной сыновней любовью, старался пореже расставаться с нею, возил с собой в шхеры и в Италию. Безгранично уважая мать, он любил ласково подтрунивать над ее ошибками, почерком, суеверием, потешался над ее страхом перед ворами, злыми собаками и грозой. Он надавал ей массу смешных прозвищ, но сколько любви и нежности сквозило в них! Она была и «китайской курильницей», и «мошенником с Горбатого мосту», и «рыжим дьяволом», и просто «рыжиком», «рыжичком». Каждое прозвище имело свою историю, — так, «мошенником с Горбатого мосту» папа прозвал ее за одну успешно проведенную, но сомнительную торговую операцию. У бабушки в шкафу хранились с незапамятных времен высокие сапоги покойного дедушки. Они были совершенно новые, но никто не мог носить их, так как они были сшиты на одну ногу, — почему? Был ли сапожник выпивши, или сам дедушка был не в себе — история семейных преданий об этом умалчивает. Однажды в Москве, доведенная до отчаяния беспросветной нуждой, бабушка завернула сапоги в чистую тряпочку и понесла продавать на толкучку. Она очень ловко показывала покупателям всегда только один сапог, мерить давала

тоже только один, и наконец покупатель взял сапоги, получив в придачу и тряпочку, в которую бабушка их тщательно завернула. Всю дорогу домой бабушка бежала без оглядки — как бы не опомнился облапошенный человек!

У бабушки была небольшая темноватая комната. В углу перед иконой всегда теплилась лампадка, пахло сушеным смородиновым листом и валерьяновыми каплями. Мы часто забегали к бабушке, у нее так уютно горела лампа под зеленым абажуром, она сидела у стола и читала. Рядом стояла лакированная табакерка — бабушка раньше курила, отсюда прозвище «китайская курильница», потом курить бросила, но табак нюхала, и мы однажды засунули в табакерку здоровенного майского жука, за что нам здорово влетело от папы. Часто бабушка шила что-то на старенькой швейной машинке с обломанной фарфоровой ручкой, и для меня было большим удовольствием вставлять нитку в машинную иголку или старательно вертеть ручкой под указания бабушки.

На стене висел большой портрет папы — очень серьезный маленький мальчик, чем-то похожий на Наполеона, важно сидел в плетеном креслице. Мне всегда как-то не верилось, что наш папа мог быть когда-то таким вот мальчиком вроде Саввки, которого, может быть, тоже шлепали и ставили в угол за шалости. Однако внимательный и печальный взгляд мальчика и суровая складочка между темными бровями убеждали, что это все ж таки папа.

На другой фотографии была изображена бабушка, окруженная всеми пятью детьми: папа, самый старший, дядя Павел, тетя Римма, дядя Всеволод и, наконец, маленький дядя Андрей. Еще там была тетя Зина, которой я и не знала, — она умерла еще до моего рождения.

Дядя Павел — щуплый, чернявый мужчина с бледным лицом и бородкой, носил пенсне со шнурочком, как у Чехова. Он был учителем рисования в какой-то гимназии, к нам, детям, относился свысока и жил в деревенском домике у самого устья Черной речки. С женой у него были какие-то сложные отношения, кажется, она разошлась с ним и вышла замуж за дядю Андрея. Во всяком случае, тетя Наташа, которая сама имела виды на дядю Андрея, обиженно поджимала губы, когда говорила о ней, а папа прозвал ее «братской могилой» — в шутку, конечно. В домике жили еще две девочки — одна была дочкой дяди Павла, другая дяди Андрея, — помню, я их бивала, так как была значительно сильнее и толще.

Чаще всего мы общались с детьми тети Риммы — мальчишками Люсей и Левой и девочкой Галей, одних лет со мной. Она была беленькая, худенькая и плаксивая. Отношения

были натянутыми, так как мы часто мерились ростом, я неизменно оказывалась выше и злорадно торжествовала, а Галя обиженно хныкала.

Дядя Всеволод был мужем тети Наташи. У них был мальчик Игорь — Горик, как его все называли. Это был хороший, умненький ребенок, и говорили, что папа любил его больше всех своих племянников. Он умер шести лет от роду от скарлатины. Тетя Наташа рассказывала, как он еще вечером с аппетитом кушал селедку, которую очень любил, а ночью у него сделался страшный жар, и через два дня умер бедный Горик. Его имя, казалось мне, происходило от слова горе, и действительно, большое горе было у нашей доброй тети Наташи. Она мало счастья видела в жизни. Дядя Всеволод вскоре после смерти сынишки заболел какой-то тяжелой болезнью, называвшейся сухоткой спинного мозга, и тоже умер. Говорили, что за несколько дней перед смертью он сошел с ума и все время кричал: «У Павла на террасе, у Павла на террасе!» С этим криком он и умер, и я часто ломала себе голову над неразрешимой загадкой — что же было у дяди Павла на террасе, почему бедный дядя Всеволод так и не договорил этой фразы? Наверное, что-то страшное было на этой террасе, так как кричал он настойчиво, отчаянно, даже под конец охрип и уже только шептал.

Характер у дяди Всеволода был, по-видимому, не особенно хорошим. Я сужу об этом по тому, что впоследствии, когда кому-нибудь из нас случалось проявить упрямство, злость или вздорность, тетя Наташа определяла эти свойства одним веским афоризмом: «Характер как у дяди Всеволода».

Дядя Андрей был единственным из братьев Андреевых призван в армию и участвовал в войне четырнадцатого года в чине прапорщика. Иногда он приезжал в отпуск и, странно выделяясь своей военной формой среди нашей глубоко штатской семьи, сидел за обеденным столом, громко и весело разговаривая. У него были волнистые светлые волосы, пушистая жидковатая бородка и стройная фигура. Он в три счета очаровал нас, и мы с восторгом рассматривали его Георгиевский крестик и, разинув рты, слушали фронтовые приключения. Папа тоже был весел и добродушно смеялся, глядя, как он отправляет в рот целые дольки чеснока, с хрустом их разжевывая.

Он здорово умел показывать фокусы, и мы ходили за ним по пятам, приставали и без конца канючили: дядя, покажи фокус!

Потом он опять уезжал, а тетя Наташа получала от него письма и о чем-то шепталась с бабушкой. В письмах он называл тетю Наташу «моя Кармен», потому что она очень мило пела: «Любовь не птичка не ручная…» Потом он перестал писать,

говорили, что он в плену, почему-то обязательно в Омске; прошло долгое время, и наконец все чаще стала слышна повторяемая взрослыми фраза: пропал без вести. Он так и не вернулся.

Тетя Наташа совсем переехала к нам. Папа очень любил ее за добрый веселый нрав, за любовное отношение к бабушке, за заботу о нас, детях. Он взял с нее слово, если он умрет, никогда не оставлять нас. Тетя Наташа обещала ему это и посвятила все свои силы неблагодарному труду — нашему воспитанию. Она заботилась о том, чтобы мы были накормлены, одеты, обуты и причесаны. При проявлении лени, непослушания или других пороков она прибегала к моральному воздействию плетки или какого-нибудь другого хлещущего предмета, первым очутившимся под рукой. Роковым образом таким предметом чаще всего оказывался зонтик, сокрушительным ударом обрушивавшийся на спину провинившегося. К несчастью, конструкция зонтиков не была, видимо, рассчитана на такие перегрузки, и зонтик при первом же соприкосновении с мускулистым телом преступника с легким треском разламывался пополам. Горестно вздыхая, тетя Наташа отдавала зонтик в починку, давая себе зарок впредь не употреблять его как орудие наказания. Увы, она слишком скоро забывала об этом обещании, и, когда Тин, что-нибудь натворив, нарочно в провокационной близости прошмыгивал мимо нее, зонтик взвивался в воздух и, конечно, быстренько приобретал тот же плачевный вид, что и до починки, к превеликой радости ехидного Тина.

Я очень любила слушать рассказы тети Наташи о ее детстве и о знакомстве с семейством Андреевых. Она родилась в какой-то бедной деревушке Московской области, мать у нее давно умерла, а отец отдал девочку на воспитание в семью обрусевшего немца, который жил ка окраине Москвы, недалеко от Воробьевых гор. Это было чинное семейство, которое в общем хорошо относилось к Наташе и не обижало ее. Наравне с четырьмя дочерьми немца она занималась домашним хозяйством, вышиванием и пением благочестивых псалмов. Спали все девицы в одной комнате, окна которой выходили в большой запущенный сад, — там росли высокие старые деревья, а по ночам светила луна и пели соловьи. По воскресеньям все девицы надевали одинаковые белые платья и чинно шествовали впереди родителей на прогулку по Воробьевым горам. Толстый папаша-немец, благодушно настроенный после сытного обеда, кивал знакомым, а мамаша делала замечания дочерям, если они не так скромно, как ей казалось, посматривали на проходивших молодых людей.

Вот шествуют они однажды по дорожке, а из-за поворота вдруг выходит целая компания веселых и слегка подвыпивших

студентов. Впереди залихватская фигура в красной рубахе с расстегнутым воротом, в фуражке, заломленной на сторону. Опустив глаза, девушки гуськом поспешили пройти мимо веселой компании, не преминувшей отпустить им вслед несколько оценивающих замечаний. Студент в красной рубахе немного замешкался, глядя им вслед, а когда повернулся, чтобы идти дальше, то чуть не столкнулся с толстяком немцем, который смерил его уничтожающим, полным презрения взглядом. Парень остановился, уперся в бока руками, посмотрел этак лихо и сказал, покачивая головой: «А как мне твоя рожа не нравится!» Багровый от возмущения толстяк поспешно удалился, провожаемый взрывами смеха нечестивой молодежи. Впоследствии стало известно, что нахальный парень в красной рубахе и есть тот самый отъявленный повеса и сорвиголова Ленька Андреев, первый на все Воробьевы горы зачинщик всех веселых предприятий студентов.

Вскоре после этого прискорбного происшествия тетя Наташа, вопреки строгому запрещению, сидела одна часов в одиннадцать вечера на скамеечке у ворот сада. Привлеченная красотой ночи, она предприняла рискованное путешествие из окна своей комнаты по заблаговременно приставленной к нему лестнице. Немецкие девицы под своими добротными перинами сладко спали, а в постели Наташи лежала искусно сделанная из одеяла кукла, долженствовавшая обмануть бдительность старой немки, которая имела скверную привычку проверять, все ли девушки благонравно спят.

Вот сидит Наташа на скамеечке, а луна светит, и соловьи так и заливаются. И видит она — какой-то молодой человек прошел мимо да так пристально в нее всматривается. Прошел, остановился, опять назад пошел и все на Наташу посматривает. Так походил, походил взад-вперед, наконец осмелел и присел на другой конец скамейки. Завязался разговор. Сначала они обменялись довольно отрывочными замечаниями насчет соловьев, луны и прочих красот природы, потом беседа оживилась и перешла на более личные темы. Расстались молодые люди под утро, когда короткая летняя ночь уже начинала светлеть перед рассветом и лопухи, в которых лежала спрятанная лестница, щедро обрызгали росой Наташины руки, когда она, продрогшая и счастливая, вытаскивала ее, чтобы приставить к окну.

При этом первом свидании было выяснено, что молодого человека зовут Всеволод Андреев, что он младший брат того повесы, который так ужасно оскорбил почтенного немецкого семьянина, но что это вовсе не повеса, а хороший любящий сын и

брат. Дальше было рассказано, что старший брат после смерти отца является главою в доме, что живут они очень скромно, чуть ли не бедно, и что он, Всеволод, служит маленьким чиновником с месячным окладом в двадцать рублей. Все это не помешало романтически настроенной семнадцатилетней девушке влюбиться в молодого человека, причем большую роль в этом деле сыграли луна и соловей, так самозабвенно распевавший в эту прекрасную летнюю ночь.

Надо ли говорить, что свидания продолжались до тех пор, пока не случилось то, что неминуемо должно было случиться, — старой немке понадобилось что-то в комнате у девушек. Не найдя того, что искала, немка спросила Наташу, — чучело на кровати, естественно, не отвечало. Подойдя ближе и тронув за плечо воображаемую девушку, почтенная мать семейства так страшно взвизгнула, что ее услышала даже влюбленная парочка у ворот. Почуя неладное, Наташа поспешила к лестнице, уже начала приставлять ее к окну и… чуть не заехала ею в ухо неосторожно высунувшейся немке, которая как раз в этот момент догадалась, каким путем скрылась беглянка. Выбежав из дому и схватив Наташу за руку, мамаша довольно бесцеремонно потащила ее к воротам, предположив, что именно там нужно искать Наташиного партнера. В лице презренного соблазнителя она тут же узнала… кого же? Брата того самого повесы, который, как мы уже знаем, так неслыханно оскорбил главу семейства! Перед заплаканной Наташей была в ярких красках представлена вся глубина ее падения и та черная неблагодарность, которой она отплатила своим благодетелям. Была поставлена ребром жесткая альтернатива — или мы, или Андреев! Наташа выбрала Андреева, и ей пришлось уйти из дома и пуститься по тернистому пути самостоятельной жизни. Бедный Всеволод тоже вовсе не был готов к столь стремительной развязке. Ведь он жил дома, был еще очень молод, мало зарабатывал и не без оснований опасался, что старший брат не слишком ласково отнесется к его знакомству.

Он нанял крохотную комнатушку и поселил там Наташу, а сам как ни в чем не бывало продолжал жить дома, время от времени «ночуя у приятеля», как он говорил брату. Все шло прекрасно, если не считать тоскливой и полуголодной жизни Наташи, которая только вечером рисковала выходить на улицу. Но однажды папа встретил того самого приятеля, у которого так часто «ночевал» Всеволод. Первый вопрос, который этот человек задал папе, был: почему Всеволод к нему совсем не заходит? Заболел, что ли? Придя домой, папа призвал братца и потребовал отчета. Когда припертый к стене Всеволод рассказал брату историю своего романа, тот воскликнул: «Бедная девушка! Как же

ты живешь с нею, не обвенчавшись?! Немедленно приведешь ее к матери — и будет свадьба!» Дрожащая Наташа с трепетом переступила порог дома своего жениха, но Анастасия Николаевна и папа обласкали ее, успокоили, и вскоре была сыграна скромная свадьба.

У тети Наташи в стеклянном ящичке вместе с волосиками маленького Горика, письмами дяди Андрея и другими реликвиями хранилась фотография — хорошенькая, тоненькая девушка с ласковым и робким взглядом черных глаз стояла в летнем платье у заборчика. Как мало она походила на ту тетю Наташу, которую я знала так хорошо, чью каждую морщинку я изучила, чьи буколики на височках, толстоватый нос, прекрасные белые зубы мне были так знакомы и дороги… Но это была она!

Как скромный и верный дух, тетя Наташа следовала за беспокойным нашим семейством, любила нас, как собственных детей, просиживала бессонные ночи у наших кроваток, когда мы болели, подкладывала в тарелку вкусные кусочки, жалела и утешала, когда приходили мы с разбитым коленом, гордилась нашими успехами и ругала за скверные отметки.

Родственники приходили и вновь исчезали, ненадолго задерживаясь в нашем доме. Между ними и мамой чувствовались натянутость, недоброжелательство. Может быть, им хотелось, чтобы мама уделяла им больше внимания, привязанности, входила бы в их узенький мирок семейных отношений, участвовала бы в их радостях и горестях. Но мама была слишком далека от их интересов, слишком занята папой, так как вся ее трудная жизнь была одно служение ему — преданное, напряженное, болезненно-страстное. Ей не только не хватало времени на поддерживание отношений с родственниками, но даже собственные дети мало видели ее — вечно занятую, озабоченную, строгую. Мама старалась быть ласковой, порой, как бы пробуждаясь, вдруг начинала интересоваться нами, брала на руки, расспрашивала. И невольно мы разочаровывали ее, казались слишком заурядными, диковатыми, мало ласковыми. Мне, например, было неловко с мамой, я боялась показаться ей глупой, я чувствовала, что маме хочется, чтобы я была красивая, какая-то необыкновенно одаренная, и сознание собственной ничтожности придавливало, заставляло умолкать, смотреть волчонком. Я ловила на себе мамин холодный, испытующий взгляд, и мне делалось так неловко, тяжело. Помню, один раз кто-то, наверное, сказал маме, что она слишком много времени уделяет Саввке, что это несправедливо, и вот тетя Наташа с торопливым и таинственным видом вдруг стала одевать меня и прихорашивать. «Поедешь с мамой на лодке, — шепнула она, — смотри, веди себя

хорошо, старайся маме понравиться!» Наверное, не следовало ей так говорить, потому что я сразу съежилась внутренне, испугалась. И вот уже уводят меня, подводят к маме, она смотрит на меня… Я с тоской думаю — предстоит длинное путешествие с глазу на глаз с мамой, как я выдержу это испытание? И вдруг ошеломляющая весть — лодка неисправна, мы никуда не поедем, я могу идти восвояси. Я до сих пор помню то чувство радостного облегчения, которое я испытала тогда. По-видимому, от меня требовали чего-то, что было выше моих сил, я не умела притворяться, не умела подольститься, как это требовали неразумные взрослые, и это угнетало меня. Не хватало простого, ясного отношения, но кто был в этом виноват, судить не берусь. Встречая с моей стороны настороженность и неловкость, мама делалась еще холоднее и строже и уходила из детской. Мне кажется, что таковы были и ее отношения с родственниками: мама не умела притворяться, не умела скрыть своего разочарования, а потом просто забывала про них. Это истолковывалось как эгоизм, гордость, злоба. А маме было просто неинтересно с ними, и она не умела этого скрыть. Маму трудно было представить беспечно щебечущей о каких-нибудь тряпках, о том, идет ли Симочке голубое платье или ей лучше сшить розовое. Она вовсе не интересовалась, кто за кем ухаживает, что сказала такая-то за обедом и что такой-то ей отвечал. Очень образованная, всесторонне эрудированная, мама находила себе собеседников среди писателей и художников, бывавших у нас, и всегда находила больше удовольствия в разговоре с мужчинами, чем в праздной болтовне женщин.

Когда потом я читала «Анну Каренину», то мне всегда казалось разительным мамино сходство с нею, — ведь Каренина тоже мало походила на светских кумушек, она тоже любила разговаривать с серьезными, умными людьми, интересовалась искусством и литературой, и не только интересовалась, но изучала, штудировала научный материал. Она во всем старалась не отстать от увлечений Вронского, знать обо всем даже больше, чем он, чтобы где нужно помочь советом или знанием. Так же и мама следовала за всеми увлечениями папы, изучала живопись и историю искусства, знала и увлекалась наравне с ним цветной фотографией, мореплаванием, не говоря уже о литературе, которую она знала и ценила лучше, чем какое-либо другое искусство.

У мамы был настоящий, мужского склада ум и недюжинные способности, и ничто ей не было так чуждо, как мещанство. Кроме того, мама серьезно занималась музыкой, и сколько раз я застывала под окном ее кабинета, притягиваемая неведомой

красотой ее игры. Конечно, я совершенно не разбиралась в произведениях Бетховена или Шопена, но меня неизъяснимо трогала мамина игра, что-то такое сладкое, щемящее поднималось в груди, сдавливало горло, выжимало из глаз непрошеные слезы. Я так твердо была уверена в своей глупости и заурядности, что стыдилась проявления этих чувств и ни за что на свете не поделилась бы ими с кем-нибудь из братьев, не говоря уже о самой маме. «Куда уж мне, — думала я, — ведь я ничего не понимаю!..»

Немудрено, что простая, полуграмотная бабушка тоже чуждалась нашей мамы. Говорили, что она гораздо больше была привязана к Александре Михайловне, папиной первой жене. И с тетей Наташей она была ласковее и вела с ней долгие задушевные разговоры в своей комнатке под лестницей. Бабушку, видимо, пугала шумная жизнь нашего громадного дома, бесконечные, с труднопроизносимыми именами гости, телефонные звонки, телеграммы, множество горничных, лакеев, гувернанток. Ей трудно было включиться в этот чуждый ей мир, и только папа был ей всегда близок: сама малообразованная, она каким-то чутьем понимала сложный мир папиной мятежной души и любила его бесхитростной, глубокой и простой — материнской — любовью.

На наши разбойничьи выходки бабушка смотрела с ужасом. Сколько раз, выйдя из своей комнаты, она застигала нас самозабвенно прыгающими по дивану в столовой. В наше оправдание следует сказать, что диван этот был неотразимо привлекателен своей необыкновенной длиной и доброкачественностью пружин. Он был расположен под углом, на возвышении в одну ступеньку над полом столовой и занимал половину длины этой огромной комнаты. Чтобы представить себе его чудовищные размеры, достаточно сказать, что он простирался под шестью большими зеркальными окнами. К тому же диван обладал великолепной спинкой, тоже обтянутой зеленым сукном и снабженной пружинами. Стоило только слегка подпрыгнуть, как пружины сразу приходили в действие и подкидывали высоко в воздух, а если постараться, то можно было успеть перевернуться, сделать сальто-мортале и прочие головоломные цирковые номера. Бабушка совершенно не ценила наших успехов на этом поприще и сразу начинала кричать: «Разбойники, отец ваш горбом своим заработал, а вы уничтожаете!»

Мы, хихикая, слезали проворно с дивана и удирали, так как боялись не столько бабушки, сколько возможного появления папы. Хихикали же потому, что было странно, как это папа своим горбом зарабатывает диван, — никакого горба у папы, конечно,

не было.

Бабушка страшно перевирала иностранные слова и фамилии знакомых, гостей и политических деятелей. Для папы не было большего удовольствия, как услышать какое-нибудь новое ее словечко, он хохотал до слез, добродушно, весело. Так, раз бабушка, очень взволнованная, вбежала в папин кабинет и провозгласила: «Ленушка, иди скорее, там карета подкатила, а на запятках ливерный лакей стоит!» Другой раз это была «фаршированная телеграмма», а когда папа собрался ехать в Петроград на скачки, то бабушка озабоченно говорила ему, чтобы он не вздумал играть на пульверизаторе.

Бабушка очень боялась воров и перед сном обязательно заглядывала под кровать, под диван и за портьеры. Каков же был ее испуг, когда, войдя как-то вечером к себе в комнату, она увидела под кроватью чьи-то ноги в огромных, заскорузлых сапогах, — ясно, что там притаился вор… Отчаянный крик, всеобщее смятение, а тут уже появляется ухмыляющийся папа и, страшно довольный, объясняет, что это он стащил у нашего дворника сапоги и положил под постель, придав им весьма естественное положение ног лежащего человека.

Другой раз папа придумал еще более сложный фокус — привязал к бабушкиному носовому платку нитку и вывел ее за дверь. Когда бабушка протянула руку к платку, невинно лежавшему на столе, он вдруг подпрыгнул и отодвинулся. Решив, что это ей показалось, бабушка снова протянула руку, но платок прыгнул от нее на пол и пополз к двери… Опять крик, суматоха, и опять появляется с наивно удивленным видом папа — это, конечно, он дергал за нитку из-за двери.

Все эти добродушные шутки и проказы отрадно действовали на тяжелую атмосферу нашего дома, где все время чувствовалось биение какой-то трудной, трагической жизни. Они рассеивали мрак тяжелых туч, все более заволакивавших безмятежную синеву нашего детского неба, заставляли забывать о грозе, собиравшейся где-то на горизонте, и рождали смутную надежду: может быть, все-таки гроза пройдет мимо? Но она не уходила, только притаилась далеко, и тихие вспышки далеких молний все время напоминали о ее грозной, жестокой силе.

В глубине сада стоял флигель — маленький домик, построенный для гостей, — ведь люди приезжали из Петрограда, обязательно оставались ночевать, а многие жили по целым неделям и месяцам. Как-то незаметно гостей становилось все меньше, и флигель пустовал. Летом папа перебрался туда и работал на застекленной веранде — там у него стоял верстак, лежали пилы и рубанки, валялись груды стружек и очень хорошо

пахло смолистым деревом и веселым, жизнерадостным трудом. Папа очень увлекся столярничанием и прекрасно мастерил столы, этажерки и всякие тележки и тачки для нас. У каждого из нас была своя маленькая тачка — милая такая, уютная, с гладко выстроганными ручками. С ней мы увлеченно гоняли по длинным доскам, проложенным через большое поле к флигелю, — нужно было промчаться по этим доскам и ни разу не съехать на землю. Еще у нас были высоченные ходули, тоже сделанные папой, и мы хорошо научились ходить на них и даже бегать и драться, пытаясь скинуть друг друга. Кто оставался на ходулях, тот объявлялся победителем состязания.

Но все чаще папа страдал тяжелыми головными болями, бессонницей, и все чаще он уходил во флигель, чтобы там, в тишине, немного отдохнуть. Закрывались ставни, опускались шторы, и мы не понимали, зачем это папа спит, когда кругом так ярко светит солнце и поют птицы.

В саду зеленела пышная трава, молоденькие березки раскидывали в спокойном воздухе свои стройные, легкие ветки, а в углу сада старая могучая береза бросала свою большую тень на дорогу к дому. По этой дороге, бывало, катились коляски и кареты, подвозившие гостей, а теперь она зарастала травой. И чувствовалось, что ни к чему была ликующая красота огромного сада, что зря все долгое лето цвел шиповник, высаженный вдоль дороги от ворот к парадному крыльцу дома, что совершенно напрасно выстроена дорожка через обрыв, — ведь по ней некому было ходить. И уже заметно было, что дичает просторный сад, что сорной травой зарастают дорожки, что кусты малины и смородины разрослись в какую-то непролазную и некрасивую в своей заброшенности чащу. Уже давно испортилась водокачка, подававшая воду из Черной речки, и ушел механик, обслуживавший ее. Протекавшую крышу никто не починял, и на башню нам уже запрещали ходить, так как она еще больше покосилась. Исчезла прислуга, которую за длинное бледное лицо и бестолковость папа прозвал Зеленой Лошадью, ушел и лакей Андрей, которого папа, заметив в нем искру способности к рисованию, всячески поощрял и потом с гордостью показывал его картины гостям. На заднем дворе уже не было породистых свиней, загоны их поросли лопухами и крапивой, и не бродили две неразлучные овечки, окрещенные папой Исааком и Ревеккой. А ведь как недавно было то время, когда эта самая Ревекка, привязанная веревкой к колышку и тупоумно замотавшись вокруг него, истошно ревела под бабушкиным окном, а я думала — какое удачное имя придумал ей папа, в самом деле, здорово ревет!

Почему все так изменилось? Мне казалось, что и взрослые не

смогли бы ответить на этот вопрос, — ведь даже папа молчит. Он молчит и иногда выходит на башню и подолгу смотрит в ту сторону, где Кронштадт и где, влево от него, в дымчатом мареве далекого горизонта виднеется Толбухин маяк, ограждающий подступы к Петрограду. Папа как будто ждет чего-то оттуда: может быть, ответа все на тот же вопрос?

Почему мы больше не ездим в Петроград? Я гораздо больше любила жить на Черной речке — нельзя и сравнить! — но в Петрограде тоже бывало интересно, и папа всегда приезжал оттуда веселый, шумный, много рассказывал и смеялся. Ему, наверное, хочется туда поехать, но почему же тогда он не едет, а только смотрит туда в свой морской бинокль? Делается тоскливо от этих назойливых вопросов, на которые некому ответить. Да они и не выражены никаким конкретным способом, а просто где-то висят в воздухе, мерцают, как таинственные и бесшумные зарницы далекой грозы.

Я начинаю вспоминать Петроград, нашу квартиру на углу Мойки и Марсова поля. Когда еще в подъезде сходишь с лифта — тоже очень интересная машина! — и на тебя пахнет из открытой двери, то первым делом поражаешься, как особенно пахнет в Петрограде — немного морем, какой-то морской сыростью и туманом, немного арбузом и талым снегом… Стоишь, нюхаешь, а потом взвизгнешь от радости и помчишься по тротуару. «Куда, куда понеслась? — кричит тетя Наташа. — Еще под извозчика попадешь!» Она хватает меня за руку, но я и сама опомнилась — как я забыла, что на мне новенькое каракулевое пальтишко, а на груди, что самое главное, пришит красный бантик. У Саввки такое же пальто и такой же бантик, мы беремся за руки и важно прохаживаемся по тротуару, все время скашивая глаза на бантик. Видят ли прохожие? Мы еще больше выпячиваем грудь. Две старушки проходят мимо, и одна говорит: «Посмотри, какие маленькие — и уже тоже с красными бантами!»

Мне до сих пор приятно, как мило сказала это старушка и как они улыбнулись нам. Погруженная в воспоминания о Петрограде, я бреду по большой рябиновой аллее и шаркаю ногами — они у меня босые, и прохладная трава очень приятно скользит между пальцами. Вдруг, по какой-то ассоциации, я вспоминаю другие ноги — огромные, в высоких, тяжелых, прямо-таки чугунных сапогах. Их очень много, этих сапог, и они враз все поднимаются и все враз с грохотом ударяются об землю, в такт тягучей, страшно медленной музыке. А мы с Саввкой стоим за какой-то узорчатой оградой, вцепившись в нее стынущими от холода пальцами, и во все глаза смотрим на солдат — это их сапоги грохочут по мостовой. У них серые длинные шинели и лица тоже

серые, печальные такие. Музыка снова начинает звучать у меня в ушах, от нее даже мурашки побежали по спине и в глазах защипало: «Вы жертвою пали в борьбе роковой…» Разделенная на куски грохотом сапог, мелодия тяжело падает куда-то вглубь, оседает там гранитными глыбами. Саввка поворачивает ко мне свое бледное лицо. «Бедные солдаты, — шепчет он, — они хоронят своих товарищей».

И опять музыка — совсем другая, стремительная, зовущая куда-то. Я лежу на животе под диваном в папином кабинете на Мойке. Я реву. За роялем сидит мама — она играет, а высокий человек, блестя глазами, поет. Из его открытого рта вырываются звуки такие могучие, полные такого торжества и вдохновения, что стекла в окнах чуть подрагивают и какие-то волны колышутся в тесном воздухе комнаты, как будто им неловко там, — они рвутся наружу, поднимают и мое маленькое скорченное тело и несут куда-то. Ощущение полета страшно и нестерпимо прекрасно. Не умея выразить иначе своих чувств, я реву, размазывая по лицу слезы вместе с пылью. Когда наступает тишина, мой рев достигает ушей взрослых, меня извлекают из-под дивана и долго потешаются над моей замурзанной физиономией. Большой человек держит меня на руках — у него смешной хохолок и веселые глаза. Он спрашивает: «И зачем же ты ревешь? И зачем же ты такая грязная?» Я уже успокоилась, никакого полета нет, все стоит на своих местах. Я шмыгаю носом и бормочу со вздохом: «Потому что это так красиво…» Глаза человека делаются серьезными, он внимательно смотрит на меня, потом подбрасывает высоко в воздух, ловит и кричит: «Эх ты, чучело африканское!»

Потом я узнаю, что эту песню зовут «Марсельезой» и что пел ее у нас Шаляпин. Я узнаю эту песню еще раз уже из окна какого-то дома, кажется, дедушки Ильи Николаевича на Миллионной. Я мельком смотрю вниз — в следующий момент кто-то оттаскивает меня от окна — и вижу, что вся улица запружена чем-то розовым, что, как река, вышедшая из берегов, заливает мостовую и тротуары и медленно движется вперед. Над розовой массой реет местами что-то красное, а далеко впереди этого красного еще больше, и над всем этим плывут могучие звуки «Марсельезы». Только потом я соображаю, что розовая масса — это обращенные вверх лица огромной толпы, и мне становится жутко и весело: подумать только — столько людей!

Потом почему-то открылись в доме напротив два окошка на чердаке, оттуда высунулось по человеку с ружьем. Дула ружей склонились вниз, и мы услышали выстрелы, причем одна пуля каким-то образом разбила наше окно и с визгом впилась в стену.

Мы были уже повалены на пол под окном и, задыхаясь от восторга и пыли, тыкались носом в занавески. Рядом лежали мама и тетя Наташа, — почему-то они не выражали никакого восторга, а были бледны и испуганно переглядывались.

На этом мои боевые воспоминания кончаются, я ничего уже больше не помню, но лента прошлого все разворачивается перед глазами, как будто, раз начав, она уже не может остановиться. Это я лежу уже на траве под маленькой березкой — их целая рощица за флигелем, где высокая и такая густая трава. Я лежу, покусываю травинку и смотрю в небо — по нему лениво плывут белые облака и трепещут слегка листья березки.

На фоне этого неба я вижу снова большой папин кабинет на Мойке, где мы возимся на полу с дядей Корнеем Ивановичем. Он ужасно длинный и худой и показывает нам, как надо ездить верхом. Конь, конечно, он сам, и мы с восторгом залезаем ему на спину — он скачет, а мы валимся на ковер все вповалку, и конь делает вид, что ему плохо, — лежит и только судорожно дергает длинной ногой. Потом он рисует нам лошадок на твердом картоне. Их надо вырезывать, и они получались как живые — развевающаяся грива, веселые оскаленные морды, даже ноги у них, по-моему, двигались, и брыкались они, как всамделишные кони.

Иногда в возне на ковре принимал участие и поросенок Аполлон, которого привезли с Черной речки и который вел культурную жизнь в городской квартире — чисто вымытый, розовый и веселый. Как собачка, он прибегал на зов, тряся своим закрученным хвостиком и белым бантом на шее. Стоило позвать: «Аполлоша, Аполлоша!» — как он появлялся, стуча копытцами, в столовой и, с трудом вскарабкиваясь на стул, усаживался там в ожидании подачки. Все гости были в восторге от Аполлона, и папа искренне восхищался умом и милым характером животного.

Один раз бедный поросенок чуть не погиб, рискуя превратиться в копченого еще при жизни. Он ночевал на кухне, и наша кухарка сначала долго не могла привыкнуть к присутствию свиньи в доме. «Свят-свят-свят…» — говорила она скороговоркой и отворачивалась, уверяя, что Аполлон похож лицом, то есть мордой, на черта. Но потом она его полюбила за кроткий нрав и отвела ему место на лежанке русской печи, так как Аполлон чрезвычайно ценил тепло. Случилось так, что однажды утром поросенок не явился на папин зов. Папа забеспокоился и поднял на ноги весь дом. Все искали, звали, но Аполлон как в воду канул. В двадцатый раз осматривая коридор, папа вдруг услышал из-за стены сдавленное хрюканье. Приложив ухо к стене, папа явственно услышал тихий визг, даже сопение. Оказалось, что

кухарка забыла закрыть дымовое отверстие на печи и Аполлон провалился в трубу. Пришлось звать печников, которые разобрали стену в коридоре и извлекли наконец Аполлона, полузадушенного, вымазанного сажей до неузнаваемости.

Впоследствии милое животное превратилось в толстую, могучую свинью и уже не выходило из кухни, а коротало свои дни в обществе кухарки, которая души в нем не чаяла. Наконец на семейном совете было решено отвезти Аполлона обратно на Черную речку. Приехала телега, спустили беднягу на лифте и при огромном стечении народа взвалили Аполлона на телегу.

«Верка!» — слышу я отдаленный голос Тина. Всегда негромкий и слегка насмешливый, на этот раз он звучит нетерпеливо и раздраженно, — наверное, уже долго ищет меня бедняга Тинчик. Это редкий случай, что мы не вместе, но его заставили определить, который час, а так как он ошибся чуть ли не на полсуток, то должен был провести перед часами в столовой, слишком хорошо знакомыми и мне, некоторое время в уединенном размышлении. Я быстро все это вспоминаю, видение смешного поросенка исчезает без следа, и я поспешно бросаюсь на голос. «Тин!» — кричу я и слышу его обрадованный ответ. Вот и он — маленький, щупленький, босой. «Где это ты пропадаешь? — спрашивает он подозрительно. — Я уже весь задний двор обегал!» Мне как-то совестно сказать ему, что я валялась в траве и вспоминала, — кажется, так называется это занятие у взрослых. Я что-то там отвечаю, он успокаивается, и мы отправляемся на наш запущенный огород — там еще кое-где попадаются никем не посаженные, дико растущие морковки и репки. Мы вырываем несколько этих корнеплодов, полощем их просто в луже, которая всегда стояла за амбаром, — это были низкие, всегда пустовавшие строения, в маленькие оконца которых видна была черная вода, неподвижно стоявшая там и никогда не просыхавшая, — и бодрой рысью направляемся в наше заветное укромное местечко, чтобы там без помехи съесть овощи. Усевшись за кустами, каждый на свое место, мы очищаем репку от кожицы самым примитивным образом — просто зубами, сплевывая ее в аккуратные кучки. Очень вкусные были репки — сладкие, сочные.

Мы жуем с хрустом и мирно беседуем, но у меня в голове все вертятся картины нашей жизни в Петрограде, мне хочется завести с Тином разговор, узнать, помнит ли он дедушкину квартиру на Миллионной и бульдога Квака, с которым мы так увлекательно играли. Я не знаю, как начать, но тут Тин вдруг говорит: «Жалко, что у нас тут нет никакой собаки, помнишь, как весело было с Кваком?» Удивительная вещь, — я только подумала, а он уже

говорит. Перебивая друг друга, мы начинаем вспоминать все подробности нашего житья у дедушки.

Мы с Тином гостили у дедушки около двух месяцев, — гостили бы, может быть, и дольше, но бедный дедушка не выдержал, уж очень мы разбойничали. Илья Николаевич был добродушный старик с благородным лицом. Густая грива серебряно-белых волос придавала ему сходство со львом. Черный цвет его усов явно не гармонировал с белизной волос, и мы долго недоумевали, как это может быть, пока где-то не прослышали, что дедушка фабрит усы. Потом мы даже нашли баночку с черной мазью на его туалетном столике, — дедушка очень следил за своей наружностью, и на столике перед трехстворчатым трюмо у него лежало множество всяких щеток для волос и ногтей, ножички, напильнички, стояли флаконы с духами и баночки с кремами. Мы пытались нафабрить этой мазью усы бульдогу Кваку. Пес, конечно, яростно противился этой операции, но мы все же вымазали ему краской морду, и он так уморительно чихал и фыркал, что мы катались от смеха под кроватью, где проводили это косметическое вмешательство в природные внешние данные собаки. Потом, однако, он очень воодушевился и гонял за нами по коридору, а мы с визгом удирали.

Забравшись однажды в дедушкин большой кабинет, мы нашли надувную кожаную подушку, которая для мягкости лежала на стуле перед письменным столом. Мы тут же обнаружили в ней прекрасные летные качества: ловко брошенная умелой рукой, она летела бреющим полетом над мебелью, а Квак мчался сзади, подпрыгивая и норовя схватить ее зубами. Наконец это ему удалось, и тогда никакими силами нельзя было вырвать у него добычу. Я схватила подушку за другой конец и стала вертеться вокруг собственной оси все быстрее и быстрее. Послушное центробежной силе тело Квака отделилось от земли, и он полетел кругами над полом, сжав мертвой хваткой челюсти и зажмурив в упоении глаза. Приземлившись, он еще долго терзал подушку, потом наконец бросил, и мы стали снова бросать ее. Она сильно пострадала от зубов Квака, стала выпускать воздух и при полете очень мелодично посвистывать, отчего мы пришли в еще больший восторг и тут же окрестили «таратайкой». Удовольствие было прервано внезапным появлением дедушки. Он вырос в дверях так неожиданно, что уже нельзя было ничем остановить роковой полет «таратайки», и прямым попаданием в лицо дедушка был так разозлен, что выгнал нас из кабинета, нажаловался маме, и, кажется, тем и кончилось наше у него пребывание.

Мы не очень об этом жалели — дома было куда веселее и никто на нас не шикал и не возмущался нашим неприличным

поведением. Одного Квака нам было жаль, мы так полюбили этого маленького черного бульдога. Его некрасивая морда с приплюснутым носом и черными умными глазами, его необыкновенная кожа на спине, которой там было, очевидно, слишком много, так как она свободно собиралась складками, страшная сила в кривоватых ногах, а главное, знаменитая мертвая хватка — все эти прелести заставили нас горько плакать при расставании. Кроме нас с дедушкой, никто больше не любил беднягу Квака. Даже мама его возненавидела с тех самых пор, как вздумала с ним прогуляться. Особенно изящно одевшись, мама повела на ремешке Квака, который своим заграничным видом должен был подчеркнуть элегантность маминого парижского туалета. Выйдя на тротуар, бульдог с силой нажал своими кривыми лапами и стремительно потащил маму через улицу. Натянув до отказа ремешок, мама пыталась остановить его — куда там! Квак совершенно подчинил маму своей несокрушимой воле и таскал ее бегом с одной стороны улицы на другую, иногда резко притормаживая у фонарных столбов. Придерживая одной рукой шляпку и чуть не плача, мама бегала за Кваком со скоростью, вовсе не соответствовавшей ее костюму и манерам. Наконец собака удовлетворилась прогулкой и нашла возможным доставить маму домой запыхавшейся, красной, со съехавшей на сторону шляпой и с запачканным в стремительном беге подолом длинного платья.

Все это мы вспомнили с Тином, и нам было грустно и жаль чего-то, как будто мы чувствовали, что те времена уже не вернутся. Петрограда мы действительно больше не увидели, и вся жизнь сосредоточилась на Черной речке. Она становилась все суровее и замкнутее, но на нас мало отражались внешние события, так как мы были слишком заняты своими детскими делами и приключениями.

Папа работал по ночам, и всегда с ним была мама, стуча на пишущей машинке под его диктовку. Мама писала виртуозно, ее пальцы с непостижимой быстротой бегали по клавишам, а папа ходил по комнате и диктовал. Мама рассказывала, что он никогда не сомневался в продиктованном и не менял ни одного слова. Он говорил, как будто бы читая что-то давно написанное, со всеми точками и запятыми, со всей отшлифованной точностью своего особенного стиля. Самому ему было трудно писать. Пальцы его правой руки были изуродованы еще с детства: катаясь на коньках, он упал и порезал себе руку об осколок бутылки — было повреждено сухожилие большого пальца, он плохо сгибался, и папа держал перо между указательным и средним пальцами, только придерживая его неестественно вытянутым большим.

Он сам рассказывал нам и про этот случай, и про тот, когда он хотел застрелиться, а старинный пистолет разорвался у него в руке, и пуля только поцарапала ему ребро. Это было давно, еще до смерти его отца, — он был молод, здоров и красив и вот — хотел умереть.

Еще он рассказывал нам, как, будучи гимназистом последнего, восьмого класса, он поспорил с товарищами, что пролежит под поездом. Они гуляли весной вдоль полотна железной дороги где-то за Орлом, и папа заявил, что если лечь между рельсами вдоль пути, то поезд может пройти над человеком, не причинив ему вреда. Он-де изучил этот способ, и именно в этом месте железной дороги, где они сейчас проходят, есть удобное место — поезд поднимается в гору и цепи между вагонами должны быть натянуты — немаловажное обстоятельство, так как иначе они могут зацепить или ударить лежащего. Товарищи — между ними были и девушки — смеялись и говорили, что лечь, пожалуй, можно, только когда приблизится поезд, всякий струсит и удерет. И тут папа заявил, что он пролежит под поездом, — пари? Все продолжали смеяться, но, когда раздался свисток приближающегося поезда и папа взбежал на насыпь, все испугались и стали кричать, чтобы он вернулся. Не тут-то было! Папа улегся на шпалы вдоль рельсов, как можно больше прильнув к ним, и замер. Вскоре рельсы задрожали и тихонько загудели, потом задрожала и земля под страшной тяжестью стальной махины. Товарищи отчаянно кричали: «Беги! Беги! Еще не поздно!»

Папа рассказывал, что ему тоже нестерпимо хотелось встать и убежать, но странное упрямство, даже скорее не упрямство, а чувство непоправимости — теперь уже все равно! — охватило его и парализовало сознание. Еще он увидел, как над ним повис желтый, круглый, тускло мерцающий глаз и тупо уставился на него. В следующий момент грохот и лязг стали оглушительными, папа ткнулся лицом в битые камни, пахнувшие мазутом, и замер. Ему казалось, что весь мир состоит из одного этого нестерпимого грохота, ему казалось, что он уже давно раздавлен, уничтожен. В самих костях, в мозгу отдавались лязг, бряцание и гром. Земля тряслась и ходила ходуном под папиным распростертым телом, а в мозгу сверлило огнем безумное желание поднять голову и вскочить. Папа говорил, что это желание как раз и было самым страшным испытанием. Он почти уже терял сознание, как вдруг что-то сильно ударило его в затылок, и в тот же момент грохот ослабел, стал затихать, и только земля еще подрагивала и плыла куда-то да горячие рельсы тонко и нежно звенели. Папа хотел встать, но слабость сковала все тело, и он не мог пошевелиться.

Но тут уже подбежали товарищи, стали тормошить, ощупывать — они думали, что он убит. А папу только задела тяжелая цепь, свисавшая с буфера последнего вагона, и он отделался одной здоровой шишкой на затылке. Вот какой отчаянный человек был наш папа!

Он преклонялся перед Джеком Лондоном, его роднили с ним страсть к приключениям, мужество и твердость его героев, свободный дух, романтическая широта его души. Казалось, он сам был одним из героев Джека Лондона, и, когда он рассказывал нам содержание «Белого клыка», мы ничуточки не сомневались, что все это произошло с ним, — так взволнованно звучал его глуховатый голос, таким мальчишеским восторгом сверкали его глаза. Потом, конечно, мы сами прочитали это бессмертное произведение — мало сказать прочитали! — вытвердили наизусть, но всегда образ человека, спасшего Белого клыка, сливался в моем воображении с образом папы.

…Белые собаки, запряженные в сани, бегут вереницей по заснеженному льду реки. Их пушистые хвосты подняты вверх, дыхание белым паром стоит в морозном воздухе, а белый человек бежит рядом с ними, размахивая длинным кнутом. Так было нарисовано на обложке книжки Джека Лондона «Белый клык». Но я видела их напряженные тела, слышала скрип полозьев, задыхающийся лай собак и хриплые окрики человека. Все это оживало и двигалось под звуки папиного голоса, и я никогда не могла отделаться от впечатления, что папа рассказывает еще гораздо лучше, чем это было написано в книге.

Так же захватывающе интересно рассказывал папа о несчастном Эдмоне Дантесе, заключенном в мрачном замке Иф, о его дерзком бегстве, о безумном аббате Фариа и о жестокой мести неумолимого графа Монте-Кристо. В книге уже было не то! Исчезало очарование благородного и несчастного героя, бледнел священный трепет молодости перед высокими порывами мятежной души. Все это мы чувствовали в рассказе папы, а в книге оставалось нагромождение громких фраз, высокопарных слов и сомнительное благородство выдуманного героя. Уж очень кровожаден был граф Монте-Кристо!

Д’Артаньян из «Трех мушкетеров» был для нас тоже нашим папой, — это его красивое лицо в широкополой шляпе с перьями я вижу, его небрежные, но полные непостижимой грации движения, его гордый, полный мужества и отваги взгляд. Папа очень увлекался Дюма и, хотя и называл его в шутку «негодяем», всегда в минуты душевной усталости или тоски брал какую-нибудь его книжку и перечитывал. Он говорил, что это чтение освежает голову получше всякого душа, и всем рекомендовал его

как средство от хандры.

Была длинная и холодная зима — последняя, которую мы провели в нашем огромном и холодном доме. Не было дров, чтобы отопить все высокие комнаты. В столовой, рядом с красивой изразцовой печью, была установлена маленькая железная буржуйка с черной некрасивой трубой. На буржуйке всегда что-то варилось. Чаще всего это был овсяный кисель — студенистая, светло-коричневая масса, похожая на клейстер для обоев. Она распространяла унылый тошнотворный запах, ее наливали тягучей и медленной струей в глубокие тарелки и ставили перед нашими вытянутыми лицами. С убийственным упорством это блюдо появлялось на столе каждый день. Проклятый кисель имел тенденцию жестоко пригорать, и его приготовление требовало совершенно нерентабельных усилий — изволь до одури мешать его длинной деревянной ложкой, благо было бы хоть потом вкусно, а то ведь, прямо сказать, никудышное было кушанье! «Дети, овсяный кисель на столе, читайте молитву!» — эти слова, вычитанные мною из хрестоматии, прозвучали обидной насмешкой, так как чтение молитвы перед поеданием киселя было более чем неуместным, по моему мнению.

Впрочем, вторым блюдом, столь же страстно ненавидимым, как и овсяный кисель, был горох — мелкий, черный горошек, которым кормили раньше коров.

С большого стола в столовой снята скатерть. Скудно освещенные маленькой керосиновой лампой, мы все сидим вокруг. Перед каждым из нас кучка мелкого гороха вперемешку с какими-то зернышками, шелухой, — в общем, мусором. Сосредоточенно, с глубокомысленным видом, мы тщательно отделяем мизинцем правой руки хорошие горошины от плохих и червивых. Кропотливо очищенный горошек ссыпается в большую кастрюлю, стоящую посередине стола. Бесконечная работа, совершенно не оправдывающая усилий, на нее потраченных, потому что, когда горох варится на той же буржуйке, вонь стоит страшная по всему дому, а готовое кушанье представляет собою темную, немного пеструю кашу, которую почти невозможно есть, — она буквально застревала в горле.

Более или менее сносным блюдом бывала вареная картошка, политая горячим молоком, но и она имела какой-то унылый вкус.

Зеленого хлеба больше нет — трава ведь зимой не растет. Единственным спасением было молоко — чудесное, жирное финское молоко. За молоком нас посылают к финнам Ранкэ, и я очень хорошо помню длинные ряды крынок со сметаной в их погребе, — пока мне наливали молоко, мой палец судорожно

дергался от стремления запустить его поглубже в крынку. Ощущение голода было постоянным, в особенности страдал Вадим, который пек в своей башенной комнате какие-то лепешки из ржаной муки, распространявшие жуткий чад и смрад по всему дому. Но удивительно, что никто в ту зиму не болел, — все были на редкость здоровы и выносливы и все рыскали по дому, алчно щелкая зубами.

Папа почти не спускался вниз из «гимнастики» — большого зала на втором этаже, где с потолка свешивались трапеции, кольца, стоял турник, козлы и прочее гимнастическое снаряжение. Не помню, чтобы кто-нибудь из взрослых упражнялся в гимнастике, только мы достигли совершенства в катании на кольцах: раскачивались как можно выше и в «мертвой точке» ловко поворачивались всем телом — туда-назад, — летали мы с точностью маятника, отталкиваясь ногами и приговаривая в такт «та-та», «та-та!». Прежде все эти снаряды относились летом в сад, где была устроена гимнастическая площадка. Когда-то площадка была утрамбована и покрыта желтым песочком. Гости в нарядных платьях гоняли крокетные шары, а дети могли кататься на гигантских шагах. Ни следа не осталось от желтого песочка — средь густой травы, покрывавшей площадку летом, виднелись только две узкие тропинки — по одной ходили на рябиновую аллею, вторая тянулась вдоль широкой и длинной скамьи на огород. В парниках садовник когда-то выращивал цветы и крошечные колючие огурчики для окрошки, которую очень любил папа. Теперь в парниках без стекол росла необычайной гущины и высоты крапива, а на грядках разросся в диком виде укроп, и огромные листья лопухов закрывали чахлую морковку. Зимой туда, естественно, никто не ходил, и сплошная пелена глубокого снега была испещрена только следами ворон да зайцев.

Мы все понемногу перекочевали в «гимнастику», занимались там с Вадимом и даже обедали, хотя тетя Наташа жаловалась, что от вечной беготни по лестнице она к вечеру «без задних ног».

В «гимнастике» было уютно и сравнительно тепло. Мы сидели обыкновенно в углу на скамейке, приставленной к угловому шкафу с книгами. Перед скамьей стоял стол, покрытый клеенкой во время занятий и скатертью во время обеда. В шкафу было много книг с приключениями и стояли толстые журналы — «Нива», «Природа и люди». Там была книжка с красивой обложкой — бушующий океан, пальмы. Бернарден де Сент-Пьер — «Павел и Виргиния». Само повествование было мне не понятно описанием чувств не совсем братских, которые питал Павел к своей сестре Виргинии, — и недаром, потому что в конце она оказалась вовсе не сестрой ему, и роман кончается свадьбой, —

на мой взгляд, совершенно неинтересно. Запомнилась только роскошная природа какого-то тропического острова и замечательное описание бури, когда Павел спасает Виргинию с тонущего корабля.

В журнале «Нива» был напечатан роман Чарской «За что», который я втайне от братьев читала, проворно перелистывая страницы в поисках продолжения. Мелькали портреты каких-то усатых генералов и августейших князей. Я долго смотрю на группу: император Николай Второй с императрицей, великими княжнами и наследником. Императрица была красивой женщиной с холодным и неприятным выражением лица, княжны были прехорошенькие, а наследник даже вовсе красавчик — немного грустный, в белой матроске. У царя была борода лопатой, как у мужика, и совершенно бессмысленное выражение на плоском лице.

Интереснее был журнал «Природа и люди». Там тоже были романы с продолжениями, но больше приключенческие. Много картинок. Вот одна: полуразвалившаяся хижина, на полу лежит оборванный человек с неприятно искаженным лицом, вокруг толпится много подозрительного народа. Людей расталкивает высокий тощий старик со злобным выражением лица. Под картинкой написано: «К умирающему приблизился старик с корзиной за плечами…» «Ничего себе „приблизился“, — думаю я, — эк разогнался, еще повалит с разгона умирающего!»

Очень я любила рассматривать иллюстрации к Лермонтову. Страница разделена на квадраты, и в каждом картинка с надписью. Одна из них гласит: «…и перси кровью облились…» Изображен свирепого вида мужчина. Одной рукой он схватил девицу за волосы — какое у бедняги обалделое лицо! — другой втыкает ей кинжал в растерзанное декольте. Когда Саввка дрался с Тином, то, повергнув его на землю, кричал, ударяя в грудь: «И перси кровью облились!» В другой раз Тин, нажав коленом на живот распростертого Саввки, заставлял его проговорить сдавленным голосом: «Хух, — сказала обезьяна». Это «хух», означавшее сдачу на милость противника, было позаимствовано из «Тарзана от обезьян» — не совсем удачное название для такой великолепной книжки, между прочим.

Мы часто употребляли в своих играх и разговорах всякие такие фразы, взятые из книг и из надписей к рисункам. Нельзя сказать, чтобы они приходились всегда кстати. Так, Тин говорил, завидя, как усталая бабушка со вздохом садится в кресло: «Уф, — сказал негр, усаживаясь на пирогу».

В шкафу еще хранилось двенадцать книг «Детской энциклопедии». Когда мы уставали от романов, то брали какую-

нибудь из них и внимательно изучали текст и рисунки. На обложке был нарисован деревенский пейзаж, над которым широким мостом через все небо стояла яркая радуга. На переднем плане сидели юноша и девушка и любовались радугой. Этим прекрасным книгам мы были обязаны нашими сведениями в области физики, химии и прочих технических наук. Там было интересно написано о великих изобретателях, ученых и путешественниках, простым и понятным языком объяснялось, отчего происходит радуга, роса, ветер, северное сияние, кто изобрел книгопечатание, а кто паровую машину. «Ямес Ватт!» — кричали мы, ударяя почему-то кулаками по столу и сильно нажимая на слово «Ямес», — так мы произносили имя Джеймс.

На шкафу стояли глобус и большая гипсовая фигура атлетически сложенного голого человека. Почему-то он был лишен даже кожи, так что обнаженные мышцы и сухожилия переплетались, как веревки, на его поджаром теле. Воинственно протянув вверх руку, человек рвался куда-то вперед.

Один раз за обедом нам вдруг показалась смешной его абсолютная нагота, мы стали бросать на него косые взгляды и хихикать. Тетя Наташа проследила направление наших взглядов, покраснела и повернула злополучную статую лицом к стенке. Но куда там! Мускулистая задняя часть тела бесстыжего атлета вызвала у нас такой приступ хохота, что у Саввки потек носом суп, а Тин подавился огромным куском хлеба и заплевал всю скатерть. Тут уж, однако, рассердилась и мама и строго приказала прекратить безобразие. Холодный взгляд маминых черных глаз обладал такой выразительностью, что замораживал самое буйное веселье, смех тотчас же прекращался и становилось даже непонятно — с чего это мы так развеселились.

После этой зимы мы уехали из нашего большого дома — слишком там стало пусто и неуютно и слишком все напоминало о той перемене, которая произошла в жизни. Ведь все равно к нам никто не приходил, даже родственники куда-то пропали. Пусто было в саду, и молчал телефон, по которому я однажды разговаривала с самим Горьким. Впрочем, никакого разговора не получилось, — со страху я только шумно дышала в трубку и, когда услышала раздавшийся в самое ухо голос: «Кто это там пыхтит?» — пробормотала в смятении: «Не знаю…» После этого трубка была с позором отнята у меня.

Да, когда-то у нас был телефон — специально к нашей даче шли столбы с проводами, и мы любили прикладывать ухо к шершавой поверхности столба и слушать его таинственный шум — не то волны шумят, не то ветер гудит в ветвях. Мы были уверены, что в этот момент кто-то разговаривает по телефону, и

если хорошенько вслушаться, то можно разобрать, о чем разговаривают.

Теперь телефон молчал, водокачка не работала, прислуга ушла. Мы не слишком ломали себе голову, почему это все происходит, просто так было, и нечего было удивляться, что мы переехали на дачу однофамильца Андреева, кажется — в Териоках. Что ж, нам отлично жилось в этом удобном каменном доме — было тепло и всюду горело электричество. В большой детской под потолком ярко горела лампочка. «В сто свечей», — говорила с уважением тетя Наташа, но мы долго не могли привыкнуть к ее ослепительному, как нам казалось, свету, который равномерно освещал все уголки комнаты, но делал лица странно бледными и безжизненными.

Настроение было тревожным, папы почти не было видно, мама тоже редко забегала в наши комнаты, тетя Наташа шумно сетовала на дороговизну и, вздыхая, стряпала что-то в большой неуютной кухне. Ползли слухи, что с продуктами будет все труднее, что по льду перебегают люди из Кронштадта и что их ищут прожекторами и, найдя, стреляют по ним из пушек.

Видела ли я это на самом деле или только слышала рассказ? Гладкая, белая поверхность замерзшего моря, на горизонте редкие огни Кронштадта — безжизненно, пусто вокруг. И вдруг яркий голубой луч прорезывает черное небо. Его тонкий, длинный столб торчит прямо вверх, потом бесшумно падает — ни свиста рассекаемого воздуха, ни звука падения не слышно. Все происходит в полной тишине, и человеку на берегу кажется, что он зритель в каком-то немом, мимическом театре. Сцена продолжается. Вот луч скользнул по снегу, он кого-то ищет. Как чей-то неумолимый палец, он прощупывает каждый метр безжизненной равнины. И вдруг в его ослепительном, слегка дымящемся свете возникают черные фигурки, темные предметы — не то сани, не то лошади. Они мечутся по снегу, пытаются скрыться, убежать. Им не уйти никуда — неумолимый палец останавливается, он прямо указывает на беспомощных людей. Еще минута тишины, потом изо льда поднимается столб воды, какие-то обломки мелькают, падают вниз, и мертвая, оцепеневшая тишина нарушается отдаленным грохотом орудийного выстрела.

В другой раз мы все стояли на «карнише» — так назывался высокий берег залива, по которому шла дорога из Черной речки в Териоки. Опять рассказ? Но почему же я так явственно помню далекий Кронштадт, его белые домики, сильно приближенные папиным морским биноклем? Кронштадт горит! Все ярко освещено пожаром, все в огне, тяжелые, снизу багровые клубы

дыма стелются над домами. И вдруг в этом дыму появляется маленькая точка. Это аэроплан. Он летает над городом, как мошка над пламенем свечи. Огонь взметнулся длинным языком, доносится взрыв — еще и еще. Аэроплан бросает бомбы — прямо в гущу огня и людского горя. Несчастные — они погибают от бомб, падающих с неба. Аэропланчик, такой маленький, беспомощный на вид, все кувыркается в розовом дыму. Но вдруг он стремительно срывается с неба и со страшной скоростью исчезает в огне пожара. Через томительно долгое время доносится взрыв, и потом уже полная тишина — только пламя танцует, и дым поднимается еще выше и застилает все.

Все это ужасно, но мы скоро привыкаем к взрывам, выстрелам и аэропланам, и мрачное выражение лиц взрослых уже не портит нам настроения. Мы находим себе массу развлечений, мы охвачены страстью первооткрывателей в этом заброшенном дачном поселке.

Уже многие дачи пустовали, большие дома, обставленные дорогой мебелью, с коврами, занавесками, роялями, стояли тихие, покинутые. Мы залезали в такие дачи и долго ходили по комнатам, исследуя кабинеты, спальни, столовые. Один раз мы попали в одну особенно красивую дачу, поднялись по широкой лестнице на второй этаж и там долго играли в прятки. Когда игра наскучила, нам пришла в голову гениальная мысль — нельзя ли спустить с лестницы все эти кресла, столики, одним словом — мебель? Предложение было встречено с энтузиазмом — мы тотчас стали подтаскивать к лестнице первое попавшееся нам на глаза кресло. Его положили набок, сильно толкнули, и вот оно уже запрыгало по ступенькам — сначала вяло и как будто нехотя, потом все проворнее. Сделав последний прыжок, кресло приземлилось внизу, причем спинками ножки тут же отделились и разлетелись в разные стороны. «Вот это здорово!» — вскричали мы в восторге и стали таскать и сбрасывать все, что стояло в комнате. Красные и потные, мы волочили все новые кресла и столы, подталкивали и, помирая со смеху, следили за их прыжками и пируэтами. Внизу выросла уже целая гора поломанной и исковерканной мебели, когда Саввка выволок из спальни — в первой комнате уже было пусто — тонкий, изящный столик с выгнутыми ножками. С торжествующим криком Саввка пустил его вниз. Круглый столик развил рекордную скорость, — как какой-то сошедший с ума кенгуру, он делал бешеные скачки по ступенькам, потом описал дугу и врезался в груду обломков. Он взорвался там подобно гранате, разбросав свои и чужие ножки веером во все стороны, а его лакированная крышка взлетела высоко в воздух и просвистела в нескольких миллиметрах от…

головы неожиданно появившегося в дверях человека. Как громом пораженные, мы застыли на месте, и нечестивый смех замер на губах. Сторож пустой дачи — это был он, а мы-то думали, что здесь никого нет… Как пойманные в силки кролики, мы смотрели на его суровое лицо — что же теперь будет? А он приказал нам подбирать обломки и носить обратно в комнаты. В гробовом молчании мы повиновались и стали поспешно носить все эти кресла и столики наверх, ставить на место, прилаживать вырванные с мясом ножки и разные инкрустации. Сойдясь вместе в какой-нибудь спальне, мы шепотом советовались — что же делать? Бежать? Но окно второго этажа высоко, а под лестницей стоит грозная фигура… Пришлось пойти по тернистому пути унижений, просьб, обещаний, подкрепляемых самыми горькими слезами и сморканьем. Наконец сторож смягчился. «Чтобы я вас тут больше не видел!» — рявкнул он и, дав каждому здорового пинка, вытолкал из дома.

Мы долго жили в томительной неизвестности — пожалуется или не пожалуется он папе? Не пожаловался, и никто никогда не узнал о нашем преступлении. Больше мы дач не разоряли, хотя часто залезали в какую-нибудь из них для игры в прятки, предварительно убедившись, что ее никто не сторожит.

Очень интересно было бродить по этим пустым дачам. Ветер врывался в открытые окна, шевелил занавески, поднимал с полу листы разбросанных писем и гонял их по коврам. Чужая интимная жизнь представала перед нашим любопытным взором. Кто писал эти письма, чьи любящие горячие слова носятся теперь в холодном сквозняке покинутого дома? Где люди, которые жили здесь, смеялись и разговаривали? На пыльном паркете грязные следы чьих-то огромных сапог. Вот стоит драгоценный концертный рояль — его струны вырваны чьей-то вандальской рукой, а клавиши раздавлены и разбиты тяжелым сапогом. В громадном, во всю стену, венецианском зеркале торчит камень, и длинные трещины, как змеи, извиваются на его пыльной таинственной поверхности. А занавески на окнах, вышитые салфетки, ковры — ничего не тронуто. Мы залезаем под диваны, чихаем от пыли за занавесками, прячемся в душных каморках, где валяются рваные детские книжки и сломанная лошадь с оторванным хвостом. «Мальчик Боб своей лошадке дал кусочек шоколадки, а она закрыла рот, шоколадки не берет…» — задумчиво и нежно звучат в моей памяти детские стишки.

На андреевской даче нашему ученью было оказано более серьезное внимание — мы все что-то писали и учили наизусть стихи, от которых в голове оставалась подчас довольно неожиданная каша. Но никогда потом я так не переживала все

злоключения Евгения из «Медного Всадника», как тогда. Возможно, что пробуждению любви к стихам я многим была обязана Вадиму, который преклонялся перед стройными, отчеканенными из какого-то гулкого и звучного металла стихами Пушкина. До сих пор я не могу читать или слышать равнодушно «Медного Всадника»: «И, озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется Всадник Медный на звонко скачущем коне…» У меня мороз бежит по спине, слезы готовы брызнуть из глаз, а волосы, чудится мне, приподнимаются на голове и шевелятся, как от дуновения чьего-то легкого, вдохновенного дыхания.

И вот детская психология — рядом с подлинным увлечением и восхищением пушкинскими стихами легко уживались смех и карикатурное изображение того же «Медного Всадника». И тот же Вадим приглашает нас в свою комнатку для «инсценировки» этой бессмертной поэмы. Перед этим сеансом тетя Наташа предусмотрительно заставляла нас посетить уборную — мало ли де что может случиться от смеха. Начиналось представление — без костюмов, конечно, без грима и все с участием одного актера. Вадим то стоял на берегу, скрестив с мрачным глубокомыслием руки, — «дум великих полн», то изображал волны — «как воры, лезут в окна», и в самом деле лез, озираясь, на окно, то сидел верхом на льве, то бишь на стуле, «без шляпы, страшно бледный Евгений» — все это сопровождалось декламацией текста с ужасным завыванием и пафосом. У нас ломило челюсти от хохота, мы валялись по дивану, держась за животы, а Вадим все больше воодушевлялся, пока наконец не переходил к самому драматическому моменту: усевшись верхом на стул, «подъявши руку в вышине», он скакал по всей комнате за Тином, который, спотыкаясь и давясь от смеха, бегал от него вокруг стола, а в дверях появлялась тетя Наташа, напуганная «тяжело-звонким скаканьем по потрясенной мостовой…».

Декламировались и изображались в лицах и другие стихи, содержание которых мне было менее понятно, мне даже казалось, что это шуточные стихи, выдуманные для нашей потехи самим Вадимом. Так, он вдруг хищно бросался на Тина, тискал его в объятиях и выкрикивал: «Хочу быть смелым, хочу быть дерзким, хочу одежды с тебя сорвать!» — действительно расстегивал и срывал с него его одежки, а Тин, который страшно боялся щекотки, взвизгивал и хрюкал от смеха, дрыгая ослабевшими ногами в воздухе.

Не берусь судить, насколько правилен этот способ заучивания стихов, но мы в три счета все запоминали, и я знала наизусть всего «Медного Всадника», «Полтаву», «По синим волнам океана»,

«Бородино» и много других крупных и мелких стихотворений. Иной раз, правда, в голове получалась довольно странная каша, так как я, чего-нибудь не понимая, старалась сама найти объяснение, не прибегая к помощи взрослых. Судите сами, дорогой читатель, что это была за каша, когда я однажды спросила папу: «Кто такие флюгеране?» — «Что такое?» — спросил папа, ничего не поняв. «Ну флюгеране — такой, наверное, народ, вроде англичане?» — «Да откуда ты взяла?» — «Ну как же: „…не гнутся высокие мачты, на них флюгеране шумят“», — пробормотала я. Папа дико захохотал и пошел из комнаты. Еще долго я слышала его удаляющийся хохот и возгласы: «Нет, ты только послушай, Аня, что Верка говорит: „флюгеране“… народ такой… ха-ха-ха!»

После этого я уже не рисковала приставать с расспросами и только про себя недоумевала над непонятными словами песенки из репертуара тети Наташи: «Ты уйдешь с толпой цыганок, закипит качкачий бой!» — что за «качкачий бой» и почему он сейчас же закипит, как только она уйдет с этой толпой? Ерунда какая-то! Тетя Наташа очень любила трогательную песню о чайке: «Но что это за выстрил? (она так и пела „выстрил“) — нет чайки прелестной, она умерла, трепетю в камышах…» «Что это еще за „трепетю“?» — думала я в недоумении. «И колокольчик, дарвалдая, звенит и пляшет под дугой…» — выводит звонко тетя Наташа, а я думаю: «Наверное, это деепричастие от глагола „дарвалдать“». Занятное какое слово, очень образное — так и видишь, как этот колокольчик весело болтается, «дарвалдает» под дугой.

Зимой на андреевской даче выпало много снега, и пространство перед окнами столовой было покрыто глубокими сугробами. Под предводительством Вадима мы построили там настоящую крепость из снега. Мы лепили из него продолговатые яйцеобразные кирпичи, называвшиеся «поросятами». Если не было оттепели и снег не лепился, то мы таскали воду и поливали его. Из этих «поросят» Вадим очень искусно возводил стены, пришлепывая щели кусками мокрого снега и приглаживая доской и руками. Вырос большой дом в три этажа — первый состоял из большой комнаты, принадлежавшей Саввке, и низенькой пристройки, предназначавшейся сначала для хранения продуктов, но, за неимением оных, перешедшей потом в мое владение и называвшейся «Веркиной комнатой». На втором этаже была комната поменьше — для Тина, а третий этаж крыши не имел, а изображал башню с зубчатыми стенами и бойницами. Во все апартаменты надо было лезть на четвереньках, а то и просто на животе. Потолки были укреплены досками, замаскированными

теми же «поросятами». Мы натаскали в комнаты сена, чтобы было мягко сидеть, и стали в доме жить. Сидишь, бывало, скорчившись на сене, и такой от него запах приятный — смешанный с запахом талого снега, лошадей, немного даже навоза — какая-то удивительно бодрящая, живительная смесь. Глянешь в окошко — там снег искрится, воробьи скачут, а мы вот сидим в собственном доме, живем себе! Потом кто-то нечаянно поджег это наше сено, и в доме случился пожар, после которого стало еще интереснее, — на потолке образовались черные блестящие сталактиты, стены стали пузырчатыми и тоже здорово блестели, а по всему дому страшно воняло дымом и гарью, как в кузнице. Моя пристройка сильно расползлась и сплющилась, но зато по ней можно было легко взбираться на второй этаж, так что даже папа как-то раз поднялся на башню и полюбовался оттуда видом. В конце концов пристройка превратилась просто в покатую горку, внутрь нельзя было пролезть даже ползком, и мы катались оттуда на санках, а наш красавец сенбернар Маркиз взбегал наверх и озирал окрестности, добродушно виляя хвостом и изредка лая на прохожих своим бархатным, как у певца-баритона, голосом. Однако прохожие, заслышав его голос, быстренько соображали, каких размеров может быть эта собачка, и поспешно переходили на другую сторону улицы. Если бы они знали, какой добряк был наш Маркузька, если бы видели, как покорно он подставлял нам свою спину для верховой езды, как мы кладем ему голову в пасть с чуть ли не двухсантиметровыми клыками и как он слегка, очень нежно покусывает нас за мочку уха! Дома на Черной речке он обыкновенно лежал летом под столом на веранде, изнемогая от жары в своей шубе, а мы клали ему на спину свои босые заскорузлые ноги и говорили: какова королевская подушка! За обедом он садился около папиного кресла и с вожделением в добрых глазах следил за кусками, исчезавшими у папы во рту. С его длинного, розового, как ломоть ветчины, языка текла тоненькой струйкой прозрачная слюна. Вот папа берет кусок хлеба, целый большой ломоть, и держит его высоко над головой Маркиза — пес торопливо облизывается, открывает пошире пасть, хлеб падает, страшные зубы щелкают один всего раз, глоток, и вот опять выжидательная поза, язык висит, и с него капает. Папа возмущается: «Нельзя же так глотать, ты бы пожевал хоть немного! Так даже вкуса не почувствуешь!» Маркиз наклоняет голову, как на пластинках «Хис мастерс воис», и виновато помаргивает.

С Маркизом было весело гулять. Мы любовались его размеренной рысью, когда он бежал впереди нас по дорожке, — хвост пышным султаном завернут на спину, белоснежные штаны

на ляжках мерно колышутся, прохожие отскакивают в стороны, а Маркиз даже не смотрит: «Какие-то там дураки!» — наверное, думает он.

Однажды, глубокой уже ночью, Маркиз лежал на площадке лестницы, ведшей на второй этаж. Это была довольно большая площадка, покрытая ковром, там стояли стол и несколько кресел. И на столе, забытая тетей Наташей, стояла тарелка с большим куском сливочного масла, этак в 500 граммов весом. Маркиз крепко спал, не обращая никакого внимания на масло, — он никогда ничего не брал со стола. Вдруг раздался далекий, но могучий взрыв — дом вздрогнул, тоненько зазвенели стекла, электричество мгновенно потухло. В тот же момент Маркиз вскочил, как подброшенный пружиной, бросился на масло и разом его проглотил. Наверное, в подсознании перед ним все маячило это масло, и, когда потух свет, он решил, что пришел всему конец, а раз пропадать, так напоследок хоть маслицем полакомиться.

Когда зажгли керосиновые лампы и первый испуг миновал, тетя Наташа хватилась масла — пустая тарелка и виноватая морда Маркиза сказали ей все. Все смеялись над странной реакцией пса на взрыв, а папа говорил: «Ну, брат, не знал я, что у тебя такие низменные инстинкты, — вот где узнается характер!» — и трепал сконфуженного Маркиза за мягкие вислые уши.

Это был взрыв форта Ино, расположенного километрах в пятнадцати от нас, где, говорят, был большой склад динамита и каких-то других взрывчатых веществ. Взрыв был такой силы, что в нашем доме чуть не полопались стекла, а с крыши свалилась глыба слежавшегося снега, рухнула на провода и порвала их.

А потом явилась весна. Папа выгнал нас всех в сад расчищать дорожки от снега. Так как солнце грело сильно и было совсем тепло, нам разрешили надеть только куртки и кофты. Мы выбежали на крыльцо и зажмурились — так ослепительно ярко светило солнце, так радостно и звонко капала вода — с крыш, с деревьев, — всюду сверкали ее светлые струйки. Крыльцо было уже сухое, но дорожки покрыты еще слоем плотного, утрамбованного снега, похожего на намокший сахар, когда его вытащишь из чая на блюдце, — сверху беловатый, а внизу темный, набухший от воды. В некоторых местах он приподнимался прозрачными мысиками над глянцевой землей дорожки, а сквозь него по миниатюрным каньонам текли крошечные извилистые ручейки.

Вооружившись лопатами, мы сильно ударяли по краю утоптанного снега, он легко поддавался, и куски его отделялись, обнажая землю — милую, родную землю, которую мы забыли за время долгой зимы и теперь с радостным изумлением узнавали. Красные, оживленные, мы освобождали томившуюся по солнцу и воздуху землю, и она благодарно дышала, а солнце щедро лило

свои горячие лучи на нас, на ноздреватый снег с вдавившимися в него прошлогодними веточками и листьями, отражалось в ручейках и лужах, слепило воробьев, отчаянно дравшихся на крыше. Оно светилось в папиных ласково прищуренных глазах, оно дрожало, струилось и переливалось радужными вспышками. А на крыльце стояла мама, и ее черные глаза с нежностью и грустью смотрели на папу — самого веселого и озорного мальчишку среди нас.

Наш дом все еще стоял на лужайке, с которой уже почти сошел снег. Обнажилась старая, слежавшаяся, темная трава. Появились забытые еще осенью грабли около черной разбухшей скамейки, а наш дом — покосившийся, грязный — все еще возвышался перед окнами столовой, и все ждали, когда же он упадет. И вот однажды за обедом я рассеянно смотрела в окно, и вдруг на моих глазах наша башня с выломанными зубцами пошатнулась, постояла мгновение, как бы задумавшись, и бесшумно повалилась набок, а весь дом осел и рассыпался на неожиданно белые куски. Маркиз с победным лаем выскочил откуда-то из-за угла, подбежал к развалинам, начал что-то там искать и нюхать, а потом схватил в зубы палку и понесся кругами вокруг бесформенной кучи снега и досок, совершенно ошалев от восторга, поистине собачьего.

На лето мы переехали на дачу Лобека, которая стояла на самом берегу моря, в глубине тенистого сада. Фасадом дача была обращена к морю, но входить в нее надо было со стороны сада. Сад был погружен в зеленую тень, и окна нашей детской были загорожены старой, высокой черемухой с черными, покрытыми зеленой плесенью ветвями, так что в комнате были всегда зеленые сумерки, и лица людей казались бледными и больными. Дача Лобека в моем представлении и есть та самая дача, под верандой которой пряталась Кусака — бедная, всеми презираемая бездомная собака. Это на этой лужайке перед домом кружилась стройненькая гимназисточка Леля, охваченная неудержимой радостью жизни, из-за этих вот чахлых кустиков подкрадывалась к ней одичавшая собака, сюда она вернулась — промокшая, грязная, когда уехали любимые хозяева. Это здесь «…желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо», и это здесь выла собака и ее вой «звенящей, острой, как отчаяние, нотой прорезал шум дождя и, замирая, понесся над обнаженным полем».

Что-то печальное было в воздухе этой дачи, в этих зеленых сумерках, в папином бледном лице со страдальчески сдвинутыми бровями. И мы с облегчением убегали из дома по большой веранде в другую часть сада, обращенную к морю, которое тогда

еще неосознанно, но властно притягивало к себе наши жадные до красоты существа. Мы рвались из дома на широкий пляж, который начинался сразу от калитки сада, — навстречу солнцу и ласковому морю. Оно простиралось до самого горизонта — бледное, почти всегда гладкое, спокойное. Что такое эта таинственная черта, называемая горизонтом, и почему от нее нельзя оторвать глаз? Куда она зовет и манит? Какое-то колдовство, не иначе, так как всем известно, что море только кажется бесконечным, что это даже не море, а Маркизова лужа, как пренебрежительно отзывались о нашем волшебном море взрослые. Мы знали, что в каких-нибудь двадцати километрах находится Кронштадт — остров, который в хорошую погоду виден простым глазом, а в папин морской бинокль можно различать даже людей на улицах, — впрочем, в бинокль мне смотреть не давали, и в глубине души я сильно сомневалась, что в него видно людей и даже надписи на магазинах, — очевидно, Саввка приврал для большего эффекта.

Налево в прозрачной дымке должен был быть Петроград. В ту сторону папа всегда направлял свой бинокль и подолгу не отрываясь смотрел. Я тоже всматривалась туда, но ничего не видела, только иногда поблескивало что-то вдали — это блестел на солнце купол Исаакиевского собора, а по вечерам вспыхивал и мигал далекий свет Толбухина маяка.

Однажды — дело было к вечеру, и заходящее солнце бросало косые лучи в сторону Петрограда — мы, как всегда, носились по пляжу. Воздух был как-то особенно тих и прозрачен, на море абсолютный штиль и белесые волны, гладкие и ленивые, как будто политые маслом. Вдруг слышим — бегут, кричат: «Смотрите! Смотрите!» И видим: бежит папа, за ним мама и еще какие-то люди. Все показывают налево, в ту сторону, где Петроград. И что же мы видим! Приподнявшись над чертой горизонта, прямо в воздухе — голубой, прозрачный, невесомый — предстал перед нами Петроград! Вот дома, улицы, вот величественная громада Исаакия… Взрослые суетились, щелкали фотоаппаратами, говорили, что это редкость, такой мираж, а мы все стояли разинув рты и глазели на это чудо. А оно начало бледнеть, все прозрачнее становились здания, колонны как-то заколебались, все заструилось, задрожало… и вот уже нет ничего. Вот какие штуки умеет выделывать море, а они говорят — Маркизова лужа!

А песок? Такое количество чудесного, мелкого, бледно-желтенького песка. Хочется бегать, носиться, бросаться в него с разбега, кататься, обсыпаться без конца. А главное, копать. Руками, лопатками, палками. Выкапывать ямы, бассейны для

рыбок, возводить башни, крепости, просто кучи — как можно выше и больше.

На том месте, где волны расплескиваются о плоский берег, навалена гряда принесенных ими очаровательно круглых и легких палочек камыша. В мокром виде они темные, тяжелые, пропитанные водой, как губки, а высыхая, делаются беленькими, почти невесомыми и употребляются нами для различных целей.

Во-первых, мы строим капканы или волчьи ямы для поимки друг друга. Техника строительства очень проста: надо отгрести слой сухого песка в сторону, потом аккуратно копать, стоя на коленях, узкую и глубокую яму. Под конец приходилось ложиться на живот и во всю длину руки выгребать ставший уже мокрым и крупным песок. Яма готова — ее диаметр невелик, зато глубина внушительна. Потом мы брали сухие тростинки и перекрывали ими крест-накрест отверстие. На решетку клали осторожно слой мокрого песка, а потом присыпали сухим, стараясь, чтобы все выглядело как у Сетона-Томпсона — как можно естественнее.

Таких капканов было накопано нами по всему пляжу, мы сами иной раз забывали, в каких именно местах, и было очень потешно видеть, как сами же строители проваливались в свою же ловушку. Страсть к строительству волчьих ям привела, однако, к плачевному концу. Увлекшись этой страстью, мы сделали несколько усовершенствованных и тщательно замаскированных ям при самом выходе из калитки на пляж, и в один из этих капканов попалась бабушка. Беспомощно хватаясь за окружающий песок, рука бедной бабушки — совсем как у Сетона-Томпсона! — провалилась в другую яму, она испугалась и стала громко призывать на помощь. На ее крики примчался гигантскими скачками папа, и смех замер у нас на устах при одном взгляде на его страшное лицо. Надо ли говорить, что мы были изрядно выпороты, а великолепные ямы под всхлипывания и скрежет зубов засыпаны. Берег был теперь безопасен для прогулок.

После этого мы увлеклись строительством вулканов. Это были высокие конусообразные кучи из песка с узким и глубоким кратером. Внизу были прокопаны ходы, необходимые для успешного сгорания маленького костра из тростинок, помещенного на дне кратера, или, вернее, в центре земли. Мы поджигали костер и отходили немного, чтобы окинуть взглядом художника свое творение. Из кратера поднимался величественный столб дыма, порой показывались языки пламени, и издали зрелище являло собой грозную картину извержения. Вскоре пляж стал походить на Курильские острова, где в совершенном противоречии с данными вулканографии дымили в ряд Везувий, Этна, Ключевская сопка и Кракатау. Наконец и это

развлечение прекратилось вмешательством взрослых, так как Саввка однажды обжегся, у него вскочил волдырь с куриное яйцо величиной, и спички были отобраны.

Тогда мы обратили свой пытливый взор к морю и решили пуститься в плавание. Для этой цели мы приспособили две здоровые доски, положив их накрест друг на друга. Если стоять в середине крестовины, то доски не тонули и можно было плыть, отталкиваясь шестом, — волны били, доски разъезжались, стремясь встать в параллельное друг другу положение, и нужна была большая доля сноровки и лихости, чтобы не слететь в воду. Однажды Саввка, достигший немалого искусства в этом виде водного спорта, отъехал так далеко от берега, что его длинный шест едва достигал дна. В это время папа вышел на пляж и с удивлением воззрился на странный феномен — на порядочном расстоянии от берега Саввка, не погружаясь в воду, шел, как Иисус Христос, по волнам! Досок не было видно, но папа, конечно, быстро сообразил, в чем тут дело, и мореплавание тоже было запрещено.

Что тут делать? Некоторое время мы уныло слонялись по пляжу, пока не обратили внимание на широкую гряду больших и круглых валунов, которая тянулась далеко по берегу, отделяя песчаный пляж от медных колонн соснового леса. Эти камни были навалены в причудливом беспорядке и гладко обточены водой. Они глухо гудели под ногами, когда мы неслись по ним со страшной скоростью, едва касаясь босыми подошвами теплой поверхности. Такой бег требовал быстроты и точности движений, хорошего глазомера, молниеносной находчивости и просто отваги.

Страшно было подумать, что бы случилось, если вдруг поскользнулась бы нога или скачок был бы плохо рассчитан, — вряд ли такое падение кончилось бы простым переломом, тут можно было разбиться насмерть. Взрослые ахали и хватались за голову, а папа только посмеивался, а потом научил нас прыгать с высокой стены на песок. «Прыгайте на носки, не на пятки!» — говорил он, и мы с замиранием сердца летели с трехметровой высоты, а тетя Наташа в ужасе восклицала: «Хоть девочку пожалейте!»

Мы совершали длинные прогулки по берегу в обществе Маркиза или пары черных овечек — Антония и Клеопатры. Эти потомки библейской пары Исаака и Ревекки бегали за нами, как собаки. Они были привезены с Черной речки еще ягнятами и трогательно обожали друг друга. Стоило закричать: «Антоша, Антоша!» — как тут же слышалось ответное «мэ-э» и появлялся Антоний, а за ним обязательно поспевала Клеопатра, ласково

именуемая Клепочкой. Около кухонного крыльца стояли их миски, ежедневно наполняемые щедрой рукой тети Наташи, ко если мы обедали на веранде, то Антоний и Клеопатра, стуча копытцами, взбегали по ступенькам и стояли около стульев обедающих, ожидая подачки. Они часто уходили далеко по пляжу, так как калитка никогда не закрывалась, и вскоре соседи стали жаловаться, что овцы заходят на огороды, вытаптывают их и поедают насаждения моркови и капусты. Никакие увещевания и запреты не помогали, и скоро мы дожили до страшного дня — на веранде без всякого зова появился Антоний — один! Непрерывно блея охрипшим голосом, он с тоской оглядывался назад. Во всем его облике были страдание и растерянность. Всплеснув руками, тетя Наташа побежала к морю — баран за нею. Мы побежали следом за ними. Антоний шел впереди, сипло мекая и беспрерывно оглядываясь, как бы приглашая поторопиться. Дойдя до поворота, Антоний побежал — в его голосе слышалось настоящее отчаяние.

Вдали, у самой кромки воды, виднелось что-то черное. Это была бедная Клепочка. Она лежала на боку, ее вытянутые ножки омывали волны, стая чаек с резкими криками носилась над нею — их крик смешивался с хриплыми рыданиями Антония. Мы молча стояли над трупом — каким же жестоким может быть человек! Убить такое милое, кроткое животное! Антоний тыкался носом в шею Клепочки, оглядывался на нас, как бы приглашая посмотреть: видите, она не встает. Потом он, видимо, понял, что мы ничем не можем помочь ему, — подогнув колени, он положил голову на шею Клепочки, прижался к ней и затих.

Волны плескались, чайки кричали, а мы стояли молча, потрясенные этим горем животного, в котором было так много человеческого.

После смерти Клепочки Антоний затосковал, мало ел, блеял настойчиво и все убегал к тому месту, где она лежала мертвая. Его увезли на Черную речку.

Как-то раз мы с тетей Наташей зашли далеко по берегу в сторону Петрограда. Вдруг какой-то странный предмет около самой воды привлек наше внимание. Несмотря на предостерегающие крики тети Наташи, мы бросились бежать к нему, но скоро остановились в немом удивлении. Сначала я не могла понять, что это такое: клочья зеленоватой одежды, вымоченной долгим пребыванием в воде, какие-то ноги… Это человек! Он утонул давно — мясо отстало от костей и висит вялыми кусками. Она даже мало похожа на мясо, эта бледно-зеленая масса. Кожа висит, как мокрая промокательная бумага. Голова лежит лицом вниз, и волны шевелят короткие черные

волосы. Запыхавшаяся тетя Наташа подбежала наконец и резкими криками прогнала нас прочь. Мы вышли из оцепенения и засыпали ее вопросами: кто это? Откуда взялся этот утопленник? Это солдат? Какой солдат? Но тетя Наташа только мотала головой и поспешно уводила, запрещая оглядываться.

В другой раз, выйдя ранним утром на пляж, озаренный золотыми лучами солнца, мы увидели огромный красный шар. Он лежал на гладком и свежем морском песочке, был совершенно круглым, большим, чуть ли не в наш рост, и заржавленное его железо было покрыто ракушками и водорослями. Наверху было что-то вроде крышки, оттуда торчали четыре небольших отростка. Оживленно споря, что бы это могло быть, мы попробовали открыть крышку, но сразу поняли, что это невозможно, — толстые ржавые гайки не поддавались. Тогда, вооружившись палками, мы начали колотить по бокам шара, издававшего глухой стон под этими ударами. «Подождите, отойдите! — закричал Саввка. — Я его сейчас по усам!» — и размахнулся своей дубиной, чтобы трахнуть шар по отросткам на крышке… Страшный крик заставил нас всех остолбенеть — Саввка замер с поднятой над головой дубиной. От калитки по песку несся к нам папа, махая руками и крича что-то неразборчивое, в чем, однако, наш испуганный слух уловил нечто вроде: «Стой! Брось! Выпорю!» Саввка отшвырнул палку на всякий случай подальше, и мы бросились врассыпную от злополучного шара. Задыхающийся и бледный папа загнал нас всех домой, а потом приехали какие-то люди, оцепили пляж, мы даже должны были уйти из дому к дальним соседям, и тут мы узнали, что это был за шар. Это была плавучая мина, и Саввка как раз намеревался ударить ее по смертоносным рогам. После этого нам было запрещено выходить одним на берег.

Этот солдат, утонувший в море, — кто он, кто убил его, откуда принесли его волны на наш берег?

Эта страшная мина — кто установил ее в море, какому кораблю она предназначалась, чьи жизни были спасены милосердными волнами, принесшими плавучую смерть к нашему берегу и бережно положившими ее на теплый песок?

Война шла мимо нас — она проходила стороной, и страшных отзвуков ее не могли слышать наши детские уши, не могли видеть наши наивные глаза, не мог понять беспечный ум. Слепые и глухие ко всему в нашем беззаботном веселье, мы росли, как та трава, что зеленеет весной среди истлевших прошлогодних листьев, как тот шиповник, что беспечно распускает свои розовые лепестки над свежевырытой могилой.

Осенью мы уехали в Нейвола. Это была глухая деревушка недалеко от озера Перкиярви. Папин знакомый, литературный

критик Фальковский, предоставил нам для жилья свою дачу. Наверное, папа, мучимый бессоницами и головными болями, думал забраться в эту глушь, чтобы быть подальше от тревожных звуков войны, которую, как и мы, он не мог понять, но которая мучила его, терзала, доводила до мрачного, черного отчаяния.

Как сейчас помню крутой поворот дороги, направо большая рябина с почти горизонтальными толстыми ветвями — на них мы проводили долгие часы, раскачиваясь и напевая что-то, — подобно дикарям с острова Борнео, мы живем на дереве. Слева — высокая ограда и ворота в сад. Дорога заворачивает к большому неуклюжему дому с двумя верандами — одна нелепо выдается вперед. Перед домом еще какие-то постройки, а по двору носится здоровенный злющий пес. Он бегает по проволоке, блок с тяжелой цепью гремит и свистит, а земля под проволокой гладко утоптана его лапами. Мы так боялись этого пса, что даже не дразнили.

Нам не нравилось у Фальковских, хотя мы любили жену Фальковского, тетю Женю, худую, высокую, с большими бородавками на веках. Одна особенно крупная бородавка свисала у нее так низко, что мне казалось, она мешает тете смотреть. Она привозила нам конфеты и со страшной силой тискала в своих худых руках, прижимая к тощей груди так, что спирало дыхание. При этом от нее пахло духами и табаком, как от мамы.

Фальковский был небольшой, кругленький человек с приторно сладким выражением лица и с великолепными пышными усами, которые он растил и холил с большой любовью. В большом и богатом сервизе дома имелась чашка с вензелями г-на Фальковского — в этой чашке было специальное устройство, некая полочка, на которой покоились драгоценные усы, — таким образом они предохранялись от вредного намокания в кофе или молоке.

Столовый сервиз тоже заслуживал внимания — там были глубокие тарелки, все в золоте и вензелях, а на дне каждой был портрет одного из Людовиков, королей французских, в пудреных париках и в жабо. Было очень увлекательно есть суп из такой тарелки — понемногу на отмели возникали локоны короля, потом мясистый нос и наконец все его бабье лицо с несколько изумленным и обиженным выражением — кое-где на лице еще висела лапша или листики петрушки. Мы заключали пари, который из Людовиков кому достался, и вскоре знали их всех в лицо. Мне стало очень смешно, когда много лет спустя, в Версальском дворце, я узнала на старинном гобелене Людовика Четырнадцатого, точь-в-точь похожего на того, из глубокой тарелки.

Скоро мы настолько привыкли к жизни в Нейвола, что одичали и отбились от рук, как говорила тетя Наташа. Немудрено было, однако, одичать, когда сама местность располагала к такому состоянию. Дом Фальковского стоял в совершенной глуши, далеко от железнодорожной станции, куда долго ехали в крестьянской телеге через поля и леса. Бедные финские поля, огороженные знаменитыми «финскими» заборами из косо положенных неотесанных кольев, тянулись уныло вдоль дороги. На озеро нас не пускали, но один раз мы побывали там с кем-то из взрослых, — большое и холодное, оно накатывало свои волны на пустынный берег… «Лишь только финский рыболов, печальный пасынок природы…» Вот именно — печальный пасынок природы!

Сад в Нейвола был большой и совсем запущенный, так что вряд ли заслуживал такого громкого названия. Культурных насаждений там было очень мало, только у самого дома замечались остатки каких-то бывших клумб и жасминов, густо заросших лопухом и крапивой. Там бродили одичавшие кошки, и большие цыплята с ужасом выскакивали из зарослей и молча улепетывали на негнущихся голенастых ногах, как страусы в африканских саваннах. В отдалении от дома, так далеко, что даже звонкий голос тети Наташи едва доносился туда, стояло много каких-то сельскохозяйственных строений — сараев, сеновалов. Тихо и таинственно было в этих пустых сараях, и мы скоро нашли, что тут самое идеальное место для игры в палочку-стучалочку. Этой игрой мы тогда здорово увлекались, и Вадим, уже большой, шестнадцатилетний мальчик, тоже играл с нами. После счета: «между нами, дураками, есть один большой дурак» — жребий падал на кого-нибудь из нас, и тот сейчас же усаживался на старую скамью, где лежала палочка-стучалочка, и, честно закрыв глаза руками, — никто никогда не подглядывал! — начинал громко считать до пятидесяти. Все повышающимся голосом он кричал: «47, 48, 49–50! Иду-у-у!» — зычно неслось в лабиринте сараев. А ты лежишь ни жива ни мертва в какой-нибудь крапиве и даже дышать боишься… И вот приближаются медленные, неуверенные шаги, они останавливаются, опять шуршат, все ближе, ближе… сейчас найдет! Тихо… Осторожно поднимаешь голову и видишь над краем крапивы вытянутую шею и два глаза, настороженно шарящие по углам. Стоит ему повернуть голову еще немножко вправо, и все будет кончено. В этот леденящий душу момент вдруг слышится топот где-то в стороне, и стремительная фигура, с треском проламываясь прямо сквозь кусты, несется гигантскими скачками к заветной палочке. Ищущий вздрагивает всем телом и прыгает с места, как пантера,

чтобы в следующий момент, усиленно работая ногами, понестись в погоню. Как приятно видеть, что преследователь безнадежно отстает, что раскрасневшийся Тин первым подлетает к скамейке, хватает палочку и лупит победно по сиденью! И снова томительное ожидание… Ищущий после первой неудачи начинает заметно нервничать, его блуждающий взгляд бестолково снует все по тем же местам, он вздрагивает и судорожно оглядывается на каждый шорох. Но кругом ни души… Тишина, настороженная и пугающая, лишает его последних крупиц хладнокровия. Он топчется около скамейки, наконец, махнув рукой, решительно двигается вперед и скрывается из моего поля зрения за углом сарая. Тогда осторожно, ползком вылезаешь из своей засады, крадешься, согнувшись в три погибели, а потом как припустишься к скамейке! Крапива больно стегает по ногам, пораненный палец, кажется, сильно стукнулся о какой-то камень — все это ерунда! Главное, что палочка уже занесена над скамейкой, в то время как незадачливый преследователь только что выбегает из-за угла, — до чего же у него вытянутая физиономия!

Зато как тоскливо делается на душе, когда преследует неудача и шаги преследователя по какому-то сверхъестественному наитию направляются прямо к твоему убежищу, когда его страшный взгляд, как притянутый магнитом, устремляется на твое тело, такое беспомощное и как будто голое. Огонек познания вспыхивает в его глазах, и, вскрикнув «Верка!» — он, проворно перебирая ногами, несется к скамейке… Нет смысла даже пытаться его догнать, сконфуженно выползаешь из своего неудачного укрытия и плетешься к скамейке, на чем свет ругая себя за дурацкую идею спрятаться так глупо.

Так играли мы и в тот ветреный сентябрьский день, когда солнце, не грея, низко стояло на бледном небе, когда редкие листья летели над пустыми сараями, закручиваясь маленькими смерчами около скамейки, когда послышался вдруг голос тети Наташи. Казалось, ничего странного не было в ее зове, но что-то такое прозвучало в прежде беззаботном голосе, что мы все, не сговариваясь, бросились бежать к дому.

Не помню, куда девались остальные. Я вбежала на веранду, вошла в столовую… По ней бегала, ломая руки, бабушка. Она кричала: «Кормилец ты наш, на кого ты нас оставляешь!» Как странно звучит ее жалкий, срывающийся голос, повторяющий это непривычное слово «кормилец», как неестественно бабушка ломает руки, как непохожи эти растрепанные волосы на ее всегдашнюю гладкую прическу! Прежде такое спокойное, добродушное лицо все дрожит, искажается, глаза безумно

расширены и залиты слезами. Папа умирает! Кто сказал эти слова, не знаю, но они, как громом, меня поражают. Что такое умирает? Я стараюсь представить себе значение этого слова. Оно значит, что я никогда больше не увижу папу. Никогда не увижу! И бабушка не увидит. Поэтому она так странно выкрикивает это будничное слово «кормилец», даже обидно думать о папе как о каком-то кормильце — кого? Но почему же я не плачу? Ведь вон — все плачут. Кто все? Тетя Наташа вбегает и снова выбегает из комнаты, мамы не видно — она там, в закрытой спальне, там тишина, там умирает папа. У бабушки совсем безумный вид, она кружится по комнате, это даже смешно, как она натыкается на стулья — как слепая. Мне смешно? Но ведь я же должна плакать — ведь я никогда не увижу папу. Я снова стараюсь представить себе это, но меня отвлекает смешное лицо Тина, который тоже не плачет, а с любопытством смотрит на бессмысленное кружение бабушки.

Проходит какое-то время, но совершенно не видно, чтобы что-то изменилось. Я все стою, мне стыдно, неловко, что я не плачу. Опять и опять заставляю себя думать о том, что больше не увижу папу, я стараюсь вспомнить его улыбку, его голос, которого я тоже больше не услышу — никогда не услышу! — и мне удается наконец выжать из глаз несколько скупых слезинок. Это потому, что на какой-то миг мне стало жаль папу, так как, может быть, ему больно сейчас, может быть, страшно. Наверное, смерть — это что-то вроде отъезда — ведь папа часто куда-то уезжал. Но теперь он уедет и не вернется больше. Никогда. Слово лишено смысла, звучит пусто и фальшиво.

Никто не обращает на меня внимания. Я тихонько выхожу из комнаты, в каком-то болезненном напряжении иду по коридору, открываю дверь на маленькую веранду. Там на диване сидит плачущий Саввка, его обнимает тетя Женя — она тоже плачет и шумно сморкается. Тетя Женя видит меня не сразу, а тогда только, когда я сажусь рядом с ней на диван. Она обнимает меня и сильно прижимает к себе. Я неловко тычусь щекой во что-то твердое в ее боку, но мне приятно, что не видно моих глаз, которые, я чувствую, как-то ненормально вытаращены и никак не могут вернуться в естественное положение.

Вдруг Саввка отталкивает тетю Женю. Сжав кулаки, он вскакивает. Его лицо красно, в опухших глазах сверкают гнев и отчаяние, волосы взъерошены. «Вся Россия будет о нем плакать!» — кричит он. Я поражена этими словами — какой умный Саввка, какие слова он говорит. Он сам додумался до них, он понимает, а я вот глупая и, наверное, злая девчонка, раз мне не жалко папу. Вся Россия будет плакать. Какие взрослые, громкие,

торжественные слова — такие разве можно говорить вслух? И как это Саввка, такой же маленький, как и я, ведь мальчишка, а не стесняется, громко кричит такое. Мне стыдно и неловко. В то же время величие произнесенных слов горит каким-то пламенем в груди, и я чувствую, что Саввка сказал правду, — вся Россия будет плакать о нашем папе. Слезы душат меня, и я плачу.

Эти слезы сближают меня с остальными, и мне уже не стыдно смотреть в добрые, заплаканные глаза тети Жени, с жалостью косящиеся на меня из-под бородавок. И уже не странно слышать Саввкин вопрос: «Кто больше знаменит — папа или Толстой?» Конечно, Толстой, думаю я, это Саввка сильно хватил! Но и наш папа знаменитый писатель. И о нем тоже будет плакать вся Россия.

На другой день дом наполнился множеством людей — все говорили, сморкались, кашляли. На большой застекленной веранде на возвышении стоит черный гроб. В нем лежит папа. Руки сложены на груди, голова с рассыпавшимися волосами тяжело вдавлена в подушку. Лицо бледно, почти прозрачно, на губах застыла странная улыбка, — кажется, что папа видит что-то радостное, но что он может видеть, когда его глаза закрыты? Может быть, он видит сон? Я слышу, что и люди что-то шепчут об этой улыбке, и мне почему-то приятно, что папа улыбается — значит, ему не больно и не страшно было умирать. Я вскользь думаю обо всем этом, так как меня гораздо больше занимают действия незнакомого господина, который деловито суетится около гроба. У него в руках какое-то белое тесто, которым он вдруг начинает облеплять папино лицо. Он залепляет ему глаза, нос, рот. Ведь папа не сможет дышать… У меня двойственное чувство: я понимаю, что папе не нужно дышать, ведь он мертвый, а в то же время как-то физически ощущаю, как ему должно быть неприятно прикосновение этого холодного гипса, — я слышу, как это тесто называют гипсом, — на губах, на глазах, на всем побледневшем родном лице с загадочной, печальной улыбкой. И никого из родных нет, чтобы прогнать этого чужого, равнодушного дядьку, — мамы нет, бабушки нет. Но вот незнакомый господин снимает гипс с лица папы — он совсем затвердел, этот гипс. Я слышу, как он говорит кому-то: маска отлично получилась. Я с облегчением вижу, что лицо не изменилось: все та же легкая и нежная улыбка витает где-то около губ — так хорошо спит папа.

Потом похороны в маленькой часовне среди осеннего леса. На клумбах вокруг часовни поникли последние белые флоксы. Их тяжелый, приторно-сладкий аромат, с едва уловимой примесью тления, навеки остался в моей памяти, как сам дух кладбища —

обители смерти. Не помню лиц людей, не помню панихидного пения. Помню только, как меня подвели к гробу, стоявшему на возвышении, — я поднялась на ступеньку и увидела папу. Он лежал все так же, но лицо еще больше побледнело, и мне стало понятно, что это не сон — разве во сне так страшно бледнеют люди? — они не могут быть такими, окаменевшими. Я поцеловала папину руку — твердая, желтая, страшно холодная, прямо ледяная рука была так непохожа на его прежнюю — живую и ласковую. Мне показалось, что я поцеловала камень. Все это было мучительно непонятно, но я не плакала.

Бедная бабушка, поддерживаемая тетей Наташей, трясущимися, неровными шагами поднялась на возвышение и вдруг упала навзничь, и люди зашумели, заплакали навзрыд. Запах ладана, смешавшись с запахом флоксов, тянулся между печальными деревьями, тихо ронявшими желтые слезы своих листьев на непокрытые головы людей, на черный гроб, на который вдруг надвинули свинцовую крышку. И вот опять все как будто по-прежнему. Но Саввка перестал играть с нами. Вадима не было видно совсем. Мы с Тином были как-то странно одиноки. В доме сделалось пусто, скучно. Мелькали какие-то незнакомые люди, с обидным сочувствием и любопытством смотрели на наши здоровые, румяные лица, на которые мы старались напустить грустное выражение. Погода стояла все такая же солнечная и ветреная, и, сидя на ветвях рябины, мы раскачивались, как птицы, глядя с высоты на обнаженные поля с пожелтевшей травой на межах. Высокое бледное небо чуть зеленело у горизонта, ветер свободно проносился по опустошенным осенью полям, приносил с засохшего жнивья клейкие нити паутины, которые летели, поблескивая и ломаясь в воздухе, и садились куда попало — даже на лицо и на волосы. Нам не было ни скучно, ни грустно. Раскачиваясь на ветвях, мы пели наши любимые песни: «Шумел, горел пожар московский, дым расстилался над рекой» и «… Карета к дому подкатила, колеса по земле стучат…».

Потом мы бродили по знакомому лабиринту сараев, смотрели на опустевшую скамейку, где все еще валялась забытая палочка-стучалочка, не тронутая с того самого дня, когда странно звучавший голос тети Наташи оторвал нас от увлекательной игры. Один раз мы забрели даже в рощу и издали смотрели на часовню, где «все еще умирали на сломанных стеблях последние осенние цветы».

Тин сказал: «Здесь двигалось печальное шествие!» — и мы захохотали, очень довольные, что сумели выразиться так красиво и совсем по-книжному.

Потом, помню, было траурное собрание в большой гостиной

— много людей, среди которых не было ни мамы, ни бабушки. Все сидели молча и не шевелились. Комната освещалась лампой, стоявшей на столе, — ее свет, затемненный абажуром, падал на листки бумаги, слегка дрожавшие в руках Фальковского, но оставлял в тени его лицо.

Фальковский читает: «…тяжелый стон пронесся над пустынной и черной землей — рыдайте и плачьте, люди, — я умер! Я — умер! Все проваливается в зияющую бездну. Ледяной ветер безграничных пространств сметает равнодушно все живое — все живое, стеная и кружась, исчезает с лица земли — плачьте же и стенайте, люди, — я умер! Завещаю вам — поставьте гроб с моим телом на высокую башню. Покройте ее черной тканью — пусть до самой земли падают ее тяжелые, черные складки. Я буду один смотреть мертвыми глазами в черное небо, и только звезды и ветер будут видеть мое мертвое лицо. Я умер — зачем теперь рыдания и слезы? Все кончилось, конец всему!..»

Я сжимаюсь на своем стуле. Непонятные, страшные слова падают в душу, давят холодными глыбами сознание. Почему же не рушится мир? Почему эти люди не вскакивают, не бегут, не выносят гроб на башню, на башню нашего дома на Черной речке, почему не обтягивают черной тканью дом?

В моем сознании возникает грозное видение нашей башни — тяжелые складки черной ткани падают до земли. Наверху стоит гроб, и этот ледяной ветер свистит и рыщет вокруг него, шевелит волосы на папиной мертвой голове, ощупывает ледяными пальцами его бледное лицо, плотно закрытые глаза, страдальческую улыбку на губах. Идите же, бегите скорее, — думаю я. Но ничего не происходит. Мир не рушится. Люди сидят, тихо сморкаются и слушают этот дикий крик корчащейся в смертельном страхе человеческой души. Таинство и ужас смерти на мгновение касаются ледяной рукой моего сердца — стало трудно дышать. И в яркой вспышке сознания — пронзительная жалость к папе и бессильное возмущение равнодушием смерти. Бедный папа, он думал, что с его смертью рухнет мир, а он все стоит как ни в чем не бывало, и вот кончится сейчас чтение, все встанут и спокойно пойдут ужинать. Будут жевать, глотать. И потом спокойно лягут спать, а завтра опять будет солнце, и ветер — веселый и свободный — будет беспечно носить паутинки, и нет ему дела до того, что вот умер еще один человек. Где же правда и справедливость, для чего мы живем? И что будет, если умру… я?

Но где же была все это время наша мама? Я помню горе других — слезы бабушки, ее молитвы, помню, как она изменилась после папиной смерти. Она почти не выходила из своей комнаты, нас перестала замечать совсем. Помню слезы тети Наташи,

которая все же, единственная в доме, сохраняла хладнокровие, заботилась о нас, о нашей еде, о сне — все хозяйственные заботы теперь целиком лежали на ней.

О маме я не помню ничего. Ее не было видно. Где она была, где запиралась, где бродила в одиночестве — не знаю. Только Саввка, которому тогда было десять лет, мог немного понять, если не разумом, то чувством, ту кромешную тьму, в которую погрузилась душа мамы, нашей строгой, энергичной, всегда деятельной мамы. Из ее жизни как будто вынули тот стержень, на котором она держалась, и она рухнула бесшумно и превратилась в груду жалких обломков. Мы были слишком малы, глупы и ничтожны в своем бессилии заполнить страшную пустоту маминой жизни. Она металась в тоске. Мы остались совсем одни — бабушка, ставшая беспомощной, как ребенок, тетя Наташа, мы — трое детей. Жизнь как будто продолжалась, но над ней висело невидимое присутствие мамы — страшной и бесчувственной ко всему под гнетом своего горя. Никто не мог разделить с ней этой непосильной ноши, и мы не подозревали, что наша мама находилась тогда на грани безумия или самоубийства. Я думаю, что один Саввка удержал ее от этого, — слабый и беспомощный сам, он удержал маму силой ее любви к нему.

Для бабушки со смертью папы жизнь кончилась совершенно. В ту ночь, когда папа лежал мертвый в постели, бабушка пыталась покончить самоубийством. Она обвязала шею своим длинным шарфиком, привязала его к изголовью кровати, подогнула ноги и повисла в петле. Тетя Наташа вошла в спальню, когда бабушка уже потеряла сознание. Тетя Наташа перерезала ножницами шарф, подняла и положила бабушку на диван и привела ее в чувство. С тех пор бабушка замолчала. Совсем седая, тихая, вся в черном, она не отходила от икон, стоя перед ними на коленях и прося бога, чтобы он поскорее взял бы ее к себе и помог свидеться с ненаглядным Ленушей. Тетя Наташа ухаживала за ней, чуть ли не силой заставляла ее отойти от икон, кормила ее, одевала. И бабушка ей одной подчинялась, покорно ела что-то, молча выслушивала ее увещевания.

Тетя Наташа одна не потеряла голову и со своей неизменной практичностью ведала всем хозяйством нашей искалеченной семьи. Она варила, убирала, стирала, заботилась о нас, делала все по дому. Не знаю, что бы мы делали без нее.

Мы не вернулись на Черную речку, но и не остались в Нейвола. Подчиняясь маминому безумному желанию уехать куда-то, скрыться подальше от тех мест, где она жила с папой, мы переехали в глубь Финляндии, на Сайменский канал, соединяющий Финский залив у города Выборга с бесчисленным

множеством озер, объединенных общим названием озера Сайма.

Это была крошечная пароходная станция с красивым именем — Раухаранта. Ехать туда надо было на пароходе из Выборга. Небольшой городок, тихий и чистенький, кажется нам огромным и шумным. Мы с Тином ведем себя неприлично в трамвае — то прилипаем к окну, то отрываемся от него, кричим в страшном ажиотаже на весь вагон, наполненный удивительно благопристойными и чем-то недовольными финнами. «Тетя Наташа, у него, наверное, живот болит?» — громогласно возвещает Тин, показывая пальцем на почтенного финна в шапке с ушами и с почерневшей трубкой во рту. «Тише!» — в ужасе шипит тетя Наташа, дергая его за рукав, а в это время я нарушаю священную тишину вагона возгласом: «Пароход! Пароход! Он прямо на тротуаре!» — «Где, где?» — орет Тин, и бедная тетя Наташа не знает, кого раньше одергивать, на кого шипеть. Мы бросаемся к противоположным окнам трамвая, наступаем на чьи-то ноги, расталкиваем сидящих и смотрим, разинув рты, на пароход, который стоит, конечно, вовсе не на тротуаре, а нормально, у пристани, только очень близко к домам. За ним, кажется, море, но вид на него закрыт с двух сторон холмистыми берегами, а впереди — лесом труб, мачт, парусов.

Тетя Наташа довольно неделикатно, но с явным облегчением выталкивает нас из трамвая, и мы идем прямо к пароходу. Вблизи он кажется нам еще больше и красивее. Мы топчемся на пристани, пока тетя Наташа покупает билеты, изредка выразительно грозя нам зонтиком, когда мы слишком близко подходим к краю. Черная вода довольно низко. По ней плавают радужные пятна, колышется на мелких волнах огрызок яблока, и пустая бутылка плавает, как человек, по плечи погруженный в воду. Все это стиснуто в узком пространстве между пристанью и бортом парохода и совсем не похоже на море, скорее на какой-то грязный бассейн, куда для чего-то поставили пароход. Но вот мы уже идем по мосткам — высоко и жутковато, — хоть оно и не похоже на море, но неприятно все же упасть в эту узкую, черную щель.

Очутившись на пароходе, мы метнулись было к борту, чтобы посмотреть, есть ли там пресловутые иллюминаторы, но тетя Наташа энергично усадила нас, вернее, пригвоздила к скамейке, несмотря на мольбы Тина — взглянуть на капитанский мостик! Заглянуть в машинное отделение! Только дотронуться до спасательного пояса! Тетя Наташа, свирепо вращая глазами, своей железной рукой удержала его в повиновении. Все равно было ужасно интересно, как пароход задрожал, мутная вода с огрызком вдруг закипела, бутылка захлебнулась и нырнула под

борт, щель стала расширяться, мокрая черная стена пристани с зелеными волосами водорослей, то обвисавшими, то расчесываемыми водой, стала отдаляться, и вот мы уже плывем мимо лодок, барок, шлюпок, вот они уже закачались на волне, поднимаемой нашим пароходом, вот перед нами уже весь бедный городок с островерхими крышами, сразу утративший свое великолепие.

Но открытого моря мы так и не увидели. Берега сузились, мы куда-то заворачиваем — это просто река с неестественно ровными, как срезанными по нитке, берегами. Незаметно они снова расступаются, и мы плывем посередине большого продолговатого озера с темной, зеркально гладкой поверхностью. Вокруг тишина. На берегах круглые большие камни, они отражаются в воде вместе со своим мохом и даже с маленькой березкой, каким-то чудом выросшей на одном из них. За камнями редкие елки, скалы, сглаженные будто гигантским утюгом, — они серые, чуть розовые, черные. Все отражается четко, до мельчайших подробностей в воде, так что все равно, куда смотреть — в воду или на берег. Но вот отражение вдруг поднимается, снова опускается, опять поднимается, все быстрее и быстрее, и волна с шипением ударяется о камни, — это наш пароход разбил чудесное зеркало.

Вдали виднеются какие-то черные вертикальные черточки, будто бы палочки торчат из воды. Мы долго не можем понять, что это такое, пока одна из них не приближается, и мы видим, что это уточка — гагара, объясняет нам кто-то. По мере приближения парохода они бесшумно ныряют и исчезают на поразительно долгий срок, чтобы вынырнуть совсем в другом месте, чем то, куда устремлен наш взор. Некоторые подныривали и проплывали под днищем парохода — просто удивительно, как они могут так долго не дышать!

И опять берега сужаются все больше и больше — впереди что-то вроде стены, но пароход идет прямо на нее, — напрасно мы вертим головами, нигде не видно продолжения воды. Вот стена совсем близко, в ней ворота — большие, черные, тяжелые. На берегу какой-то домик, человек выходит, трогает колеса, что-то тарахтит, приходит в движение. И вдруг мы замечаем, что ворота начинают открываться медленно и плавно. Наш пароход замедляет ход, осторожно въезжает в них и оказывается в каменном глубоком ящике. У ящика мокрые, покрытые зеленой плесенью стены, — мы стоим как на дне глубокого колодца. Стоим неподвижно, но вода кипит вокруг бортов, и мы замечаем, что стены колодца опускаются — нет, это мы поднимаемся! — приближаемся к поверхности, еще немного — и мы смотрим

поверх стены. Вот куда спряталась река, — оказывается, она спокойно продолжается по ту сторону стены. Мы медленно поднимаемся до ее уровня, вода вокруг парохода перестает кипеть, плавно открываются другие ворота перед носом парохода, и он выезжает как ни в чем не бывало из каменного ящика. А сзади так странно видеть внизу реку, по которой мы только что приплыли, — просто чудеса!

Это и были те знаменитые шлюзы, о которых нам так много рассказывали! Мы хорошо изучили потом их механизм, так как станция Раухаранта находилась недалеко и мы часто бегали туда смотреть на пароходы. Громкое название «станция» мало подходило к Раухаранте, так как это была просто деревянная пристань, и пароходы останавливались только тогда, когда желающий ехать долго и старательно махал рукой. Пристань была установлена только для одного-единственного дома, который возвышался несколько в стороне, наполовину скрытый высокими елями.

В этом большом, просторном доме мы занимали всего четыре комнаты и кухню. Мамина комната, обращенная на юг, была самой большой и светлой. Она же служила маме и спальней, и там стояла совершенно изумительная кровать — она была такой ширины и мягкости, что на ней свободно умещались все мы вместе с мамой. Иногда мама приглашала нас поспать с нею, и это было настоящим праздником — можно было ложиться во всех направлениях, вдоль и поперек, всюду было мягко и роскошно тепло под перинами и пуховым одеялом необъятной величины.

Пока еще стояла хорошая погода, мы шныряли по саду, где густо разрослись серебристые пихты, — широкие лапы их ветвей до половины закрывали еле приметные дорожки. Были еще там яблоньки со множеством красненьких яблочек, к сожалению, не очень-то вкусных. Зато тетя Наташа варила из них вкусное варенье. Я находила все же, что яблочки не заслуживали названия «райских», — уж в раю могли бы быть яблоки послаще этих!

Сад скоро переходил в совсем уж дикий и дремучий лес, куда нам запрещалось ходить. Кому принадлежало это именье, этот сад, дом, куда запропастились владельцы — нам было решительно все равно. Мы быстренько облазали все закоулки, испробовали в новых условиях свои излюбленные игры и решили, что самым увлекательным развлечением является безусловно катание на ветвях пихты. В центре сада росла группа этих могучих деревьев, так густо посаженных, что их ветви переплетались и образовывали многоярусную крышу. Если приподнять нижние ветви и влезть под них, то около ствола обнаруживалось уютное убежище, защищенное со всех сторон от

ветра и нескромных взоров. Там мы проводили многие часы своего досуга, рассказывали друг другу всякие вымышленные истории про запертую и потому таинственную часть дома. Насидевшись под деревом, мы приступали к катанию на его ветвях. С порванными штанами, с руками, липкими от смолы, мы лезли вверх, не обращая внимания на дождь колючих игл, сыплющихся за шиворот. Достигнув вершины, мы раскачивались на гнущихся ветках, а потом выпускали их из рук и падали вниз. Ветви упруго поддавались, тело проваливалось, переваливалось с одного яруса на другой, опускалось все ниже и ниже, пока мягко не ложилось на толстую подстилку из хвои. Это мягкое и плавное падение было похоже одновременно на полет и на ныряние в густую темную воду, отчего захватывало дух, а сердце приятно замирало.

В запертой половине дома были высокие комнаты с мебелью, покрытой чехлами. Изогнутые ножки кресел слабо отражались на пыльном паркете, который страшно скрипел под ногами. Высокие двери с медными позеленевшими ручками отворялись с трудом, как бы нехотя. Мы входили в большую залу. В углу за пыльным роялем лежала куча яблок, распространявших сладкий, чуть пахнущий тленом запах — странно знакомый и загадочный. Пока тетя Наташа набирала в подол яблоки, почему-то оглядываясь и шикая на нас, хотя в зале никого не было, мы забирались на вертящийся стульчик перед роялем и по очереди вертелись, поднимаясь все выше на винтовом стержне, — стульчик жалобно скрипел, эхо отдавалось от высоких стен и, вздыхая, замирало где-то под диваном. На стене против окна висела большая картина. На ней женщина в длинном черном платье. Она прижимает к губам платок, как бы заглушая готовый вырваться стон. Ее большие глаза устремлены на меня — в них что-то такое мучительное, как будто бы сама ее душа кричит и корчится в безысходном горе. Я отворачиваюсь, чтобы не смотреть, так как чем я могу помочь ей? Она похожа на бабушку, когда она молится в своей комнатке перед иконами, и тоже вот так смотрит на них с каким-то немым укором, и тени от лампадки ходят по ее измученному лицу, а в глазах то же безысходное горе, та же безумная мольба о чем-то.

Бедная бабушка, она недолго прожила с нами в Раухаранте. Она просила отвезти ее на Черную речку, и мама уступила, хотя кто-то должен был находиться с нею, чтобы ухаживать и кормить, и, кажется, тетя Наташа, насколько я помню, поехала с ней. Бабушка прожила два или три месяца во флигеле, но все дни проводила в большом доме, в папином кабинете. Она носила ему туда чай, читала ему газеты, разговаривала с ним. Тетя Наташа

рассказывала, что бабушка любила сидеть перед сном в кресле, перед камином. Там и нашла ее однажды утром тетя Наташа — бабушка сидела, как живая, но руки ее были холодны, и сердце не билось. Она умерла ровно через год после смерти папы. К тому времени свинцовый гроб с телом папы был перевезен из Нейвола и похоронен на маленьком кладбище около церкви. Церковь стояла на горе — от нее по широкой просеке открывался вид на море. Это кладбище и церковь были построены в память умершей жены одного петроградского богача. Великолепный памятник этой женщине возвышался в стороне от церкви, на склоне горы. Это была огромная глыба гранита, а на ней в натуральную величину сидела в кресле красивая бронзовая женщина и задумчиво смотрела на море. У ее ног валялся плюшевый мишка, тоже из бронзы. Мы, еще когда были маленькими, часто ходили на это кладбище и в церковь с бабушкой. Мы лазали по памятнику женщине — я думала, что это памятник вообще Женщине, — пытались поиграть с мишкой, но он был крепко приделан к граниту. Недалеко от этого памятника похоронили папу, на могиле поставили простой черный крест и камень с надписью, а вокруг могилы посадили шиповник из нашего сада.

Бабушку похоронили уже вне ограды — не знаю почему. Это был редкий сосновый лес, земля сплошь покрыта кустиками черники. Тетя Наташа одна подходила к могиле, ставила там букет шиповника из сада и подолгу, тяжело вздыхая, смотрела на деревянный крест. А мы бегали вокруг и старались найти чернику — впрочем, ягод почему-то не было.

А тем временем на Сайменском канале наступила суровая морозная зима. Канал замерз, по нему был проложен санный путь — обыкновенная дорога для крестьянских саней, только с той разницей, что по краям ее торчали палки с пучком соломы или просто воткнутые в снег еловые ветки, — это были вехи, обозначавшие правильный путь и предостерегавшие путника об опасных, скрытых под снегом полыньях.

И по этой ледяной дороге отвезли однажды маму — бесчувственную, в жестоком жару — в больницу, в Выборг. Она заболела испанкой — страшным гриппом, который особенно свирепствовал в те годы. Совершенно одна — кто же мог навещать ее в такой глуши? — среди молчаливых финских врачей и сестер, мама целый месяц находилась на краю смерти. Она сгорала в нестерпимом жару, и ее вывозили на балкон, на тридцатиградусный мороз. Мама металась и рвалась с кровати, а бесстрастные финки привязывали ее смирительной рубашкой и равнодушно уходили с балкона. Мама билась, звала папу и Савку, плакала в безумном отчаянии, и слезы замерзали у нее на

подушке. Когда, обессилев, мама теряла сознание, приходили сестры и, убедившись, что мама еще дышит, ввозили обратно в палату.

В те редкие минуты, когда сознание возвращалось к ней, мама просила бумагу и карандаш и исписывала целые страницы. Это были письма десятилетнему Саввке, в которых она изливала свою любовь к нему, раскрывала перед ним весь мрак своего одиночества перед лицом смерти и навсегда прощалась с ним. Что мог понять глупый, маленький Саввка и как страшно одинока была наша мама, если не было у нее ни одного родного человека, кроме маленького сына!

Понимали ли мы, какая трагедия разыгрывалась в выборгской больнице? Знали ли мы, что наша мама находится на краю смерти, горевали ли об этом, представляли ли себе, что будет с нами, если мама умрет? Конечно, мы знали, что маме плохо, конечно, желали, чтобы она выздоровела, но все это было так неглубоко, так по-детски. Какие-то люди приходили, тетя Наташа шепталась с ними, пожимая многозначительно плечами и умолкая, когда кто-нибудь из нас проходил мимо. Я понимала, что говорят о нас, детях, жалеют, сочувствуют, мне делалось неловко и стыдно чего-то, и я поспешно проходила, чувствуя, что мне смотрят вслед.

Но вот неловкость исчезла, растерянный и жалкий вид тети Наташи сменился на радостный, улыбки появились на всех лицах — мама выздоравливает! Мы снова занялись своими делами, чувствуя невыразимое облегчение и буйную радость, звонкий голос тети Наташи снова стал выводить: «Любовь не птичка, не ручная», опять Маркиз вышел на крыльцо и залаял на ворон, насмешливо пожимавших плечами на покрытых инеем ветвях елей, — они злорадно косились на пса и сыпали ему на морду струйки игольчатого, радужно сиявшего инея, — все равно не достанешь! И наступил наконец тот день, когда на ледяной дороге показались сани, а в них, закутанная в шубы, платки и огромную папину меховую доху — мама! Ее вносят в дом, раскутывают долго, и вот мы обнимаем, целуем ее, тормошим, заглядываем в глаза. Как она изменилась! Худенькая, стриженая, как мальчик, она ходит по комнатам и улыбается. В ее взгляде какая-то новая мягкость, она задумчиво и ласково всматривается в нас, как будто бы приехала из далекого путешествия и теперь замечает, как выросли и изменились дети. У нее радостно расширенные детские глаза, она такая милая, добрая, так весело засмеялась, когда я бросилась подать ей чашку и со своей всегдашней неуклюжестью растянулась на полу, споткнувшись о ковер. «Какие у тебя стали длинные волосы, — говорит мама,

ласково кладя свою тонкую исхудавшую руку мне на голову, — наверное, тебе неудобно, жарко от них — хочешь, острижем? Смотри, какие у меня, — удобно, легко, причесывать почти не надо: раз-раз гребенкой — и готово!» Я выражаю буйный восторг, так как от души ненавижу свои длинные и густые волосы, с которыми так много возни, но тут вмешивается тетя Наташа и умоляет «не безобразить девочку». Мама подмигивает мне, дескать, не надо настаивать, потом увидим, и стрижка откладывается на неопределенное время. А у мамы совсем коротенькие волосы, — вернее, какой-то смешной ежик, и она подвязывает себе локоны на тесемочке, когда надевает шляпку, — мы смеемся и трогаем мамину круглую колючую голову — совсем как ежик! Но очень скоро волосы отрастают и начинают виться крупными кольцами. «Единственная хорошая вещь, которой наградила меня испанка», — говорит мама. Вьющиеся волосы всегда были маминой мечтой.

Когда я потом читала Анну Каренину, я поняла, на кого была похожа наша мама: на Анну после болезни. Кажется, я в первый раз замечаю, какая мама красивая, как ей идут темные непривычные кудри, какое у нее белое, тонкое лицо, какие большие черные глаза под полукружьями тонких, будто выведенных кисточкой бровей. И пахнет она совсем особенно — чуть-чуть духами «Шанель № 5», чуть-чуть папиросами и еще чем-то — тонким и неуловимым, чему нельзя найти определения. Это просто «мамин запах».

Стрижка моих волос отложена до рождественских праздников, когда у наших соседей Тумаркиных состоится концерт, в котором мы все будем участвовать. Тумаркины были очень богаты. У них был большой дом с неслыханной роскошью того времени — центральным отоплением. По всему дому сияло электричество, стояли какие-то экзотические пальмы в кадках в специально устроенном зимнем саду, в комнатах и на лестницах лежали ковры, всюду висели картины. Гувернантка-немка воспитывала двух детей Тумаркиных — Виталия постарше и маленькую Тусю, у которой почему-то всегда расстегивались штанишки, и она просила Саввку или Тина: «Застегни мне, позалуйста, фтанифки!»

У гувернантки был необычайно высокий бюст, подпертый корсетом чуть ли не до подбородка. Он образовывал площадку, и Саввка острил, что это сооружение очень практично — можно поставить чашку с чаем, как на поднос. У немки действительно на площадке всегда виднелись крошки и остатки обеда. Тумаркины обладали даже автомобилем и собственным учителем рисования. В большом ателье со стеклянной крышей устраивались лекции по

живописи и уроки рисования для всех — детей и взрослых. Ателье было заставлено мольбертами, гипсовыми бюстами, барельефами, изображавшими фрукты и цветы. Предполагалось, что Виталий и взрослая дочь Тумаркиных имеют выдающийся талант к живописи, блеск которого, к всеобщему смущению, быстро померк, когда учитель имел неосторожность пригласить нас к участию в рисовальном конкурсе. Савка тут же заткнул за пояс этих художников, очень хорошо нарисовав голову Юлия Цезаря, а мой барельеф с кистью винограда был признан учителем лучшим, и я получила несколько кислых комплиментов из уст самого господина Тумаркина — мецената и покровителя искусств.

Впрочем, он был действительно весьма галантным и обворожительным человеком, любил общество, разные культурные развлечения и был большой мастер на всякие утонченные затеи, вроде домашнего театра и вокально-музыкальных выступлений.

Гвоздем концерта должна была стать мимическая сценка под названием «Охота в девственном лесу». Учитель рисования, он же режиссер и хореограф, еще задолго до спектакля взялся за разучивание ролей. Мальчики — Савка, Тин и Виталий — изображали охотников. Старшей дочери Тумаркиных, унылой длинноносой девице, давно учившейся в балете, предназначалось самое ответственное выступление — танец умирающего лебедя, подстреленного по ходу действия храбрыми охотниками. Я изображала оленя, маленькая Туся какую-то птичку — вальдшнепа, что ли.

Велико было мое смущение, когда учитель заставил меня выбежать прямо как я была — в валенках — на середину комнаты. Нужно было как можно грациознее пробежаться, остановиться в испуганной, но полной изящества позе, поднять гордую голову, увенчанную — надо понимать! — великолепными рогами, понюхать воздух и, почуя опасность, ускакать, скрывшись последним, особенно ловким прыжком за роялем. Увы, я с ужасом почувствовала, что никогда не смогу побороть свою застенчивость, — валенки прилипали к полу, движения были робки и неуклюжи, и даже бежала я, как-то нелепо подпрыгивая, что скорее напоминало скачку испуганного медведя, чем грациозные прыжки оленя. Учитель, однако, похвалил меня и сказал, что дело пойдет. Действительно, понемногу я перестала так дико стесняться, и после бесчисленных репетиций мои движения стали более естественными.

Наконец долгожданный вечер настал. Меня отводят в спальню, где переодеваются девочки. У меня завиты волосы,

распущены по плечам, я страшно волнуюсь и краснею. Мой костюм состоит из коричневых подштанников г-на Тумаркина, которые доходят мне до подмышек и выгодно подчеркивают стройные линии моих ног, — по крайней мере мне так кажется, а верхнюю часть туловища обтягивает коричневая же майка с длинными рукавами. Когда я одета и обута в черные туфли — надо понимать, оленьи копыта, — мне на голову водружают великолепные ветвистые рога, которые слабо колышутся при каждом движении и возбуждают во мне чувство какого-то сладкого замирания всего существа.

Одевшись, мы все столпились в дверях большого зала, где нас не могла видеть публика, занявшая места за занавесом. Гувернантка уселась за рояль, скрытый на этот раз за огромной елкой, и начала играть что-то лирическое, что должно было создать впечатление прекрасного летнего утра в девственном лесу. Под чириканье каких-то птичек — их довольно удачно сымитировал наш режиссер, умевший здорово насвистывать, — я должна была выбежать на сцену. Но занавес за что-то зацепился и все не хотел раздвигаться, как ему было положено, и учитель должен был повторить свои трели, пока наконец мне был подан знак, и меня довольно неделикатно вытолкнули перед огни рампы. Потрясывая рогами, я плавно выбежала на середину зала, насторожившись и раздувая ноздри, — моя собственная актерская находка! — повела головой во все стороны, потом закинула рога за спину и прогарцевала вокруг сцены. Еще остановка, принюхивание и элегантный прыжок под елку, уже вне поля зрения восхищенной публики, наградившей меня дружными аплодисментами. Вслед за мной выбежали охотники с ружьями, патронташами и прочими охотничьими доспехами. Они подкрадывались, картинно заслоняя глаза рукой от света, и, нагнувшись, рассматривали следы оленя. Меня они так и не заметили, но со страшным грохотом разрядили свой арсенал в Тусю-вальдшнепа, которая тут же упала, «трепетю в камышах», как я подумала, сидя под своей елкой. Но тут внимание охотников и публики было отвлечено появлением грузного лебедя, который довольно неосмотрительно выбежал, вернее, выпорхнул на сцену, прямо на изумленных таким везением охотников. Они не замедлили пристрелить его, а потом деликатно отошли в сторону, предоставив ему спокойно умереть от ран. Однако лебедь сразу не умер, а очень долго кружился, содрогался и взмахивал руками, то бишь крыльями. Наконец он, трепыхаясь, растянулся на полу, склонив голову и руки на невероятно вытянутую вперед ногу, — вторая нога осталась где-то далеко позади, слегка дергаясь в предсмертной конвульсии.

Когда агония лебедя прекратилась, охотники, с поникшей головой наблюдавшие кровавое дело рук своих, радостно подбежали к бездыханному трупу и стали поднимать его, чтобы взвалить на носилки и начать триумфальное шествие. Но не тут-то было! Они были слишком малы и бессильны, чтобы проделать такой нечеловеческий труд, — после долгих, но бесплодных усилий трупу пришлось встать самому и, инсценировав еще ряд предсмертных конвульсий, повалиться на носилки, которые затрещали и прогнулись до самой земли. Сгибаясь под тяжестью своей жертвы, охотники потащили ее вокруг комнаты и под звуки лесного рога и других труб благополучно вынесли за дверь к большому облегчению публики, видимо опасавшейся, как бы бравые стрелки не уронили своей добычи. Зато потом им очень хлопали, и каждый из мальчиков получил из рук господина Тумаркина настоящие часы с надписью, выгравированной на задней крышке: «За отличную стрельбу».

Весело и интересно было у Тумаркиных, мы очень любили ходить к ним и проводить в их доме целые дни. Домой мы возвращались по дороге с вехами, проложенной по каналу. Мы мчались на лыжах — два мелких шажка, оттолкнуться палками, и длинное скольжение вперед, потом опять разбегаешься, толчок, и опять летишь по гладкой дороге. Звезды, как маленькие живые ежики, шевелятся на черном небе, синие тени лежат от сугробов, по сторонам стоит в молчании черный лес. Жутковато там должно быть сейчас, — может быть, волки следят за нами из кустов, переступая замерзшими лапами по снегу. Пар выходит из их оскаленных морд, от шкуры пахнет псиной и морозом, а голодная слюна падает капельками на снег и делает в нем маленькие дырочки. Белый клык, Лобо, Король степей, Желтая волчица — все волки из прочитанных книг собрались за елками и следят за нашим бегом по замерзшей реке… Но какое нам дело до всех волков мира, когда впереди скачет Маркиз и так оглушительно лает, что иней, наверное, сыплется тонкой струйкой на спины притаившихся зверей, шерсть на их загривке поднимается от страха, когда палки свистят, вонзаясь в утоптанный снег, лыжи ритмично постукивают, а мы все дружно воем, изображая волчью стаю в погоне за добычей. Весь этот шум нарушает торжественное безмолвие леса, эхо перекатывается среди застывших берегов — каждый звук как бы отдельно от других висит в морозном воздухе, и даже звезды жмурятся и пританцовывают от неудержимой радости жизни.

Однажды нас повезли на санях в Выборг — там шел фильм «Тарзан от обезьян». Это было наше первое посещение кино, но надо было слышать, как мы раскритиковали фильм, или, как

раньше говорили, — «фильму». Мы прекрасно представляли себе Тарзана — нашего любимейшего из героев. Его великолепная фигура, атлетические мускулы, фантастическое умение лазать по деревьям — все это было нашим идеалом. Недаром мы воспитывались в атмосфере настоящего культа физической силы, красоты и ловкости.

Роль Тарзана в фильме исполнял немецкий актер Гарри Лидтке, пошлое и слащавое лицо которого, кокетливый взгляд, а главное, жирное тело без всяких признаков мускулатуры вызвали взрыв возмущения с нашей стороны. Мы презрительно фыркали, когда актер, обмотанный вокруг толстых бедер леопардовой шкурой, робко приближался к сильно наклоненному, почти лежащему дереву и начинал, осторожно балансируя, идти по нему вверх. Милосердная камера вовремя прекращала съемку, а следующий кадр показывал уже какого-то циркового акробата — наверняка не Гарри Лидтке, — как он, где-то очень далеко, чтобы нельзя было разглядеть, катается и кувыркается среди деревьев на обыкновенной трапеции. И они думали, что мы поверим, как будто это Тарзан, схватившись за лиану, перелетает с дерева на дерево… смешно! Точно так же нас не могли обмануть толстые решетки, которые Гарри Лидтке — с его-то мускулатурой! — разрывает без всякого усилия, только демонстративно морща брови, как будто это были вареные макароны, а не железные прутья. А это разве лев — старый, шатающийся, как под наркозом! Актер с опаской приближался к нему, намереваясь, видите ли, вступить с ним в бой… голыми руками! В следующий момент показано, как Тарзан «разрывает» льву пасть, тот падает с деревянным стуком на пол и застывает в неправдоподобно короткий срок — делается твердым и негнущимся, как доска. Тарзан храбро ставит свою жирную ногу на его спину — видно даже облачко пыли от удара ноги — и бьет себя в грудь кулаками. Его рот открывается — зритель должен догадаться, что в этот момент он потрясает джунгли своим победным криком. Мы глубоко разочарованы представлением…

Суровая финская зима приближается наконец к концу. Санная дорога, проложенная по каналу, объявляется небезопасной для езды, так как на ней появились полыньи. Рассказывают страшные истории про неосторожных людей, которые все еще рисковали ездить по ней и, не заметив опасности, проваливались в воду с лошадьми и санями. По ночам меня преследует видение черной воды, которая коварно заманивает людей и животных в свою бездонную глубину. Они не замечают предупреждений, не видят вех, отмечающих полынью, не слышат тревожного храпа лошади. Кромка подтаявшего льда проваливается вдруг, черная вода

сжимает людей в своих ледяных объятиях, они кричат, захлебываются, и их затягивает под лед… Только на снегу остается след саней, жутко обрывающийся у края полыньи, да по снова успокоившейся воде плавает какой-нибудь кнут или шапка — все, что осталось от человека и животного.

И вот настал чудесный солнечный день. На берегах уже почти нет снега, дорожки подсыхают, а на канале все еще лед — страшный, вздувшийся, почерневший. На ледяной дороге стоят сверкающие лужицы талой воды, темнеет лошадиный навоз, вехи покосились, некоторые совсем упали и лежат, глубоко вдавившись в снег. По берегам виднеются люди — они прислушиваются и чего-то ждут. Мы тоже, конечно, толпимся около нашей пристани. И вдруг к нам доносится далекий пароходный гудок. Красивый звук заставляет сладко задрожать все мое существо, что-то особенное чудится мне в нем — как будто бы распахнулось окно и свободный ветер дальних просторов коснулся лица свежим своим дыханием. Так и полетела бы вслед за этим звуком туда, где блещут зеленые морские волны, где летают чайки, куда манят миражи неизведанных стран и необыкновенных приключений.

Многоголосая сирена ревет снова, на этот раз гораздо ближе, — звук перекатывается по берегам. Он не звучит уже призывно и торжественно, как в первый раз, — он легок и весел, и берега играют с ним, как с мячиком, ловко перекидывая друг другу. Уже слышно пыхтение машины, треск ломающегося льда, музыка и веселые крики людей. Из-за поворота показывается пароход. Он высокий, белый, украшенный флагами, усыпанный людьми, которые кричат и машут платками. Ледокол медленно наезжает носом — он у него, оказывается, совсем плоский — на лед, он трескается, огромные куски отламываются, переворачиваются, сверкая на солнце, пароход подминает их под себя, неудержимо двигаясь вперед, а за ним остается широкая полоса веселой, голубой воды, в которой танцуют разбитые льдины.

А следом движется еще один пароход — поменьше. Он легко расталкивает льдины своим острым носом, гремит музыка, флаги трепещут на ветру, и все сливается в одну яркую картину победного шествия весны.

Весну почуял и наш Маркиз — он подолгу простаивал на крыльце, принюхиваясь и прислушиваясь к каким-то своим собачьим весенним обещаниям, а потом убежал из дома. Он нашелся у одних наших знакомых в Выборге, где как-то зимой прожил несколько дней. Удивительно, как он нашел дорогу, по которой ходил всего один раз с тетей Наташей, — ведь надо было

пройти почти двадцать километров через леса, поля, переходить вброд разлившиеся ручьи. Но нас не восхищали нюх и сметливость собаки — все сочли его побег за проявление самой черной неблагодарности и измены. Все возмутились, даже тетя Наташа, которая души не чаяла в своем Маркузьке, заявила, что такого коварства от него не ожидала. Маркиза несколько раз наказывали, сажали на цепь, но он все равно срывался и уходил. Какая-то неведомая сила влекла его в город, — может быть, он там нашел себе подругу? Наконец все устали бороться с этой песьей манией побегов и навсегда подарили неверную собаку тем знакомым.

Весной и кончилась наша жизнь на Раухаранте. Надо было подумать о нашем систематическом учении, надо было общаться с людьми. Опасность нашего полного одичания становилась все реальнее. Мы покинули дикий и прекрасный уголок природы на Сайменском канале и переехали жить на дачу некоей г-жи Химонен, где-то между Оллила и Куоккала, на Териокской дороге.

В последний раз мы пошли прощаться со шлюзами. Один рукав канала проходил через шлюзы, а другой отводил лишнюю воду в озеро под ними, — образовался остров, где было очень интересно играть, а главное, смотреть с крутого берега на бешено мчащуюся воду отводящего канала. Из воды торчали черные, блестящие камни, и вода прыгала через них, вся в пене и брызгах, и мы часами могли простаивать на берегу, с уважением и страхом глядя на эту неутолимую злобу. Вода все-таки какая-то коварная, думала я, то она тихая, ласковая, голубая, то вдруг помчится как бешеная, набрасывается на камни, бьет их с такой силой, что земля дрожит и гул разносится далеко кругом. Потом опять притворится смирной и послушной, ласково журчит и течет себе среди цветущих лугов, играя с отраженными в ней облаками.

Особенно жутко было смотреть на пороги с узенького высокого мостика, соединявшего обе стороны реки, — когда долго смотришь оттуда на яростное мельтешение воды, то начинает казаться, что мостик тоже тронулся с места, поплыл куда-то, все быстрее и быстрее, с трудом оторвешь завороженные глаза, глянешь на неподвижный лес, а он кружится, плывет бесшумными кругами, сердце замирает, и тоненько звенит в ушах. Белки, которых было великое множество в этих краях, тоже боялись порогов и только в случаях крайней нужды — когда, например, за ними гналась собака, — рисковали перебегать по мосту. Они мчались, высоко задрав пушистый хвост, а потом шарахались к ближайшему дереву, мгновенно взлетали на его вершину и сидели там, сердито отплевываясь.

Итак, мы живем у Химонен. Небольшой темный дом стоял прямо в лесу, в стороне от дороги. Там было тихо, мрачно, темно. Мамина тоска не проходила. Она подолгу уезжала куда-то, гостила у знакомых, устраивала какие-то дела. Когда мама бывала дома, случалось, я ловила на себе ее тяжелый взгляд, с каким-то тягостным недоумением устремленный то на меня, то на Тина, — казалось, она удивлялась, какие большие и шумные у нее дети, старалась понять, что же такое мы собой представляем. Казалось, наше детское равнодушие к ее горю оскорбляло ее. С одним Саввкой она гуляла, даже часто брала его в свои поездки, и было видно, что его присутствие ее успокаивает. Иногда она выходила из своей мрачной задумчивости и с каким-то болезненным азартом бралась вдруг за хозяйственные заботы — вдруг испечет какой-нибудь необыкновенно вкусный пирог или возьмется обучать нас музыке — всех троих. Я было уже научилась довольно бегло играть на пианино и благодаря своему прилежанию даже обогнала любезных братцев, как у мамы пропала охота нас обучать, — она заявила, что таких неспособных детей она еще не видывала. А ведь как трудно было каждой рукой играть что-то разное, да еще при этом отсчитывать такт и смотреть в ноты! Но зато какое было наслаждение, когда пальцы наконец начинали послушно барабанить по нужным клавишам и из-под них начинал прерывисто литься пошловатый мотивчик песенки: «Давно готова лодка, давно я жду тебя, садись, моя красотка, с тобою счастлив я!..» Я так часто играла эту песенку, что даже тетя Наташа, не обладавшая мощной музыкальной памятью, вытвердила ее наизусть и вечно напевала, так что, когда я начинаю вспоминать те времена, у меня сейчас же начинает звучать в ушах этот гнусненький романсик.

Учение музыке было заброшено, но зато у нас появилась учительница-немка, которая изрядно научила нас немецкому языку. У нас были толстые тетради, в которые мы записывали немецкие стихи, — что-то страшное, сколько мы с Тином вызубривали стихов! — Гейне, Гёте, Шиллера. Еще у нас был учитель, который пытался научить нас арифметике, его героические усилия разбивались в прах о каменную глыбу нашего отвращения к этому предмету. Вскоре ему пришлось оставить его в первобытном виде, перейдя к изучению естественных наук, географии и литературы. Учитель был симпатичный молодой парень с кривоватыми ногами. Их кривизна особенно потешала нас, когда учитель бежал, — он как-то уморительно взбрыкивал, вихляя ногами в стороны. «Совсем как корова!» — провозгласил ехидный Тин.

Однажды мама уехала летом куда-то надолго и забрала с

собой Савку, Тина оставили с тетей Наташей, а меня почему-то отдали в семейство Ильи Ефимовича Репина, с которым маму связывала давнишняя дружба и который был нашим соседом.

Репины жили все на той же знаменитой дороге, что ведет то по самому берегу залива, то отдаляется от него и идет через лес, то проходит по высокому «карнишу». Всюду по ее сторонам были рассеяны дачи. В одном месте, недалеко от Куоккала, дорога проходит через густой еловый лес, и влево отходит наискосок дорожка — в сумеречно-зеленой тени деревьев виднеются покривившиеся старенькие ворота, на них неразборчивая надпись — «Пенаты». Пройдя ворота, путник заворачивал влево по заросшей тропинке среди елок, и перед его глазами вырастал весь диковинный дом Репина. Когда дул ветер с недалекого моря, то к шуму елей и сосен примешивался какой-то странный вой, чрезвычайно жутко действовавший на непривычного посетителя, приближавшегося к «Пенатам». Нельзя было понять, какого происхождения этот вой и откуда он несется. Как будто «стон повторяя погибшей души», стонал и плакал сам обездоленный ветер, примчавшийся из далеких просторов суровой Лапландии, с гранитных утесов Нордкапа. То затихая, то поднимаясь до душераздирающего вопля, вой проносился над домом, и было удивительно, как это люди могут там жить и даже спать по ночам. Я скоро, однако, разгадала тайну страшного воя: оказывается, так выла старенькая и расстроенная Эолова арфа, установленная на крыше дома. Я была знакома с таким сооружением еще раньше — у одних знакомых тоже было такое приспособление, но оно не выло, а звучало очень красивым слаженным аккордом — то усиливающимся с порывами ветра, то ослабевающим — как будто где-то далеко играют на органе. Механизма никакого не было, было только множество трубочек неравномерной толщины и высоты, срезанных наверху, и ветер, проносясь над ними, производил разной тональности звуки — очень мелодичные и нежные.

Зуб времени, видимо, изрядно поработал над Эоловой арфой Ильи Ефимовича: одни трубки полопались, другие закупорились, в третьих воробьи свили себе гнезда, и когда дул ветер, то все они издавали звуки, которые отнюдь нельзя было назвать гармоничными, — скорее это была какая-то дикая симфония, созданная сошедшим с ума композитором и сыгранная на органе таким же сумасшедшим музыкантом.

Эолова арфа, или, вернее, то, что от нее оставалось, располагалась на бесчисленных выступах, башенках и прочих витиеватых украшениях крыши. Повсюду можно было пройти по лесенкам, переходам, мостикам — все это было деревянное, с

шаткими почерневшими от времени перильцами. Над фронтоном дома возвышался какой-то стеклянный купол в виде колпака для сыра; в его устройстве был механизм, при помощи которого часть купола раздвигалась, становилось видно небо, и атмосферные осадки могли беспрепятственно падать прямо на Илью Ефимовича, безмятежно спящего в меховом мешке, вроде тех пресловутых спальных мешков, которые употребляют полярники на дрейфующих льдинах. Восьмидесятилетний старик был еще удивительно бодр и настолько закален, что даже в море купался чуть ли не до первых заморозков. Сон на свежем воздухе, можно сказать, под открытым небом, также способствовал укреплению здоровья Ильи Ефимовича. Он жил в своих «Пенатах» с дочерью Верой Ильиничной — старой девой со многими странностями. Только какая-то незаметная прислуга-финка молчаливо стряпала что-то на кухне и прибирала маленькие темноватые комнатки.

С сыном своим, Юрием Ильичом, старик Репин в ссоре. Они никогда не навещают друг друга, хотя их поместья граничат заборами. Илья Ефимович только сердито фыркает, когда речь заходит о сыне, и многозначительно вертит сухоньким пальцем около лба. Мама, однако, ходит к ним обоим, и они оба пишут ее портрет, так как Юрий Репин тоже художник. Наружность у Юрия Репина весьма примечательна: огромного роста, могучего телосложения, черноволосый, с небольшими усиками, он чрезвычайно напоминал Петра Великого. Сходство становилось еще более разительным, когда с мрачным вдохновением он начинал рассказывать что-нибудь и лицо подергивалось где-то около губ легкой судорогой.

Сыновья Юрия носили какие-то древнеримские имена, не помню уже, какие именно, но достоверно знаю, что старшего звали Кай. Это были тихие, скромные юноши и, кроме звучных имен, ничем не напоминали древних патрициев времен расцвета Римской империи.

Не знаю, как получилось, что мама согласилась позировать Юрию Репину для портрета, не помню и самого портрета. Знаю только, что он был недокончен, так как мама поссорилась с художником и отказалась от сеансов. Кажется, ее отказ послужил поводом к разным недоразумениям между ними, или, наоборот, недоразумения послужили поводом к отказу, во всяком случае, мама перестала посещать их дом. Велико же было наше изумление, когда однажды вечером гигантская фигура Юрия выросла в дверях нашего жилища у г-жи Химонен. Мамы не было дома. Мы столпились в прихожей, во все глаза уставившись на подергивающееся лицо Стервятника и его лихорадочно сверкающие глаза. Потоптавшись в передней, он вдруг погладил

меня и Тина по голове и пробормотал нечто вроде: «Бедные дети… дети голодны…» После этих маловразумительных слов он шагнул в комнату, уселся за стол и начал объяснять Саввке, как правильно надо рисовать Иисуса Христа, распятого на кресте. По его словам выходило, что общепринятое изображение Иисуса Христа, спокойно висящего на кресте, с мирно склоненной к плечу головой, с руками и ногами, вытянутыми вдоль перекладин креста, — совершенно не соответствует действительности и, следовательно, не реально. При помощи выразительных рисунков, которые он тут же начертил на бумаге, Юрий доказал, что руки человека, прибитого гвоздями к перекладине креста, должны под тяжестью тела неминуемо вывихнуться в плечах, что все тело, повиснув на этих вывороченных руках, должно скорчиться, ноги в коленях согнуться, голова низко опуститься на грудь. Якобы для того, чтобы тело так не корчилось, человека сажали верхом еще на одну перекладину, прибитую вертикально к поверхности креста.

Мы с ужасом смотрели на эти рисунки — что-то грубое, кощунственное чудилось нам в этом несчастном распятом человеке, в уродливой позе висящем на кресте. На его лице гримаса страдания, пряди спутанных волос падают на лоб, израненный терниями венца. Но нельзя было не согласиться, даже нам, детям, это было понятно: такое изображение куда более походило на действительность, чем слащавый и неправдоподобный в своей благостности образ распятого Христа, каким его принято изображать на всех картинах и распятиях.

Вера Ильинична была тоже с превеликими странностями. Она носила тоненькую, как крысиный хвостик, косичку — полуседую, полукрашеную — и часто дергала за нее или несколько раз подряд довольно крепко стукала себя кулаком по лбу — все это с задумчивым видом, устремив бессмысленный взор куда-то в одну точку. Мы ее совсем не боялись, но и никак не дразнили, так как она была до крайности добродушна и по-детски наивна. На наши проказы она только всплескивала руками и с еще большей энергией дергала себя за косичку. Мы удивлялись, как это мама выдерживает такое тесное общение с ней, даже гуляет по берегу, часами разговаривает — о чем? — однако молчали из боязни рассердить маму. Илья Ефимович мало общался с дочерью. Он выходил из своего ателье только к обеду, гулял один и не позволял особенно за собой ухаживать — все делал сам быстрыми, суетливыми движениями. В отличие от своих высоких и медлительных детей, он был очень невелик ростом, сухощав, белые волосы и бородка пухом окружали его лицо с быстрыми, строгими глазами стариковски блеклого голубого цвета.

Мамин портрет у него получился замечательно, несмотря на то что в ее лице было что-то неуловимое, трудно поддающееся изображению. Она позировала многим художникам, но ни один портрет не удался так, как репинский. На нем она написана полулежащей на кушетке. Опираясь на локоть, одетая в белое бальное платье, она задумчиво и печально смотрит перед собой. Белая шея, руки, складки платья выписаны с таким мастерством, что кажется — шелк шелестит, приподнимаемый дыханием, а на шее ритмично бьется маленькая жилка. Лицо было удивительно, неправдоподобно похоже, с тем самым, особо маминым выражением, что мне становилось неловко — вдруг мама встанет и скажет: «А что это ты тут делаешь?»

Когда портрет был окончен, состоялось торжественное его открытие взорам публики — в ателье собралось много народу, Илья Ефимович в своем замазанном красками халате похаживал среди людей, а мама в том самом платье, что на портрете, рассказывала и объясняла им что-то. Потом все сели, а мама подошла к столу, вынула исписанные на машинке листы и прочитала папин рассказ «Полет». Мама славилась искусством выразительного чтения и часто читала вслух нам, заставляла нас читать, все время поправляя и ругая за проглатывание окончаний слов и монотонность.

Рассказ «Полет» я хорошо помню, хотя потом уже его не встречала и не читала больше. На мой взгляд, это был странный рассказ — о каком-то пилоте, который был вполне здоров, молод, красив, имел очаровательную жену и детей и вот так увлекся полетом, такие головоломные делал фигуры в воздухе, что наконец разбился вместе со своим аэропланом. Удивительнее всего, что это он сделал намеренно и даже перед полетом попрощался с женой, которая, бедняга, ничего о его намерениях не знала. Мама была очень красива, когда читала, — ее глаза блестели, рука делала выразительные жесты, голос звучал немного глухо от волнения. Когда она прочитала последнюю фразу — «на землю он не вернулся никогда», — голос ее задрожал, она быстро встала из-за стола и вышла из комнаты.

Саввка к тому времени уже очень недурно рисовал, и Илья Ефимович наблюдал за ним, поправляя и показывая ему. Помню, Репину очень понравился один Саввкин рисунок — он изображал старика сапожника, которого Саввка много раз рисовал из-за его характерного лица. На наброске старик как-то особенно выразительно смотрит из-под густых клочковатых бровей — очки сдвинуты на лоб, в глазах смешливая искринка, как будто сейчас что-то скажет смешное, — Репин даже засмеялся, когда увидел эти глаза. «Хорошо, — сказал он, — из тебя выйдет толк».

Большею частью, однако, Репин бывал не в духе, фыркал и бурчал себе под нос, стремительно скрываясь в дверях ателье, уйдет и затихнет там, а все на цыпочках выходят — боялись страшно сердитого старика. Но мы узнали Репина и с другой, неожиданной стороны, которая как-то сблизила нас, сделала его простым и понятным.

Дамами и русской молодежью был как-то устроен некий благотворительный концерт, деньги, вырученные за билеты, должны были поступить в пользу нуждающихся студентов, — видимо, в Оллила и Куоккала были и студенты. Развлечения такого рода были чрезвычайной редкостью, и мы с нетерпением ждали этого вечера. Он показался мне удивительным, прекрасным. Мне понравилось все: лезгинка, хор и даже спетый одной пожилой дамой романс «Соловей» — в простоте души я сочла ее пронзительные взвизгивания за колоратурное пение.

А потом на сцену вдруг вышел Илья Ефимович Репин в своей бархатной куртке с чем-то вроде висячего банта под подбородком. Никто не знал, о чем он будет говорить, но всем было очень интересно — люди переглядывались, улыбались и наконец замерли, с напряженным вниманием глядя на тщедушную фигурку Репина.

А он приблизился к самой рампе и таинственным голосом заговорщика начал: «Поздно ночью из похода воротился воевода…» У меня даже что-то екнуло внутри — это стихотворение мы прекрасно знали наизусть, еще Вадим нам его представлял в лицах, оно мне всегда нравилось остроумным и неожиданным решением, казалось бы, неразрешимой ситуации. Как же Репин его прочитает? А он совершенно преобразился, всякое тщедушие с него слетело — теперь он был громадным, грубым, краснорожим воеводой. Как он бросился… «к постеле; дернул полог… В самом деле! Никого; пуста кровать». На его одураченном лице гнев, возмущение, вдруг мстительная радость осветила его, движения стали быстрыми, какими-то хищными. Отрывистым повелительным голосом он отдает приказания мальчишке-слуге, и вот уже: «Пан и хлопец под забором тихим крадутся дозором…» Согнувшись, почти прижавшись к забору, воевода на цыпочках крался вдоль стены — так и чувствовалось его грузное тело в таком необычном для него движении, столько злорадства в его взгляде, когда «…на скамейке, у фонтана, в белом платье, видят, панна и мужчина перед ней…». Короткие, брошенные свистящим шепотом приказания — хлопец целится… И вдруг совсем другим, добродушно стариковским голосом, подняв брови, с неизъяснимым выражением лукавства, Репин говорит: «Хлопец, видно, промахнулся: прямо в лоб ему попал».

Даже теперь, когда я вспоминаю о неожиданном сценическом даре Ильи Ефимовича Репина, у меня делается тепло на сердце, и я чувствую, каким талантом, какой отзывчивостью ко всему прекрасному должен был обладать этот человек. Пушкинская острая ирония этого стихотворения была, видимо, сродни характеру Репина — ехидный был он старичок, и никакая человеческая слабость не ускользала от его зоркого, осуждающего глаза.

Репинский дом был весь полон чудаковатым духом своего хозяина — эта Эолова арфа, этот стеклянный купол, темноватые комнаты с какими-то затейливыми переходами и тупиками! Всюду потертые пыльные занавесы, косо висящие картины, мутные от времени зеркала в простенках, всюду слышится сердитое стариковское фырканье, всюду чудятся развевающиеся полы его замызганного красками халата, стремительно исчезающие за изгибом коридорчика.

Самое название репинской дачи — «Пенаты» — очень шло ко всему облику этого дома. Чуть ироническое, чуть ласковое, оно сообщало ему домашний стариковский уют и прелесть. Ведь пенаты — это добродушные боги домашнего очага, покровители уюта и благополучия дома, их благоволение к этому дому чувствовалось во всем. Это их шамкающий шепот слышался по углам, под их старческими, но легкими шагами поскрипывали половицы, их вздохи и кряхтение колыхали пыльные занавески.

Но самой занятной комнатой в репинских «Пенатах» была, безусловно, столовая — даже не так сама комната, как совершенно необычайный обеденный стол. В жизни я не видывала такого стола! Большой и круглый, он имел три этажа, которые ярусами поднимались на его середине. Нижний этаж, приблизительно в тридцать сантиметров шириной, был неподвижным — составлял, как бы сказать, основание стола. Второй этаж возвышался над первым этак на двадцать сантиметров и напоминал штурвальное колесо, только лежащее и с ручками, вертикально поставленными к его плоскости. Если обедающему требовались соль, хлеб или другое какое блюдо, он хватался за ручки и вертел колесо. Требуемое блюдо с тарахтением, но довольно плавно подъезжало прямо к носу гостя, и он накладывал себе на тарелку столько, сколько ему хотелось. Случалось, правда, что его визави в свою очередь тянул колесо к себе, — происходила короткая борьба, сильнейший побеждал, и тогда тоскующий взгляд гостя провожал блюдо, скрывающееся за поворотом.

Посередине возвышался еще третий ярус, образовывая наименьшее по диаметру колесо, — оно тоже обладало ручками и могло вращаться вокруг собственной оси. Довольно-таки дикое зрелище представлял собой этот стол, в особенности когда вокруг него сидело много гостей. Не было ни малейшей возможности разглядеть за ярусами стола своего собеседника. Гости чуть не откручивали себе шеи, наклоняясь то в одну, то в другую сторону с риском свалиться со стула. Они чувствовали себя достаточно глупо, имея перед самым лицом не доеденную кем-то ножку цыпленка, или когда их собственная ложка, неосмотрительно положенная на второй этаж, вдруг уезжала от них прочь. Гости перекликались между собой, как в дремучем лесу, и вразброд вертели штурвальные колеса. Особенно эффектно получалось, когда они со стуком и грохотом крутились в разные стороны и мимо носа проносились на большой скорости то котлеты, то горчица, то какие-то объедки и грязные тарелки. Видимо, механизм этого изобретения должен был позволить гостям обходиться без помощи прислуги. Так оно и получалось, но все же они довольно поспешно и с явным облегчением вставали из-за стола, как только обед кончался, и, взяв свою чашку в руки, разбредались по комнатам в поисках нормального столика, где можно было бы без помехи поговорить и допить чай.

У Ильи Ефимовича имелась своя собственная — персональная, так сказать, чашка, которая почему-то никогда не мылась. Он пил в ней какао, потом наливал туда же чай, так что там образовывались осаждения и наслоения, оставшиеся от всех

этих напитков. Как Нансен с Иогансеном в книге «Во мраке ночи и во льдах», он отскребывал потом ножом лишние слои и безмятежно наливал себе снова чай. Прислуге было велено никогда не касаться этой чашки.

В саду главной достопримечательностью был артезианский колодец по имени Нептун. Он был похож на невысокую круглую башенку, по стенам которой непрерывно стекала сверху ледяная и кристально чистая вода. От вечной сырости стены башенки были покрыты зеленой плесенью, а у ее подножия всегда стояли страшно холодные лужи. Вода из Нептуна стекала в заросший камышами пруд.

Во время своего пребывания в «Пенатах» я была предоставлена самой себе и могла делать все, что мне угодно. Надо сказать, что скучно мне никогда не было, хотя в большом заброшенном саду не было ни души, и за целый день, случалось, я не произносила ни единого слова, — мне даже казалось порой, что рот мой склеился и я вообще разучилась говорить. Главным полем моей деятельности был пруд. Я раздобыла где-то старые ворота — они были сколочены из трухлявых досок, но признаны мною за вполне подходящий материал для постройки сверхмощного дредноута. В общем, это был обыкновенный плот, и только сила моей фантазии могла возвеличить его до столь пышного названия.

…Сделав очередной рейс, я возвращалась к пристани — уютной бухточке под большой ивой. Мой корабль выглядел очень живописно со своим усовершенствованным сиденьем из сена, с приступочкой для ног, солнечные блики скользили по нему, а я стояла и любовалась — честное слово, мне казалось, что красивее судна нет в мире!

Налюбовавшись всласть, я отправлялась на невысокий холмик в конце сада — по его вершине проходил забор, отделявший репинские владения от его соседей.

…Сидя на припеке, я плела бесконечные венки из кошачьих лапок — здесь тоже росли эти милые бархатистые цветочки.

В таких занятиях проходил день, а вечером я сидела за штурвальным колесом и сонными глазами наблюдала, как Вера Ильинична стукает себя по лбу, задумчиво вперив взгляд в стенные часы. Мысли лениво проходили в моей голове — короткие, расплывчатые, полные бабочек, уток и плотов.

Потом кончилось лето и меня забрали от Репиных. Началась новая эра в нашей жизни — нас отдали учиться в школу. Школа эта находилась довольно далеко от нас — небольшой каменный дом в два этажа был окружен обширным и каким-то пустым участком, вся трава была вытоптана многочисленными ногами.

Позади дома было возвышение, все поросшее деревьями и кустами, — идеальное место для игры в казаки-разбойники, которой увлекались все ученики. В школе было всего три класса гимназии, так как старших детей не было. Третьеклассники считались взрослыми, серьезными людьми. Там учились такие умные парни, как Виталий Тумаркин, и такие красавицы, как рыжая и бледная Ирма Таухер, в которую влюбился Саввка. Меня опять-таки дразнили Виталием — я краснела, бледнела и не могла пошевелиться, когда Виталий со снисходительным видом брал меня за руку или становился рядом во время игры. Я и так была страшно застенчива и неуклюжа, но, когда Виталий подходил ко мне, эта застенчивость принимала катастрофические размеры — каждый палец на руках и ногах как будто наливался чем-то тяжелым, как свинец, и не было никакой возможности пошевелить им, в то время как Ирма Таухер и другие девочки свободно и непринужденно прохаживались с мальчиками по залу. Я от всей души ненавидела толстую самодовольную рожу Виталия, но молва твердила, что я в него влюблена, одно это слово повергало меня в состояние, близкое к столбняку, — приходилось верить, что это так и есть.

Мы с Саввкой ходили во второй класс, а Тин — в первый. Я гордилась тем, что была самой младшей в классе, — мне было всего десять лет, но мои знания уважались всеми учителями. В особенности я блистала в области географии, истории и литературы, — сказывалась начитанность, действительно редкая в эти годы. Уже тогда я безошибочно писала по старой орфографии — уроки Вадима не пропали даром! — и умела здорово рисовать географические карты. Только арифметика по-прежнему доставляла мне массу огорчений. Но я была очень прилежна, старательно исписывая тетрадки своим ровным почерком, выпятив от усердия верхнюю губу с выражением того гойевского черта, который стриг когти товарищу, собираясь на адский бал.

В классе я чувствовала себя свободно и непринужденно, так как всегда все знала, и только снисходительно улыбалась, когда кто-нибудь «плавал» у доски. Был у нас в классе один мальчишка — бледный, вихрастый и страшный заика, — может быть, это и нехорошо, но его выступления у доски возбуждали неудержимый хохот у всех учеников, даже сам учитель хотя и сердился, но я видела, что иногда он отворачивался к доске, не в силах сдержать улыбки. Несчастный парень особенно не выносил слов, начинавшихся на букву «а». Однажды учитель географии вызвал его к доске и приказал перечислить страны света, которые, как известно, кроме Европы, все начинаются на эту роковую букву.

Мальчишка хорошо знал урок и с готовностью взялся за перечисление, он старательно открыл рот и понатужился — ни звука! Покраснев до синевы, он выпучил глаза, замахал руками, но из его отверстого рта вырвался только какой-то рев, очень отдаленно напоминавший звук «ха». Наконец с последним отчаянным усилием он прорычал: «Х-х-азия!» — и тут же взялся за «Х-хафрику». Совершенно взмокший и красный как рак, он добрался таким образом до Америки, и учитель, предвидя еще Австралию, сжалился над беднягой и попросил его написать названия на доске, а потом долго ругал нас за нетоварищеское отношение. И вовсе это не было нетоварищеским отношением, мы все очень любили парня, просто это было невероятно смешно, и ничего в нашем смехе не было обидного — сам мальчишка и не думал обижаться.

А дома была все та же мрачная, безрадостная атмосфера, мама все чаще уезжала куда-то, и все чаще слышались разговоры о том, что необходимо уехать за границу. Ведь Финляндия отделилась от России, граница пролегала где-то у Сестрорецка, и маме совсем не улыбалась мысль отдавать нас учиться в финские школы, жить в таком захолустье всю жизнь. Ехать одной, с маленькими детьми в Россию, где бушевала гражданская война, были голод и разруха, мама не решалась. Друзья настойчиво советовали маме ехать в Германию… Наше материальное положение поправилось бы с переездом, так как мама вела деловые переговоры с немецкими издательствами насчет издания папиных книг на немецком языке и с театральными обществами, которые соглашались ставить папины пьесы.

Был разработан следующий план: сначала мы все едем на Черную речку, чтобы позаботиться о большом доме, о библиотеке, что-то продать, кое-что сдать внаем. Потом мама с Саввкой едут вперед в Германию, а тетя Наташа, Тин и я остаемся еще на некоторое время на Черной речке, в ожидании сестры Нины. Нина была маминой, но не папиной дочерью, и звали ее Нина Константиновна Корницкая — Корницкий был мамин первый муж, о котором она никогда не говорила. Нине к этому времени было лет семнадцать, и никто не знал, как она выглядит, так как дома на Черной речке она бывала, когда мы были совсем маленькими, а потом все время жила у бабушки Анны Яковлевны, маминой мамы. Бабушку мы совсем не помнили, только знали, что она очень культурный человек, чуть ли не профессор архитектуры и скульптуры, искусствовед и заведует музеем в Ставрополе на Кавказе.

С радостью мы уезжали от г-жи Химонен, ее дом нам не прирос к сердцу — уж очень там было темно, мрачно, сад

маленький — негде пробежаться. То ли дело наши чернореченские просторы, наш громадный дом, — наверное, он очень изменился за время нашей разлуки с ним?

На первый взгляд он был как прежде, — может быть, только еще больше покосилась башня… Но все той же привычной громадой он возвышался на холме, все так же был знаком и дорог, так что ничего, кроме чистой радости от свидания с ним, мы не испытали. Жить в нем, однако, было невозможно — крыша всюду протекала, в нем было сыро и холодно даже летом, а отопить зимой не представлялось возможным. Поэтому мы заняли флигель — маленький домик из двух комнат и кухни, с верандой и прихожей. Комнаты были достаточно просторными, светлыми, кухня большая, всюду крашеные деревянные полы с пестрыми половичками — чисто, хорошо. Большая часть окон дома и веранда были обращены к югу, где из-за низких берез виднелся мрачной громадой наш пустой, необитаемый и страшный дом.

Мама попыталась было вынести и продать хоть какую-нибудь мебель из большого дома, но оказалось, что это невозможно сделать, — мебель делалась на заказ в самих комнатах, и когда попробовали вынести диваны и кресла красного дерева из маминого кабинета, то они не пролезли в двери, — все осталось так, как было, и мама, не в силах смотреть на развалины прежней жизни, с какой-то болезненной торопливостью доделала кое-какие необходимые дела и уехала с Саввкой в Берлин. Перед самым ее отъездом к кухонному крыльцу большого дома подъехали телеги, и нам было велено выносить книги из папиной библиотеки и грузить их на подводы.

Мы с Тином рьяно принялись за дело. Мы проносились через кухню, пробегали огромную столовую, бежали по лестнице и врывались в тихий молчаливый папин кабинет, где из угла дико косился Лев Толстой в ночной рубашке, а на стене черт стриг когти все с тем же феноменальным усердием. Тяжелые синие занавесы отдернуты, ковер затоптан нашими грязными ногами, и библиотека, это священное место, куда входили на цыпочках, где говорили шепотом, где чистыми руками осторожно снимали с полки выбранную книгу, — эта библиотека подверглась нашему варварскому нашествию. Мы распахивали зеркальные шкафы, выхватывали как попало книги и как какие-нибудь дрова накладывали на согнутую в локте руку, — придерживая книги подбородком и другой рукой, не видя ничего у себя под ногами, мы выносили их из кабинета.

Один раз, спускаясь с лестницы, я развалила свою высоченную кипу книг, и они разлетелись по ступенькам. Я

бросилась поднимать, и тут мои глаза нечаянно остановились на «Некто в сером» — суровым, осуждающим взглядом он смотрел прямо на меня через красноватое пламя своей свечи, странно короткой, почти огарка. Этот тяжелый взгляд притягивает меня, казалось, он хочет что-то сказать… С трудом я отворачиваюсь, поспешно нагибаюсь и начинаю подбирать книги — я подбираю, а он все смотрит, и было тихо, совсем тихо в пустом доме… Страшный взгляд сверлил мне затылок, проникал в самую глубь мозга, и вдруг догадка, как молния, блеснула в голове — он сердится. Он сердится, что выносят книги — папины книги! Ведь они — часть его самого, это его душа сегодня покидает холодное, мертвое тело — свой дом. Вот сейчас «Некто в сером» шагнет вперед и скажет: «Тише, человек умер!» И свеча его погаснет… Странно, что она еще горит, когда Человек — папа — уже давно умер. Она оттого еще не погасла, что папина душа в его книгах, и, пока они здесь, она тоже здесь, в доме, она не может умереть, она незримо присутствует… Мысли мешаются, и ужас холодной рукой пошевелил мне волосы, и сжалось горло от жалобного крика, когда послышался топот ног и живой, задыхающийся от бега голос Тина прокричал мне в самое ухо: «А я уже отнес, а ты все тут копаешься!» И все сразу прошло, исчезло, я радостно подхватила ставшие вдруг послушными книги и побежала с ними вниз, через столовую и кухню на крыльцо, где светило солнце и стояла лошадь, помахивая хвостом и с хрустом пережевывая овес в подвешенном к морде мешке.

Но вот уехали наши книги, уехала мама с Саввкой, и наша жизнь сосредоточилась во флигеле. Двери большого дома были заперты, окна заколочены, дорожки к нему заросли. Мы редко ходили к дому — зачем, когда гораздо интереснее играть около флигеля, носиться по саду и далеко по окрестностям в обществе верного Варнавы Препотенского. Этим персонажем Лескова был пес — фантастическая помесь таксы с дворнягой самого плебейского происхождения. Он был весь вытянут в длину, ноги короткие, но не слишком кривые, только если посмотреть сзади, то заметно, что они от коленей торчат врозь. Цвета он был какого-то голубовато-стального, вроде полярного песца, но с белыми и желтыми подпалинами. Одно его мягкое, как бархат, висячее ухо было черным, другое белым, глаза тоже — диво дивное! — были разными — один глаз карий, другой голубой. Кончик его длинного стального хвоста был украшен белой кисточкой, которая, как флажок, мелькала в траве, когда Варнава бежал через луг. Сзади на ляжках лихо закручивались два маленьких водоворотика из желтой шерсти.

Все находили, что Варнава донельзя безобразен, но ни одна

самая умная, самая породистая собака не снискала бы себе столько нашей любви и нежности, как наш дорогой Варнашка! Какой это был умный и милый пес, каким весельем сверкали его разные глаза, как светились его белые зубы!

Вот он спит, свернув калачиком свое длинное туловище, на подстилке, и кажется, что глубоко спит, по крайней мере у него даже подрагивают ноги и дрожат веки, — наверное, снится Варнаве Препотенскому, как он мчится по полю в погоне за курицей, — была в его жизни такая пагубная страсть! А человек подходит себе к вешалке взять пальто или куртку — тете Наташе понадобилось чего-то купить в лавке финна Сиркэ, который «с кадыком». Посмотрите на Варнаву! Каким-то шестым чувством, которое бдит даже во сне, собака чует, что берут что-то с вешалки, — она моментально вскакивает и в диком восторге начинает прыгать и скакать по комнате. Ее глаза сияют, пасть растягивается в подобие улыбки, из нее вдруг высовывается кончик розового языка, он все растет, удлиняется, наконец заворачивается в трубку — раздается взвизгивающий, протяжный зевок. Это нервная зевота — она всегда нападает на Варнаву, когда он находится в счастливом предвкушении прогулки. Уморительное и трогательное зрелище! Он мешает одеваться, выхватывает из рук калоши и шапку, бросается то на грудь одевающемуся, то на дверь, и все время слышны его нервные зевки. Наконец открывается дверь, и Варнава в экстазе вылетает на крыльцо. Вороны и воробьи в ужасе шарахаются от него на деревья, он сконфуженно останавливается, оглядывается: не сердись, мол, что я так глупо погорячился! — говорит его лукавая морда. Убедившись, что никто не сердится, он сладко щурится, фыркает, вскидывает хвост и грациозной рысцой бежит по дорожке — смешные водоворотики на ляжках начинают ритмически покачиваться в такт движениям ног.

Нам трудно представить себе прогулку без этой проворной, торпедообразной фигуры, мелькающей то впереди, то сзади, — вот он совсем скрылся в высокой траве, только белый кончик хвоста да полоска волнующейся травы указывают на его продвижение. К сожалению, прогулки не всегда кончаются благополучно, вернее, почти ни одна из них не обходится без роковой встречи с курами — ведь около всякой крестьянской избы гуляют десятки этих беспечных пернатых. Вот и сейчас мы замечаем несколько гуляющих кур около забора своего хозяина, который — как мы не раз убедились — имел злой и мстительный характер. При виде злодейской рожи достойного Варнавы он немедленно впадал в беспокойное, крайне нервное состояние.

«Где же Варнашка?» — думаем мы. «Варнашка! Варнашка!» —

зовем с беспокойством. Но уже поздно, зоркие глаза хитрого пса, оказывается, уже давно заметили беспечно разгуливающих кур. Ловким обхватом он отрезает их от спасительной лазейки и стремительно бросается в атаку. Он несется, закинув уши поверх головы, глаза его сладострастно зажмурены, тело стелется по земле в одной линии с хвостом. Куры слишком поздно замечают страшную опасность — с отчаянным криком они разлетаются во все стороны. Истерическое кудахтанье звучит райской музыкой в ушах Варнавы — оно лишает его последних остатков благоразумия. Он наподдал еще, и вот уже его длинный нос почти касается хвоста одной из кур… Она стрелой несется к лазейке — мгновенье, и она скроется в ней! Мы кричим, машем руками, бросаем камни. В воротах вырастает мощная фигура разъяренного крестьянина. В руках у него дубина, он машет ею с такой силой, что рассекаемый воздух свистит, из его отверстого рта вырывается страшный рев. Но Варнава в своем упоении слеп и глух, а хвост курицы маячит уже в нескольких миллиметрах от его носа. Еще прыжок, и он вцепляется в хвост, но в тот же момент курица достигла забора и скрывается в лазейке… У Варнавы комичный вид — изо рта торчит пук перьев, а на морде выражение, какое бывает у человека, который внезапно очнулся от прекрасного сна к суровой действительности. Действительность в самом деле сурова, так как крестьянин, пылая справедливым гневом, уже заносит дубину над Варнавой… Но тут подбегаем мы, хватаем за руку, отводим в сторону удар, слезно просим, умоляем пощадить бедную собачку, которая еще так молода, неопытна… Пук перьев, красноречиво торчащий из рта Варнавы, донельзя раздражает крестьянина, но он отходчив, так как видит, что курица отделалась только легким испугом и несколькими перышками. «Чтоб я вашу собаку больше не видел! — рявкает он. — Увижу еще раз без веревки, без намордника, вот этими руками удушу!» — добавляет он, тряся перед нашим носом кулаком и делая жест, не оставляющий сомнений, как именно он будет душить Варнаву. Мы спешно удаляемся, на чем свет стоит ругая Варнаву, который с видом раскаявшегося грешника покорно трусит около. Иногда голова его приподнимается, недремлющее око скашивается в сторону кур, а язык хищно облизывает уголок рта, обращенный к добыче, — не очень-то верьте раскаянию собаки, оно притворно!

И в самом деле, Варнава делается смертельной угрозой для окрестных курятников, и не одна из их обитательниц пала жертвой его роковой страсти. Никакие наказания не помогали, и бедной тете Наташе приходилось расплачиваться за его грехи.

Впрочем, на выразительном лице Варнавы Препотенского

всегда можно было прочесть всю историю его преступления. Так, однажды приходит он на кухню, а на кончике носа висит прилипшее перышко, глаза смотрят в землю, хвост опущен, вся фигура вихляется и прижимается к полу. Ни дать ни взять, Евгений из «Медного Всадника»: «…картуз изношенный снимал, смущенных глаз не поднимал и шел сторонкой…»

Тетя Наташа мгновенно понимает, что случилось, и ее грозный голос гремит над ухом Варнавы: «Где курица, негодяй?!» Варнава бросает исподлобья взгляд на дверь… «Где курица, мерзавец?!» Еще взгляд и неверный шаг в сторону двери. «Иди показывай, где курица?» И вот начинается печальный путь. Варнава плетется впереди, изредка оглядываясь, — в его глазах покорность и глубокая скорбь. За ним шагает тетя Наташа, грозными окриками подбадривая неуверенную поступь преступного пса. В арьергарде плетемся мы с Тином, наши сердца надрываются от смеси противоположных чувств: нам и смешно, и жалко курицу, и страшно за участь нашего дорогого Варнашки — не избежать ему суровой кары от справедливой руки тети Наташи! Так проходим мы через весь сад, и там, в укромном уголке за кустами, нашим глазам представляется душераздирающее зрелище: на траве лежит большая курица с перекушенным горлом — капельки крови пятнают ее белоснежные перышки, ноги безжизненно вытянуты на зеленой травке… Все останавливаются, онемев от возмущения. Варнава стоит впереди — он тяжело вздыхает, шатается, вся его фигура выражает такую скорбь, что кажется, еще немножко — и он упадет без чувств на бездыханный труп своей жертвы. Тетя Наташа с причитаниями поднимает курицу, осматривает ее: она целехонька, если не считать прокуса на горле — из ранки все еще сочится кровь. Бессовестное животное умерщвляло птицу из чисто охотничьего азарта и никогда не ело свою добычу.

Печальное шествие трогается обратно, но порядок его изменился — впереди шагает тетя Наташа с курицей в руках, потом идем мы, а позади тащится Варнава. Последний акт трагедии разыгрывается на кухне, где справедливое возмездие карает убийцу, — его тычут носом в распростертое тело жертвы, стегают плеткой, при каждом ударе приговаривая: «Не тронь кур! Не тронь кур!» Ни стона, ни вздоха не вырывается из груди пса — он покорно переносит побои, и весь вид его говорит: «Бейте, мучайте, я заслужил кару я — великий грешник!» Потом он залезает под лавку и, тяжело вздыхая, лежит там чуть ли не целый день — в своем унижении он не решается лечь на свою подстилку, не говоря уже о диване, где — что греха таить! — он частенько похрапывал после обеда в то счастливое время, когда

его совесть не была еще запятнана тяжелым грехом.

А тетя Наташа тем временем с глухими проклятиями потрошит несчастную курицу, которая была признана съедобной. С жалостью она констатирует, что покойница погибла от зубов бессовестного Варнавы в самом расцвете своего куриного призвания, — в ее утробе находится целая серия яиц, от маленьких круглых желточков начиная и кончая совсем почти готовым яйцом с мягкой еще пленкой вместо скорлупы.

На другой день, однако, все страсти позабыты, и тетя Наташа подсовывает тому же Варнашке косточку жертвы его злодейства, а сытый и довольный разбойник, оглядываясь, несет кость в сад, чтобы заботливо закопать носом в землю — про черный день. Впрочем, он всегда забывал про свои тайники, и кости мирно истлевали без всякой для него пользы.

Вправо от флигеля была посеяна полоска ржи — мы протоптали через нее дорожку прямо к группе берез, между которыми у нас были повешены старые гамаки. Они висели, почти касаясь земли, и, чтобы было удобнее сидеть, мы с Тином натаскали травы вместе с землей и оборудовали прекрасные сиденья, где можно было удобно расположиться и качаться, отталкиваясь специальной палкой. Мы проводили все дни на этих гамаках — в одной руке держишь какую-нибудь вкусную репку, время от времени откусываешь кусок — непременно с хрустом! — а другой рукой, вооруженной палкой, отталкиваешься, норовя каждый раз попасть в ту же выемку в земле. Гамаки висели рядом, и мы, качаясь и закусывая, мирно беседовали о своих делах, о книжках, мечтали, рассказывали выдуманные истории. Потом слезали и долго любовались видом наших благоустроенных гамаков и всех окружающих деталей: притоптанная земля под ними, выемки для палок, сами палки, заботливо прислоненные к березе, — все это приводило нас в умиление и восторг.

Были у нас и хозяйственные заботы — в наши обязанности входило хождение по лавкам и ношение воды из ручья, протекавшего уже вне наших владений, за дорогой. Кроме того, я помогала тете Наташе убирать и вечно штопала свои и Тиновы чулки, роковым образом всегда прорванные на коленках. Ведра с водой выливались на кухне в большую бочку — в ней плавал блестящий ковшик. И какая же вкусная вода была в этой бочке, когда ее пьешь из ковшика, и звонкие капли падают в темную воду, отражающую твою румяную, озабоченную рожицу.

По субботам устраивалось купанье в корытах. Тетя Наташа усердно оттирала нас мочалкой и, любуясь моей фигурой, частенько говорила: «Будет за что ущипнуть!» Смысл слов мне

мало понятен, тем не менее я краснею, так как тетя Наташа произносит их как-то особенно многозначительно. Она искренне любуется моими волосами — после мытья они блестят, как свежевылупленный каштан, и закрывают всю спину, но я недовольна: такие ровные, они совсем не вьются, не то что у красавицы Луизы, в которую был влюблен храбрец Стальное тело из романа Буссенара «Королева золота». «Впрочем, если волосы заплести еще мокрыми, то, высохнув, они ложатся мелкими волнами, что тоже очень красиво», — думаю я.

Однажды в воскресенье, распустив таким образом волнистые пряди своих волос и чувствуя себя удивительно красивой, я читаю по настоянию тети Наташи вслух эту самую «Королеву золота». К несчастью, я вскоре дохожу в чтении до того рокового места, где геройский Стальное тело изъясняется в любви Луизе. Почему-то меня начинает бросать то в жар, то в холод, слова как-то застревают в горле, я мямлю и заикаюсь. Вот уже золотистая головка Луизы склоняется на могучую грудь Стального тела, вот он наклоняется и… о ужас! — я не в силах, буквально не в силах произнести слов «…их губы сливаются в долгом поцелуе». Я спотыкаюсь, умолкаю и вдруг ловлю на себе лукавый и смеющийся взгляд тети Наташи. Красная как кумач, я вскакиваю и выбегаю из комнаты. Больше я не соглашаюсь читать вслух романы, разве только невинные приключения мальчика Фрикэ в дебрях Африки.

У нас два учителя. Это братья Лыжины, которые живут в красивой даче на берегу Черной речки. У них большой сад и оранжерея. Их папа и мама и вообще все семейство не выговаривают буквы «л», причем каждый член семьи говорит вместо этой буквы какую-нибудь другую. Так, слово «лук» в произношении отца звучало как «рук», у матери оно превращалось в «гук», у Юрия Петровича в «ук», а у Павла Петровича в «вук». Особенно комично получилось, когда романтический и бледный Павел Петрович однажды с чувством прочел стихотворение: «…и скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды… Жеванья? Что пользы напрасно и вечно жевать?..» Все неудержимо расхохотались, — в самом деле, какая глубокая правда: «напрасно и вечно жевать»!

Юрий Петрович был очень некрасив, но на редкость симпатичен. Его все любили, в особенности тетя Наташа в нем души не чаяла. Юрий Петрович был очень внимателен к ней — вникал во все ее хозяйственные заботы, интересовался ее рецептами, хвалил кушанья и с удовольствием оставался у нас обедать, зная, что этим доставит доброй тете Наташе большую радость. Она угощала его замечательно вкусным кисло-сладким

хлебом своего изготовления, с изюмом. «Совсем как у Филиппова!» — восхищался Юрий Петрович.

Павел Петрович совершенно не был похож на своего брата. Высокий, стройный, весь какой-то серый — серые глаза, пепельные волосы, серый элегантный костюм, — он производил несколько холодное и высокомерное впечатление. Он часто кашлял — скорее притворно, чем естественно, жаловался на слабое здоровье, и, когда я как-то немного посильнее пожала ему руку, он болезненно сморщился и сказал: «Ради бога, осторожно, у меня очень хрупкие пальцы!» Все это смешило нас с Тином, в особенности эти хрупкие пальцы! «Тоже мне мужчина», — думала я с сожалением. Он преподавал нам русский язык и литературу, а Юрий Петрович все остальные науки.

До сих пор помню объяснения Павла Петровича, перед какими словами надо ставить запятую, где нужен мягкий знак, где удобнее поставить тире. Он очень интересно рассказывал о происхождении некоторых слов и выражений в русском языке, вроде лодырничать, бить баклуши, шантрапа. Слово «шантрапа», оказывается, имело курьезное происхождение. Один помещик любил музыку и пение и нанял себе француза-хормейстера для создания хора из крепостных крестьян. Со всей деревни согнали в помещичий дом крестьян, и француз вызывал их по одному в залу, — сидя за роялем, он пробовал голос и слух будущих певцов. Одним он говорил — «шантра», что по-французски означает «будет петь», в смысле — годится в хор, а послушав другого, морщился и, махнув рукой, изрекал: «Шантра па!» — то есть «петь не будет», не годится. Ожидавшие своей очереди мужики спрашивали выходившего: «Ну как, опять шантрапа? Эх ты, шантрапа!» Так и вошло это слово в русскую речь для обозначения человека бестолкового, никудышного.

Однажды Павел Петрович задал нам сочинение на вольную тему. Начитавшись разных Элизе Реклю и Буссенаров, я с большим воодушевлением написала повесть под названием «Охота на электрического ската». Рассказ велся от первого лица и изобиловал массой смертельных опасностей. Я была очень довольна своим сочинением и страшно удивилась, когда Павел Петрович, дочитав до конца, вдруг дико захохотал и, не в силах говорить, только показывал пальцем на последнюю строчку.

Ничего не понимая, очень обиженная его смехом, я прочитала: «…меня отвезли в больницу, но я не пришел в себя и умер, несмотря на все усилия врачей». «Что же в этом смешного?» — недоумевала я. «…Я умер, ха-ха-ха! А кто же тогда это писал, покойник?» Тут только я сообразила, какую глупость сморозила.

Наша тихая жизнь была нарушена приездом с большим

нетерпением ожидаемой сестры Нины. Ее долго морили в карантине, куда отправляли всех приехавших из Советской России. Наконец ее выпустили, и тетя Наташа поехала за ней в телеге. Мы с Тином были потрясены внешним видом нашей новоявленной сестры. С телеги сошла очень полная румяная девушка, с головы до ног закутанная в огромный кумачовый платок, скрепленный булавкой под подбородком. На ее веселом белозубом лице светились темные глаза под сломанными углом черными бровями. Оказывается, Нина так растолстела после тифа, которым болела в Москве.

Вскоре мы слегка разочаровались в нашей сестре, так как, несмотря на веселый и смешливый нрав, она выразила довольно мало интереса к нашим развлечениям. Вставала она поздно, была ленива и медлительна, а когда мы раз пошли с ней кататься на санках, то она сразу же на них уселась и предоставила нам с Тином тащить ее. В свою очередь, мы ей показались наивными и невежественными дикарями. Беспредельное изумление выразилось на ее лице, когда выяснилось, что мы не имеем никакого понятия об «Интернационале» — гимне Советской России. Когда Нина убедилась, что мы не слышали и таких слов, как «митинг», «пролетарий», «Совдеп», то рьяно принялась уничтожать эти пробелы нашего образования, и вскоре мы пели не только «Интернационал», но и «Варшавянку» и даже «Похоронный марш», в торжественных звуках которого в моей памяти воскресла полузабытая картина похорон жертв революции на Марсовом поле.

Неестественная полнота Нины очень скоро исчезла, но фигура сохранила кошачью мягкость и округлость. У нее было на редкость изменчивое лицо: утром, едва вылезши из постели, она была совсем нехороша — глаза заспанные, движения вялые, медлительные, говорит нехотя, словно тянет, как тянучку какую, — лицо скучное, недовольное. Зато вечером, в обществе, она совершенно менялась. Из заспанной и вялой делалась оживленной и прехорошенькой. Нина очень любила наряжаться и прихорашиваться перед зеркалом. Бывало, наденет на себя какую-нибудь кофточку или платье — обязательно красного цвета! — в уши вставит цыганские серьги, нацепит бус, браслетов и кокетничает перед зеркалом, приговаривая с глубоким убеждением: «Я, может быть, не красавица, но я очень хорошенькая, исключительно хорошенькая! Всякий мужчина, увидев меня, скажет — вот это хорошенькая девушка!»

Она беззастенчиво помыкала своими поклонниками, которые с редкостным терпением переносили ее капризы и насмешки. Особенно доставалось гордому и хрупкому Павлу Петровичу за

его манерность и утонченный вид. Однажды она уговорила нас подстроить ему каверзный сюрприз. В журналах «Нива» на последних страницах был отдел, посвященный объявлениям и рекламе. Особенно часто там попадалась рекламная картинка, восхвалявшая волшебные свойства пилюль «Пинк»: молодая томная дама с поразительно развитым бюстом и тонкой талией мечтательно глядит вдаль, а на заднем плане маячат фигуры нескольких молодых красавцев во фраках — они указывают друг другу на даму с самым восхищенным и многозначительным видом. Внизу был текст: «Если вы хотите пользоваться успехом в обществе, быть красивой и привлекательной, — употребляйте пилюли Пинк! Они сообщат вашей фигуре пышные формы, вы почувствуете прилив сил и жизненной энергии!» Наша сестрица повелела нам накатать из глины маленьких шариков и после просушки всыпать их в пузырек из-под какого-то лекарства. К пробке она приделала бумажный ярлык, наподобие тех, что привешивают аптекари к своим микстурам, на нем мелкими печатными буквами был переписан текст объявления о волшебных целительных свойствах пилюль «Пинк», причем слова о пышных формах были подчеркнуты. Этот пузырек Нина тайно сунула в портфель Павла Петровича, случайно забытый им у нас в кухне. К сожалению, наш учитель слишком хорошо умел владеть собой, так как никаких перемен в его лице на следующий день мы не нашли — он был по-прежнему корректен, вежлив, и его манеры сохранили свою изысканность и изящество. Однако он совсем перестал жаловаться на слабое здоровье и хрупкость пальцев.

В общем, мы скоро привыкли к Нине, перестали удивляться ее нерасположению к нашему образу жизни и с воодушевлением взялись за покинутые было занятия. Занятий было много, нам не хватало времени, мы всегда торопились и для скорости бегали, срезав хлыстик и пришпоривая себя им по голым ногам.

Большой нашей страстью было собирание грибов — их много росло в большом лесу «за колодцем». Идти туда надо было по тропинкам среди полей, мимо изб с курами, придерживая Берджоню — новое прозвище Варнавы, данное ему Ниной, за кожу на загривке: ходить на ремешке гордый пес наотрез отказался. Тропинка выводила на проселочную дорогу, и мы бежали мимо финской лавчонки, где торговали керосином, свечами и очень красивыми, пестро вышитыми кожаными кисетами для табака. В лавке были целые коллекции финских ножей — хорошеньких кинжальчиков с круглой ручкой и слегка загнутым кончиком, они вкладывались в ножны и прикреплялись к поясу ремешком. Кинжалы были разной величины — от самых

больших до совсем крошечных — и составляли предмет наших вожделений. Нечего и говорить, что мечты так и остались мечтами, и приходилось, только благоговейно рассматривать запретное оружие, развешанное под потолком рядом с кисетами, метелками и ведрами. Тут же висели хомуты, уздечки и прочая лошадиная сбруя, вплоть до тележных колес. Медлительные финны-покупатели достойно стояли у прилавка и молчали. С продавцом они обменивались, по-видимому, одним им понятными условными знаками, так как я никогда не слышала из их уст какой-нибудь членораздельной речи, а лавочник каким-то образом всегда знал, что им подать. Меня всегда охватывала страшная робость в этой лавке — финны стоят, попыхивают трубочками и глубокомысленно созерцают выставленные хомуты. Казалось немыслимым подойти к прилавку и выговорить свое желание — такая священная тишина стояла вокруг. Когда же наконец решаешься и подходишь, лавочник вопросительно взглянет, и тут с ужасом убеждаешься, что все сахары и керосины тети Наташи совершенно испарились из головы, а ведь всю дорогу я твердила наизусть нехитрый список ее заказов! Бессмысленно топчешься и наконец шепчешь сдавленным голосом: «Коробку спичек, пожалуйста…» Берешь ненужный коробок, платишь что-то и в полуобморочном состоянии выходишь. Когда звякает колокольчик на двери и она захлопывается за спиной, совершенно неожиданно все вспоминаешь — и что же теперь делать? Долго стоишь у порога, рассматриваешь чистеньких лохматых лошадок, терпеливо ожидающих — уши врозь, дугою ноги — своих хозяев, мучительно собираешься с духом и опять входишь. Картина та же, только теперь финны дружно вперяют свой взгляд в бочку с квашеной капустой…

Итак, миновав лавчонку, пройдя мимо сапожника и портного, сидящего, скрестив ноги, на столе перед окошком, мы сворачивали в сторону, и вот уже и знаменитый колодец с журавлем, за которым темнеют могучие ели огромного дремучего леса. Дорога из теплой и пыльной делается сырой и прохладной, глубокие колеи наполнены холодной водой, торжественная тишина обступает со всех сторон, как стеной, невольно начинаешь говорить шепотом, оглядываешься боязливо — за деревьями чудятся одичавшие коровы, те самые, о которых рассказывают столько страшных историй. Преодолевая робость, сходишь с дороги и углубляешься в чащу. В ней так много таинственного! Вот небольшое озерцо с темной зеркальной водой, — наверное, то самое, на берегу которого сиживала, пригорюнившись, Аленушка, с тоской всматриваясь в его черную

глубь: «Где же братик мой любимый, дорогой мой Иванушка?» Быстро проходишь, стараясь не глядеть на большую лягушку, важно сидящую на мшистом камне над самой водой — не золотая ли ее коронка отражается в темном зеркале лесных вод?

В самых дремучих местах, где сучья, поросшие белесоватым мохом, глухо ломаются под ногой, где почва сыра и хлюпают толстые мохнатые кочки, возникает вдруг из-за ели таинственная старуха. Горбатая, совсем седая, с вязанкой дров за спиной, в морщинистых пальцах зажата суковатая палка, а пальцы-то скрючены не хуже тех узловатых корневищ, о которые так больно спотыкаешься босыми ногами. Старуха исчезает бесшумно, как дух, — не баба-яга ли это, заготавливающая топливо для своей избушки на курьих ножках? Скорее подальше от этих мест, все равно грибов не видать, хотя спертый воздух полон их запахом и громадные мухоморы раскинули свои красные зонтики в зеленом бархате мха. Вдруг неподалеку слышится немного сиплый, но торжественный голос Тина. «Ура, ура, ура!» — кричит он. Согласно неписаным законам сборщиков грибов, этот троекратный победный клич означает, что счастливец нашел белый гриб!

Моментально забываешь про всех коров и старух на свете и начинаешь лихорадочно искать. Расширенные глаза обшаривают мох, оглядывают каждый корень, каждую кочку — напрасно! Одни пошлые сыроежки да никчемные поганки маскируются во мху под благородные белые грибы, каждый раз заставляя замирать сердце в безумной надежде. Бормоча проклятья, со злостью пихаешь их ногой, и вдруг замираешь — под маленькой елочкой целое семейство настоящих, восхитительных грибов! Застываешь в безмолвном восторге — они так красивы со своими темно-коричневыми шляпками, на толстеньких ножках! Вот папа и мама стоят рядышком, а к ним прижимаются их детки. Опрометью бросаешься на колени в мох — дрожащий от жадности палец запускается в землю и осторожно выковыривает гриб, в то время как другая рука шарит вокруг, приминая мох, а выпученные глаза все рыщут и рыщут по сторонам. Наконец, когда все семейство благополучно уложено в корзинку, место вокруг тщательно обследовано, открываешь рот и испускаешь троекратное «ура» с передышками — ровно столько раз, сколько грибов было найдено. Ликование звучит в моем голосе, его звук наполняет сердце Тина жгучей завистью, — раздвигаются ветки, и его огорченная фигура выползает на полянку. У него в корзине перекатывается всего лишь один здоровенный шлюпик с помятой шляпой и зеленой слюнявой губкой под нею, к тому же он явно червив, так что вряд ли стоило кричать «ура» на весь лес.

Ревнивый взгляд Тина ощупывает содержимое моей корзины, и, побледнев от зависти, он хмуро вглядывается в разрытый мох: что, если я не заметила какой-нибудь грибок? «Нет, нет, уходи, здесь мое место!» — возмущаюсь я, и Тин покорно исчезает — таков второй неписаный закон грибников.

Мне определенно везет, но колесо фортуны поворачивается, и вскоре Тин оглашает лес бесконечным криком — черт знает что! — он кричит десять раз! До чего же неприятен его громкий, хвастливый голос…

Но вот уже корзинка наполнена отборными грибами, ноги исцарапаны, вымочены в воде, большие пальцы саднит от бесконечных ударов о корни, волосы спутаны — в них застряли паутинки и хвоя, платье измазано и, увы, даже слегка порвано, — то-то будет ругаться тетя Наташа! Тин тоже являет собой довольно плачевное зрелище, но зато его замурзанная физиономия сияет. Мы вылезаем из чащи и, осмотрев содержимое корзин, остаемся довольны результатами. Выйдя на опушку, мы усаживаемся на нагретый солнцем откос. Оказывается, солнце уже сильно склонилось к западу — но до чего же светло, хорошо кругом, какой теплый, ласковый ветерок, как синеет небо, как привольно дышится после сырого и спертого воздуха темного леса!

Мы вынимаем из карманов припасенные заранее ножички и тщательно чистим грибы — мы рассматриваем каждый гриб в отдельности, любуемся им и, конечно, считаем. У Тина оказывается девяносто шесть грибов, а у меня восемьдесят семь, но я не в обиде, так как мы справедливо решаем, что шлюпики и червивые не в счет, и получается, что в общем мы собрали одинаково. Расположив грибы самым живописным образом — помятые и некрасивые внизу, крепкие красавцы на самом видном месте, — мы отправляемся в обратный путь. Предварительно мы еще подходим к колодцу и опускаем бадью в далекую темную воду — в ней отражается необычайно четко кусочек ярко-голубого неба и на его фоне наши физиономии, как на цветной фотографии. Дружно перебирая руками по гладко отполированному шесту, мы вытаскиваем тяжелую, покрытую слизью и зеленью бадью и, проливая себе на ноги, пьем, как лошади, — прямо из середины. Зубы немеют от ледяной воды, ноги зябнут, капли текут по подбородку за шиворот, но мы жмуримся от наслаждения — нигде не было такой вкусной воды, как в этом колодце.

Напившись, умывшись, немного пригладив волосы, мы бежим своей знаменитой «мендель-рысью» по пыльной дороге, замедляя бег и постепенно переходя на шаг против окон редких

домиков, — надо же предоставить людям возможность полюбоваться нашими грибами и оценить достижения опытных грибников.

Дома торжественное вынимание грибов из корзины, любование ими, восхищение тети Наташи, даже не выругавшей меня за порванное платье.

Мы искали грибы и в ближайших окрестностях, и даже в собственном саду. Так, под березками, стоявшими группками по три деревца в каждой, иногда встречались хорошенькие крепкие подберезовики, а в осиновой рощице, видневшейся из окна кухни, я нашла однажды ярко-красный, здоровенный подосиновик.

В сопровождении верного Берджони мы излазили все закоулки запущенного сада Плаксиных, где никто уже не жил. Мы перелезали через забор в сад дачи «Теплый уголок», перед заросшим травой крыльцом которой росли два высоких серебристых тополя, — когда дул ветер, их листья поворачивались изнанкой вверх, и были они мягкими, ворсистыми, как бархат, и действительно серебрились, трепеща на своих длинных стерженьках.

Наш сад совсем заглох. Дорожки, некогда тщательно расчищаемые, заросли травой так густо, что только посередине виднелась узенькая тропинка; цветы на клумбах и вдоль дорожки к обрыву захирели под могучим напором полевой растительности — только иногда из зарослей вспыхивал яркий пламень чудом уцелевшего садового мака. Кусты сирени и жасмина под окнами наших детских разрослись в непролазную чащу, и измельчали гроздья белой сирени, но все тот же навеки знакомый и сладкий аромат стоял на дорожке под окнами. Через эту дорожку протягивались цепкие плети шиповника, по-прежнему усеянные белыми, розовыми и красными цветами, — казалось, он один сопротивляется времени и заброшенности. Шиповник цвел с ранней весны до поздней осени, на нем одновременно можно было видеть и цветы, и бутоны, и спелые красные плоды, он был необыкновенно красив и неистово колюч — его нельзя было перескочить, через него нельзя было перелезть, и его жизненная сила и оптимизм внушали доверие и неясную мечту о том, что, может быть, не все на свете так грустно и преходяще.

Какой одинокой и не нужной никому была дорожка через обрыв, над которой так трудился папа и которая теперь обваливалась, осыпалась и зарастала жадной и жестокой травой, так нагло глумящейся над хрупкой человеческой жизнью.

Весенние воды размыли дамбу, крепившую берег Черной речки, снесли белую пристань. Давным-давно покосился нарядный домик купальни и исчезли мостки, по которым сходили

в темную воду веселые люди. Но все так же, как и тогда, носились над камышами бесшумные голубые стрекозы и задумчиво скользили по гладкой воде длинноногие пауки. И чем больше разрушались творения рук человека, чем больше уничтожалась самая память о нем, тем яснее проступала великая мощь природы, тем сильнее ощущалась ее сияющая, но равнодушная красота.

Обреченный дом напрасно жмется своими крышами к покосившейся башне, напрасно в безумном страхе глядит он в пространство — неумолимое время медленно, настойчиво и спокойно разрушает его. С бесчувственным равнодушием время отламывает одну черепицу за другой, дожди и ветер секут почерневшие стены дома, их холодное дыхание проникает в пустые комнаты, шевелит ветви дикого винограда, стучит в пыльные окна.

И всегда над умирающим домом кружит стая ворон. Они садятся на гребень крыши, на трубы, на башню. Они кричат, волнуются, спорят о чем-то. Вот вороны все сели и как будто бы успокоились, но стоит какой-нибудь из них вдруг взлететь, как вся стая с хриплым карканьем срывается с крыши и начинает кружиться, метаться в непонятной тревоге. Когда они улетают, как будто бы договорившись о каком-то важном, неотложном деле, дом недолго остается покинутым. Откуда ни возьмись, появляются еще две вороны. Они садятся на гребень крыши и деловито осматриваются. Одна из них поворачивается к соседке и что-то говорит ей отрывисто и недовольно, та молча пожимает крыльями, как плечами, и устраивается поудобнее. Нахохлившись, они терпеливо сторожат дом.

Из окна флигеля мы с Тином наблюдаем за ними — это сторож и его жена, говорим мы. Если жене сторожа надо отлучиться куда-нибудь, он остается один и в полной неподвижности сидит, как бы ведя счет времени, прислушиваясь к его бесшумному полету, к медленному биению сердца покинутого дома. И мы верим, что, пока сторож здесь, с домом не может случиться ничего плохого, он оберегает его — верно, бескорыстно и постоянно. Но вот опять летит шумная стая — сторож взлетает ей навстречу, и опять вороны кружатся в стремительном хороводе, и нам непонятен и жуток их гортанный крик.

Когда мы уходим куда-нибудь далеко, то, возвращаясь, первым делом смотрим — сидит сторож? Да, он, или его жена, или оба вместе, но непременно одна из ворон каменным изваянием вырисовывается на фоне светлого неба. И мы довольны.

Зимой мы мало думаем о доме. Зимой его крыша покрыта

толстым белым покрывалом, как одеялом, — он спит спокойно, как и вся природа вокруг. Это понятно, и беспокоиться не нужно — во сне с ним ничего не может случиться. Но и зимой вороны продолжают нести свое дежурство — в одиночку и группами, а иногда устраивают свои изумительные сборища, шумно обсуждая новости дня. Бросишь взгляд на дом и бежишь поскорее по своим делам.

Согласно традиции, мы строим дом из снега. Постройка подвигается медленно, и я нахожу, что делать из мокрого снега «поросят» очень сложно: во-первых, мороз и снег не лепится, во-вторых, воду надо носить издалека, ручей замерз, воды в нем мало, и даже бочку на кухне наполняют больше снегом, и он медленно тает там. Мы долго ломаем себе голову, чем бы заменить «поросят», пока нас не осеняет блестящая идея: на дороге, что проходит мимо забора нашего сада, имеется масса твердого, утрамбованного лошадьми и санями снега, чем не готовый строительный материал? Мы берем наши старые испытанные санки, обитые сукном, — они одни остались от прежнего великолепия, — вооружаемся лопатой и выкапываем длинный и толстый пласт укатанного снега. Он имеет прямоугольную форму и настолько тяжел и толст, что мы с трудом взваливаем его на сани. На дороге остается глубокая яма с отвесными стенками. Нечистая совесть говорит нам, что портить таким образом дорогу сущее преступление ведь ночью лошади легко могут сломать себе ногу, внезапно провалившись в яму, да и днем это небезопасно — сани могут перевернуться. Все эти соображения заставляют нас обтесать слегка отвесные края ямы и засыпать ее снегом. Вскоре вся дорога имеет странный вид — не то здесь падали некие бесшумные снаряды, не то кто-то большой вдруг решил вспахать ее гигантским плугом. Вид прекрасного строительного материала, так легко доставшегося нам, быстро притупляет угрызения совести, — мы счастливы.

В самый короткий срок были возведены стены, перекрыты досками, с крыши устроен покатый спуск: дом отвечал всем требованиям строителей — в нем можно было жить и с него можно было съезжать на санях. Кроме того, он послужил прекрасным наблюдательным пунктом для Берджони, который, будучи выпущен из дома гулять, тотчас взбегал наверх и с независимым видом обозревал окрестности, — если представить себе, что он мог скрестить себе лапы на груди, то чем не капитан Немо на Южном полюсе? Из окна кухни мы любовались этой живописной картиной: стройная фигура Берджони вырисовывалась на фоне бледно-голубого неба, пар вырывался у него из пасти при лае, которого нам за окном не было слышно,

уши развевались по ветру, а вспугнутые им вороны сидели на соседних деревьях и, склонив головы набок, всматривались в него одним глазом.

Мы часто получали письма от мамы и Саввки из далекого Берлина. Саввкины письма были полны описаний громадного города, его парков, «унтергрунда» (метро), шумных улиц. Он невозможно хвастал своими познаниями в немецком языке и красочно описал, как однажды какая-то старушка попросила его показать ей Ильменауерштрассе и как он проводил ее туда и все объяснил. Ничего особенного, на мой взгляд, в этом не было, так как мама сняла квартиру как раз на этой улице, — Саввке ли не знать, где он сам живет?

Дело с нашими бумагами тянулось бесконечно, наконец мы перестали беспокоиться, так как нам было хорошо и так. Но вот однажды нам было велено отправиться в Териоки к фотографу — для заграничных паспортов понадобились фотографии. Опять пахнуло близким путешествием. Визы, паспорта — эти слова говорили о том, что отъезд не далекая мечта, а самая настоящая действительность.

Очень хороша была эта поездка в Териоки в санях-розвальнях, набитых душистым на морозе сеном: укутанные во всякие тулупы и дохи, мы лежали, высунув одни носы наружу, и смотрели, сощурив глаза, назад, на дорогу. Она бесшумно и быстро выныривала из-под кузова саней, разворачивалась, как лента, сначала мелькали, сливаясь в полосы, следы, замерзшие лошадиные яблоки, блестящие желобки от полозьев, а если посмотреть вдаль, то движение замедлялось, и заснеженные ели по сторонам дороги уплывали, раздвигаясь и сходясь плавными кругами, так что голова начинала тоже тихо кружиться, а тело делалось невесомым, как во сне. Слева пошли знакомые дачи «карниша» — вот «Пенаты», вот Лобек и Химонен, а вот вдруг оборвался лес и до самого горизонта открылась белая безбрежная равнина замерзшего моря с голубоватыми дымками Кронштадта.

Фотографии, надо сказать, получились неважные. Тетя Наташа старательно причесала меня — распущенные волосы падали на плечи, на макушке красовался большой голубой бант. К сожалению, меховая шапка — папина! — безнадежно придавила завивку, пышный бант смялся, и получилась на фотографии испуганная физиономия с полуоткрытым ртом и выпученными глазами, на голове не то мочалка положена, не то пропеллер вертолета, если на него смотреть сбоку. Особенно не понравились мне это обалделое выражение и разинутый рот. «Ворон считала?» — не преминул небрежно спросить ехидный Тин. Лучше бы помолчал, его портрет вышел не удачнее моего, а Нина

получилась толстой и заспанной, а «нос как турецкая сабля», по выражению того же Тина.

Из Териок мы ехали, развалившись на сене, поглядывая то на позеленевшее по краям небо в узком просвете дороги — на нем уже зажигались бледные мигающие звезды, — то на хвост лошади. Очень интересно было смотреть на лошадиные ляжки со сбившейся сбруей, которая в одном месте стерла короткую шерсть, и виднелась темноватая, мозолистая кожа. Запах сена, лошади и мороза вместе с плавным скольжением саней постепенно убаюкивают нас, глаза сладко слипаются, чуть приоткроешь их — все сделалось синим: небо, снег, ели по сторонам… А мы все едем, едем, и вдруг знакомая мелодия начинает нежно звенеть в ушах — это песенка Тролля, лукавого карлика из норвежских сказаний, он поет, приплясывая между рогов несущегося северного оленя. Все тише, тише звучит тоненький голос, постепенно удаляясь и замирая, — это поет сама тишина.

Вдруг лай Берджони, толчок, резкий свет в глаза. Вот так так! Оказывается, мы стоим перед крыльцом нашего флигеля, и верный Берджоня заливается сумасшедшим лаем, прерываемым взвизгиваниями его нервной зевоты. Я приподнимаю голову, и в тот же миг теплый язык собаки облизывает мне лицо, как будто бы кто умыл меня мокрой и теплой тряпкой. Спросонья отворачиваешься, отпихиваешь гибкое мускулистое тело Берджони, а он вырывается и тем же порядком умывает слабо сопротивляющегося Тина, который, отплевываясь и бормоча проклятья, никак не может проснуться.

Фотографии для паспортов — реальный признак близкого отъезда, а тающий снег и лиловые гроздья подснежников среди прошлогодних листьев на полянках — несомненные признаки весны. И весной я заболела. Я сильно промочила себе ноги, пришла домой усталая, с какой-то тяжестью на сердце, как в предчувствии близкой беды. Увидев мое красное лицо, тетя Наташа пощупала мне лоб своей прохладной шершавой рукой, уложила в кровать, сунула под мышку градусник. «Тридцать восемь и шесть», — услышала я сквозь тяжелую дремоту.

И вот началось скучное лежание в постели, какие-то микстуры. Часто приходит доктор, качает головой, прикладывает к груди и к спине свою черную палочку с кружочками на концах: тот, что побольше, холодит горячую грудь, а тот, что поменьше, доктор прикладывает к своему мясистому уху, которое я вижу перед самым моим носом, — из него торчат седые волосы, как клочья мха на стволе сосны, обращенной к северу. Он задерживает дыхание, прислушиваясь, а я глубоко дышу и слышу,

как в жилетном кармане доктора звонко и мелодично тикают его золотые часы с отскакивающей крышкой.

Доктору не нравится, что небольшая температура упорно держится, что я плохо ем, по ночам странно потею, часто плачу… Где ему понять, этому старому человеку, что я плачу потому, что за окном ослепительная весна, что ветки березы с набухшими почками качаются как сумасшедшие, опьяненные светом, воздухом и гомоном ликующих птиц. Что в окно мне виден кусок яркой синевы — на нем белое облако, как вздутый ветром парус, отчаливает в неведомые далекие страны, зовет за собой, манит в эту бездонную синюю ширь. А я лежу в постели, глотаю горькую микстуру, и заботливая тетя Наташа каждые два часа приносит и уговаривает съесть то гоголь-моголь, то блинчики с вареньем, то стакан сливок, в то время как мне и смотреть не хочется на еду.

Запыхавшийся Тин вбегает в комнату — он весь пропитан свежим ветром синих просторов, его щеки красны, в запачканных землею руках веточка тополя с толстой клейкой почкой. «Ты только понюхай, как пахнет!» — кричит он и тычет мне в лицо этой почкой. Закрыв глаза, я нюхаю, и нежный и могучий аромат весны, жизни, счастья сдавливает мне грудь щемящей тоской, я утыкаюсь лицом в опостылевшую подушку и горько плачу… «Не для меня придет весна…» — звучат в ушах где-то слышанные слова. Тин растерянно пялит на меня глаза — в его запачканной руке дрожит злополучная веточка. В дверях показывается Берджоня с разинутой пастью — розовый язык свисает у него на сторону, он впопыхах глотает слюну, облизывается, но язык снова вываливается и висит, вздрагивая, чуть ли не до самого пола. Одно ухо у него вывернуто, шерсть на животе свисает мокрыми клочьями, лапы тоже в грязи, его разные глаза ищут моего взгляда, весь вид его так смешон, что я не выдерживаю и смеюсь сквозь слезы. Казалось, Берджоня только и ждал этого — с видом полной забывчивости строгих правил воспитания он срывается с места, явно намереваясь облизать мне лицо. Грозный окрик тети Наташи останавливает его, он виновато плетется вон из комнаты, напрасно стараясь выразить на своей разбойничьей роже смиренное раскаяние.

Я провалялась в постели целый месяц, но мое состояние все еще внушало тревогу — по вечерам на градуснике всегда бывало 37,5°. Все же доктор разрешил вставать, и вот наконец я в первый раз выхожу на крыльцо нашего флигеля. Какой вид! Молодые тополя короткой аллейки, ведущей от крыльца к воротам, стояли стройные, пышные, покрытые блестящими, словно лакированными листьями. Они не шевелятся в нагретом солнцем, совсем уже летнем воздухе, и от них исходит тонкий, нежный

аромат, а ведь когда я видела тополя в последний раз, они были голыми, убогими. Трава была облезлой, как изъеденная молью плюшевая шуба, а теперь откуда взялись эти яркие краски, шелковистость и густота! Дорожка просохла, и по ней двигаются легкие тени молоденьких сердцевидных листьев, ласково и нежно касались эти тени теплой земли, а в одном месте, особенно пригретом солнцем, сидела желтая бабочка — она медленно складывала и раскладывала свои крылышки, насквозь пронизанные светом и теплом, она нежилась, отдыхая. Я не могла вымолвить ни слова и, наверное, взревела бы самым неприличным образом, если бы в этот миг не выскочил с оглушительным лаем Берджоня, выпущенный тетей Наташей. Он ошалело метнулся по дорожке просто так, в пространство, наскочил на бабочку, млевшую на солнце, и растерянно посмотрел ей вслед, когда она легко взлетела и понеслась, будто сдутая ветром, на сияющий луг. Опомнившись, Берджоня бросился за ней и даже подпрыгнул в воздух, но его челюсти щелкнули впустую, и он неуклюже брякнулся оземь — передние лапы подкосились, и он зарылся носом в траву. Огромная, ликующая радость меня охватила, — забыв об унылой походке, приличествующей выздоравливающей, я бросилась бежать по дорожке, и Берджоня со своим носом, выпачканным в земле, прыгал вокруг меня.

Несколько дней я еще сидела в плетеном кресле на солнышке, несколько раз мне еще поставили градусник — температура была нормальной, потом забыли, потом опять вспомнили, но нигде меня не могли найти, да так и оставили это дело. Опять мы с Тином рыскали по окрестностям и, срезав хлыстики, бегали к Сиркэ с кадыком, гулко стуча босыми пятками по дорожке, что под елями. Одним духом мы пробегали рощицу, где когда-то был найден диковинной величины мухомор, сбегали, вернее, съезжали в овраг, на дне которого тихо журчал ручей, — он образовывал маленькую запруду, где сновали фигуристы-пауки, — по берегам ручья росла заячья капуста, которую мы с аппетитом поедали. Другая сторона оврага была уже нашим владением — поднимешься по крутой тропинке из тенистого прохладного оврага, и вот уже, весь освещенный солнцем, предстает перед тобой большой дом. Он выглядит совсем веселым, и только внимательный взгляд замечает, что его красная крыша, зеленый наряд дикого виноградника на его стенах — все это только нарядное платье, в какое одевают мертвеца, укладывая в гроб, никому не нужное мертвое тело, которое покинула душа.

А потом была пасха, и мы ходили к заутрене в ту красивую церковь с кладбищем, где был похоронен папа и где сидела

задумчивая статуя женщины со своим бронзовым мишкой. В этой церкви я покрыла позором свое имя, так как игнорировала все церковные правила и крестилась, к изумлению верующих, левой рукой. Я думала, что это все равно, а в правой у меня была свечка — какая может быть разница? Не такого мнения были тетя Наташа и Нина, они совершенно извели меня издевательствами над моей дикостью и недостатком религиозного воспитания. Вообще стояние в церкви было для меня сущей мукой — я никогда не могла угадать, в какой именно момент надо становиться на колени, а когда вставать и после какого возгласа священника необходимо перекреститься. Приходилось все время внимательно следить за окружающими, быть начеку, и к концу службы у меня вырабатывался странный рефлекс — стоило кому-нибудь махнуть рукой или просто поправить прическу, как я тотчас поспешно крестилась. Все это только отвлекало и мешало сосредоточиться на других, куда более интересных вещах — на огоньке свечки, который надо было оберегать от затухания, на рассматривании одежды священника, которую он часто менял, как актер в театре, на его таинственных уходах за кулисы, то есть в алтарь. «Что он там делает, когда его никто не видит? — думала я. — Наверное, просто прячется и отдыхает? А может быть, закусывает тайно тем вкусным тепленьким вином с просвирочными кубиками белого хлеба?»

А под куполом так красиво летают проворные ласточки — они пересекают луч солнца, который голубым столбом прорезает полумрак высокого свода, в этом луче плавают голубые струи ладана и вспыхивают зелеными и красными огоньками цветные стекла узких окон.

Своими наставлениями Нина испортила мне всю обратную дорогу с заутрени, когда необходимо было донести горящую свечку до самого дома, — штука трудная, так как изволь оберегать слабенький огонек от ветра да еще смотреть себе под ноги. А ведь сама бабушка Анастасия Николаевна однажды с умилением рассказывала папе, как хороша была какая-то заутреня, на которую папа не пошел. «Такая благолепная, красивая служба была, Ленушка, — говорила бабушка, — вокруг церкви хирургов носили!» Перепутала ведь бабушка хоругви с хирургами, — еще папа так страшно смеялся и недоумевал, почему именно хирургов. «Может быть, терапевтов?» — спрашивал он бабушку. Вот это, я понимаю, ошибка, а то подумаешь, несчастье — левой рукой перекрестилась!

Вот и пасха прошла, вот и паспорта наши готовы — неужели в самом деле отъезд близок? Мы с Тином уже ни о чем другом не можем думать, мы считаем дни, мы всей душой уже там, в поезде,

и — подумать только! — на пароходе! Так как мы едем сначала поездом до Выборга, потом пересаживаемся в другой поезд, который ночью выезжает в Гельсингфорс, а в Гельсингфорсе мы садимся на большой пароход «Рюген», на который у нас куплены билеты первого класса, и два дня и три ночи плывем через все Балтийское море в Штеттин, где нас должна была встречать мама. Только представить себе такое путешествие!

Чувствовали ли мы сожаление, покидая, быть может навсегда, Черную речку, наш любимый дом, наш сад — все родное, бесконечно милое? Нет! С бесчувствием и легкомыслием молодости мы ни разу не задумались, не пожалели, не заплакали. Одно только нетерпение — скорее, скорее ехать! Только об одном мы думали с тоской, с глубоким сожалением — что делать с бедным Берджоней? Нечего было и думать взять с собой собаку за границу — она должна была остаться. Кому же отдать ее, кто из знакомых согласится взять пса, завоевавшего себе такую дурную славу ловлей кур? После долгого упрашивания наши учителя, братья Лыжины, согласились наконец приютить нашего Берджоню, заботиться о нем и кормить. Они обещали воздействовать на его мораль и, отучив от преступных наклонностей, восстановить в глазах общества его репутацию.

И вот настал наконец день отъезда. С Берджоней мы простились еще накануне. Пришел Юрий Петрович, чтобы отвести его на свою дачу. Берджоню долго не могли найти: — шел дождь — и он где-то рыскал по саду. Наконец он вбежал в комнату. Запыхавшийся, веселый, с мокрыми лапами и животом, он прыгнул на диван, на свое место посередине, где была вмятина, хранившая следы его тела — прилипшие кусочки грязи и несколько белых волосков. Я кинулась к нему, обняла — мокрого и грязного, прижалась щекой к мягким, бархатистым ушкам. Он вырывался, глупый, он не мог понять, что ведь это расставанье, что в этот миг кончается его собачье счастье, никто уж не станет его так любить, ласкать, не будет звать Берджоней и любоваться им. Он превратится в Варнаву, чужую собаку, некрасивую и зловредную, которую, быть может, посадят на цепь на чужом дворе, перед чужим домом.

Берджоня нетерпеливо отдергивал свою голову и отмахивался лапой, когда я жадно целовала его морду, пахнущую псиной и дождем. Его розовый, как ломтик ветчины, язык облизал мне лицо, мокрое от слез, и в его разных глазах мелькнул веселый огонек — он вообразил, чудак, что я с ним играю… Потом он вырвался из моих ослабевших рук, соскочил на пол, и в последний раз передо мной мелькнули желтые водоворотики на его ляжках, когда он выбежал, веселый и довольный, из комнаты.

А утром на следующий день светило безмятежно солнце, и омытый вчерашним дождем сад сверкал радостью и полнотой жизни. На дороге перед воротами стояла телега, нагруженная нашими чемоданами и свертками, озабоченная и заплаканная тетя Наташа, размахивая зонтиком, загоняла нас садиться, а старушка Лиза, которая жила в домике через дорогу, говорила нам дрожащим голосом: «Уезжаете, детки? Бог знает, приедете ли еще когда-нибудь? А может быть, через много лет, когда будете все давно замужем и женаты, приедете со своими детьми, чтобы показать им, где прошло ваше детство…»

Как это — прошло наше детство? Неужели наше детство прошло? Как странно говорит эта старуха — чтобы я приехала сюда со своими детьми? Какая нелепость! Все это я думаю, а в то же время что-то холодное коснулось моего сердца, и я расширенными глазами посмотрела вокруг. И с предельной ясностью я вдруг поняла, что старуха права, детство в самом деле кончилось, и никогда я уже не увижу наш дом, наш сад, нашу дорогую Черную речку. Вдруг померкло сияющее солнце, замолкли веселые голоса птиц, и только тополя зашумели вершинами, как будто бы их тоже коснулся холодный ветер расставания. А телега уже тронулась, и вот в последний раз наш сад проплывает мимо меня. Остановившимися глазами я вижу за березами красную крышу большого дома — он смотрит мне в глаза, и мне чудится, что он улыбается, прощаясь со мной. Он улыбается доброй и ласковой улыбкой, в которой нет горечи, обиды и слез, и ласково машут ветви старой березы, что стоит в конце сада у самого забора, и ласково кричит стая ворон над крышей дома, прощаясь со мной. Почему же тяжелое предчувствие сдавило мне грудь, будто отдернулась завеса и на короткий миг предстал передо мной длинный ряд дней, уходящих в темную даль будущего, — дней печальных и радостных, серых и ярких, — дней моей жизни, которые все мне было суждено прожить вдали от родины.

А рядом сидел Тин — маленький и худенький мальчик, мой дорогой братик, мой двойник, который в мыслях моих неотделимо присутствует всегда, без которого я не могу представить себе жизнь. И он тоже побледнел, и глаза его, расширившись, с каким-то ужасом смотрят на дом, а длинная верхняя губка дрожит. И мы видим: в последний раз мелькает освещенный солнцем дом, и вдруг черные ели в саду Гонэ разом застилают его, точно перечеркивают черной тенью солнечный образ нашего детства.

Много лет спустя, в 1936 году, мой брат Савва в составе

труппы русского балета выехал из Парижа в турне по Скандинавским странам. Балет посетил также Финляндию и дал в Гельсингфорсе несколько представлений. Брат решил воспользоваться счастливым случаем и в свободный от спектакля день отпросился с репетиции и поехал на Черную речку.

Вот как он описывает в письме к маме свою поездку.

«…Волнение было велико. И самый внезапный отъезд, и спешка, и ночное время, и абсолютная неподготовленность. Но времени не было, это был единственный случай. Расскажу тебе подробно. Слушай.

Выбежав из театра, вскочил в такси и погнал на вокзал. Оставалось пятнадцать минут до отхода поезда. Ночь была холодная, морозная, светил снежок. На вокзале приобрел билет третьего класса и спальное место. На белом перроне светились окна моего поезда, поднимался белый пар. Свистнул паровоз, и я покатил. Голодный и взволнованный. Не верилось, что я еду на Черную речку, к нам домой. Вообще вчерашний день для меня как сон приснившийся. Сначала стоял у окна и смотрел, как неслись черные леса в белом снегу, клубы пара, белая снежная насыпь. Сон слипал глаза, прошел в свое купе, разделся и проспал сладко всю ночь. Несся, покачиваясь, поезд, несся в родные края.

Разбудил меня возглас кондуктора: „Виипури!“ Вскочил, оделся. Было семь часов утра. На перроне было холодно. Еле светало. Выпил кофе и опять сел в поезд, на котором было написано — „Перкиярви“. Спать уже не хотелось. Сидел у окна и смотрел. Вставало из-за нежных облаков бледное, желтое солнце. Небо было голубое, и были чудные снежные поля, леса, заметенные снегом убогие избы. Началось все такое родное и близкое.

У изб стояли сани с финскими лошадками. Был сильный мороз, и все было заиндевевшее, и отовсюду шел пар — из ноздрей лошадок, изо ртов промерзших финнов. Начались знакомые названия: Мустамяки, Райвола…

Но здесь произошла немного неприятная история. Финский жандарм в меховой шапке, с револьвером у пояса, спросил у меня паспорт. Паспорта со мной не было! Я кое-как объяснил, в чем дело, — он от меня не отставал. На Тюресевя мне не дали слезть, а повезли в Териоки. Там меня передали в руки другого жандарма — молоденького, румяного, с голубыми раскосыми глазами. Он повел меня в полицию. Вокзал Териоки я узнал, но к волнующим впечатлениям от родных мест примешивалось не совсем приятное волнение от сознания ареста. Было очень холодно — 12° мороза! Все было белое от снега. Под ногами снег скрипел и визжал, как стеклянный. Нос, щеки и уши щипало здорово.

Мой жандарм шел быстро в своих высоких сапогах — он мне нравился, особенно его голубые глаза и высокие сапоги. В полиции я сидел час. И наконец мне сказали, что я не смогу ехать в Ваммельсуу. Я чуть не плакал. Еще раз они позвонили начальнику сыскной полиции. И меня повели к нему. Начальник чудно говорил по-русски, конечно, знал Андреева и прочее и мило отпустил меня, сказал, чтобы я обязательно поехал назад с девятичасовым поездом, иначе меня еще раз арестуют.

Сердечно его поблагодарив, я выскочил на морозный снег. Светило солнце, и все было так замечательно. Денег у меня было в обрез, так что я решил идти пешком. Мысль о том, куда я иду, давала мне силы, а морозный солнечный день и дарованная свобода наполняли душу радостью.

Было все так чудно и все как во сне. Я узнавал места — высокую белую церковь, магазины. На одном виднелась русская надпись: „Фрукты, анчоусы, вядчина!“ Скрипел утоптанный снежок, проносились сани-розвальни с типичными, в меховых шапках и валенках, финнами с сосульками на усах. Звенели колокольчики на дугах мохнатых лошаденок, с седыми от мороза мордами и такими же животами. Все это было до того близко, до того знакомо. И каждый след на снегу, и каменноподобный навоз лошадей, и проезжающие мимо мальчишки на… подкукелках и лыжах. Я шел и непрерывно, всеми фибрами своего существа, впитывал окружающее. Зашел в „кахфилу“ — кофейную. Заказал „лейпэ-войтокахфия“, и мне всего дали. Дали мне черный ржаной хлеб с маслом и кофе. Выпил я у окошка с видом на белую дорогу и на замерзший колодец с… журавлем! Закуска дала мне огромный запас энергии. Я весело пустился в путь!

А путь мне предстоял немалый. Я главным образом дрейфил мороза — хватит ли меня на двенадцать километров, не закоченеют ли у меня руки и ноги. И вот началась териокская дорога через леса и леса. Я шел быстро и весело. Светило солнце, правда находившееся у самого горизонта, где-то на дереве стучал дятел. Обгоняли меня сани с колокольцами. Кивали финны: „Хювяпяйва!“ — „Пяйва, пяйва!“

С левой стороны открылось море — Финский залив! Лед уже сковал его. У берега белое, дальше оно, по-видимому подтаявшее, серело и отливало на солнце холодным желтым блеском. Горизонт был темен, и Кронштадта не было видно. Я опять шел. К часу солнце скрылось за тучами, и стало еще холоднее, попеременно я засовывал в карман то одну, то другую руку — с обеими в карманах было уж очень неудобно шагать. И правая нога в тонком сапоге начинала замерзать. Еще оставалось километров пять. Я прибавил ходу. С правой стороны начался

„карниш“, с левой потянулись дачи. Я не могу узнать Лобека и других. И вдруг совершенно неожиданно очутился у перекрестка… Сиркэ, мост через реку и высокие ели у другого моста через ручей. Сердце упало — я пришел.

Останавливаться было нельзя. Я решил сначала, пока светло, пройти к дому и потом в церковь. Тут уж каждый шаг был волнующим. Вилла Лыжиных стояла по-прежнему на месте, как и Тортона (кажется). Я шел дальше. Дорога стала узкой — только проехать. Я решил пройти к дому кратчайшим путем через обрыв, мимо елей. Свернул на боковую дорогу. Около елей дороги не оказалось. Пошел по полному снегу, увязая по колено. Указывали путь только следы зайцев. Вот и обрыв — внизу извивами белеет ручей, чьи-то следы на льду. Потеряв „тропинку“, прямо стал спускаться вниз. Было скользко, и я поехал на спине, цепляясь за кусты. В перчатки попал снег, и руки по-настоящему стали коченеть. Вот я и внизу — хрустнул ледок ручья. Я стал подниматься.

Вот я и наверху. Не могу понять, где я, — дома нет. Белое снежное поле. Примеряюсь, рассчитываю, где он должен был быть. Вижу пихты и какую-то рощу. Перелез через забор. Иду, по-видимому, по вспаханному полю, проваливаясь в колдобины. Берез знакомых нет. Вдруг вижу знакомые очертания дворницкой… но дома-то нет! Наконец все понимаю, вспоминаю и точно определяю место, где он стоял. И на этом месте — торчащие из-под снега серые камни фундамента и роща. Роща выросла на том самом месте, где стоял дом. Вот узнаю аллейку вокруг него. Кусты сирени, шиповника и жасмина. Маленькая елочка растет на том месте, где был твой кабинет, мама, и там, где папин кабинет, — березка. И сугробы снега, и облезшие, без листьев — молоденькие ольхи, что ли. Останавливаться я не мог. Дул северный ледяной ветер, и мои руки невыносимо ломило. Прошел к дворницкой, вижу — вид жилой, взошел на крыльцо.

Мне открыл один финн со своей женой, его имя Лаурикайнен, он купил это место и живет тут. Говорит по-русски, как и жена его, — очень милые, по-видимому, честные, простые. Раздели меня, посадили к столу. Я еле говорил, корчась от боли в правой кисти. Скоро боль прошла. Лицо горело. Угостили меня чудными щами со сметаной, черным ржаным хлебом, рожь которого выросла на наших полях, с маслом собственной коровы. Потом кильками, жареной картошкой и чаем с вареньем из… шиповника с брусникой. И еще мед — все своего производства. Этот финн уже двенадцать лет живет в дворницкой. У него огород и засеянные поля — сам ест и еще продает. Дом сохранить нельзя было — он начал разваливаться. „Портрет вашего папы храним“.

Повел меня показывать еще раз все. Дворницкая стоит, как прежде, такая же конюшня и все. Но вот — дом…

Пришел к обрыву. Сорвал веточку пихты. Она пахнет так же. Березок посреди сада нет ни одной, и той дорожки со скамейкой и с двумя рядами берез тоже нет — ровное белое поле. А внизу у речки увидел купальню, такую же, как была, — этот Лаурикайнен хранит там сено во время сенокоса. Все ели у Гонэ спилены, нет ни одной, так что все можно узнать с трудом. Флигеля нет тоже — сняли на слом. И в углу сада большой березы тоже нет — „загораживала солнце“… Нет ни Эвереста, ни других тополей.

Попрощавшись с финнами, поблагодарил и пошел к церкви уже большой дорогой через Трехглавую горку. Вот и она — в избе около горки увидел старуху, что-то знакомое показалось. Окликнул. Она меня узнала. Одна из прежних. Живет одна. Все умерли: мать, дети. „Не скучно?“ — „Нет!“ Так живет одна с кошкой среди снега и пустыни… Да!

Спустился с горки. Такая же она в точности. И кузница стоит на месте. Слышался звон подков.

С трудом нашел андреевскую дачу и нашел в ней Веру, ту самую Веру (Андрееву!), в которую был „влюблен“. У нее сын трех лет, и замужем она за Могилянским. Угостили кофе. Прошел дальше к мамаше Гуляевой. Нашел старуху одну, узнала меня. Рассказала, что за могилой все время следит, крест стоит хорошо, шиповник обрезает — чудно цветет летом. Что деньги получила, что фотографии тебе послала. Благодарил ее, спросил, как пройти к церкви.

Несмотря на то что было только пять часов, было уже совсем темно. От большой дороги, среди соснового и елового леса, поднималась тропинка, вернее, еле уловимый след среди глубокого снега. Попрощался с Гуляевой.

Было темно и тихо. Проваливаясь в снегу, еле разбирая, где тропинка, я шел в тишине среди леса. И вот передо мной белая стена церкви и ее золотой купол. Обошел белую ограду. С тяжелыми шапками снега на ветвях безмолвно стояли сосны. Вот и калитка. Толкнул ее — заскрипела и отворилась. Тихо по снегу шел к той стороне, где могила. Темнели кресты, возвышались белые холмики. Но вот то самое место. Безошибочно узнал его. Черный крест, белый холм и занесенные снегом шиповники — их неясный силуэт. У подножья могилы камень. Стал на колени, поцеловал его. Холодный, в снегу. Раскопал снег на могиле, показалась длинная трава. Нагнулся и зарылся в нее лицом. Трава пахла так хорошо, так нежно и приятно. Холодил лицо снег. Стал на могилу, ощупал крест. Стоит твердо. Крепкий, большой. Обошел вокруг могилы, цепляли шипы шиповника. Еще раз

приложился к холодному камню.

Было совершенно и необычайно хорошо. Это был настоящий храм. Все. И сама белая церковь, и белый снег могилы, ограды, тихо стоящего, как на страже, леса.

Стояла полная тишина. Спускался вниз обрыв, и в глубине его лежало море. Мигал маяк Красной горки, и светились огни Кронштадта. Но это было далеко. У могилы не было ни огней, ни людей — ничего. Только церковь, безмолвный лес и белый снег.

То, что было перед глазами, — было во много, неисчислимо много раз лучше всего возможного. И мне стало радостно и светло. Так хорошо было. Хорошо, что Россия недалеко, хорошо, что у церкви, хорошо, что в такой глуши, и на горе, и над морем. Вся эта гора — с церковью, с соснами — стоит как алтарь перед морем и небом.

И больше нет ничего, и не надо».

Эхо прошедшего

…Видения минувшего

смотрят мне в очи.
И прошлая жизнь со мной говорит.

Надсон

Пролог

С детских лет у меня составилось своеобразное представление о мире цифр. Я вижу как бы некую лестницу. Откуда-то снизу, приходя из туманной мглы, приближаются к ее первой ступени цифры — это отрицательные величины, минусовые. Первая положительная единица яркая, крупная, подчеркнутая резкой чертой, остальные до десяти тоже крупные, четкие — в особенности цифра десять. После десяти ступеньки начинают явно скашиваться вправо, хотя цифра двадцать снова делает рывок влево и рельефно выступает из ряда ступенек — ее даже можно назвать площадкой этой удивительной лестницы. Где-то далеко наверху красуется миллион с его шестью нулями, потом все теряется в кромешной темноте.

Когда мне называют какую-нибудь цифру — цену ли предмета, дату ли исторического события, дату ли рождения, — сейчас же у меня в уме возникает моя лестница и названная цифра на ней как бы подскакивает и вспыхивает сигнальным огнем.

Странная вещь! Когда на меня находит минута прозрения и я вижу себя со стороны, вся моя жизнь представляется мне тоже происходящей на ступеньках этой самой летоисчислительной лестницы. Вот детство: каждый год стоит выразительно и четко на свой ступеньке. Он кругл, велик, его можно прямо-таки осязать, щупать. У каждого года детства свое лицо, которое не спутаешь ни с каким другим.

От десяти лет, с чуть заметным уклоном вправо, но неудержимо и стремительно вверх, годы юности доходят к цифре двадцать — тут начинается уже легкий туман, годы не так отчетливы, не так выпуклы, они начинают сливаться в однообразную мглистую полосу. Тридцать! Немного тревожно звучит эта цифра — детство далеко позади, юность прошла — наступила пора ответственной зрелости. Годы отклоняются еще больше вправо, еще больше они сливаются в туманную полосу — их с трудом отличаешь друг от друга. И промежуток между цифрами тридцать и сорок делается куда меньше, и не так стремительно ступеньки ведут вверх. Сорок зажигается сигнальным огнем — это уже опасность, она близко, неплохо было бы притормозить слегка, приостановиться, бег времени делается слишком каким-то заметным, стремительным. Все больше тумана на дороге, чуть светят сквозь мглу сигнальные огни десятилетий.

А когда я прихожу в себя — я уже другой человек, я уже совсем не та, что была раньше. Моя жизнь настолько не похожа на прежнюю, что мне даже странно — да полно, не сон ли это был?

Мне будет легко писать о себе — девочке, легко говорить о

братьях — мальчиках, трудно, и радостно, и горько говорить об умерших, но это было так давно — я как летописец спокойно и беспристрастно буду рассказывать.

…Нет, не спокойно и не беспристрастно — я не летописец, я живой человек, мне бесконечно близки и дороги те люди, о которых я буду рассказывать, и мне так радостно воскрешать в памяти их милые образы — такими, какими я их вижу сквозь призму лет. Дальше будет труднее — чем короче промежуток времени, отделяющий «тогда» от «сегодня», тем труднее: события еще так свежи в памяти, они еще не уложились хорошенько в мозаику прошлого, они выпирают из нее острыми углами, живут еще своей призрачной, но так похожей на действительность жизнью.

Давнее горе уже не болит — боль изжила сама себя, на нее наслоились пыльными пластами другие печали, другие радости, но, как ни странно, эти пласты не давят, они легки, почти невесомы, они милосердно прикрывают, сглаживают острые очертания.

И проходит время. Сначала очень медленно, потом все быстрее и быстрее. И наступает день — или год или минута — когда ты просыпаешься от заколдованного сна, оглядываешься кругом… звуки проходящей жизни становятся громче, отдаленный смех звонче. Стены уже нет — вот же она, жизнь, все ближе, ближе, она уже не проходит равнодушно мимо, она останавливается рядом, ты касаешься ее, она принимает тебя.

Только это не жизнь — лишь покорность тому, что изменить человек не в силах. Уже это не самый звук, а только эхо его.

…Мы с Тином стоим около высоких перил на палубе громадного парохода «Рюген». Перила мне по грудь. Тин, поднявшись на цыпочки, едва заглядывает через них на пристань. На пристани толпятся нарядные дамы в длинных платьях и в больших шляпах. Платки они держат наготове: ведь сейчас пароход тронется — и они будут махать отъезжающим. Мужчины для этой же цели сняли с голов котелки и шляпы. Все уже с нетерпением смотрят на матросов, которые все что-то возятся со сходнями. Их нетерпение ничто по сравнению с нашим — всеми силами души мы желаем, чтобы пароход отплыл! Даже красивый вид на город в легкой весенней дымке нас больше не интересует. Этот город — Гельсингфорс. Мы приехали сюда с тетей Наташей и с сестрой Ниной дня два тому назад. Мы лежали на верхних полках и смотрели в узкую полосу окна на темную ночь, закрывавшую от нас последние километры финской земли. Это была еще земля нашего детства, земля, на которой стоял наш дом на Черной речке.

Гельсингфорс нам кажется великолепным, холодновато строгим, совсем уже чужим, его бледно-серые улицы ослепительно чисты и пустоваты… Только в порту движение летающих по воздуху грузов с пароходов на пристань и обратно напоминает мне кормежку морских львов — им лень пошевелиться, они только открывают пасть и так и лежат, разомлев на солнце, а проворные сторожа бросают им куски прямо в пасть.

Пароход «Рюген» заслоняет полгоризонта. Казалось бы, моря не видно, но оно все-таки есть, его не спрячешь — гладкое, бледно-голубое, оно простирается позади пароходов, даже словно висит над ними, как занавес. Только влево крепость на острове — мы знаем, что это Свеаборг — очень красивое слово! — но скорее она похожа на замок Иф, — уж его-то мы прекрасно знаем по «Графу Монте-Кристо». Мы с Тином неотрывно смотрим на берег, на пристань, на город — этот образ навеки запечатлевается в нашей памяти, — я спрашивала Тина, он тоже помнит наш отъезд из Гельсингфорса. А ведь он был маленький совсем — лет восемь ему было, а мне, значит, одиннадцать. Он худенький, щуплый, с носом пуговкой и большими зеленовато-карими глазами с густыми ресницами под тоненькими, как нарисованными кисточкой бровками. Я — рослая, с гладко назад зализанными волосами в косичках, большими, наверное, слегка вытаращенными глазами, большим ртом, тоже, наверное, приоткрытым от напряженного внимания. У меня большие, как у щенка сенбернара, ноги и руки, сама я голенастая, неуклюжая. И очень застенчивая. Вернее, просто дикарка. Мы все деревенские дикари, и наша старшая сестра Нина, которая мнит себя цивилизованной, столичной дамой, тоже выглядит порядочно нелепо в самодельном костюмчике с длинной юбкой и в шляпке, надвинутой на самые брови. Я не могу судить, хороша она собой или нет, — уж слишком она привычна, — но все всегда говорят: какая она хорошенькая и какая у нее красивая фигура. Что ж, взрослым виднее, хотя я куда больше верю Тину: нос как турецкая сабля! — изрекает он, намекая на тонкость и какую-то воображаемую кривизну Нининого носа. Живописнее всего выглядит тетя Наташа, в съехавшей набок шляпке, с толстоватым деревенским носом и свирепыми взглядами, которые она мечет в нас с Тином, дабы предотвратить наши возможные шалости. В руках у нее традиционный, недавно починенный зонтик, всегда готовый обрушиться на спину провинившегося. Иногда тетя Наташа оглядывается вокруг, как бы ища что-то, — это она еще не может привыкнуть к тому, что уже не нужно пересчитывать бесконечные чемоданы, корзины и свертки: весь багаж уже

надежно спрятан в чреве парохода, и его нам выдадут только после приезда в Штеттин. Все замерло на какую-то невыносимо томительную долю минуты, потом корпус парохода чуть заметно задрожал, из обеих толстых труб повалил дым, узкая щель между бортом и пристанью стала расширяться.

Приунывшая было от безделья публика сразу воодушевилась, зашумела, закричала, замахала руками, платками, зонтиками. Полетели даже какие-то цветы и коробки, — кажется, с конфетами. Нам лично никто не махал, никто ничего не бросал, но мы принимали энтузиазм людей и на свой счет.

Скоро крепость осталась где-то позади, берег побледнел, посинел и стал покрываться туманом, пароход заметно увеличил ход — и вот вода покрыла все видимое пространство. Только сзади синела полоска — это оставленная нами земля.

Раздались звуки гонга. Люди встали со своих шезлонгов и стульев и лениво пошли куда-то. И мы следом.

— Наверное, в столовую, — предположила тетя Наташа, а мы с Тином дружно закивали головами: мы отлично слышали, как соседи говорили по-немецки насчет обеда. Как ни странно, мы все понимали: видно, уроки нашей немки не пропали даром. Сами мы, однако, очень самокритично относились к своим знаниям и на за что на свете не решились бы их употребить на деле.

Наша каюта нас сильно разочаровала. Окно у нее было вовсе не круглым — мы так мечтали об иллюминаторах! — а самым обыкновенным, квадратным и выходило на палубу, и из него совсем не было видно моря. Койки были, правда, довольно похожи на настоящие — их было четыре, две внизу, две над ними. Мы с Тином, конечно, расположились наверху. Все было маленькое, уютное, ловко подогнанное. Тетя Наташа нас пригладила, причесала, и мы отправились в столовую.

Какая роскошная, большая столовая! Такого великолепия мы в жизни не видели. Широкая — во всю ширину парохода, с огромными зеркальными окнами, — вот откуда было видно море! — вся столовая (тут ее называли рестораном) заставлена столиками с ножками, привинченными к полу. Это обстоятельство, конечно, не укрывается от наших с Тином глаз, и мы многозначительно переглядываемся — это сделано на случай шторма… Впрочем, сейчас из окон виднеется совершенно гладкое голубенькое море, мы даже не ощущаем движения парохода.

Мы здорово проголодались и сейчас же хотели приняться за еду, но тетя Наташа отдернула мою руку и, выразительно прошипев что-то, кивнула головой в сторону. Там лакей. Он пристально следит за движениями сидящих за столом, предупредительно подхватывает блюдо и, изящно изогнувшись,

просовывает его между головами обедающих. «Совсем как в „Принце и нищем“, — думаю я. — Что же мне надо делать?» Но блюдо висит неподвижно, и я соображаю, что лакей ждет — я сама должна положить себе еду на тарелку. Я нелепо изгибаюсь, ложка скользит из руки… Лакей равнодушно смотрит на мои усилия и ничем не желает помочь, — наконец каким-то чудом кусок курицы оказывается у меня на тарелке. Теперь очередь Тина, но тут тетя Наташа берет бразды правления в свои руки. Мы усердно жуем, краем глаза следя за действиями лакея, который снова выныривает откуда-то сбоку с новым мудреным блюдом.

После обеда мы отправляемся в каюту, но там скучно. Мы норовим скрыться от бдительных взоров тети Наташи, убеждая ее, что мы «только пройдемся по палубе», что «ни в коем случае не будем подходить к перилам» и — боже упаси! — «не вздумаем лезть на капитанский мостик». Наконец нас отпускают, и мы тотчас же устремляемся на верхнюю палубу, мечтая оттуда проникнуть именно на этот легендарный капитанский мостик. На верхней палубе ветрено, редкие пассажиры укрываются под сень гигантских теплых (ясно, что мы их пощупали!) труб, рассматривая в бинокль пустынное море. Тин сунулся было на лесенку, ведшую, по нашему предположению, на вожделенный мостик, но некто с медными пуговицами на куртке довольно бесцеремонно его оттолкнул, выразительным жестом покрутив пальцем около лба. С трудом удалось Тину сохранить после такого оскорбления независимый вид.

Тут мы заметили Нину. Она стояла рядом с элегантным молодым человеком. Он что-то ей говорил по-немецки. Она с улыбкой слушала, хотя, как мы прекрасно знали, ни слова не понимала. Нас зовет тетя Наташа, и вот мы все стоим у перил, рассматривая незнакомый город, который все растет и растет, медленно разворачиваясь и заполняя собой весь горизонт. Уже можно разглядеть высокий причал, на котором толпятся люди. За ними всякие краны, лебедки, склады, узкие улицы с тесно обступившими их высокими, темными от времени и непогоды домами. «Ревель», — слышим мы название города.

«Рюген» останавливается у причала. Летают канаты, разворачиваясь на лету, как лассо, брошенное искусной рукой прекрасной мексиканки Исидоры Каваруббио де Лос Льянос из «Всадника без головы», и обвиваются вокруг толстых кнехтов. Матросы суетятся, кричат, пароход вздрагивает и начинает крупно дрожать. «Это капитан приказал дать задний ход», — шепчет мне Тин в страшном ажиотаже. Толчка мы не ощущаем. Внизу разверзаются перила, и широкий мостик ложится на

причал. Люди с чемоданами и баулами начинают поспешно сновать туда и назад. Стоящие на пристани извозчики оживляются, делая пригласительные жесты. Приехавшие рассаживаются по экипажам, и вот уже пристань пустеет. Проходит довольно много времени, и мы уже начинаем скучать. Вдруг невероятный, страшный рев раздается над самой моей головой. Мне кажется, что рухнул пароход и само небо сейчас повалится на меня. Инстинктивно я приседаю, схватившись обеими руками за голову, чтобы предохранить ее от падающих обломков. Я приоткрываю зажмуренные глаза и вижу испуганное, но смеющееся лицо Тина с открытым ртом — он кричит что-то, но я ничего не слышу, как будто бы это «Тарзан от обезьян» в немом фильме издает свой победный клич. Вдруг рев так же внезапно, как начался, прекращается, и в наступившую тишину неожиданно громко врывается тонкий голос Тина: «Пароход, — вопит он, — это гудок парохода!» Оказывается, «Рюген» дает первый предупредительный свисток, если можно назвать свистком этот победно и мощно звучащий рев… кого? «Да это же голос самого моря, — думаю я. — Так кричат морские пароходы, прощаясь с берегом и приветствуя свободное и гордое море».

Гудок ревет еще раз и еще. Я уже не боюсь, и все-таки какие-то мелкие мурашки пробегают холодными лапками по спине уже от чистого восторга. Легкий озноб охватывает уже всю меня — незабываемое, непередаваемое ощущение.

Мостки убраны, перила закрыты, пароход снова крупно дрожит.

Вдруг смех, крики: «Смотрите! Смотрите!» Мы глядим на пристань, и что же мы видим: во весь опор мчится извозчик, экипаж подпрыгивает на булыжной мостовой, но извозчик все нахлестывает и нахлестывает лошадь. В коляске, стоя от нетерпения, находятся четверо мужчин с чемоданами. Пассажиры «Рюгена» сразу понимают, в чем дело, — эти люди опоздали на пароход. Несчастные! — ведь второй рейс только через неделю! Извозчик резко тормозит у самого причала. Мужчины на ходу соскакивают, хватают чемоданы, подбегают к краю, но — пропасть между бортом и причалом все расширяется, она уже достигла метра, а может быть, и двух… А незадачливые пассажиры схватили свои чемоданы, которые поставили было на землю, и стали кидать их через перила. Побросав багаж, трое мужчин хватают четвертого — один за руки, другой за ноги, третий придерживает для чего-то голову. Они отрывают его от земли, раскачивают и вдруг кидают на пароход. Сверху мы увидели мелькнувшие судорожно растопыренные согнутые ноги, развевающиеся полы пальто как бы застыли над бездной.

Слабонервные дамы из числа зрителей зажмурили глаза и вскрикнули. У нас с Тином глаза готовы, наоборот, выскочить из орбит. Тяжелый, какой-то деревянный грохот донесся снизу — это пассажир благополучно приземлился на палубе.

К вечеру мы уже основательно исследовали весь пароход. К сожалению, во многих местах нам не удалось побывать, — в салон для курящих, например, и в бар нас попросту не пустили. Зато чрезвычайно нам понравились уборные, — они были расположены на уровне воды, вместо четырехугольных окон — настоящие иллюминаторы, и — что самое интересное — эти иллюминаторы время от времени закрывались толщей серовато-зеленой воды — в такие минуты мы чувствовали себя на «Наутилусе»…

Ночь мы великолепно проспали на мягких и удобных койках и с утра уже заняли свои места у перил нижней палубы. Нас поражало, как много ели на этом пароходе: то и дело на палубе появлялись стюардессы с подносами всяких пирожных, шоколадных конфет, с бутылками разных напитков. С этих подносов можно было брать сколько угодно снеди, не давая ни копейки. Нас поражала несправедливость — ведь один какой-нибудь здоровый мужчина съедал много, еще больше выпивал, а мы с Тином, при всем желании, не могли много съесть.

За обедом мы с удивлением обнаружили, что в ресторане не так много народу, и тут же поняли причину — пароход качало! Едва ощутимо, — он как бы переваливался с бока на бок. За зеркальными окнами ресторана заклубился белесоватый туман, скоро он совсем закрыл море. Мы как бы погрузились в молоко и неподвижно повисли в нем.

Вдруг знакомый рев приглушенно, но грозно потряс пароход. «Рюген» трубил для того, чтобы в тумане не столкнуться с другим пароходом. Нам стало не по себе. Через равные промежутки времени ревел пароход, а мы беспокойно всматривались в плотную белую массу тумана. Густой рев нашей сирены не мог проникнуть сквозь туман, он вяз в нем, как в тине, и беспомощно переливался вместе с пароходом с боку на бок. Мы с Тином, давясь от смеха, ковыляя, помчались по коридору и ворвались в нашу каюту, где на койке лежала тетя Наташа с полотенцем на голове и очень жалобно охала.

Днем опять ярко светило солнце, море было гладким. «Рюген» приближался к берегам Германии.

С минуты на минуту мы с Тином ожидали появления островерхих крыш и города, похожего на Ревель… Наконец появился плоский берег, затем мы видим нечто вроде устья большой реки и вскоре вплываем в него. Наш пароход выглядит

нелепо в этой странной реке. Он слишком велик и высок. Он поднимает высокие волны, которые яростно набрасываются на берега и с силой бьются об них, смывая все, что там находится. Впрочем, берега уже давно голые, а редкие деревья, которые еще стоят здесь и там у самой воды, обглоданы и обсосаны волнами, и даже на поломанных сучьях заметны ил и грязь, которые оставила на них взбаламученная вода. Солнце едва пробивается сквозь дым и пыль. Так вот какая она, Германия. Не дай бог, если она вся такая!

Выясняется, что пароход опаздывает на три часа, а вещи должны пройти таможенный осмотр. Мы очень расстроены: ведь наша мама должна встречать нас в Штеттине! А мы опаздываем — как же она нас найдет? Тетя Наташа в еще большем смятении: у нас, оказывается, очень мало денег и совсем нет немецких марок. Если мамы не будет на пристани, то как мы доберемся до Берлина?!

Вот мы и у пристани. «Рюген» останавливается. Наше внимание всецело направлено на узкий причал, похожий на вокзальный перрон… Мамы нет!..

На наше счастье, тетя Наташа познакомилась на пароходе с какой-то русской семьей, и эти милые люди настолько вошли в наше плачевное положение, что не только одолжили денег на проезд до Берлина, но и купили билеты, и сдали в багаж вещи. И вот мы уже едем в трамвае через город Штеттин. Красный с желтым трамвайчик проворно бежит по рельсам, мы с Тином стоим на площадке и удивляемся быстроте, с которой мелькают маленькие, чистенькие скверики, узкие улочки без всякой зелени, остроконечные башни костелов.

На вокзале выяснилось, что до отхода поезда остается еще четыре часа. Чтобы скоротать время, тетя Наташа отвела нас в ресторан.

Ресторан занимал всего один угол большого и высокого зала, и через громадные его двери все время проходили туда-сюда люди. Мне нравилось смотреть, как они нажимали на ручки, двери начинали вертеться, и нужно было иметь большую сноровку, чтобы вовремя успеть проскользнуть, — если замешкаешься, дверь хлопнет по пяткам.

Так я смотрела, и глаза у меня слипались, как что-то будто ударило меня и захватило дыхание — из разлетевшейся двери, вся в каком-то легком, светлом, развевающемся одеянии, в белой большой шляпе, появилась мама! Какую-то долю секунды я окаменело смотрела на мамин особенный, только ей свойственный поворот гордой ее головы. Так стремительны и изящны были ее движения! Такая уверенная, все знающая, так

подходившая к вокзальной атмосфере путешествий и приключений. И еще заметила печать волнения и беспокойства на мамином побледневшем лице и поняла, что это о нас она беспокоится, это нас она разыскивает.

— Мама! — заорала я таким страшным голосом, что все наше поникшее семейство разом встрепенулось, подскочило и тоже закричало и заплакало на все лады.

Мы с Тином не плакали — мы в неистовом восторге целовали маму, вдыхали тонкий аромат ее духов — ничем не заменимый родной «мамин запах». Мы восторженно разглядывали ее, гордились ею нестерпимо.

В три счета мама навела порядок в нашем деморализованном обществе. Заказала — на блестящем немецком языке! — необычайно вкусные сосиски с капустой. Официанты перестали с презрением коситься на нас, а, наоборот, учтиво изгибаясь, кружили вокруг, заискивающе глядя на маму. Запихивая в рот громадные куски, мы с Тином боялись в то же время упустить хоть слово из того, что рассказывала мама. А она рассказала, что приехала в порт в назначенное время прибытия «Рюгена», но ей сказали, что пароход опаздывает на пять часов. Мама пошла в город — ходила, что-то смотрела, покупала — убивала, одним словом, время, а когда пришла снова в порт, то ее глазам предстала пустая громада «Рюгена», бесстыдно выставившая напоказ свои бока, видимые далеко под ватерлинией. Мама так и сказала «бесстыдно», и мне сразу представились некрасивые эти бока, покрытые зеленой тиной и ракушками, — самому «Рюгену», наверное, было неприятно, что их так обнажили.

Мама кинулась искать нас в таможне, но там тоже было уже пусто. Делать было нечего, и мама отправилась на вокзал, надеясь каким-то чудом найти нас там, — и вот мы все вместе! А где же Саввка? — спрашивает Тин. Саввка, о котором мы столько думали с Тином, стыдливо тосковали, не признаваясь в этом друг другу, старались представить себе, как он мог измениться за этот длинный год, — это так долго не произносимое нами имя сошло не без труда с языка Тина.

— Савва ждет нас дома! — живо сказала мама, улыбаясь. — Он очень хотел поехать, но я отговорила.

«Дома» — это на Ильменауэрштрассе, куда так часто писали мы свои письма. Какая она, эта улица в немецком городе Берлине? Скоро, скоро мы там будем!

Поезд быстро уносит нас по немецкой земле. Мы с Тином, конечно, смотрим в окно. Все приглажено, прилизано, прямоугольные поля, срезанные как по нитке дороги, ровные ряды деревьев по их сторонам — расстояния между ними

абсолютно одинаковы, как будто бы их измеряли циркулем. Полосатые шлагбаумы проворно опускаются при приближении нашего поезда на дорогу. Солнце весело светит на красные черепичные крыши, белые колоколенки костелов возвышаются посреди деревень, больше похожих на маленькие города. Все имеет игрушечный, кукольный вид. Он мне напоминает те разноцветные кубики, которых у нас было на Черной речке целых два ящика. Из них можно было строить дома и костелы точь-в-точь как те за окном поезда.

В первый раз — тогда еще бессознательно — мне стало как-то душно, тесно, тоскливо. Как будто какие-то невидимые шоры надели на глаза, ограничили заборами пространство, прежде казавшееся таким бесконечным. Как «Белый клык», привезенный из диких просторов северных лесов в цивилизованную Калифорнию, тосковал, не понимая причин своего беспокойства, так и моя дикарская душа, выросшая среди гранитов Финляндии, среди почти первобытной природы, бессознательно отвергала этот культурный пейзажик, эту культивированную землю, где нельзя было просто так пробежаться, просто так поваляться на траве, спрятаться в гуще леса.

Но вот колеса застучали по стрелкам, люди повставали с мест и стали стаскивать с полок чемоданы, причесываться, хлопать дверьми. Мама и тетя Наташа тоже встали и начали суетиться, а мы с Тином, вытолканные в коридор, снова прилипли к окну, стараясь заглянуть вперед по ходу поезда. И вот мы видим: какое-то огромное полукруглое здание, немного похожее на чудовищной величины сарай с открытыми воротами, сверху этот сарай весь стеклянный, и на фасаде красуются огромные буквы: Ангальтербаннгоф — Ангальтский вокзал, значит. Поезд въезжает под эти стеклянные своды, делается немного темнее. Скрип тормозов поезда, крики носильщиков, шипение пара, топот бесчисленных каблуков. Все быстро ходят, громко разговаривают, машут руками, обнимаются, здороваются. И устремляются к подземным лестницам, над которыми написано: аусганг.

Мы тоже идем по лестнице, по подземным переходам, потом через громадный зал ожидания, похожий на штеттинский, только еще больше.

И вот мы наконец на улице, — мы едем на одном трамвае, потом на другом, который уже прямо идет по Гогенцоллерндамму. Этот самый «дамм» — неимоверно длинная широкая улица, обсаженная деревьями с молоденькой, еще блестящей листвой, весело колышущейся под легкими порывами майского ветерка. Мама говорит, что этот наш номер 59 трамвая доходит до самого Грюнвальда, остановка называется Розенэкк.

Что значит Грюнвальд, а что Розенэкк? — вдруг спрашивает она меня. Я немного удивляюсь такому пустяковому вопросу и тут же отвечаю:

— Зеленый лес, конечно. И розовый угол или угол роз.

Мама улыбается, довольная.

Немного не доезжая до остановки «Угол роз», мы выходим из трамвая и сворачиваем в маленькую тихую улочку, по бокам которой стоят не очень высокие, добротные дома из какого-то серого камня. Дома отделены друг от друга красивыми палисадниками с живописно расположенными кустами, клумбами и лужайками. Все это огорожено низкими заборчиками, и ходить можно только по узким асфальтированным дорожкам вдоль фасада дома. Мама говорит:

— А вот и наш дом! — и мы, замирая, сворачиваем на дорожку и идем ко входу в дом.

Не доходя до подъезда, мы видим на первом этаже, почти у самой земли, балкон-лоджию. Мама только сказала:

— Это наш балкон, — как вдруг над цветами, густо свисающими из ящиков на перилах, показалась Саввкина сияющая физиономия, и Саввка хмыкнул, махнул рукой и снова пропал.

Мы с Тином бегом кинулись в подъезд и ворвались в дверь, открывшуюся слева, и очутились в темной передней.

Не успела я оглядеться и понять, что к чему, как из темноты кто-то на меня бросился, стал обнимать и тискать.

Потом стало светлее — и я разглядела Саввку, который стоял, немного согнувшись в простенке между дверями, во всю ширину скалил свои прекрасные, белые, как сахар, зубы, которых, как мне казалось, у него было куда больше, чем полагалось нормальному человеку. Смеялся он ужасно смешно — то глубоким, почти мужским басом, но неожиданно тоненько взвизгивал и кудахтал, как взбалмошная курица. Он стал совсем большим, очень сильным, широкоплечим, нос у него вырос, брови почернели. Все эти детали я рассмотрела, уже сидя с ним рядом на диване в маминой комнате.

С тех пор у нас с Саввкой началась большая и нежная дружба. Ведь мы очень подходили друг к другу по возрасту, были похожи и внешностью, и дикарскими замашками. Оба мы входили тогда в этот странный — радостный и горестный — подростковый возраст, когда все так глубоко ранит, очаровывает и разочаровывает, манит и отталкивает. Когда все впечатления отличаются глубиной, полнотой и воспринимаются с безграничным доверием, с восторгом, с каким-то трепетным ужасом. Больше всего на свете я боялась, чтобы кто-нибудь не

назвал бы вслух те чувства, которые с такой девственной нежностью формировались в моей душе. Внешне я оставалась все той же высокой не по летам, неуклюжей и голенастой девчонкой, глядящей исподлобья, невероятно застенчивой и оттого молчаливой.

…У мамы была темная, прохладная спальня и гостиная. Стеклянная дверь вела на балкон-лоджию. Мама вывезла из нашего дома на Черной речке некоторую мебель, книги. Квартира была убрана со вкусом, придававшим довольно-таки мрачным комнатам уют и особенный отпечаток изящества и какой-то одухотворенной мысли. И всюду стояли и висели знакомые с детства предметы и картины: черти Гойи занимали самое видное и большое место на стене, рядом висел небольшой вид Римской Кампаньи с виа Аппиа — мрачное небо, древние большие камни дороги, развалины гробницы впереди на холмике, окруженном черными кипарисами. На письменном столе у мамы бронзовая копия храма древней римской богини Весты — мраморные ступеньки, вокруг колонны. Бронзовая папина горилла путешествует с нами, — она все так же пристально изучает человеческий череп, глубокомысленно приложив палец к нижней губе; медная змейка, поднявшись на хвосте, высунула раздвоенный язык, на нем висят круглые часы; знакомая пепельница в виде сидящей девушки («Наверное, русалка!» — почему-то думаю я) — она присела и распростерла по земле загнутый подол своего длинного платья, куда и надо трясти пепел и класть окурки. Все эти предметы стояли когда-то на папином письменном столе в его большом чернореченском кабинете. Мама вывезла тоже много книг. Конечно, их не было столько, как на Черной речке, но все же они наполнили целый книжный шкаф. Там были в знакомых сиреневатых переплетах папины книги и неизменные «Война и мир» и «Анна Каренина», а для нас были сохранены Нансен, Элизе Реклю и громадный «Настольный атлас мира» издательства Маркса.

Мы все увлекались географией. Началось это увлечение на Черной речке, когда от нечего делать мы брали с Тином атлас и начинали рассматривать и вслух мечтать о путешествиях. Особенно нас привлекали острова, изрезанные берега, разные бухты, проливы, заливы и полуострова. На карте Европы наш взор поэтому привлекал Апеннинский полуостров, который мы иначе, как сапогом, не называли, — человек немного отставил ногу назад и изящным, чересчур изрезанным носком сапога собирается ударить по Сицилии. Высокий каблук, нечто вроде шпор над ним делают этот каблук похожим на обувь какого-нибудь мексиканца,

этакого кабальеро дон Диего Каваруббио де лос Льянос.

Хорош и Скандинавский полуостров, который напоминал нам собаку, висящую довольно неуклюже лохматой головой вниз. В зубах у нее зажата Христиания, на хребте дыбом стоят косматые островочки, мысики, фиорды, а бок изрезан параллельными речками, как будто бы у собаки от голода обрисовались ребра и она вот-вот зарычит. А может быть, это полосы, как на тигровой шкуре, и это вообще тигр?

Пиренейский полуостров напоминает мне опять-таки чей-то строгий профиль — скорее всего это Данте Алигьери, с его длинным прямым носом. В ноздре прячется Лиссабон, а на голове, делая ее немного плоской, красуется лавровый венок, чуть нависая надо лбом. Все эти полуострова мы тщательнейшим образом рисуем — делаем карты. Но почему-то у меня была всегда тенденция увеличивать рисунок. Готовая карта вывешивалась на стене в небольшой комнате возле кухни. Очень хорошо помню громадную карту почти совершенно плоской, унылого коричневого цвета Африки, с дугою реки Конго и Нилом с его дельтой и характерным изгибом посередине. Эту карту делал Тин, который считался общепризнанным ученым географом и изображался Саввкой на неизменной карикатуре. Маленький и худенький, с длинной верхней губой, как у молодого шимпанзе, с тонкими изогнутыми бровками и длинными ресницами, Тин нес под мышкой, сгибаясь под тяжестью и едва не падая, огромный атлас. Профессор географии, таково было прозвище Тина.

Очень скоро мы досконально изучили близлежащие окрестности Ильменауэрштрассе. Мы с Тином перелезали ограды, находя их очень удобно сконструированными для этого занятия: всюду были перекладины и выступы, но не то что у косых финских заборов, где некуда было поставить ногу. Мы проделывали это обыкновенно вечером, когда фонари начинали отбрасывать косые тени на кусты и газоны садов. В этом освещении все становилось особенно привлекательным. Зелень травы — голубоватой, тени от кустов — совсем черными и таинственными, на клумбах выделялись только белые цветы, остальные были одинакового темного цвета, и мы различали их только по запаху. Впрочем, цветы нас не интересуют. Довольно страшно бегать по этим заповедным садам, ведь повсюду сторожа, и сколько раз, бывало, кто-нибудь из них уже гнался за нами, грозно прерывисто дыша и витиевато ругаясь. Нам, правда, ничего не стоило удрать от этих блюстителей порядка, — мы бесшумно проносились у них прямо под носом, ныряли в заросли

сирени, кубарем прокатывались через освещенные пространства, а иногда распластывались, замерев где-нибудь под кустом в непосредственной близости от здоровенных сапог преследователя.

С Тином у нас появились не то что разногласия (мы по-прежнему нежно льнули друг к другу, были вместе, может быть, больше, чем с Саввкой), но, кроме чисто детской беготни по улицам и пустырям, ничто более глубокое нас не связывало. Нет, не совсем так. Разве я могла забыть наши бесконечные хождения по берлинским улицам, наше странное одиночество, когда среди шумного и чужого мира мы чувствовали себя единственно близкими и родными. Ужасный, холодный и мрачный Берлин! Тогда мы не сознавали этого конкретно — это сейчас я понимаю, как непривычно и неловко нам было, но тогда мы покорно смирялись с неизбежностью: раз мы живем в Берлине, значит, так надо, ничего не изменишь, надо приспособляться. И мы приспособлялись: говорили по-немецки, делали всякие покупки в магазинах, ездили в трамваях и в метро — совершенно одни, без провожатых.

Длиннющая Гогенцоллерндамм — мне всегда казалось, что этой улице нарочно подобрали такое длинное имя, — в самом деле упиралась в Грюневальд и этот самый Розовый угол. Никаких роз там не оказалось, а Зеленый лес был действительно лесом, изрядно вытоптанным и унылым, очень мало похожим на настоящий, — мы видывали не такие леса, — не особенно высокие, чахлые ели, сосны, с землей под ними, не густо покрытой желтой осыпавшейся хвоей.

Постепенно мы с Тином начинаем уходить все дальше от дома, исследуя все эти Гогенцоллерндаммы, Розовые углы, подступы к Грюневальду. Мы находим за неплотными изгородями незастроенные места, — мы прячемся, носимся с палочкой-стукалочкой, громко нарушая благонравную немецкую тишину громогласным счетом по-русски.

В своих странствиях мы достигаем Курфюрстендамма (красивый длинный, широкий проспект, обсаженный деревьями), где расположены самые большие кинотеатры, роскошные магазины, где множество людей снуют туда-сюда и ездят двухэтажные автобусы — крафтобусы, или сокращенно крафты.

…Мы очень любили гулять с мамой. Мама бывала оживленной, быстро ходила, показывая нам всякие достопримечательности, и я безгранично доверяла верности маминых мнений, суждений и критических замечаний. Мы с Тином с каким-то благоговением смотрели на маму, и не могло

быть и тени какого-нибудь сомнения в правильности ее слов или поступков: мама всегда была права — и нам в голову даже не приходило в чем-либо ее критиковать. Мы восхищались тем, как мама всегда безошибочно знает, какой автобус куда едет, уверенно чувствует себя в лабиринте бесконечных улиц, уныло похожих друг на друга.

Щедрою рукой мама покупала килограмма два черешен, и мы, подхватив пакет на руки, залезали на верх крафта. Чуть улыбаясь и делая вид, что ничего не видит, мама на самом деле отлично примечала, как мы пуляем косточками с высоты крафта в ничего не подозревавших прохожих.

Одни мы не решались пользоваться транспортом и совершали свои путешествия пешком. Мы странствовали большею частью вдвоем с Тином, так как Саввка все чаще требовался для сопровождения мамы по всяким ее делам в издательствах, для посещения всяких деловых людей и немногих знакомых.

Мама купила мне два «дирдли-клайа» — это наряд, похожий на национальное платье немецких девушек: ситцевое, в мелкую клеточку, с набранной в сборку юбкой и четырехугольным вырезом, отделанным узким кружевцем и черной бархоткой. Поверх надевался маленький передник в цвет рисунка ситца. Ведь, несмотря на свои одиннадцать лет, я была высокой и длинноногой девицей и мне легко можно было дать 14–15 лет. Только диковатые, смотрящие исподлобья глаза бывшей «Пучи» и общее наивное выражение напоминали о моем истинном возрасте.

Той же ранней осенью на знакомой опушке Грюневальда, где раньше стояли карусели, произошли разительные перемены. Пришедши туда однажды покататься на любимых волчках, мы увидели голое вытоптанное пространство, с неубранными кучами мусора, бумажками, обрывками веревок. Было похоже на комнату в пьесе «Вишневый сад», когда все уже уехали, забыв несчастного Фирса, а издали уже доносится стук топоров, рубящих вишневые деревья. Между прочим, мне всегда казалась излишней жестокость автора, бросающего беднягу Фирса, такого старого и преданного, на этот, тоже забытый диванчик, где он с кряхтением умирает. По-моему, эта жестокость объяснялась желанием вышибить у зрителя сочувственную слезу. В самом деле, оглядываясь на зрителей, я видела, как многие дамы вынимали платки и прижимали их к глазам, а театр наполнялся звуками сморкания и вздохами. Я не была так слезоточива, потому что не верила, что такие, в общем, неплохие люди, какие были изображены в пьесе, могут забыть своего верного слугу просто так, как ненужный кусок веревки или бумажку. Ощущению

жалости также мешало немного неуместное любопытство — кто потом найдет труп бедняги Фирса, раз дом заперт, и неужели ему придется так и сгнить тут без захоронения?

Опушка Грюневальда была похожа на последнюю картину из чеховской пьесы еще и потому, что издали в самом деле раздавался стук топоров: оказывается, срубали довольно широкий ряд сосен и елей. Мы остановились в горестном изумлении — где же теперь мы будем кататься?

Однако наше горе быстро миновало, когда мы подошли ближе к вырубке, — мы увидели здесь очень интересное и, главное, неисследованное поле деятельности. Пока работали лесорубы, ездили машины, визжали пилы, ржали лошади, нас, конечно, близко не подпустили. Однако мы успели увидеть, что деревья валились как попало, образовывая хаотически нагроможденные кучи из стволов и ветвей. Мы посмотрели друг на друга.

— А здорово было бы взбираться наверх и потом скатываться по ветвям вниз! — выразил общее мнение Саввка. — Подождем, когда все уйдут.

Ждать пришлось недолго, так как дело уже близилось к вечеру. Скоро последний рабочий скрылся в наступивших сумерках, и мы осторожно приблизились к поваленным деревьям. Восхитительно пахло смолой и хвоей, поверженные сосны и ели лежали совсем как убитые богатыри на поле брани, и, как на картине Васнецова, над ними каркали вороны.

Но нам не было дела до воронья. Мы уже карабкались по гладким стволам сосен — у них не такие густые и колючие ветви, как у елей. Они перпендикулярно торчат вверх, и за них можно хорошо держаться. Вот Саввка первый достиг верхушки, он совсем скрывается и вдруг выпускает ветку и скатывается свободным падением вниз — мягко опускающиеся и пружинящие ветви тут же быстро возвращаются в исходное положение, указывая трассу Саввкиного падения. Мы с Тином ждем, замирая, и вот слышим приглушенный, но восторженный голос:

— Совсем не больно! А как долго падаешь… Тут еще ямы какие-то.

Тогда я тоже выпускаю ветку, втягиваю голову в плечи и начинаю заваливаться на бок, изо всех сил стараясь преодолеть желание уцепиться за что-нибудь. Ни с чем не сравнимое ощущение медленного падения, мягкого переваливания с ветки на ветку — все ниже, ниже… да ведь так падали мы на ветвях серебристых пихт там, в далекой Финляндии, в Раухаранте, и запах тот же, и все… На какое-то мгновение резкая тоска… Раухаранта, дом на Черной речке…

Опустившись на землю, я сейчас же забыла это ощущение: оно так не вязалось с веселой беззаботной нашей игрой. И не знала я, что то было первое напоминание о той большой, неизбывной тоске, что как черное облако стало сопутствовать всей моей жизни. Далеко запрятанная внутрь, тоска как будто не давала о себе знать, но стоило ощутить знакомый запах, услышать знакомый мотив, увидеть сирень, рябину, какой-нибудь полевой цветок, один из тех, что мы с Тином собирали в букеты — один маме, другой бабушке, тете Наташе, — как острое что-то поворачивалось в груди. Царапая и раня острыми углами, накипала в сердце неизлечимая, черная горечь.

В одном из театров Берлина — я уже не помню в каком — мы смотрим «Мысль» Леонида Андреева со знаменитым Паулем Вегенером в роли доктора Керженцева. К этому времени мы все прекрасно понимаем и говорим по-немецки и без всякого труда следим за диалогами, тем более что пьесу мы знаем почти наизусть. Пьеса производит огромное впечатление на зрителей. Напряжение растет с каждой минутой, и, когда страшный Керженцев поднимает тяжелое пресс-папье над головой несчастного Савелова, а тот как завороженный смотрит ему в глаза, пытаясь защититься рукой, в театре стоит абсолютная тишина. И в этой мертвой тишине звучит жестокий, холодный, какой-то гипнотизирующий голос Керженцева: «Опусти руки!» Не сводя глаз с лица убийцы, нелепо, как-то вымученно улыбаясь, Савелов опускает руки, и Керженцев бьет его в висок углом тяжелого пресс-папье. В этот момент тишина в театре взрывается громким вздохом — ах! — не выдерживают натянутые до предела нервы зрителей. Я до сих пор слышу этот стихийный, монолитный не то вздох, не то крик большого количества людей, охваченных одним мощным чувством. Тут я впервые поняла, как неотразимо может действовать на людей искусство.

Осенью мы поступаем в русскую гимназию — мрачное, казенного типа здание на какой-то тоже мрачной берлинской улице, лишенной всякой зелени.

Мы с Саввкой ходили вместе в третий класс, а Тин во второй. Мы хорошо учимся по всем предметам, исключая математику. С тех самых пор и началась наша стойкая ненависть к этому предмету. Зато я отличалась по русскому языку и географии, а наш географ Леман — я запомнила это имя, потому что так называют иначе Женевское озеро (сам учитель с некоторой гордостью сказал нам это), — считал меня самой своей лучшей ученицей.

В этом же третьем классе учится с нами Виталий Тумаркин — тот самый Виталий, с которым связывала меня молва в финской школе. Говорили же тогда, что я в него влюблена. Слава богу, об этом больше речи нет, да и он сам стал еще более надутым и самодовольным, глядит на меня свысока и совсем не разговаривает. Он редактирует классный журнал, в котором сотрудничают самые способные ученики класса: они пишут рассказы, стихи, рисуют картинки, карикатуры. Не помню, кто мне предложил написать рассказ в рождественский номер этого журнала. Тема, конечно, должна была быть подходящей, то есть крайне чувствительной. Я рьяно взялась за дело.

Я гордо понесла свой душераздирающий рассказ в редакцию нашего журнала, и Виталий принялся читать его. Я с напряжением следила за выражением его лица, ожидая увидеть волнение, потрясение, бурный восторг, наплыв эмоций… Ничего такого я не заметила. «Как он умеет владеть собой! — подумала я. — Вот даже какая-то усмешка змеится на его губах, это, наверно, его душат слезы… Вот уже конец, сейчас он зарыдает…» Вдруг Виталий бросает рукопись на стол и разражается гомерическим хохотом, среди неистовых взрывов которого я слышу странные слова:

— Мадам Достоевская! Умора!

Не веря своим ушам, я молча стою — при чем тут Достоевский? Наконец оскорбительный хохот прекращается и Виталий, вытирая слезы, объясняет:

— Ты же чуть ли не дословно переписала рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на елке»!

Я тупо смотрю на него и вдруг понимаю — да ведь он прав! Когда-то давно я читала этот рассказ, и мне казалось, что совсем-совсем забыла. И вот надо же — в моем воображении он продолжал жить, оброс какими-то новыми, уже моими подробностями, переработался под влиянием моих личных наблюдений. Разве я не видела таких именно бедных мальчиков на улицах Берлина, иногда одних, а чаще в сопровождении худой и бледной женщины — она сидит на промерзшем тротуаре, прижавшись спиной в лохмотьях к холодной стене дома, на руках у нее продолговатый сверток, закутанный так, что сразу не поймешь, что это ребенок, а мальчик протягивает прохожим синюю от холода ручонку: на ладони лежит коробка спичек…

— Плагиат, — сурово сказал Виталий.

Это оскорбительное слово крепко запомнилось мне. Больше в журнал я ничего не писала.

Мы с Тином остро чувствовали приближение рождества.

Саввка стоял немного в стороне — ощутимо отделяясь от нас маминым исключительным к нему отношением. Он сопутствовал маме в ее деловых поездках, он гулял с ней, разговаривал, вникал в ее заботы, умел как-то разделять их. Все это поднимало его в наших глазах, и хотя мы знали и чувствовали, что он такой же, как мы — мальчишка! — что у него те же интересы и тот же характер, что и у нас, но его непостижимая близость к маме внушала нам странное не то уважение, не то восхищение. В этом чувстве не было зависти, и казалось естественным, что Саввке многое прощалось, сходило с рук из того, что не прощалось нам. Он был особенный во всем. Он был мужчиной в доме и, несмотря на свои 13–14 лет, умел с достоинством держать себя. Возможно, все это немного ломало его характер, ведь Саввка от природы был очень добрым, общительным и ничуть не надменным, и он никогда не стремился ни к какой преграде между собой и всеми нами. Но эта исключительная любовь к нему мамы отгораживала его от нас.

Безграничная, почти болезненная любовь мамы, возможно, возлагала слишком большие требования на мальчишеские плечи Саввки, — как ему должно было быть трудно разделять с мамой ее тоску по папе, ее духовное одиночество, ее заботы о воспитании четверых детей: ведь сестра Нина тоже жила с нами. А материальные заботы! Маме обязаны мы были тем, что жизнь протекала в достатке. Это она поддерживала связь со многими странами, переписывалась с издательствами, которые переводили и издавали произведения отца. Слово «писательница» по-французски переводится, как «фамм де леттр» — женщина писем. Мама говорила, что она «фамм де леттр» не в переносном, а в прямом смысле: в самом деле, такое количество писем на разных языках. Наверное, Саввке приходилось трудно, и он любил бывать с нами. Беззаботные наши забавы словно разряжали слишком серьезную атмосферу его отношений с мамой.

Мы с Тином были большей частью предоставлены самим себе. Мы вместе выходили из дому в гимназию, вместе возвращались, несмотря на то что были в разных классах и кому-нибудь приходилось поджидать другого. Чаще это бывал Тин, и мне радостно было видеть его, худого, с большим ранцем за плечами, стоявшего за углом гимназии и верно меня поджидавшего. Его синеватое от мозглявого холода берлинской зимы лицо мгновенно прояснялось, длинная верхняя губа несколько криво приподнималась. Скупо переговариваясь, мы дружно пускались в длинный путь к нашей Ильменауэрштрассе. Серые каменные переулки, улицы без кусочка зелени, снега никакого, вместо него время от времени падает холодная изморозь, туман пробирает до

костей. На мне надета «оленья шуба» — одеяние не то чукчей, не то нанайцев, которое возбуждает у немцев изумление, близкое к столбняку. Квадратными глазами они смотрят на меня, когда я величественно, чуть не подметая тротуар полами шубы, прохожу мимо.

Сначала я не слишком вслушивалась в потрясенные реплики прохожих, тем более что плохо разбиралась в берлинском диалекте. Но как-то я увидела свое отражение в витрине магазина — какой вид! Действительно, только нарт с собаками не хватает. Сестра Нина горячо поддерживает меня — ведь у нее такая же оленья шуба, хоть и несколько улучшенного фасона. Потом наша делегация отправляется к маме. Ведь вдобавок к необыкновенным шубам мы с Ниной носим еще какие-то невероятные ботинки, купленные мамой в мужском магазине обуви, где под ними было написано: для старых мужчин, — их, естественно, мы ненавидели еще пуще оленьих шуб.

Мы так слезно и дружно умоляем, что наконец мама внимает нам и покупает нам пальто, куда менее теплые и удобные, но зато не возбуждающие такого пристального и нездорового любопытства окружающих.

Итак, мы с Тином идет пешком весь длинный путь от гимназии до дома. Мы бы могли ездить на трамвае: нам давали на трамвай денег и до недавнего времени мы исправно на нем ездили. Но дело в том, что мы решили копить на покупку подарков к рождеству маме.

Какие же это были подарки? Тин уже давно припас одно свое сочинение. Оно называлось «Извержение Лысой горы» и было почти слово в слово заимствовано из Элизе Реклю. Тщательно переписанное Тиновой рукой на какой-то особенно хорошей бумаге, сочинение было свернуто в трубку на манер египетских папирусов и перевязано розовой ленточкой, за которую потом нужно было засунуть листок с витиевато украшенным именем адресата и маленькой еловой веточкой, символом рождества. У меня тоже было что-то в этом роде. Я уже не помню, как назывался этот плод моего творческого духа, но он тоже имел форму трубочки и был тоже снабжен посвящением маме и веточкой.

Духовная пища, так сказать, была готова, но нам этого казалось мало. Надо было подарить еще что-нибудь, более ощутимое, материальное.

И вот, бродя по предпраздничным улицам Берлина и с жадным любопытством рассматривая витрины магазинов (особенным вниманием пользовались кондитерские, еще издали одурявшие нас необыкновенно сладким ароматом шоколада, кофе

и еще чего-то невообразимо вкусного), мы увидели сделанные из шоколада фигурки разных зверей и предметов. Особенно поразили наше воображение шоколадные слоны — темно-коричневые, с шоколадной же большой корзиной над балдахином на спине, в корзине конфеты, завернутые в разноцветную фольгу, а на них — роскошно одетый магараджа. На шее слона около головы, с ушами, похожими на гигантские лопухи или ревеневые листья, сидел полуголый погонщик в чалме и с палочкой в руках. Вот такого слона надо купить маме!

Мы робко толкаем зеркальную дверь магазина, колокольчик мелодично звенит над головой, и мы с холода окунаемся в теплый, насыщенный ароматом шоколада воздух, такой густой, что его, казалось, можно было резать толстыми сладкими ломтями и жевать, глотать… и даже продавать. Вокруг такое великолепие, что мы теряемся и только молча разеваем рот: тут и пальмы, и обезьяны, и целые поместья с домом, прудом и гусями — все из чистого шоколада. А продавец называет какую-то страшную, прямо-таки астрономическую сумму, от которой мы совершенно никнем, шатаемся и пятимся к дверям.

Некоторое время мы идем молча, все еще вдыхая божественный запах, которым пропиталась наша одежда в магазине. Вдруг Тин останавливается.

— Мы будем копить! — восклицает он.

Я бурно соглашаюсь.

И вот мы ходим пешком, откладываем мелочь в копилку. Мы даже пробовали не есть гимназических завтраков, но это оказалось выше наших сил.

Каждый день мы делаем крюк, проходя мимо заветной кондитерской, чтобы полюбоваться на нашего слона. Он все так же гордо стоял среди шоколадных пальм, а в витрине прибавилось еще одно новшество. Две кукольные фигуры мальчика и девочки вдруг ожили: сидя перед столом с мисками конфет, мальчик одеревенело наклонялся, рука у него дергалась вперед, он «брал» конфету из миски (мы заметили, что она у него давно прикреплена к пальцам), потом мальчик резко дергался в сторону — прямо ко рту обалдело улыбающейся девочки. Она разевала было рот, но мальчик тем же конвульсивным движением убирал руку. Девочка, все так же глупо улыбаясь, захлопывала рот, и вся процедура повторялась сначала. Нам было неприятно смотреть на танталовы муки бедной девочки, так и не отведавшей ни разу конфет, но мы подолгу простаивали перед витриной, не в силах отвести глаз от завораживающе однообразных движений кукол.

Увы, время бежало, а наших сбережений не хватало на

покупку маминого слона. Мы были в отчаянии: неужели наша мечта — купить слона, такого милого, во всех деталях рассмотренного, почти родного, — не осуществится?

В итоге мы склоняем головы, идем к маме и просим у нее денег. Мама подозрительно оглядывает наши виноватые фигуры.

— Для чего? — спрашивает она.

Мы мнемся, кряхтим.

— У нас не хватает немного, — наконец говорит Тин, отворачиваясь от маминых пронзительных глаз. — Мы копили, но у нас не хватает…

— Немного… — прибавляю и я.

— Сколько же все-таки? И для чего? — спрашивает мама уже гораздо мягче с чуть заметной улыбкой, которую мы, однако, сейчас же видим, — она наполняет наши души радостью, и Тин уже гораздо тверже называет сумму. Мы пристально следим за эффектом. Мама слегка удивляется, но все же ласково спрашивает — Так много денег? Для чего?

Ну, тут уж приходится прошептать коснеющим языком:

— На подарки…

Мама, наверное, удивляется еще больше — у нас вовсе не было принято на рождество дарить друг другу подарки, но не показывает виду, подходит к письменному столу и вынимает деньги. Мы сразу видим, что их гораздо больше, чем нужно для покупки слона.

Мы сияем, протягиваем одновременно руки — мама вкладывает бумажки одному и другому. Мы дуэтом бормочем:

— Спасибо, — поворачиваемся и вылетаем из комнаты. Последнее, что я вижу, это темные глаза мамы, лучащиеся смехом, — уж очень синхронно мы произвели все эти действия.

Как странно: мечты о недосягаемом слоне, разглядывание его через стекло витрины, предвкушение покупки — все это запечатлелось у меня в памяти гораздо ярче, чем сам процесс покупки и одаривание родственников. Ожидание, сомнение, страх, надежда, казалось бы, беспокойные и далеко не радостные чувства, на самом деле составляют то самое счастье, которого мы вечно ищем и никак не можем найти. Сам момент достигнутого счастья невозможно запечатлеть — он мимолетен, хрупок и, к сожалению, так бессознателен… Ведь когда думаешь: вот это и есть твое счастье, удержи его, запомни, — такая именно мысль как раз доказывает, что счастье, о котором идет речь, не настоящее, а какое-то вымученное, а потому и не полное.

Однажды вечером мы застали у нас в доме нашего старшего брата Вадима. Оказывается, он был в каком-то путешествии на

Кавказе. Почему на Кавказе и что это было за путешествие, мы понятия тогда не имели. Он был совсем взрослым, красивым. Его большой нос, служивший когда-то мишенью для семейных острот, теперь не так уж выделялся на матово-бледном лице, темно-каштановые волосы, когда-то твердые, как проволока, и протыкавшие насквозь береты, теперь стали мягкими, блестящими и лежали крупными волнами. Под носом чернели небольшие усики. Кроме этих усов мне нравилось у Вадима все, хотя он и стал равнодушным к нам и даже немного надменным. Оно и понятно: мы все еще были мелюзгой. К тому же он был поэт! Такое определение его деятельности нам казалось очень странным. Под наименованием «поэт» нам сразу представлялся Пушкин или там Лермонтов, Гёте, одним словом, знаменитые, давно умершие люди. Живого поэта, да еще в образе собственного брата, нам еще не доводилось встречать, и мы отнеслись к Вадиму очень скептически.

Особенно нам не нравилась его манера читать стихи. Раньше он читал их просто, без всякого пафоса. А тут! Боже мой, сквозь страшные, заунывные завывания можно было с трудом докопаться до смысла даже таких нам хорошо известных стихов, как: «…Я звал тебя, но ты не оглянулась, я слезы лил, но ты не снизошла, ты в синий плащ печально завернулась, в сырую ночь ты из дому ушла…» Вадим почему-то повышал голос к концу фразы, когда по всем правилам его надо понижать, а на точках, где вообще полагается останавливаться, его голос вдруг поднимался чуть ли не до визга. Нам было очень неловко во время его чтения. Хотелось смеяться, но это было неприлично, и мы только краснели, отворачивались стыдливо.

Кроме общеизвестных стихов он читал еще и стихи каких-то новых, совершенно непонятных нам поэтов, а также свои собственные, которые мы выслушивали с большим вниманием, изо всех сил стараясь что-то разобрать в хаосе фраз, казалось, без всякого ладу и складу поставленных рядом. «…Хлестать моноклем взмыленный зал, скачущий вдаль…» — что это? — спрашивали мы Вадима. Оказывается, это какой-то человек, вроде, скажем, Евгения Онегина, смотрит в монокль на зал, полный танцующих дам в пышных кружевных платьях. Отсюда слово «взмыленный», то есть весь в пене. «Скачущий вдаль» — ну, это можно понять, что танцующие несутся в вихре мазурки, что ли. Уносятся вдаль, — зал-то большой.

«…Любовью взлохмаченные ресницы…», «…нежность, сорвавшаяся под откос», «нежностью развороченные шпалы» — все эти образы производили на нас совсем не то впечатление, на которое рассчитывал поэт.

…Как шерсть дворняжки войлочные тучи,
На мокрых сучьях косолапый страх
Плетет плетень паучий…

Это нам нравилось. И эти тучи как шерсть дворняжки — это в самом деле, осенью эти серые, рваные тучи напоминают шерсть бездомной дворняги, этот косолапый страх — он действительно бесформенный, неуклюжий какой-то, это хорошо. «Плетень паучий» — уже хуже, разве только аллитерация хороша, но представить себе паука, плетущего плетень, довольно трудно.

Вадим был очень независим, элегантен. Я помню его черный костюм, галстук бабочкой. Он любил рассказывать про свои победы над дамскими сердцами. Он уверял, что в разговоре с девушкой, все равно какой национальности, надо знать только одну фразу на ее языке — я люблю вас, — и тогда успех обеспечен. Для этой цели Вадим выучил эту фразу на всех европейских и, может быть, не только европейских языках. Он просто потряс нас своей лингвистической эрудицией. Вдобавок от твердил, что добиться успеха у любой женщины он может очень легко, что стоит ему немного поухаживать за любой красавицей, как она тотчас начнет отвечать ему взаимностью. А поэтому своим девизом он выбрал строчку Гумилева — «Я нигде не встретил дамы той, чьи взоры непреклонны».

Сестра Нина поступила в драматическую студию, где преподавал актер, а может быть, и режиссер Московского Художественного театра Массалитинов. У Нины появилась туника вишневого цвета, в которой она упряжнялась дома в разных танцах. Я помню, как она, раскрасневшаяся после упражнений, сидит перед зеркалом и прилаживает к своим темным волосам какой-то цветок. Как она была хороша! Я же тогда еще не понимала, не видела просто, кто из людей красив, а кто нет, но был ли это инстинкт или какое-то шестое чувство, не знаю. Просто я останавливалась как пораженная и смотрела, смотрела, не в силах оторваться. Как некий видеоаппарат запечатлевали мои глаза цвет, форму, движения, и стоит мне вспомнить эту сценку — Нина у зеркала, — как все начинает дышать, двигаться, сверкать теми самыми красками, молодостью, жизнью. Я вижу ее необыкновенно блестящие, прямо-таки светящиеся темно-зеленые глаза, кажущиеся почти черными, ее белую кожу, гладкую, — как что? Да, делают такие статуэтки из алебастра, он матово-белый и чуть розовый с теневой стороны. Я вижу Нинины розовые губы и ряд ровных белых зубов, блеснувших в счастливой улыбке от

сознания своей привлекательности.

Мы с интересом следили на Нининым учением, — нам нравилось смотреть, как она, набрав в грудь как можно больше воздуха, выпрямившись и с бессмысленно остановившимися глазами начинала медленно, потом все убыстряя, выговаривать: «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна…» — и опять сначала, причем нельзя было ни в коем случае остановиться и перевести дыхание. Весь фокус в том и заключался, чтобы как можно большее количество раз — на одном дыхании — произнести пушкинскую строфу. Конечно, мы тоже участвовали в состязании, рекорд побил Саввка. В его богатырскую грудь помещалось колоссальное количество воздуха.

Массалитинов ставил сцену из «Братьев Карамазовых», где старец Зосима принимает богомольцев. Нина играла в этой сцене роль женщины, которая потеряла ребенка, очень тоскует и вот пришла к старцу за утешением. Меня смех разбирает, когда теперь читаю это место из «Братьев Карамазовых»: так и слышу Нинку, как она, старательно выговаривая по-простонародному и сокрушенно покачивая головой, изображает эту женщину. Она потом меняла выражение и говорила за всех остальных богомольцев.

Но мы все-таки не слишком верили в Нинины таланты, пока не пошли в театр, где Массалитинов демонстрировал игру своих учеников и учениц. Была поставлена эта сцена со старцем Зосимой, а потом еще сценка в монастыре из «В лесах» Мельникова-Печерского. Вот тут мы и разинули рты на нашу Нину — она была такой настоящей деревенской молодухой, так естественно и свободно держалась на сцене, как будто век там провела.

В особенности нам понравилась она в роли разбитной молодой монашки, которая, взяв руки в боки, вдруг прошлась, дробно перестукивая каблучками, лихо напевая: «Топор и рукавица, жена мужа не боится, рукавица и топор, жена мужа об забор!..» Наша Нина поет, танцует, быстро и легко движется по сцене! Это было так непохоже на ее обыкновенную сонную медлительность, что мы все диву дались, — оказывается, у нее в самом деле способности.

Потом сделалась весна, и в унылом городе Берлине тоже можно было увидеть признаки, робко возвещающие приближение весны. Почки на липах набухли, газоны на Ильменауэрштрассе зазеленели, на них появились лиловые, желтые крокусы — смешные цветы, вовсе не имеющие стебелька и листьев, а потому производящие впечатление чего-то искусственного. Цветы на

клумбах были все садовые. Они были крупными и яркими, но сердце к ним не лежало: может быть, оттого, что мне всегда виделась густая, высокая трава, которую чуть колышет ветер, свободно пролетающий над полями. Ветер, не стесненный оградой высоких домов. Ветер, пахнущий черемухой, ландышами, еще чем-то таким знакомым. А в траве ромашки, кашка, еще колокольчики лиловые, немного сухие и не пахнущие, которые так любила тетя Наташа.

«Я боюсь города, я люблю пустынное море и лес… …Моя душа мягка и податлива, и всегда она принимает образ того места, где живет, образ того, что слышит она и видит. И то большая она становится, просторная и светлая, как вечернее небо над пустынным морем, то сжимается в комочек, превращается в кубик, протягивается, как серый коридор между глухих каменных стен. Дверей много, а выхода нет — так кажется моей душе, когда попадает она в город, где в каменных клетках, поставленных одна на другую, живут городские люди. Потому что все эти двери — обман. Когда откроешь одну, за ней стоит другая, а когда откроешь эту, за ней видна еще и еще, и, сколько бы ни шел по городу, везде ты увидишь двери и обманутых людей, которые входят и выходят.

И я боюсь города, его каменных стен и людей его…»

Мы с Тином удлиняем свои прогулки по Берлину, ловко ездим в «унтергрунде», как называется берлинское метро. Один раз мы забрели к рейхстагу и долго рассматривали это мрачное черное здание со статуями, вооруженными всякими копьями, алебардами, касками и прочей средневековой амуницией, в изобилии натыканной на всех выдающихся местах фронтона.

Много было в Берлине статуй конных и пеших маршалов, канцлеров и фельдмаршалов. У всех этих военных под громадной каской торчали вверх совершенно потрясающие усы, — впрочем, такие усы встречались во множестве и у обыкновенных прохожих, только торчали они не из-под касок, а из-под котелков, в которых ходили все солидные бюргеры.

Мы странно одиноки с Тином в этом большом городе. Мы такие непохожие, мы дикари, тоскующие по своим джунглям и саваннам, мы бредем по этим серым каменным улицам и не знаем, почему в нашей походке усталость, почему мы едва волочим ноги по этому неживому, тупому в своем безразличии камню. Мы еще не знаем, что мы просто устали смотреть на бесконечные, страшные своим однообразием дома, мы не знаем, что мы в своих толстых ботинках тоскуем по прохладной земле тропинки, поросшей мягким подорожником, по которому так

славно пробежаться босиком, срезавши хлыстик и подстегивая себя по ногам. Мы не знаем, мы не сознаем, что мы на самом деле несчастны. Мы не рассуждаем, не спрашиваем — почему это нужно и нужно ли это? Раз мы тут живем, значит, так надо, надо терпеть и делать все, что от нас зависит, чтобы и в этом огромном городе быть ближе к природе. И мы инстинктивно убегаем на пустыри, ходим в Грюневальд, валяемся на его тощей травке, в которой иногда попадаются даже пыльные и какие-то странные ромашки.

А потом грянула жара, до того гнетущая, до того невыносимая в большом городе, что мама начинает думать о поездках за город, где можно было бы купаться и загорать. Несколько раз мы выезжаем на «воскресном загородном, останавливающемся на всех станциях поезде», — это название из семи слов немцы ухитряются впихнуть в одно слово, очень несуразно выглядящее на длиннейшей табличке на перроне.

Мы ездим на Ванзее — большое озеро с пристанями и пароходиками, с лодками и яхтами. Берега, сплошь заросшие камышами и тростником. Только в некоторых местах, наименее топких и болотистых, проложены рыбаками узенькие тропинки и над самой водой сделаны скамеечки или сиденья на охапках ивовых прутьев и травы. Там, однако, сидят свирепые рыболовы, вперив глаза в поплавок, — не дай бог появиться на его тропинке! Рыболов тотчас же начинает ожесточенную немую жестикуляцию, свирепо вращая глазами и конвульсивно хватаясь за разные предметы, делая вид, что собирается запустить ими в нежелательного пришельца.

В общем, мы кое-как добирались до воды, увязая в холодной противной тине, и купались без всякого удовольствия. Вода была такой мутной, что нельзя было разобрать, глубоко тут или мелко, а из-под всех кустов высовывались проклятые удочки и слышались едва сдерживаемые проклятия рыболовов, — они думали, что мы распугиваем им несуществующую рыбу.

Как хотелось выкупаться, но не в этих грязных прудах, а в море, которое мы так любили! И вдруг мама заявила нам: мы едем в Аальбек — угриный поселок на берегу Балтийского моря. Туда, где недалеко расположен остров Рюген, в честь которого был назван пароход, привезший нас в Германию.

В диком восторге мы действительно через несколько дней покатили в этот Аальбек (ааль — угорь по-немецки). Это место по каким-то таинственным причинам избрали для нереста морские угри чуть ли не со всех морей и океанов земного шара. Там их, естественно, ловят в больших количествах, тут же коптят и маринуют. Бедные угри! Столько сотен километров проплыть,

чтобы погибнуть в коптильне предприимчивых немцев! Впрочем, жалость была тотчас забыта, как только мама купила первого огромного, чуть ли не метрового, угря, еще тепленького, прямо из коптильни. Его разложили на столе в гостинице, где мы остановились, и мама разделила его между нами — каждому достался кусок сантиметров в тридцать длиной. Ничего более вкусного, чем этот угорь, я никогда больше не ела, вот это было пиршество! Бело-розовое, нежное мясо угря имеет ни с чем не сравнимый изысканный вкус и просто тает во рту. Урча от наслаждения, зажмурившись, мы поедали угря — теперь мы поняли, почему за ним так страстно охотятся.

Вскоре, однако, выяснилось, что нашей мечте выкупаться в море не суждено осуществиться. В первый же день, как мы приехали, резко испортилась погода: подул холодный ветер с моря, а это значит, прямо с севера… То был даже не ветер, а настоящий ураган. Чтобы выйти к морю, приходилось согнуться чуть ли не под углом в 45 градусов, и то казалось, что ветер сейчас опрокинет тебя и покатит, как какой-нибудь мяч, по песку. Одетые в куртки и пальто, мы раза два пытались «хоть посмотреть на море», но, постояв в согнутом положении несколько минут, мы прозябли, что называется, до костей. Было такое ощущение, что ветер свободно продувает все тело, проникает между ребрами, путается в них, все внутри холодеет и начинает дрожать мелкой дрожью, а ветер, осатанело завывая, обвивается анакондой вокруг ног и норовит повалить на мокрый песок. Осторожно пятясь, мы оба раза отступали и спасались, услужливо подталкиваемые ветром, в свою гостиницу.

На море было страшно смотреть: свинцово-черное, все в белых барашках — я бы даже сказала, баранах, — оно со свирепой настойчивостью бросалось на плоский берег. И со злобным шипением волны раскатывались далеко по песку, норовя унести с собой обратно в море все, что стояло или лежало на берегу: человек ли это, животное или просто обломок доски. Вдобавок ко всему непрерывно шел дождь. Он даже не шел, как полагается нормальному дождю, а летел параллельно земле и воде, так что если кто передвигался спиной к нему, то спина становилась совершенно мокрой, в то время как спереди человек оставался сухим… Какое уж тут купание!

Мы выдержали в этом благословенном Аальбеке две недели, да и то только из-за восхитительных угрей, и уехали оттуда тоже из-за угрей, стоили оно дорого и никак не могли нам надоесть, как о том напрасно мечтала мама.

Когда мама решила уехать из Германии в Италию —

обетованную землю, где провела она лучшую весну своей жизни с папой? Наверное, мама приняла решение уехать, потому что ей смертельно надоела Германия, вся какая-то холодная, чопорная, в то же время угрюмо-упрямая в своем стремлении подчинить своему знаменитому порядку весь мир. Германия, Германия — превыше всего! — так самозабвенно пели немцы в своем гимне, и такое именно самодовольство выражалось на фронтонах немецких вилл с надписями: «Мой дом — моя крепость». Что мы, например, в нашем возрасте могли понимать в хорошем или дурном вкусе? Тем не менее мы часто останавливались у таких вилл, удивляясь, как можно так обезобразить природу, посадив среди чудесного зеленого газона этого уродливого гипсового, аляповато раскрашенного карлика с застывшей пошлой улыбочкой на бородатом лице. Из-под каждого кустика выглядывала гипсовая серна. В миниатюрном бассейне с золотыми рыбками обязательно должен был быть остров из обломков камня, на самом верху которого возвышался традиционный замок с зубчатыми башнями, с подъемным мостом и прочими средневековыми аксессуарами. Неужели это взрослые люди искренне увлекались такими сентиментально-инфантильными пустяками?! Что-то от души противное русскому человеку было в этом пустом украшательстве природы.

А вышитые салфеточки, приколотые к каждому креслу, дивану, лежащие на всех шкафиках, полочках, пуфиках? А панно над столом или плитой на кухне? На одном вышита молодая женщина, с приторной улыбкой на закостенелом лице, подающая тарелку супа своему, надо полагать, законному супругу, рассевшемуся за столом и разводящему руками от восторженного изумления над таким вниманием жены. Над картиной витиеватыми готическими письменами выведена поучительная надпись: «Любовь проходит через желудок». Каждый день, изо дня в день смотреть на эти картинки, вникать в мудрость этих афоризмов?!

Раз побывавши в квартире какого-нибудь немецкого семейства, можно было потом с завязанными глазами войти в любую другую квартиру и точно указать, где что стоит, где что висит. В спальне стоит перпендикулярно стене супружеское ложе — оно очень высоко — там же взбитые перины! — и покрыто кружевным покрывалом. В центре обязательно сидит какая-нибудь плюшевая собачка или кукла с пышными юбками. Над ложем «мадонна», если можно назвать мадонной эту полуобнаженную женщину, лежащую в соблазнительной позе среди каких-то цветов. По бокам кровати ночные столики, до того педантично похожие друг на друга, что непривычному человеку

делается нехорошо и остальные атрибуты спальни начинают двоиться в его глазах. Но это только кажется, что предметы двоятся, их в самом деле по паре: два шкафа, два коврика, две лампочки на столиках. Все до ужаса одинаковое. В спальне большую часть дня, если хорошая погода, окна открыты настежь и на подоконниках выложены перины и подушки. Когда утром идешь по какой-нибудь тихой берлинской улице, то только и видишь открытые окна и в них белоснежные перины.

Другая комната — салон. Туда гостя вообще не пускают, так как там начищенный паркет, а на нем ковер, и, чтобы он не запачкался или, не дай бог, не вытерся преждевременно, через него протянуты полотняные дорожки. По ним можно осторожно пройти, сняв, конечно, ботинки и надев домашние тапочки.

Гостю, почтительно остановившемуся на пороге гостиной, издали показывают главную достопримечательность: знаменитый «угловой диван». Его настоящую обивку гость, конечно, не увидит, да, наверное, и сами хозяева уже давно забыли, какого она цвета, так как диван тщательно прикрыт тонким покрывалом, на покрывале чехол, как в поликлиниках, на чехле еще обыкновенно разложен «Берлинер беобахтер» или какая-нибудь другая газета — ведь чехол тоже может запылиться! Ильф и Петров смеялись над фикусами, — боже мой, да фикус самое распространенное комнатное растение в Германии! Он достигает обыкновенно внушительных размеров, стоит у окна в разукрашенной кадке прямо на полу — это гордость хозяйки дома, чем фикус выше и ветвистее, тем больше она им гордится.

Возможно что с тех пор Германия изменилась, — ведь это было в начале двадцатых годов. Но мне кажется, приехала бы я туда сейчас — и я опять увидела бы карликов, ланей и средневековые замки. Уж больно все это вжилось в немецкий быт, в характер, в самую натуру среднего немца.

Русскому человеку плохо жить в Германии, ему там тесно, душно, нехорошо. К тому же хваленый немецкий порядок сильно расстроился. Дело ведь было после войны, была безработица, марка стала стремительно падать. Я, конечно, не берусь объяснить, какие именно причины послужили этому явлению, но хорошо помню эти деньги с многими нулями, помню, что 250 граммов мясного фарша стали стоить 25 тысяч марок, проезд на трамвае тысячу, билет в кино тоже несколько тысяч. Когда трамвайный билет стал стоить миллион, небрежно отпечатанный на клочке какой-то скверной бумаги, похожей на оберточную, мама убедилась, что немецкий порядок окончательно развалился, и поспешила закончить сборы в дорогу.

В Италию маму звала сестра, наша родная тетя Толя — Виктория Ильинична, которую, впрочем, мы совсем не знали, только слышали, что ее первый муж был революционером и сослан в Сибирь, где заболел туберкулезом. Тетя Толя сопровождала его в ссылку и, когда он отбыл срок, увезла в Швейцарию, где он и умер в Лугано. Дедушка Илья Николаевич дал тете денег, чтобы она пожила с маленьким сыном в Италии. Не знаю, сколько времени жила тетя в Риме, но как-то раз к ней подошел на улице мужчина и что-то спросил у нее: кажется, как пройти на площадь Венеции. Так она познакомилась со своим вторым мужем, полуфранцузом-полуитальянцем по национальности. Теперь она жила в довольно-таки стесненных материальных обстоятельствах, так как ее Режис оказался порядочным лодырем, несмотря на аристократическое происхождение. Тетя Толя из сил выбивалась, стараясь прокормить семью, — к тому времени у нее родилась еще дочка. Мы очень хотели познакомиться с тети Толиным сыном Марио, Саввкиным ровесником, увидеть маленькую Элиану, которой тогда было шесть лет. Тетя Толя с восторгом писала маме, которую она тоже несколько лет не видела, что в Италии произошли большие перемены и что нам всем будет очень хорошо в Италии.

Мама решила ехать сначала с Саввкой и со мной, оставив пока тетю Наташу, Нину и Тина в Берлине. Нужно было найти какую-то квартиру в Риме, договориться с издательствами.

Я была смущена, услышав, что мне предстоит ехать вперед с мамой. Хотя мой детский страх перед маминой строгостью уже не был столь интенсивным, вернее, он переродился в безграничное уважение, преклонение, почти благоговение, тем не менее мысль оставаться все время с мамой, может быть и наедине, наполняла меня смятением — а вдруг я что-нибудь не так сделаю, не пойму чего-нибудь. Одно меня утешало — ведь я же буду не одна. Саввка, милый, добрый Саввка всегда будет со мной — его ласковое, глубоко товарищеское отношение, его готовность всегда во всем со мной поделиться, поддержать, если нужно. Все это искренне, щедро, прямо от сердца. И с ним было так интересно — его зоркие глаза художника (уроки Репина не прошли даром!) имели удивительную способность видеть все красивое, все выдающееся, во всем замечать одухотворенную мысль.

Кое-как прошла нудная берлинская зима, со слякотью, с туманами, с серыми дождями, льющимися на черные от копоти крыши. Тин с грустью смотрел на нас с Саввкой, ему было тяжело расставаться с нами, тяжело оставаться с тетей Наташей и Ниной:

ни та, ни другая, конечно, не могли разделять его мальчишеских интересов. Он обещал писать длинные письма, описывать обстоятельно все события своей жизни, а мы с Саввкой поклялись отвечать ему такими же.

И вот мы поехали. Весной, в апреле, любимом мамином месяце, в апреле, когда на юге цветут яблони, цветет миндаль, апельсиновые и лимонные деревья, когда все зеленое, свежее, душистое — такое самое, как в далеком четырнадцатом году, когда мама была в Италии с папой.

«Здесь все цветет и зеленеет: яблони, сирень и цветная капуста с сухарями, черт бы ее себе взял, — шутливо писал папа бабушке из Рима. — Но какая тут жара, маточка, для апреля месяца что-то неприличное…»

Сначала мы приехали в Мюнхен, где по маминому плану мы должны были провести несколько дней.

Мюнхен был мало похож на те немецкие города, которые мы видели до сих пор: Берлин, Штеттин, Дрезден — даже Дрезден! — были все как на подбор серыми и унылыми, а этот город был ярким, веселым, каким-то праздничным. Помню, как мы поехали на какой-то холм над городом. Был солнечный день, мы переезжали через мост над рекой Изар и поражались, какая это необыкновенная река. Она была совершенно зеленая, правда, немного мутная, потому что, объяснили нам, сейчас весна и в горах тает снег, но потом, говорили мюнхенцы, вода делается прозрачной и ярко-зеленой — даже в ванне.

Самое сильное впечатление на меня произвела церковь — она стояла в узком проулке недалеко от нашей гостиницы, выдаваясь боком в этот проулок, так что не хватало места, чтобы рассмотреть ее. Тем не менее, если сильно задрать голову, можно было увидеть остроконечные шпили готических башен. Церковь носила название Фрауенкирхе («Женская церковь»), что тоже было необычным и сообщало ей какой-то нежный, женственный вид. В узком провале переулка было совсем темно, а наверху сияло солнце и голубело небо. Острые, как иголки, шпили церкви вонзались в это сияющее небо, а вокруг них на головокружительной высоте летали ласточки.

Завернув за угол переулка, я очутилась перед входом в храм. Большие двери была раскрыты, и оттуда мощными волнами лилась музыка. Что-то было в этой музыке такое необыкновенное, что я, забыв про свою вечную застенчивость, поднялась по ступеням и вошла в храм.

Громадная, полутемная внизу внутренность церкви была обрамлена устремившимися ввысь переплетами сводов, узкие статуи святых простирали вверх узкие ладони, пилястры, выступы

остриями своих треугольников тоже тянулись вверх, как будто им было тесно здесь, как будто бы они хотели пронзить крышу и устремиться в небо.

И все это огромное здание заполнено величественным гулом неизъяснимо торжественной, возвышенной музыки. Казалось, что поют сами стены. В этой музыке ничего земного, — хрустально чистая, отрешенная от человеческих страстей, она тоже устремляется в небо.

Я подняла голову, — многочисленные остроконечные арки и переплеты сводов соединялись где-то высоко-высоко. Сквозь узкие длинные витражи окон проникали лучи солнца, а в этих косых разноцветных лучах плавала сизая дымка, и быстрокрылые ласточки стремительно резали пласты этой дымки, носясь из окна в окно.

И вот мы уже едем в мягких вагонах международного экспресса через Баварию, которая кажется нам куда приветливее и веселее северных областей Германии. У полосатеньких шлагбаумов мы с изумлением видим толстых бородатых, волосатых дядей в коротких штанишках с вышитыми помочами.

— Что это? Они еще ходят в школу? — вопрошает наивно Саввка, но ему объясняют, что это национальный костюм.

В самом деле, мы вспоминаем, что на швейцарских плитках шоколада мы часто видели изображение Вильгельма Телля в таких именно штанишках, — он шагает, опершись на плечо своего сына, того самого, на голове которого лежало пресловутое яблоко.

Нам сказали, что скоро из окна поезда будут видны горы — не какие-нибудь, а сами Альпы. Мы чуть не открутили себе шеи, стараясь заглянуть подальше по ходу поезда: никаких гор видно не было. Вдруг кто-то из наших спутников спокойно говорит:

— Да вот же горы, уже видны!

Мы смотрим во все глаза — ничего. Все та же плоская веселая равнина с цветущими садами, лугами.

Все смеются, видя наше недоумение.

— Вы не туда смотрите. Вверх посмотрите! — сказал наконец один добродушный немец, показывая куда-то в небо.

Мы смотрим: какие-то белые облака неподвижно стоят на синем небе.

— Где же горы?! — вопрошаем мы дуэтом.

— Это и есть горы, — говорит, посмеиваясь, немец. — Эти облака и есть горы.

Мы потрясены — как, эти облака, так высоко от земли, такие легкие, прозрачные почти, да и не видно, что они стоят на

земле, — они отделены от нее голубоватой дымкой, они висят в воздухе.

Становилось темно, очень скоро окрестности слились, как бы прикрытые темным саваном, и только вершины гор, которые теперь уже чуть ли не висели над нами, стали розовыми. Удивительно, всюду уже темно, туман пополз по равнине, а горы стоят себе, освещенные солнцем, и дела им нет до ничтожных людей, мельтешащих где-то далеко внизу, у их ног.

В купе зажгли свет, — наши спутники оживленно разговаривали с мамой, удивляясь, как это у нее, такой молодой, такие большие дети, но нам с Саввкой все вдруг стало безразлично. Ноги, руки как бы распухли и налились тяжестью, тело обмякло, голова норовила склониться на чье-нибудь плечо или просто упасть на грудь, разговор, смех доносились как сквозь закрытые двери. Мама заметила наше состояние и вышла в коридор. Наши ноги как-то сами собой поднялись и скрючились, головы уткнулись в висящие в углу пальто и что-то твердое, не слишком похожее на подушку, но какое это было блаженство! Потом, помню, кто-то меня подталкивал, поворачивал, спускал ноги на пол. Я сопротивлялась, отпихивала руки, наконец разобрала слова, сказанные маминым голосом:

— Их невозможно разбудить, а ведь уже утро…

Мы с Саввкой поспешно проталкиваемся в коридор, к окну. Поезд идет по узенькому выступу на склоне горы. Далеко внизу долина, зеленая-зеленая, по самому ее дну бежит ручеек — сверху все кажется крошечным. На другой стороне долины — гора. Она поднимается уступами — большими и широкими, как лестница великана, на них — зеленые, белые, сиреневые лужайки. Я долго не могла понять, почему эти луга разноцветные, но потом разглядела, что это цветы: на белых лужайках — нарциссы, на сиреневых — гиацинты!

Вдруг поезд въезжает в сплошную, курящуюся удушливым дымом тьму. Слышны крики:

— Закройте окна!

И мы погружаемся в тоскливое ожидание — страшно думать, что мы углубляемся внутрь самой горы, что над нами сейчас тяжелая земля, камни, скалы.

Я таращу глаза в темноту, но, кроме тусклого мерцания синей лампочки в купе, окруженной плавающими пластами синего дыма, ничего не вижу. Вдруг я замечаю призрачное свечение, исходящее откуда-то спереди. В этом таинственном свете начинают проступать черные блестящие стены туннеля, проносящиеся так близко, что их можно достать рукой. Свет

усиливается, делаясь теплым, золотистым и радостным. Мы выезжаем из туннеля, — и это светит солнце в том радостном мире, который мы покинули и который сейчас снова увидим. Сияние впереди делается нестерпимо ярким, стук колес, отдававшийся в самой голове, внезапно стихает, и перед самым носом моим движется откос, поросший зелененькой, такой родной травкой. Я даже различаю несколько беленьких звездочек цветов земляники, совсем как на склоне обрыва у Плаксина, когда мы с Тином обследуем свои земляничные владения, с нетерпением дожидаясь, когда созреют ягоды и мы сможем, «срезав хлыстик», понестись рысью за добычей.

Саввка теребит меня, заставляет высунуться из окна и посмотреть назад — поезд заворачивает и видно маленькую черную дыру туннеля, из которого мы только что выехали: из нее еще поднимается черный дым. И мы с Саввкой с восхищением говорим о тех умных людях, которые проложили эту железную дорогу через горы и ущелья, — какие смелые, умные люди!

Потом все кричат:

— Посмотрите, посмотрите!

И мы видим падающую откуда-то с непостижимой высоты серебряную ленту. Она кажется неподвижной, повисшей в воздухе, а внизу белый туман стоит над клокочущей водой и вдруг вспыхивает разноцветной радугой — точно хрустальная арка перекинулась над водопадом…

В конце концов мы убедились, что даже все красоты мира надоедают, когда их слишком много и когда на них слишком долго смотришь. И мы решили, что в горах человек должен чувствовать себя как-то стесненно. Нет широкого, открытого до самого горизонта пространства, всюду, за каждым поворотом торчат горы, которые только кажутся разными, а на самом деле они убийственно одинаковы.

Потом поезд прибыл в Бреннеро — итальянская граница! Мы с большим любопытством всматривались в эту довольно-таки невзрачную станцию, в людей, расхаживающих по платформе, — еще бы, ведь это были никогда еще не виданные нами итальянцы! Они мало отличались от тех же альпийских немцев, но, вслушавшись в их разговор, мы ясно различили звуки совершенно непонятной речи, что в первый раз поставило нас перед вопросом: как же мы будем их понимать, когда они все заговорят на своем языке? В смятении мы переглянулись с Саввкой, но тут же успокоились, когда услышали, как мама совершенно непринужденно беседует с одним из итальянцев, который отлично понимал все, что мама ему говорила, и почтительно поддакивал: «си, синьора, си, синьора…» Да, нашу маму нельзя

было удивить никакими переходами от одного языка к другому — еще одно удивительное свойство нашей мамы! И чего нам беспокоиться, когда она будет с нами всегда.

В общем, в Бреннеро мы ничего похожего, в нашем представлении, на Италию не заметили — те же горы, тот же воздух, такая же платформа. Но вот наше внимание привлекла странная пара: на них была надета некая фантастическая форма, напоминающая одежду опереточных героев вроде Цыганского барона или французских гренадеров: узкие брюки с лампасами, подобие каких-то фраков, с фалдами, как бы обмакнутыми в нечто серебряное, расшитых галунами и серебряными же цветами на отворотах. Самое же потрясающее — на головах треуголки, совсем как у Наполеона, когда «шумел, горел пожар московский, дым расстилался по реке, а он, великий и могучий, стоял он в сером сюртуке», и, конечно, в треуголке, заложив одну руку за пуговицы жилета. Оказывается (так разъяснила нам всеведущая мама), это были карабинеры — итальянские полицейские.

Никаких гор не было уже и в помине. Тут и там, на довольно однообразной равнине, виднелись небольшие рощи деревьев с сероватой листвой и мелкими желтенькими цветочками. «Это оливы, — сказала мама, — и едем мы по Ломбардии и скоро переедем через реку По».

Я тут же вспомнила: «ехал принц Оранский через речку По, бабе Орлеанской он сказал бон-мо» — где-то слышанные дурацкие стишки.

«И отчего такое название? — думала я. — Неужто там все люди так часто ходят в ломбард?» А река По, всегда привлекавшая меня своим коротким именем, на деле оказалась скверной и мутной речушкой, через которую мигом перемахнул поезд.

На одной из долгих остановок мама выпустила нас пройтись по перрону. С Саввкой мы подошли к самому паровозу, который, устало отдуваясь паром, весь блестел от горячего масла, как загнанная лошадь от пота. От него тянуло жаром, запахом пара и горячего масла, а из окошечка смотрел замазанный, черный как негр машинист — у него были усталые, красные глаза. Интересно, какой он национальности, — ведь он всю жизнь колесит по разным странам, наверное, давно научился говорить на всех этих языках и всюду чувствует себя как дома. И все-таки где-то должен быть его настоящий дом, куда он возвращается после своих путешествий, — там его ласково встречают, там его ждут жена, дети, там его зовут папой, и там он может наконец хорошенько умыться и сесть за стол среди своих родных и близких… А есть ли у меня такой дом, свой дом?.. Мы тоже, как этот машинист,

колесим по свету, сегодня Германия, завтра Италия, а куда мы поедем послезавтра? Но в то же время мы ездим с мамой. Значит, там, где мы, там и дом наш, пусть временный, но разве это не безразлично, раз мы все вместе и нам не о ком вспоминать, нечего жалеть… Но тихим и бесплотным видением перед моими глазами медленно проплыл наш покинутый дом на Черной речке… Ссутулившись, он жмется к башне — как ему страшно, как одиноко, и как мы могли бросить его, такого беспомощного, на произвол судьбы. Приблизившись к моим глазам настолько, что я уже могу различить заколоченные окна, вывалившуюся черепицу на крыше, оборванные плети дикого винограда, хлещущие дом по черным от дождя и непогоды стенам, видение дрогнуло, исчезло. Я стою на платформе незнакомой станции. Вокруг что-то лопочут на непонятном быстром, состоящем как бы из одной буквы «р» языке, рядом Саввка уже долго, по-видимому, дергает меня за рукав — я должна обратить внимание на какую-то деталь огромных колес паровоза…

А там уже мама машет нам — пора возвращаться в вагон. И как же надоел этот пыльный вагон! И вообще мы с Саввкой немного похожи на плохо умывшихся шахтеров. Мы обалдело, чуть подпрыгивая, сидим на своих местах. И это вечное подпрыгивание тоже смертельно надоело. Но вот в вагоне приумолкнувшие было итальянцы снова начинают проворно сыпать свои «р». Среди их непонятной речи все чаще слышится слово «Фиренце». — «Это значит Флоренция», — объясняет мама.

Мы с Саввкой снова в коридорчике вагона, но там все те же голубоватые холмы, белые извилистые дороги среди зеленых полей, веретенообразные почти черные деревья, как бы ввинчивающиеся в небо остриями своих верхушек.

— Кипарисы, — говорит мама.

Скоро появляется высокая стеклянная будка с надписью «Фиренце» — внутри виден человек, который что-то делает с рычагами, торчащими из большой доски. Мы знаем, что это главный стрелочник. Появление такой будки безошибочно указывает, что близко городской вокзал.

В самом деле, поезд въезжает под какие-то своды, а мимо окон все медленнее плывет перрон с людьми — с букетами и без букетов. Они с напряженным вниманием всматриваются в двигающиеся окна нашего поезда. Глаза у них бегают туда-сюда, как на теннисном матче. Нас никто не встречает, тем не менее мы радостно выходим на платформу — крики носильщиков, громкие приветственные восклицания, смех, трескотня предельно экзальтированных встречей родственников и друзей.

На платформе торосы из сумок, чемоданов, коробок, зонтиков, но мама не теряется: мигом все улажено — и мы чуть ли не рысью спешим за нашим носильщиком, довольно подозрительным субъектом бандитского вида, который, свирепо вращая черными глазами, искусно лавирует между людьми и препятствиями. Темные проходы лестницы, наконец яркий свет, простор привокзальной площади, куча наших чемоданов сложена у тротуара. Подъезжает извозчик, цокая и покрикивая на свою лошадь.

На улицах всюду много людей, снующих по тротуарам и прямо по мостовой, так что наш извозчик, грациозно изогнувшись на своих козлах, принужден часто щелкать кнутом и покрикивать на прохожих. Не без зависти мы отметили с Саввкой, как искусно он щелкал бичом: получался громкий хлопок, прямо как из ружья «монтекристо», хотя извозчик не прилагал к этому никаких видимых усилий. После бесконечного ряда поворотов, щелканья кнута и музыкальных окриков извозчика наша карета выехала на довольно большую площадь, почти пустую и ярко освещенную солнцем. С одной стороны ее замыкала высокая светлая церковь, с другой — длинный, довольно плоский дом. Это и была та гостиница, куда мама приказала ехать.

Полутемная комната в гостинице, мягкие кровати, потертые коврики на полу и в коридорах, пыльные портьеры на дверях и потрескавшиеся канделябры на стенах кажутся нам с Саввкой пределом роскоши.

Вид из окна, однако, не производил на нас с Саввкой большого впечатления. Площадь пустынна, большие двери церкви (ее название Санта Мариа Новелла, говорит мама) закрыты, только голуби да ласточки вносят некоторое оживление.

Мама посылает меня на кухню гостиницы с чайником для кипятка — надо же выпить чаю. Это ужасное поручение повергает меня чуть ли в столбняк: я никак не могу выдавить из себя необходимых итальянских слов, которым меня учила мама, и принуждена объясняться знаками. Да и итальянская прислуга, столпившаяся вокруг меня на кухне, никак не может понять, для чего мне понадобился кипяток, — ведь в Италии чай не пьют. Наконец, пожимая в недоумении плечами, мой чайник все-таки наполняют горячей водой…

Вода для заварки, конечно, не годится, и маме приходится самой идти и объяснять этим людям, какая именно вода нам нужна. Потом повариха привыкла к нашей прихоти и уже молча наливала мне кипяток, — ох уж эти сумасшедшие иностранцы, наверное, думала она при этом.

К вечеру, когда наша комната приняла привычный обжитой

вид — перед большим зеркалом уже выставлены мамины баночки, флакончики, в шкафу развешано платье, стол покрыт нашей скатертью, пахнет маминими духами и папиросами, — мама решает послать меня в магазин за ветчиной.

— Ветчина называется «прашутто», — учит меня мама. — Ты входишь в лавку, говоришь: бонджьорно, прэго ун, — этто ди прашутто! Это означает: добрый день, сто граммов ветчины, пожалуйста!

Мне диким кажется слово прашутто — похоже на парашют, может быть, мама ошибается, как это я буду просить парашют?..

— А если заблудишься, — парирует мама мое следующее замечание, — то говори: довэ пьяцца Санта Мариа Новелла? — и тебе сразу покажут.

С замиранием сердца я выхожу на площадь и заворачиваю в ту улочку, которую мне показала мама из окна. На улице оживленное движение, гораздо большее, чем в полуденное время. Прохожие проворно снуют взад и вперед — они все очень оживлены, громко разговаривают, размахивают руками. Даже смешно, как они страстно жестикулируют: вот двое почтенных с виду мужчин, потрясая перед носом собеседника сложенной щепотью рукой, стремительно шагают по тротуару, ничего вокруг не замечая, — один убеждает в чем-то другого. Другой вдруг резко останавливается, хватает первого за грудки и в свою очередь начинает потрясать рукой перед его носом. Они выкатывают глаза, апоплексически краснеют, еще секунда — и они вцепятся друг другу в волосы. Но нет, — так же стремительно они вдруг срываются с места и опять мчатся вперед, не замечая дороги. Они смеются! Вот тебе раз, — оказывается, они вполне дружелюбны.

Улица длинная, какая-то извилистая, и я долго иду по ней, заворачиваю куда-то, пока наконец не вижу маленький магазинчик, — в витрине действительно выставлены всякие колбасы. Замирая от волнения, я вхожу и сдавленным шепотом произношу роковые слова насчет парашюта. Диво дивное — продавец и не думает удивляться, а проворно отрезает длинным ножом, похожим на кинжал «Вендетта корса», требуемое количество ветчины. Ободренная успехом, выхожу и решительно иду вправо.

Увы, я скоро убеждаюсь, что взяла неправильное направление: никаких знакомых ориентиров не видно… Ага, надо свернуть еще больше вправо. Улица расширяется, впереди какая-то площадь, — наверное, это и есть моя Санта Мариа Новелла. Я убыстряю шаги и вдруг останавливаюсь как вкопанная — вовсе это не наша площадь!

Передо мной высится необыкновенной красоты церковь — у нее громадный купол, тут же высокая четырехугольная колокольня, все это полосатое: широкие полосы белого мрамора чередуются с темно-розовыми. Радостное, захватывающее дух впечатление.

Несмотря на грандиозность собора, он кажется воздушным, как бы летящим…

Но что ж это такое? Где же наша родимая гостиница? Преодолев смущение, я рискую обратиться к одному старичку, показавшемуся мне достойным доверия из-за своего скромного сосредоточенного вида.

— Доэ э, — бормочу я, — пьяцца Санта Мариа Новелла?

Старик выпрямляется и как одержимый начинает махать руками и сыпать непонятные слова. Я улавливаю его первый взмах руки, который указывает налево по той же улице, откуда я пришла, киваю головой и устремляюсь налево. Пройдя порядочный кусок, я не вижу ничего похожего и снова задаю тот же вопрос одной женщине с корзиной. Она опять машет рукой, на этот раз направо, и я сворачиваю на узкую извилистую улочку, которая долго вертит меня то вправо, то влево. Увидев впереди просвет, я устремляюсь туда… и что же? Передо мной снова та самая площадь, снова высится полосатый собор…

Опять я спрашиваю, опять долго иду куда-то, послушно заворачиваю — и что же? Передо мной проклятый собор. Теперь он уже не кажется мне радостным: зловеще ухмыляясь, он издевается надо мной. Ноги у меня деревенеют от бесконечного хождения, я с трудом удерживаюсь от слез.

Уже начинало темнеть, когда я приплелась на какую-то площадь, но на всякий случай я спрашиваю еще раз. Старушка с недоумением переспрашивает, потом тычет рукой в землю. Ясно, что я стою на этой самой пьяцце, но вышла к ней совсем с другой стороны и оттого ничего не понимаю.

И в самом деле — вот наша гостиница, наше окно приветно светится, а в нем Саввка и мама обеспокоенно всматриваются куда-то вправо, откуда, наверное, они ожидают моего появления.

Совершенно счастливая, я несусь по лестнице и влетаю в нашу комнату. Саввка и мама синхронно кричат:

— Наконец-то! Где ты пропадала? — и я, захлебываясь от восторга, описываю свои приключения, которые кажутся теперь скорее комическими, чем трагическими.

Саввка с уважением посматривает на меня — еще бы, я разговаривала по-итальянски и все-таки нашла гостиницу, а мама смеется и говорит, что тот полосатый собор и есть знаменитый на весь мир храм Санта Мариа-дель-Фиоре, купол у него построен по

плану самого Микеланджело.

Вечерами мы бродили по улицам вместе с мамой. Стояли долгие апрельские сумерки, толпа на улицах густела, автомобили и извозчики, которых тоже было много в вечерние часы, пробирались чуть ли не шагом среди беспечных прохожих. Неясный свет, исходящий то ли от редких фонарей, то ли от освещенных лавочек, освещал оживленные, смеющиеся лица черноволосых женщин, большей частью с легкими кружевными накидками на головах, яростно жестикулирующих мужчин, идущих слегка позади своих спутниц. Вверху темно-синее небо со звездами, яркими даже в свете фонарей, все прочерченное черными зигзагами, — это стремительно и бесшумно проносились летучие мыши.

Мы поселились на квартире в тихой, отдаленной от центра города улочке. Квартира была на первом этаже небольшого старинного особняка, и стеклянная дверь выходила в маленький садик, весь заросший непривычного вида кустами. Оказалось, это были вечнозеленые лавры, олеандры, низкорослые пальмы. Дорожки окаймлялись большими белыми изнутри раковинами, поставленными торчком и образовывавшими низкую ограду.

Иногда мама уходила с Саввкой, и я подолгу оставалась в квартире одна. Я прибирала наши две полутемные от спущенных жалюзи комнаты.

С глубокой радостью я начала замечать, что наши отношения с мамой стали меняться: мама уже не присматривалась ко мне с каким-то холодным отчуждением, ее взгляд стал добрее и ласковее, особенно когда она видел а мои хозяйственные старания.

Не могу сказать, чтобы я как-нибудь особенно была откровенна с мамой, рассказывала ей про свои мысли и мечты… Во-первых, мне и самой были неясны эти мечты и мысли… Слишком много впечатлений, новых и неожиданных, сумбурно оседало в моей голове, что-то смутно бродило в душе, и я не могла бы ясно сформулировать это бесформенное нечто простыми, будничными, как мне казалось, словами. А во-вторых, слишком много было во мне детского, наивно удивленного яркой жизнью, которая бурлила вокруг. Я была скрытна и застенчива, пуще всего боялась как чего-то стыдного слишком смелых и решительных суждений. «Разве я что-нибудь понимаю? — думала я. — Что, если мама будет смеяться?»

Когда все было прибрано, я шла в сад. Дом с опущенными жалюзи казался необитаемым, с улицы не доносилось ни звука.

От других садов участок был отделен высокими стенами, полная тишина стояла вокруг, даже птиц не было слышно. Я забиралась в самый отдаленный уголок сада — там жила маленькая черепаха, довольно скучное создание, никак не реагировавшее на мои старания привлечь ее внимание листиком салата или морковкой, которые я подсовывала под самую ее змеиную головку. Черепаха равнодушно отворачивалась и залезала своим, в самом прямом смысле, черепашьим шагом под куст. Она спокойно обходилась без еды и тем более без питья, так как в саду не было и намека ни на то, ни на другое. «Удивительное свойство, — думала я с почтением, — да еще при этом черепахи ухитряются прожить сто лет… Вот кабы мне!»

Я почти ползком пробиралась в самый глухой угол около стены — там среди кустов был небольшой кусочек просто земли, даже без травы. Я садилась на притоптанную землю и долго сидела в полной неподвижности. Чахлые травинки, робко пробивающиеся сквозь сухую землю под кустом, странные перистые листья какого-то неизвестного растения, длинная букашка, задумчиво шевелящая тонкими усиками, какая она тощая, эта букашка, в чем душа держится? Постепенно от полной тишины у меня начинало тоненько звенеть в ушах, а может быть, это звенела сама тишина?

Я всматривалась пристально в землю, набирала горсть, сыпала тонкой струйкой. Близко-близко, пристально-пристально разглядывала я кусочек почвы перед самыми глазами, меня привлекала ее структура, запах. Так я рассматривала, бывало, кусочек пыльного берлинского пустыря где-нибудь у окраины Грюневальда — там была затоптанная глинистая земля, на которой ничего не произрастало, да и не могло произрастать. Она пахла странно, будто даже и не землей, — скучный, городской запах. Итальянская земля была совсем другой — сухой и безжизненной, словно от бремени лет, пронесшихся над нею. Она дышала таинственностью, что-то говорила мне непонятным языком. Я мучительно старалась вникнуть в странные звуки, в обрывки каких-то мелодий, возникавших в голове и тут же на полузвуке умолкавших. Что-то неуловимо общее роднило тем не менее землю этих стран — в мгновенном озарении я поняла: земля не моя, она чужая! Моя душа отвергала ее, инстинктивно отталкивала, не воспринимала ее чуждые запахи. С предельной ясностью я увидела перед собой совсем другую, не похожую ни на какую другую землю: летним утром мы с братом вдохновенно копаем яму в нашем саду на Черной речке над обрывом. Земля темная, почти черная. Она мягкая и отваливается жирными пластами под нажимом наших лопат. Верхний слой пласта весь

переплетен беленькими корешками трав. Качнув головками, с пластом земли съезжают в яму желтые лютики. От всего этого исходит густой, мощный дух — он настоян на прелых листьях, на запахах сочной травы и полевых цветов, в нем призыв к жизни, обещание вечно возобновляющейся природы.

Воспоминание резануло прямо по сердцу, но тут же, померкнув, исчезло. Что там — какая-то яма в земле, это было когда-то, а теперь совсем другое, оно, может быть, сейчас для меня чужое, а потом я привыкну. Кроме того, ведь ничего поделать нельзя, я не властна над своей судьбой, надо покориться. Все это очень неясно проплывает в моем сознании, и я даже не могу сказать, хотела бы я вернуться на Черную речку, увидеть тот самый кусок родной земли? Вспышка погасла и не оставила после себя ни горечи, ни сожаления. Но каждый раз, как я вспоминаю об Италии, я вижу тот кусок земли в уголке флорентийского садика, чувствую особенный, таинственный ее запах, с годами наполнившийся необъяснимым очарованием.

Мы с Саввкой предпринимали далекие прогулки по городу. Мы с ним рисковали даже ездить на трамваях — скрипучих сооружениях с выступом вокруг всего вагона. Трамваи были всегда переполнены, но неунывающие итальянцы прицеплялись снаружи. Трамвай мчался, раскачиваясь, обвешанный этой гирляндой живых тел, и сам казался одушевленным. На остановках люди соскакивали еще на ходу, из дверей высовывался кондуктор, свирепо вращая глазами, что-то кричал, но горе-пассажиры отворачивались с безразличным видом. Потом кондуктор скрывался в глубине трамвая, и изнутри доносился его хриплый крик:

— Аванти! — что означало «вперед».

Трамвай дергался с места, и «зайцы» снова облепляли его со всех сторон. Все это проделывалось с бесшабашной веселостью, да и сам кондуктор со своим свирепым видом тоже, казалось, потешался вместе с безбилетными пассажирами над их ловкостью и неуловимостью.

Нам нравились беспечные, веселые итальянцы — какой контраст с медлительными немцами, на которых мы достаточно насмотрелись в Берлине! До чего же нам надоела их чопорность и пресловутая любовь к порядку, их чистенькие трамваи, благовоспитанные детки, всегда умытые и тщательно причесанные. Здесь все было совсем другое, уютное и дружелюбное. Сами улицы были какими-то домашними, от широких плоских плит, которыми они были вымощены, веяло чем-то теплым, как будто бы их согрели тысячи ног прохожих, обутых кто во что горазд, иной раз просто в домашние тапочки и стоптанные сандалии.

Были мы на знаменитом Понте Веккио — древнем мосту через мутную реку Арно. Он походил скорее на продолжение улицы, чем на мост, так как был весь застроен низкими

старинными домами с лавчонками, бойко торговавшими разными флорентийскими сувенирами: маленькими гипсовыми фигурками святых, среди которых мы с трудом узнавали Давида Микеланджело, его «Ночь», «Персея» Бенвенуто Челлини, бюсты самого Микеланджело и Леонардо да Винчи с его волнистой бородой, — кстати, только эта борода и была похожа на знаменитого флорентийца. Сувениры раскупали сухощавые англичане, разительно выделявшиеся среди итальянцев ростом и добротными костюмами из твида. Цедя сквозь зубы невразумительные замечания своим тощим спутницам с длинными лицами и такими же зубами, они надменно и презрительно прохаживались между лавчонками. Нам очень не нравились их высокомерие и презрение, с которыми они обращались с простодушными итальянцами. Как будто бы это были не люди, а какие-то низшие, недостойные внимания существа. Откуда такая спесь? Однако мы вскоре заметили, что простодушие и доверчивость итальянцев были скорее напускными, чем настоящими. Они очень искусно умели всучить иностранному покупателю вещицу с каким-нибудь изъяном; ловко прикрыв пальцем трещину на гипсовом теле очередного Давида, продавец с подкупающей искренностью в глазах, с неподдельным восхищением, чуть не плача от восторга над высокой художественностью произведения, заламывал несусветную цену за уродливую фигурку. Покупатель платил как загипнотизированный. Фигурка молниеносно заворачивалась в бумагу, а продавец, утерев трудовой пот, обильно выступивший на его вдохновенном лице, лукаво подмигивал соседу, готовясь атаковать следующего покупателя.

Странное впечатление производил мост Понте Веккио: старинные дома нависали над самой водой, глядя крошечными окошками прямо в мутные стремительные воды Арно. Неужели в самом деле там живут люди, едят и спят спокойно над этой вечно движущейся водой? Интересно, какой же у них почтовый адрес, неужто так и пишут: Флоренция, Понте Веккио, номер пять?

Однажды мы долго пробирались с Саввкой по каким-то улочкам, потом ездили на трамвае, зигзагами вверх. Постепенно вагон почти опустел, из окна все виднелись глухие высокие стены, из-за которых поднимались только верхушки деревьев и остроконечных черных кипарисов. Наконец и эти стены исчезли, трамвай сделал последний поворот и остановился в тени деревьев небольшого парка.

— Пьяццале Микель Анджело! — провозгласил кондуктор, и мы поспешно вылезли, с нетерпением оглядываясь вокруг.

Ничего особенного не было видно, но вот мы сделали

несколько шагов, и из-за деревьев вдруг предстала перед нами большая пустынная площадь, ограниченная балюстрадой.

— Смотри! — крикнул Саввка.

Мы бегом ринулись к ограде и остановились потрясенные — у наших ног раскинулась Флоренция! Она была видна вся, со всеми своими домами и храмами, с дворцами и башнями, с рекой Арно, с темным пятном парка Кашине, со всем лабиринтом улочек, улиц и площадей. Посередине высоко над домами возвышалась пестрая громада Дуомо — собора Санта Мариа-дель-Фиоре — даже отсюда отчетливо были видны розоватые полосы на его колокольне. Все это виделось совсем близко, очень четко и в то же время сверху — мы как бы летели над городом, а он лежал под нами, подобный жемчужине, вправленной в ожерелье голубых холмов.

Вцепившись в балюстраду, мы с Саввкой замерли, и я почувствовала, как мурашки пробежали у меня по спине, а моих волос, казалось, как будто коснулась чья-то невидимая рука.

Я посмотрела на Саввку он весь устремился вперед, как те фигуры, которые помещали на носу древних кораблей. Широко открытые глаза ярко блестели, на полуоткрытых губах блуждала улыбка.

Саввка оглянулся на меня, и я поняла, почему его глаза так блестели: они были полны слез…

Насмотревшись на город, мы обернулись. Как же это мы не заметили! Посередине площади, на пьедестале, гораздо выше человеческого роста, повернувшись лицом к городу, который лежал у его ног, стоял бронзовый Давид. Он стоял спокойно, чуть отставив левую ногу, левая рука была согнута в локте, касаясь плеча, а правая — свободно опущена и касалась бедра. В чуть согнутых пальцах Давид держал камень от пращи. Главное, что поражало в этой необычайно пропорциональной мускулистой и, несмотря на огромный рост, небрежно-элегантной фигуре, — общее выражение грозной сдержанной силы. Он отдыхал, он просто стоял небрежно, но сколько было глубокой думы на его прекрасном лице, сколько благородства и высокой какой-то печали. Конечно, мы его узнали. В доме на Черной речке у нас висело множество репродукций этой статуи — вид спереди, сзади, сбоку; отдельно в большом виде рука, отдельно гордое лицо — тяжелый взгляд из-под слегка сдвинутых бровей, правильный нос, резко очерченные, твердо сложенные губы, упрямый крутой подбородок.

Мне было приятно узнать в этом бронзовом исполине знакомого, ставшего от вечного разглядывания немного домашним и чуть ли не родным. Давида. Но здесь он предстал

перед нами в новом обличии — охранителем родного города. Ведь здесь родился, жил и работал Микеланджело, здесь он создал своего Давида. И как кстати поставили его на этой площади — он все видит отсюда. И его тоже было видно из города: идя иногда где-нибудь далеко, на другом конце Флоренции, Саввка показывал вдаль и говорил — видишь Давида? Очень далеко, поднимаясь над домами, виднелось плоское место — пьяццале Микеланджело, а посередине еле заметная вертикальная черточка — это стоял Давид.

Пьяцца Синьория — самая древняя площадь Флоренции, замечательное место, ведь именно здесь собирались гневные толпы, возмущенные действиями еретиков, именно здесь звучали страшные приговоры отцов города. В одном месте площади среди больших гладких плит ее мостовой вставлен небольшой камень с надписью: «На этом месте горел костер, сжигавший Савонаролу».

Однажды мы забрели с Саввкой в парк Кашине и долго гуляли по его дорожкам. Ухоженный парк вскоре превратился в беспорядочные заросли с едва заметными тропинками. Мы вышли на берег реки Арно. Река текла перед нами в естественных берегах, поросших кустами и камышами. Мы нашли свободное место и уселись на берегу. В этом свободном от зарослей месте было очень тихо, даже птицы не щебетали, и только иногда слышался легкий плеск. Мы молча смотрели на мутную воду. У меня в голове медленно проплывали ленивые, бесформенные мысли: хорошо так сидеть… почему здесь так тихо… куда несется эта вода так быстро…

— «И, быстро несясь, колебала река отраженные в ней облака…» — вдруг сказал Саввка, и я даже вздрогнула, как верно эта строчка из забытого стихотворения выразила неосознанные мои ощущения.

В самом деле — блестящая, чуть розовая от заходившего солнца поверхность воды отражала легкие облака — они змеились, расплывались в быстром течении, которое колебало их, не в силах унести с собой… Так и мы, подумала я, сидим здесь неподвижно, а вечное движение, течение самого времени проносится мимо. Мы как эти облака, — жизнь нас колеблет, а мы остаемся на месте. А потом мы, как и эти облака, померкнем, исчезнем, настанет ночь, а река все так же будет нестись в темноте. Потом будет новый день — и новые облака появятся на вечернем небе, а нас уже не будет. И зачем это мы суетимся, все куда-то едем, а время-то несется все мимо, мимо…

Всю жизнь потом, когда я задумывалась над необъяснимыми ее поворотами, роптала и сетовала на ее несправедливость, нелепость, у меня в ушах похоронным звоном вставало: «И,

быстро несясь, колебала река отраженные в ней облака». На душе делалось темно и пусто, — великая покорность, неподвижность отчаяния охватывала ее — скорее, скорее, ведь все мимо, мимо несется время…

Один раз я пошла в парк Кашине одна. Почти сразу мне стало скучно, и я направилась домой. Уже давно я заметила, что сзади идет какой-то мужчина, — куда я сворачивала, туда сворачивал и он, я шла быстрее, он тоже убыстрял шаг. Сначала я не подумала ничего плохого, но потом убедилась, что он идет за мной, и страшно испугалась. Не оглядываясь, я почти побежала, торопясь скорее выйти из безлюдного парка. Наконец мне удалось выйти на ярко освещенную улицу. Мне вспомнился случай в Берлине, который тогда вовсе не произвел на меня никакого впечатления. Мама как-то объявила мне, что меня приглашают в кино наши знакомые, которые были нашими соседями в Финляндии, теперь жили в роскошной берлинской квартире. Я пойду с ними в кино, в самый лучший берлинский кинотеатр на Таунциенштрассе! Там шел новый фильм с Эмилем Яннингсом, мне ужасно хотелось на него попасть, — но как это сделать, когда там были строгие порядки и детей до шестнадцати лет не пускали? Другое дело, если я пойду со взрослыми. Мама постаралась придать мне взрослый вид. Я надела новый светлый костюм с темной отделкой маминого шитья, белые туфли с небольшим каблучком. На голове у меня была мамина белая шляпа с большими полями, и мама собственноручно — о чудо! — напудрила мне нос. В этом костюме, с напудренным носом я показалась сама себе необыкновенной красавицей. Был чудесный летний день. Проходя по улицам, я все время всматривалась в свое отражение в витринах, поворачивалась боком и фас.

Так я подошла к входу в кинотеатр и стала ждать своих знакомых, прохаживаясь с независимым видом и все косясь на свое отражение в стекле витрины с фотографиями артистов. Увы, время шло, а их все не было. Вот прозвенел первый звонок, второй, третий… Последние запоздавшие зрители торопливо прошли, и я погрузилась в отчаяние.

Я уже не вглядывалась в витрины — с самым жалким видом, едва удерживаясь от слез, я пожирала глазами вход, все еще надеясь, что случится чудо и я увижу знакомые фигуры. В этот тягостный момент я вдруг услышала чей-то голос:

— Что, ваш знакомый не пришел, фрейлейн? И вам очень хочется посмотреть этот фильм?

Я живо обернулась: передо мной стоял солидный господин с золотой цепочкой на животе, с котелком на голове, с тростью с набалдашником в руке. Его маленькие глазки так смотрели на

меня, что я расчувствовалась чуть ли не до слез и стала с жаром объяснять ему, как я страшно хочу попасть на этот фильм и как дурно поступили мои знакомые, что не пришли.

«И что теперь делать? — вопрошала я незнакомца. — Ведь у меня и денег-то на билет нет!..» И вдруг этот человек говорит с очаровательной улыбкой:

— У меня как раз есть два билета, хотите пойти вместе со мной?

Я едва поверила своим ушам — как, этот милый, бескорыстный человек хочет задаром провести меня в кино?! Конечно, я восторженно согласилась, и мы прошли благополучно через контроль в темный зал, где уже показывали журнал. Потом зажегся свет и мы уселись на великолепные места посередине зала — я знала, что эти билеты самые дорогие. Мой спутник галантно вытащил из кармана кулек с необыкновенно вкусными шоколадными конфетами. И тотчас же я принялась поедать конфеты, хохоча от избытка счастья и оживленно рассказывая всякую всячину доброму джентльмену, который слушал с большим вниманием, что тоже очень льстило мне. Когда в зале стемнело, я устремила все внимание на экран и совершенно забыла про конфеты и своего спутника. В антракте мой спутник весьма галантно угостил меня эскимо, слушая мои восторженные высказывания насчет фильма и внимательно глядя в глаза.

После сеанса, когда мы выходили из кинотеатра, он спросил: не пойду ли я с ним в ресторан?

— Как это в ресторан? — воскликнула я. — Я не могу, меня будет ждать мама!

— Позвольте вас спросить, милая фрейлейн: сколько вам лет? — задал он вдруг странный вопрос.

— Мне двенадцать лет, — отвечала я с недоумением.

И тут мой спутник захохотал. Он долго смеялся, а потом стал очень серьезным и сказал:

— Запомни, что я тебе скажу, девочка. Никогда не отвечай чужим мужчинам, когда они с тобой заговаривают, и никогда не принимай от них никаких предложений насчет кино, ресторанов и прочих увеселений. А на этот раз скажи спасибо, что попался тебе я, а не какой-нибудь мерзавец.

Он проводил меня до трамвая, сунул в руку еще один кулек с конфетами и помахал мне котелком.

Когда я рассказала все это маме, она была почему-то потрясена, белую шляпу, к моему большому огорчению, отобрала и нос мой больше никогда не пудрила.

Мы с Саввкой исходили все флорентийские музеи, но человек

наконец теряет способность воспринимать все новые и новые впечатления, устает и его воображение. В музей нельзя пойти только раз и обязательно пробежать по всем его залам, как это делают туристы. Туда надо ходить много, бесчисленно много раз. Лучше всего это делать с каким-нибудь очень сведущим художником или скульптором. Очень хорошо покупать альбомы с репродукциями. И еще лучше повесить у себя дома репродукции особенно понравившихся картин и статуй, чтобы они всегда были перед глазами. Взглянешь как бы случайно на стену, а память незаметно, исподволь заучивает виденное. Не знаю, насколько это согласуется с педагогической наукой, но я думаю, что человек, постоянно видя прекрасное, незаметно для самого себя начинает любить красоту, его видение мира облагораживается. С годами туманная любовь превращается в конкретное желание расширить свой кругозор, увидеть и другие произведения искусства, осмыслить, глубже понять виденное, узнать, как жили и творили гении изобразительного искусства.

Конечно, только видеть мало. Нужно лучше знать историю, древнюю греческую мифологию, легенду о жизни и страданиях Иисуса Христа, искусство средних веков, Ренессанс. Мне горестно видеть в Третьяковке процессию учеников под предводительством гида или своей учительницы. Вот они останавливаются, скажем, перед картиной Крамского «Христос в пустыне». Гид заученной скороговоркой объясняет:

— Это Иисус Христос в пустыне.

И все. Дети, вернее, подростки недоуменно смотрят на картину — им ничего не понятно. Кто такой Иисус Христос, почему он сидит на этих камнях с таким невероятно усталым, страдальческим видом, о чем он думает, почему страдает, зачем Крамскому понадобилось изобразить его, какого-то Христа, о нем дома никто не говорит, а в школе только мельком упоминают о мифе, который неизвестно почему произвел такое глубокое впечатление на всех этих художников. Какой смысл смотреть на Мадонну Рафаэля, когда не знаешь, кто она, какого младенца держит на руках? Ведь это история эстетическая, возвышенная история человеческого гения, и ее необходимо знать образованному современному человеку. И не нужно бояться, что современные подростки, как только узнают подробности этого мифа и то, как он повлиял на мировое искусство, тотчас же станут религиозными. Надо больше доверять молодежи — пусть читает, пусть знает.

Полстолетия, однако, прошло с тех пор, как мы с Саввкой сновали по улицам Флоренции. Тогда это был тихий, задумчивый

город, про который хочется сказать словами Блока: «Ты, как младенец, спишь, Равенна, у сонной вечности в руках». Именно такой представилась нам Флоренция, когда мы поднялись на самый близкий к городу холм — Фьезоле.

Мы долго ехали на скрипучем трамвае, потом долго шли пешком по узким, извилистым улочкам, совершенно безлюдным в полуденном зное. Белые высокие стены были раскалены от слепящего солнца, здесь и там с них свешивались голубовато-фиолетовые большие грозди глициний. Их сильный, но нежный запах навсегда запомнился мне как олицетворение самой Италии — знойной, душистой, прекрасной.

И вот еще какой запах с удивительной силой воскрешает забытое — это запах цветущих лимонов и апельсинов! Незаметные, зеленовато-белые, твердые, как будто сделанные из воска цветочки — это тот самый флердоранж, тонкий веночек из которого по традиции венчал голову невесты. Это удивительный, тонкий запах, необычайно сладостный и свежий. Вы входите в итальянский садик утром. Воздух чист и свеж, на темно-синем небе ясно вырисовываются листья деревьев. Деревья еще нежатся в утренней росистой прохладе, ни один лист на них не шевелится. Земля в садике еще прохладна и сыровата, она тоже еще отдыхает в предчувствии солнца, от раскаленных лучей которого замрет вскоре все живое. И весь этот прохладный живительный воздух напоен ароматом цветущего лимонного дерева.

Где же оно? Его не видно. Но поднимите ветку мешающего вам смотреть дерева: невысокое, похожее скорее на куст, оно спряталось в уголке сада у стены — его мелкие цветочки почти незаметны, но как они божественно пахнут!

Вот и на этих флорентийских улочках, круто поднимающихся на холм Фьезоле, стоит тот же аромат, но сейчас он приторен и отдает тлением — цветы глицинии поникли от жары, слепящее солнце немилосердно жжет. Мы с Саввкой тем не менее бодры и веселы, наши ноги в пыльных сандалиях без устали шагают вверх по немощеной узкой дороге.

Наконец мы у цели нашего путешествия — в зелени деревьев притаилась невысокая, мрачноватая постройка. Это монастырь на холме Фьезоле. Кипарисы темной тенью расчерчивают небольшую площадку. Мы устремляемся к перилам и видим Флоренцию.

Долго мы сидели на балюстраде. Вечерело. Тени кипарисов удлинялись и закрыли прохладой почти всю площадку, дома стали розовыми в лучах вечернего солнца. Неожиданно донесся, смягченный расстоянием, музыкальный крик осла, который высокой и страстной нотой повис над городом. Ласточки

бесшумно и стремительно чертили воздух над нашими головами, и вдруг раздался надтреснутый звон маленького монастырского колокола — как будто ударили в старую, дырявую жестяную кастрюлю. Этот жидкий дребезжащий звук заставил нас выйти из очарованного состояния оцепенения и вернуться к действительности — уже поздно и мама будет ждать нас и беспокоиться!

Уже совсем стемнело, когда мы достигли своего дома, — что это? Мама почему-то стоит в дверях, у нее расстроенный вид, она чуть не плачет. Наши оживленные лица вытягиваются, мы подбегаем к маме и слышим странные слова:

— Нас обокрали!

Оказывается, нас обокрали в таможне, куда прибыл наш большой багаж: ящики, большие корзины, сундуки. Все это было снабжено замками и печатями, маме еще в Берлине были выданы квитанции, где был обозначен точный вес вещей. Когда мама пришла на флорентийский вокзал, ей выдали согласно квитанции, под расписку, все вещи: замки и печати были в порядке, вес тоже сходился. Но, приехав домой, мама обнаружила, что печати выглядели как-то не так, замки оказались чуть поцарапанными, так что она с трудом смогла их открыть. Внутри все было перекопано, и исчезли самые лучшие и дорогие вещи: папин большой фотографический аппарат на ножках, папин цейсовский, страшно дорогой, бинокль, мамины меха и другие ценные вещи. Вместо вещей были положены кирпичи, чтобы сходился вес.

Мама поехала в таможню, требуя возвращения или хотя бы денежного возмещения кражи, но там сказали, что она в исправности получила по квитанциям все вещи и сама же расписалась в этом…

Погоревав о вещах, мама решила больше не оставаться во Флоренции, а переехать в Рим. За несколько дней до отъезда к нам из Рима приехала тетя Толя с четырнадцатилетним Нини и шестилетней Зазой — такие детские имена еще сохранились у нашего двоюродного брата Марио и сестры Элианы. Мы с Саввкой с большим интересом рассматривали своих, никогда прежде не виденных родственников. Марио оказался большим и довольно толстым подростком с красивыми светло-карими глазами с «поволокой», что называется, — они у него были выпуклые и всегда чуть прикрытые, как бы в истоме. Нам он показался слишком самоуверенным и надменным, говорил мало и больше молча слушал. Я потом догадалась, почему он так неохотно и чуть презрительно разговаривал с нами: он стеснялся своего плохого русского языка, хотя говорил на нем чисто, даже без

акцента. Только фразы у него звучали как переведенные с иностранного языка: я имею удовольствие, я имею фотоаппарат. Иногда он путал падежи и род слов. Но надо отдать Марио справедливость — он необыкновенно быстро в общении с нами научился говорить по-русски совершенно правильно. Сказалась его способность к языкам и то обстоятельство, что до шести лет он говорил исключительно по-русски. Только в детстве можно приобрести правильное произношение иностранного языка, которое уже никогда не забудется. Бывают, конечно, исключения, как, например, разведчик Кузнецов, который научился немецкому языку взрослым и так умел воспроизвести натурально немецкое произношение, что немцы принимали его за своего соотечественника. Но это редчайшая, я бы даже сказала, гениальная способность. За все свое пребывание за границей я повстречала только одного человека, обладавшего этой исключительной способностью: это был простой русский солдат, проживший два года в Германии, — сами немцы не верили, что он русский, и думали, что он скрывает свое немецкое происхождение.

Итак, Марио говорил с нами по-русски, но был как-то официально-холоден и немногословен. Другое дело, когда он заговаривал с каким-нибудь итальянцем или с Элианой. Тут он совсем преображался и с такой быстротой начинал сыпать итальянские слова, подкрепляя их яростной жестикуляцией, что мы понимали — перед нами типичный итальянец. Элиана была маленькой, кругленькой девочкой, робевшей перед нами. По-русски она совсем не говорила.

Тетя Толя с детьми побыла у нас несколько дней. Она нам очень понравилась, хотя на маму она была мало похожа. Красивые черные брови и большие глаза — серо-зеленые, с длинными ресницами — напоминали немного мамины черты, но главное сходство было в манере говорить, в самом голосе. Тетя Толя так долго жила в Италии, что усвоила несколько экспансивные жесты и живость речи. Она в три счета распознала мою дикарскую застенчивость, очень мешавшую мне в общении с людьми, и как-то очень ловко сумела побороть ее. С ней мне было легко и просто.

С мамой тетя Толя разговаривала часами. Входя неожиданно в комнату, я часто заставала маму с тетей Толей со слезами на глазах. Наверное, мама вспоминала с ней о папе.

Тетя Толя с мамой ходили по городу, делали покупки. При этом у тети Толи обнаружилась необыкновенная способность торговаться. Помню, мы зашли с нею в один лучший в городе магазин. Мама увидела в витрине полосатую материю, которая ей

понравилась, и захотела купить ее. В витрине же была выставлена цена. Когда материю развернули и мама уже хотела приказать отрезать нужный ей кусок, тетя Толя вдруг стала говорить продавцу, что указанная цена слишком велика и столько она платить не будет: или продавец снизит цену, или она уйдет из магазина. Мама в смущении пыталась подтолкнуть Толю, но тетя решительно отпихнула ее и стала очень выразительно показывать продавцу, а потом и хозяину магазина, который поспешил на помощь своему служащему, что материя никуда не годится, что она плохая, что она, наверное, после стирки полиняет и сядет. Хозяин пытался защищаться, расхваливал на все лады свой товар, но тетя Толя, нисколько не унывая, вынула платочек, послюнявила его и стала тереть темную полосу на материи.

— Видите, она линяет, что я говорила! — восклицала она, суя продавцу под нос совершенно чистый платок. — Нет, такую дрянь и за такую цену я покупать не стану, это какая-то половая тряпка!

Этот последний аргумент нокаутировал хозяина. Он был просто растоптан тетиной яростной атакой и отпустил материю за полцены.

Накануне отъезда мы вошли с Саввкой — на прощание! — к Давиду Микеланджело. Давид стоял в музее в отдельном круглом зале совершенно один. Вдоль стен — скамейки, обитые тем же потертым бархатом, как и во всех музеях мира.

В музее уже никого не было. Мы пошли к дверям, и Саввка оставил створки открытыми.

— Смотри, Давида все еще видно, — сказал он.

Мы прошли и этот зал и опять оставили открытыми двери — нам казалось, что он с грустью смотрит нам вслед. Наконец мы открыли последние двери: тут уже была ярко освещенная шумная улица, а там сквозь анфиладу залов все еще был виден Давид, стоящий в тишине и одиночестве музея. Еще один прощальный взгляд, и сторож захлопывает с ругательством дверь. Грохочут ключи, видение исчезает, но оно навеки остается в моей памяти — ряд залов с открытыми дверями и в самом конце, уменьшенный расстоянием, в сумеречной глубине заброшенно и печально Давид прощается со мной навсегда.

Стояла уже настоящая жара, когда пыльный и грохочущий поезд подъезжал к Риму — «вечному городу». Остались позади веселые тосканские холмы с беленькими домиками, прячущимися в зелени садов, извилистые белые дороги. Как тонко очиненные черные карандаши, виднелись тут и там кипарисы. А вот большая равнина, покрытая зеленой травой и красными полевыми маками.

В некоторых местах красного цвета было так много, что вся равнина казалась пылающей, как будто ее подожгло солнце. Эта равнина была знаменитая Кампанья Романа, о которой так много говорилось и вспоминалось у нас в семье. Ведь здесь часто бывали мама с папой весной 1914 года. Я думаю, мама нарочно выбрала именно это время года, чтобы опять цвели маки, как на тех цветных фотографиях, — где на равнине с остатками древних акведуков сидит маленький Саввка, рядом папа в итальянской шляпе с большими полями, сам похожий на итальянца, — чтобы повторить прошедшее, чтобы было все так, как описывает папа в письме к бабушке в Петроград:

«…Но нет ничего лучше Кампаньи: это такое очарование, что никакими словами не передашь. Изумительное сочетание орловских полей и жаворонков с Римом, Нероном и Каракаллой. От нас до Кампаньи пятнадцать минут. Город обрезается сразу же как по линейке, и сразу бесконечные дали, воздушные горы и широчайшее небо, лазурное и чистое, как в первый день мироздания, с грядками нежнейших облачков. С каждого холма вид такой широты, будто смотришь с высочайшей горы. По Кампанье хочется летать, плавать, кататься боком. Я, как выхожу, начинаю вслух твердить, как идиот: какая красота! Какая красота! Когда как-то из-за зеленого бугра с металлическим чистым звоном вылетел аэроплан, я сразу принял его за орла: так он был красив и так уместно было ему летать над Кампаньей. За много верст отчетливо видно каждого одинокого путника в полях, всадника на шоссе, а самые шоссе чисты и белы, как атласные ленты. И за тридцать верст ясно видишь в горах Тиволи, Альбано, различаешь простым глазом домики. От жаркой погоды снег на горах потаял, остался только в ложбинах. Птичье вопит. Когда днем после обеда ложишься спать, то за ставнями сто тысяч воробьев и других крокодилов стрекочут, как целая фабрика…»

Поезд вдруг замедлил ход и медленно пополз мимо загорелых до пояса голых рабочих, — выстроившись в ряд на насыпи, они опирались на свои заступы и глядели на высунувшихся из окон пассажиров. Грохот колес замолк. Наш поезд еще долго тащился по новеньким, еще не измазанным мазутом шпалам. Было совсем тихо, и стал слышен жаворонок, беспечно распевавший над этим красным от полевых маков полем в лазури бескрайнего неба. Такой же самый жаворонок пел когда-то и над другим полем. На нем густая высокая трава, а в ней ромашки, лютики, лиловые колокольчики — простые, неяркие русские цветы. «Между небом и землей жаворонок вьется…» — пела мама, аккомпанируя себе на рояле, и у меня сладко щемило сердце, когда я слушала эту песню, притаившись в жасминных

зарослях под окном маминого кабинета на Черной речке. И сейчас у меня тоже сжалось сердце, но совсем другой — тоскливой и горькой — болью: неужели я никогда не избавлюсь от нее?

Мы поселились на окраине Рима, на виа Номентана. Особенно невзрачной эта улица была сначала — деревьев никаких, зелени не видно, ряд невысоких, обшарпанных домов, несколько бедных лавочек. Тень от высоких деревьев ложилась на пыльный тротуар, изредка в сплошной стене виднелся провал железных решетчатых ворот — посмотришь туда, а там дорожка, усыпанная светлым гравием и обрамленная раковинами, как в нашем флорентийском садике, плавным поворотом подходит к белому особняку с колоннами у входа, с зелеными ставнями на закрытых окнах.

К нам надо пройти вдоль длинной стены одного из садов и свернуть влево в узкую улочку, обсаженную деревьями. Здесь глубокая тень, сладко пахнет цветущим лимоном. Это виа Роверето. На ней нет деревьев, она пыльная, на правой стороне заросли кустов. Они напоминают мне ту сорную траву, что густо растет около помоек, — когда-то мы ее варили, пропускали через мясорубку и прибавляли в хлеб в тот голодный год на Черной речке. За кустами просторное неровное поле, а за ним сквозь темную зелень деревьев просвечивают белые стены и колонны. Мне они кажутся очень заманчивыми, эти таинственные особняки — кто там живет? А еще дальше, за акведуком — голубые, почти прозрачные вершины гор — Апеннины.

В самом конце виа Роверето, на правой же ее стороне, там, где она переходит в пустырь, стоит уродливый пятиэтажный дом, напоминающий Ноев ковчег количеством разношерстного населения, в нем обитающего. Дом, издевательски именуемый «палаццо», что означает дворец, битком набит самой нищей беднотой. Оттуда слышны крики, ругань, хриплые голоса растрепанных, похожих на ведьм женщин, высунувшихся из окон и договаривающихся со своими такими же растрепанными соседками. Узкие галерейки, переходы и выступы дома завешены рваным разноцветным бельем.

На левой стороне виа Роверето стоит на углу некрасивый облупленный дом. Тут же дощатый забор, кривой, с дырами, сквозь которые виден изрытый ямами пустырь, — на нем густо и радостно цветут маки. Забор упирается в красивую железную ограду с большим белым столбом на углу — это вход в наш садик. Собственно говоря, это даже не сад, а дворик, посыпанный светлым гравием. Посередине — совершенно замечательная

кокосовая пальма. Раскидистые листья пальмы закрывают вход в дом — двухэтажный, квадратный, ничем не примечательной постройки. Широкие мраморные ступени ведут на мраморное же крыльцо с перилами.

На первом этаже дома большой холл, красиво выложенный мраморными плитами, две большие парадные комнаты с мебелью в чехлах, с коврами, зеркалами и столовая, где все мы обедаем. Наверху еще три комнаты и большая ванная. Мама занимает наверху большую комнату. Там рояль, широченная кровать с балдахином, письменный стол, кресла — это и спальня, и кабинет. Саввка живет в маленькой проходной комнате, а мы с Тином и Ниной — в другой, побольше. Из Берлина уже приехали Тин с Ниной и тетей Наташей, на которой все хозяйство: готовка, уборка. Я с большой охотой помогаю ей. Кухня расположена внизу, в подвальном помещении. Там нет окон и всегда горит тусклая электрическая лампочка. Мрачная, большая эта кухня, однако, пользуется моей особенной любовью. Я мою посуду и прибираю кухню вечером.

Главной, особенно трудной, но почетной моей обязанностью было хождение на базар и по магазинам. Под диктовку тети Наташи я записывала на бумажку длинный перечень продуктов, которые надлежало купить, брала две большие проволочные корзины и еще разные сетки и сумки и рано утром, когда солнце еще не так пекло, отправлялась в путь.

Итальянский базар представляет собой весьма любопытное зрелище. Там стоит совершенно невероятный, оглушительный гам, который производят продавцы, восхваляющие свой товар. Каждый уважающий себя торговец или торговка считает своим долгом перекричать своего соседа. Они входят в ажиотаж, не могут усидеть за своими лотками, выбегают из-за прилавков и чуть ли не силой тащат покупателя к своему товару. Один весь красный от натуги, из его отверстого рта несется страшный рев.

— Аранчи, аранчи дольчи! — вопит он и десятикратное «р» перекатывается в его горле. Но рядом с ним зазывно машет руками рослая, перепоясанная по толстому животу ярчайшим передником торговка. Ее высокий, металлический голос, выкрикивающий:

— Фрагола! Фрагола! — как заноза впивается в ухо и перекрывает басовые ноты соседа.

Рядом сипит что-то неразборчивое уже потерявший голос седовласый старик с бородой, похожий на Леонардо да Винчи. Он тычет вам чуть ли не в самый нос палочки, на которых аккуратно висят крошечные лягушачьи окорочка. С другой стороны предприимчивая торговка выбегает из-за лотка и показывает вам

рыбьи жабры, чтобы вы убедились, что они ярко-красные, а следовательно, рыба свежая, только что, ну буквально только что, она привезена с моря.

На базаре необходимо торговаться. Я вскоре научилась степенно подходить к лотку и с недовольной, презрительной миной оглядывать и щупать нужный мне продукт. Продавец с беспокойством всматривается в выражение моего лица и вдохновенно перечисляет непревзойденные достоинства своего товара. Я равнодушно перебиваю его дифирамбы вопросом:

— Сколько же стоят эти плохие апельсины?

Продавец замолкает на полуслове.

— Как плохие?!! — восклицает он, опомнившись. — Да ведь они прекрасны — белли, белли аррранчи!

Я сама прекрасно понимаю, что апельсины действительно превосходные. Они красновато-оранжевого цвета, определенно спелые — кожица у них не бугорчатая, а гладкая и блестит, это значит, что она тонкая, они тяжелые, значит, сочные. Тем не менее я продолжаю уверять продавца, что апельсины никуда не годятся. Вот если он уступит мне их не за две с половиной лиры, а за две, то тогда, пожалуй, я их куплю, так и быть. Продавец возмущен, он даже лишается дара речи и только яростной мимикой дает мне понять, что это просто кощунство с моей стороны — предлагать такое снижение цены.

— Ну что ж, — говорю я равнодушно, — я тогда куплю у вашего соседа.

Я поворачиваюсь и начинаю уходить от лотка, стараясь даже спиной выразить продавцу свое презрение. Что тут делается с беднягой! Он, окончательно теряя достоинство, жалобно причитает:

— Куда же вы, синьорина, вернитесь! — Хватает меня за рукав и сипло шепчет в ухо — Две двадцать!

Я цежу сквозь зубы:

— Две лиры и ни сольдо больше!

— Вы меня разоряете! — вскрикивает он, ударяя себя по бокам. Я отхожу еще на шаг. Он выбегает из-за лотка, догоняет меня и шепчет:

— Так и быть, — две десять!

Тогда по каким-то признакам я останавливаюсь и медленно иду обратно:

— Ну, так и быть, этих два сольдо я уж вам подарю, — ведь я понимаю, что больше он не уступит.

Продавец отвешивает мне апельсины, сокрушенно вздыхая и почесываясь. Я знаю, что его огорчение напускное: ведь он именно за такую цену и рассчитывал продать свои апельсины.

Но вот мои корзины набиты до отказа, и мне часто приходится останавливаться, ставить их и потирать полосатые вдавлины на онемевших руках. Но я не ропщу — на каждой остановке я беру апельсин, чищу его, потом опять берусь за корзины и ем на ходу. Апельсин божественно свеж и сладок, сок течет по подбородку, и я вполне счастлива.

Мы любим, когда схлынет дневная жара, открыв жалюзи на всех окнах, выходивших в садик, и удобно облокотившись на специальную подушечку, смотреть на улицу. К этому времени появлялись прохожие, из палаццо выбегали замурзанные дети и начинали носиться и играть. То и дело слышался резкий голос чьей-нибудь матери, зовущей своего потомка.

— Пеппино, андизмо! — взывает она.

Непослушный Пеппино не идет, тогда мать прибавляет к своему зову целый каскад ругательств и проклятий, среди которых чаще всего слышится: «Кэ тэ поссино аммаццато! Аччиденти! Е бомбино?» — что в вольном переводе на русский означает нечто вроде: «Чтоб тебя разразило! Исчадие ада, а не ребенок!»

Очень скоро мы все совершенно свободно могли изъясняться по-итальянски. Это нетрудный язык, особенно для русского человека, так как с буквой «р» не нужно прибегать с сложным приспособлениям подобно тем, которыми усложняют произношение все немцы, французы и англичане: первые произносят эту буквы горлом, вторые заставляют вибрировать основание языка, в то время как у нас вибрирует только кончик его, третьи просто проглатывают звук и совершенно напрасно пишут в некоторых словах двойное «р», — какой толк, когда его все равно не произносят? Итальянцы же честно и открыто говорят свое «р», и нам ничего не стоило, подражая им, с увлечением сыпать этой буквой, как горохом. Главная же достопримечательность итальянского языка заключалась в твердом произношении букв «и» и «е»: первая звучала почти как русское «ы», вторая обязательно как «э». Мы очень потешались над нашими знакомыми мальчишками и девчонками, когда они пытались сказать по-русски «дети»: ни за что на свете они не могли выговорить мягкое русское «е» — и у них получалось или «диэты» или «дэты». Вопреки распространенному мнению, которое гласит, что итальянский язык очень мягок и нежен, певуч и музыкален, мы скоро убедились, что это суждение неправильно: это твердый и мужественный язык, а что касается певучести и музыкальности, то они достигаются изобилием сдвоенных гласных и обязательным окончанием всех слов тоже на какую-нибудь гласную. Так, итальянец никогда не скажет «синьор», а

всегда «синьорэ».

К этому времени к нам приехал Саша Черный со своей женой Марьей Ивановной. Мы были хорошо знакомы с этой супружеской четой еще в Берлине, и мама заключила с Черным соглашение (настоящее имя Саши Черного было Гликберг), по которому Марья Ивановна должна была заниматься с нами всякими науками. Дело в том, что в Италии русской гимназии не было, и у мамы возникло вполне оправданное опасение, что мы останемся неучами и недорослями.

Так вот, бедная супруга Саши Черного, в прошлом именитая дворянка, фрейлина ее величества императрицы, окончившая Смольный институт и награжденная шифром, кажется даже с бриллиантами, взяла на себя неблагодарную миссию встряхнуть нашу девственную мысль и направить ее в русло точных наук. К ним прибавлялись еще география, изучение итальянского и русского языков, литература. В виде вознаграждения за этот титанический труд мама обязалась привезти за свой счет семейство Черных в Италию и предоставить им стол и дом.

Марья Ивановна с Сашей Черным поселилась в одной из парадных комнат нашего дома на первом этаже. Маленького роста, чрезвычайно прямо держащаяся, всегда подтянутая и аккуратная, Марья Ивановна была живой и очень энергичной пожилой уже женщиной, с седыми на висках волосами, с бледно-голубыми строгими глазами. Мне она напоминала классную даму из сочинений Лидии Чарской — бедные институтки падали в обморок и обливались слезами при одном ее появлении. Мы, конечно, в обморок не падали, но тоже порядком побаивались строгих глаз Марьи Ивановны и старательно зубрили заданные ею уроки. Вскоре, однако, мы заметили некоторые изъяны в познаниях самой Марьи Ивановны в области географии и итальянского языка. В этом последнем нас возмущало скверное произношение нашей учительницы. Ее фраза «тутти, ки соно кадути нелля гера» звучала с таким нижегородским акцентом, что мы только пожимали плечами, с трудом удерживая нечестивые улыбки.

Саша Черный был полной противоположностью своей маленькой жене — высокого роста, с покатыми плечами, с почти совсем седыми свинцового цвета волосами, которые сильно контрастировали с черными бровями и поразительно живыми, молодыми темно-карими глазами. В одном стихотворении он словами своей музы очень метко описал себя: «голова твоя седая, а глазам шестнадцать лет». Мне всегда приходила на ум эта фраза, когда я смотрела на Сашу Черного. Медлительный, неуклюжий, он был беспомощен, как большой ребенок, — ничего

не умел сделать сам по хозяйству, не вникал ни в какие денежные дела, во всем подчинялся железной воле Марьи Ивановны и ее неиссякаемой энергии. Саввка нарисовал на него карикатуру: ссутулившись, заложив руки за спину, он в раздумье стоит в нашем садике. Очень выразительно получился у Саввки уныло свесившийся на лоб хохолок на голове Саши, его поза животом вперед, покатые плечи, мешком висящие брюки и эти руки, заложенные за спину таким ленивым жестом. Казалось бы, Обломов, настоящий Обломов! Но это так кажется только на первый взгляд. На самом деле это очень желчный, раздражительный, легко воспламеняющийся человек. Когда за обедом он видел макароны спагетти, посыпанные тертым сыром пармеджиано, — блюдо, к сожалению, слишком часто появляющееся на нашем столе, так как кулинарная фантазия бедняги тети Наташи, поставленная в условия итальянской кухни, потеряла свойственный ей раньше творческий полет, — у Саши Черного моментально падало настроение и он разражался желчными тирадами о характерных свойствах итальянцев вообще и о их кухне в частности. При этом доставалось всему: музыке итальянцев, их народным песням, их экспансивности и жестикуляции, их легко воспламеняющимся и столь же быстро гаснущим натурам, южной лени и любви к «дольче фар ниенте» — сладкому безделию, которое — что греха таить! — свойственно порой и истинно русскому человеку. Упрямо склонив голову над тарелкой, как бы готовясь ее забодать, он правой рукой пренебрежительно ковырял вилкой в макаронах, а нервными движениями мизинца левой руки смахивал несуществующие крошки со скатерти, изредка бросая короткие испепеляющие взгляды на притихших за столом остальных членов нашей разношерстной компании во главе с тетей Наташей и Марьей Ивановной, — мама большею частью на обедах не присутствовала. Саша Черный беспощадно громил государственное устройство Италии, ее партию фашистов, которая как раз праздновала два года своего господства, и, конечно, ее знаменитого дуче Бенито Муссолини — ему-то и доставалось больше всех. Саша Черный едко издевался над спесивой фигурой дуче, держащего очередную речь с балкона на пьяцца Венециа, над его квадратной челюстью, выдвинутой вперед упрямым движением тирана и властолюбца, над его лысой головой и предрекал ему печальную участь всех тиранов мира — гибель на виселице или под ножом гильотины, когда обманутый им народ наконец прозреет.

Ненависть Саши Черного к фашистам мы наивно объясняли одним несчастным случаем, который произошел как-то с ним.

Глубоко задумавшись и ничего не замечая вокруг, он брел по улице опустив голову, по своему обыкновению заложив руки за спину. Он так задумался, что не услышал трубных звуков фашистского гимна, не увидел ни знамени, ни шагавшего отряда чернорубашечников. Опомнился он от удара палкой по голове, сбросившего с нечестивца шляпу и оставившего большую шишку на его темени, — бедняга потом еле доплелся до дому и с пеной у рта сыпал проклятья варварству фашистов, которые ударили его за то, что он не снял шляпу перед их «паршивым знаменем».

Но мы совершенно не разделяли возмущения Саши Черного итальянским характером. Нам как раз очень нравилась беззаботность итальянцев, их восприимчивость ко всему красивому, искренность и непринужденность в проявлении чувств. И напрасно он утверждал, что итальянцы только и способны к легкомысленному веселью и сладкому ничегонеделанью, — мы убедились, что им свойственна и грусть, и глубокие размышления. Особенно это выражалось в их песнях, над которыми так ядовито издевался Саша Черный. Из одной, очень известной и популярной неаполитанской песни «Вернись в Сорренто!» он сделал шутливую пародию и часто напевал себе под нос на ее мотив:

— Скажи мне ласковое слово — и ты увидишь, кем я буду: выше шаха, выше хана, выше Гималай-гора я буду! Покорю Белуджистан, Персию и Индию, дагестанским шахом буду, а тебя я не забуду!

Надо сказать, что пел он очень верно, с неподражаемым кавказским акцентом, и при этом его темные глаза блестели лукавством и мальчишеским задором. В такие минуты он был удивительно симпатичен, и становилось понятным, как этот желчный и раздражительный человек мог писать очаровательные стихи, полные добродушного юмора и тонкой наблюдательности, — никакие слабые стороны людского характера не могли уйти от его пронзительного взора. Единственными живыми существами, не попадавшими под огонь его сарказма и язвительных шуток, были дети. Маленьких детей он любил страстно, безмерно уважал и делался в их обществе совершенно другим человеком. Я как сейчас вижу такую картину: Саша Черный, думая, что его никто не видит, в укромном уголке нашего садика присел на корточки перед маленькой дочкой нашей дворничихи Нинеттой, которая возится со своими игрушками. Она рассаживает кукол на землю, чем-то их кормит и разговаривает с ними. Я, притаившись за кустом, наблюдаю. Меня интересует, как это Саша, столь презрительно относящийся к итальянскому языку и никогда на нем не говорящий, будет

договариваться с девочкой, порядочной к тому же нелюдимкой. Саша что-то тихо говорит ей, что-то объясняет. Слов я не слышу, но вижу, что Нинетта прекрасно его понимает. Доверительно положив ручонку ему на колено, она, подняв к нему лицо, слушает как завороженная, потом сама начинает что-то рассказывать, показывает Саше куклу, сует ее ему в руки и с увлечением смотрит, как он бережно берет ее и начинает кормить с ложечки. Глубокая нежность и ласка совершенно преображают обыкновенно брезгливое и недовольное лицо Саши Черного — оно просто светится добротой, всегда насмешливые глаза ярко блестят, он всей душой погружается в детский мир игры. Более того, он сам превращается в ребенка. И Нинетта, эта дикарка, от которой и слова-то никогда не дождешься, не то что улыбки, сейчас смеется каким-то воркующим счастливым смехом, что-то лепечет, ручонкой берет Сашу за нос и наклоняет ему голову, чтобы он мог лучше разглядеть какие-то подробности в туалете куклы. И он что-то ей говорит, говорит…

…И встает былое светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли…

Мой брат Валентин пишет в своей статье «Саша Черный, мой учитель»: «Значение творчества Саши Черного огромно. В созданной им области поэзии он неповторим. Сама личность его, скромная, обаятельная, искренняя, восторженно восприимчивая и пропитанная легким и нежным юмором, с позывом на беззлобный сарказм, располагала кого угодно к себе. В свою очередь Саша Черный преклонялся перед творчеством и личностью Леонида Андреева».

А в своем письме Валентину Мария Ивановна Гликбер вспоминает:

«…Ты не можешь себе представить, какое удовольствие мне доставляют твои письма. В тебе есть та задушевность, какую так ценил мой муж в твоем отце, с которым он встречался очень редко, но всегда их беседы носили такой интимный, задушевный характер, что он, пробродив с ним полночи по петербургским улицам, всегда возвращался домой какой-то просветленный, будил меня и говорил: „Знаешь, я опять бродил с Андреевым по городу и возвращаюсь домой, как всегда после встречи с ним, как бы обновленным, с верой в лучшее, что есть в каждом человеке!“ А это были встречи пессимиста с пессимистом, какими их обоих считала широкая публика», — добавляет Мария Ивановна Гликберг.

«Конец жизни, — пишет дальше брат, — он провел в Ля

Фавьер, в очаровательном домике на холме среди сосен. Как известно, он был довольно хрупкого здоровья, со слабым сердцем. Раз, летом 1932 года, был пожар — явление нередкое на южном побережье. Конечно, он помогал всем тамошним жителям тушить огонь, таская ведра с водой, хлопая ветками по угольям, все это в солнечном угаре. Кое-как дотащившись до дома, он лег, недолго пролежал так в полузабытьи, и его не стало. Ему было 52 года.

Только что мне удалось с женою побывать на церемонии открытия памятной доски Саше Черному на кладбище Лаванду, где он похоронен.

Все мы должны выразить сердечную благодарность В. К. Волгиной за ее неутомимую деятельность и прекрасную инициативу установления этой мемориальной доски с трогательной надписью на двух языках, столь заслуженной любимым и близким нашему сердцу поэтом».

К животным Саша Черный тоже относился очень нежно, и, когда Саввка подобрал где-то бездомного щенка, ничем собой не примечательного, и принес его домой, Саша первый подал голос в его защиту и доказал маме, что собака в доме совершенно необходима.

Щенка мы назвали Бенвенуто, то есть «благословен приходящий», и, несмотря на его явно плебейское происхождение и большую шишку на лбу, что, по словам Чехова, бывает только у очень глупых собак, стали любить его и холить. Особенно любил Бенвенуто Саввка: вечно возился с ним и пытался внушить азы собачьего воспитания. Нельзя сказать, что его усилия увенчались успехом. Бенвенуто хотя и превратился со временем в довольно рослую рыжевато-коричневую собаку, сохранил тем не менее свои разбойничьи манеры, некстати облаивал вполне приличных людей, приходивших к нам в гости, и не дай бог, если кто-нибудь проходил слишком близко от его миски, когда он обедал, давясь от неприличной жадности, — он свирепо рычал и норовил вцепиться проходившему в ногу, даже если эта нога принадлежала тете Наташе, только что принесшей ему еду. Судьба бедняги Бенвенуто совсем не оправдала данного ему имени. Тетя Наташа вернулась однажды с прогулки чуть не плача — на ее глазах к Бенвенуто, беспечно трусившему рядом с нею, подбежали какие-то мужчины, накинули собаке на шею петлю и бросили в железную клетку, где уже находилось несколько несчастных псов. Несмотря на вопли тети Наташи, собачники, злорадно усмехаясь, умчали Бенвенуто в неизвестном направлении. В доме поднялся такой плач, что мама, узнав адрес центра, куда свозили со всего города бродячих собак, вместе с

Саввкой отправилась выручать Бенвенуто.

Ее подвели к огромной клетке, где томилось двадцать тощих, взъерошенных и озлобленных собак, — они выли, визжали, дрались, клочья шерсти летели во все стороны. Жалкий и растерянный, Бенвенуто жался к прутьям клетки, а увидев маму, стал так радостно визжать, вилять хвостом и бросаться к ней, что она безропотно заплатила довольно большой штраф. Оказывается, Бенвенуто схватили потому, что он был без ошейника и без поводка, и ему купили эти атрибуты культурной собаки. Недолго, однако, шикарил Бенвенуто в своих новых доспехах: вскоре он заболел — и ветеринар велел его усыпить.

В Риме у нас гостила наша бабушка Анна Яковлевна, она была очень интересным человеком. Профессор скульптуры и архитектуры, лауреат При де Ром — она окончила Академию изящных искусств в Париже и была награждена этой славной премией, позволяющей провести год в Италии для досконального изучения ее музеев и старинных памятников архитектуры. Кроме этого академического пребывания в Риме, бабушка провела несколько лет в Италии, главным образом во Флоренции, прекрасно говорила по-итальянски и кроме музеев и памятников архитектуры знала в этих городах каждую улицу, каждую площадь, мост, знала точно, каким трамваем надлежало проехать в любой конец города, какие где достопримечательности. Бабенька, как мы называли бабушку, была добрейшим, бескорыстнейшим человеком, мы все ее очень полюбили и часами могли слушать ее рассказы о Советской России, о которой имели очень смутное представление. Бабенька была известной общественной деятельницей и членом большевистской партии еще задолго до Октябрьской революции. Советская Россия после ее рассказов перестала быть для нас некоей терра инкогнита, и мы стали с увлечением распевать революционные песни, которым она нас научила. В особенности «Варшавянка» поразила меня торжественным, глубоко трагическим мотивом, а в звуках похоронного марша передо мной воскресла, казалось, давно забытая картина похорон жертв революции на Марсовом поле. Стоим мы с братом Саввкой, вцепившись стынущими руками в решетку Летнего сада, а мимо медленно, в такт тягучей, бесконечно печальной музыке, проходят колонны очень высоких, как казалось нам, печальных солдат в длинных серых шинелях и больших сапогах, которые все враз, с тяжелым грохотом ударяли по мостовой. Разделенная на куски грохотом сапог, траурная мелодия тяжелыми глыбами оседала в душе, давила каким-то неосознанным, потрясающим все мое существо горем. Саввка

повернул ко мне побледневшее лицо:

— Бедные солдаты, — прошептал он, — они хоронят своих товарищей…

Бабушка, как я теперь понимаю, находилась тогда в некоей творческой командировке. Она пожила некоторое время у нас, потом уехала во Флоренцию, потом снова приехала в Рим и оставалась там после нашего отъезда и уже оттуда вернулась в Россию. У нее были немного странные отношения с мамой, в которые мы, конечно, никак не вникали. Возможно, долгие годы разлуки наложили свой отпечаток, да и прежде, наверное, бабушкина фанатическая преданность искусству, постоянная жизнь за границей, неизбежная отчужденность от семьи отдалили ее от мамы. Кроме того, мама, постоянно замкнутая в одиночестве, постоянно погруженная в свое неизбывное горе, была вся во власти когда-то радостных, а теперь давивших ее воспоминаний о папе — ведь весной четырнадцатого года она прожила несколько месяцев с папой и четырехлетним Саввкой в Риме. Никто из живущих на земле людей не мог разделить ее горя — мы были слишком юны, слишком погружены в свою эгоистическую радость бытия, тетя Наташа, бабушка, приезжие гости не могли вникнуть в трагизм ее душевного одиночества. Со смертью отца, своей могучей личностью заполнявшей все мамино существование, из ее жизни был вынут стержень, дававший смысл ее деятельности. Без этого стержня жизнь мамы рухнула, рассыпалась в бесформенные обломки, которые она мучительно и безнадежно пыталась собрать, восстановить в прежнее стройное целое. Какими же мучительными должны были быть для нее эти одинокие блуждания по местам былого счастья, эти воспоминания о нем, иллюзорность этого томительного существования в прошлом.

«**Лоренцо** *(печально).* Но ведь я умер, Франческа.
Франческа. Ты всегда будешь жив для меня, Лоренцо.
Лоренцо *(печально).* Вы измените мне, донна Франческа.
Франческа. Я никогда не изменю тебе, Лоренцо.
Лоренцо *(печально).* Но вы молоды, донна Франческа.
Франческа. В одну ночь состарилось мое сердце, Лоренцо».

(Отрывок из «Черных масок»).

Страницы из дневника Анны Ильиничны Андреевой:

«1 сентября 1920 г.
Неделю до сегодняшнего дня мы задыхались от гари — горит

Россия. Дым был так густ, что днем не видно солнца, то есть белесоватое пятно, а по ночам красная луна. А сегодня чистейшая бирюза и изумруды, и дали все открылись. Но какой ужасный характер! (у меня). Не могу быть спокойной. Спокойной на полчаса. И как заставляю себя, заставляю быть такой. Заставляю радоваться такому дню, что дети здоровы, ценить это. Но чувство текучести времени настолько сильно во мне, преходящее свойство всего так отравляет душу. Как всегда с Леонидом.

Вот он СПОКОЙНО читает перед сном своего Дюма или „негодяев“ (все Майн Риды и т. п.) и ест со вкусом яблоко. Я подлезу к нему и лежу рядом, голова моя у его груди, слышу запах его яблока и слушаю биение его сердца. Весь дом спит, все благополучно, дети спят, мамаша, только что окончил он свою работу, после читали, говорили. И я твержу себе: ну вот, запомни же навсегда это, это счастье твое, оно пройдет, оно кончится. Но оно было, вот оно сейчас, запомни же.

И так каждый раз. Это ужасно. И НИКОГДА я ему этого не сказала в тот момент, когда думала. Нельзя тревожить, пусть отдыхает, сердце так бьется, что как будто с моей стороны оно, с правой. И никогда не говорили о том, как мне, детям жить ПОСЛЕ его смерти. Только: „Но вы измените мне, донна Франческа!“, и всегда ответ: „Я не изменю вам, Лоренцо!“

12 сентября

…В три часа мы пообедали. Пошли в кабинет. Стал читать отрывки из Дневника своего, говорит: „Вот если бы ты, Нюсё, мне переписала бы в отдельную тетрадку это (отмечал крестиками), то у меня и собрался бы кое-какой материал“.

Всеми отрывками я восхищалась, он ласково улыбнулся в ответ. Наташа внесла стакан чаю, ПОСЛЕДНИЙ. Проводила его, уложила. И так спешила начать переписывать, что не поцеловала на прощание.

Успела переписать пять строк, как он закричал: Аня! — вбежала к нему. Еще: „Тут (показывая на сердце) что-то схватило“. Упал, и через полчаса его не стало.

Да и еще. Когда он мне сказал о последнем решении: ничего не писать, не работать, только мне переписать из Дневника (он ходил по кабинету, в чесучовой курточке своей, такой взволнованный и милый, говорил после мучительного обдумывания и вывода, что у него НЕТ СИЛ на работу), я бросилась к нему со словами „умница ты моя“ и поцеловала его руку. На глазах были слезы. Он все понял, он ВИДЕЛ мою любовь и ВСЕ для него. И так улыбнулся, так БЛИЗКО посмотрел.

И эти последние минуты с ним нас обвевала такая близость,

такая тончайшая нежность. Как я уцелела, как уцелел рассудок?

16 сентября

И читаю я, учусь, все ищу утешения у книги, у мудрых — и в конце концов — мне страшно жить. Именно страшно. Так быстро меня оставил Леонид, так вижу, как все умирает и живет лишь минуту, мгновение одно. И так я мало знаю, так убога я. Страх, страх перед грозными видениями Судьбы, перед всем этим „мировым устройством“ одолел меня. И что я могу сама решать? Одиночество полное и абсолютное.

…И так это было: последние два года жизни с Леонидом ничего не могла говорить с ним о жизни вообще — так все уходило только на волнение о его здоровье, о его самочувствии, так невозможно было тянуть его во мрак. Его: „я наполовину, по пояс уже в земле“ — отнимались ноги, руки и язык у меня. Что уж тут говорить! Плясала бы, да не умею — хоть на один миг вызвать бы улыбку у него. Вот в воскресенье на обед позвала одного старика финна. За что? Только за то, что в 19-м году, на прогулке с Леонидом мы его встретили. И этот финн так восторженно радовался встрече (его манера), что Леонид УЛЫБНУЛСЯ, так вот за то, что Леонид улыбнулся тогда. Я, я не могла вызвать улыбки, как вызвать, когда вся душа плачет и нет и нет просвета. А притвориться невозможно было. Видел он меня насквозь, как стеклянную, так уж знал! Ах, как было печально! И никого и ничего вокруг! И все те же домишки, и заборы, и сосны, и небо. И смотришь и ищешь, на что бы указать ему, чтобы хоть чуть было интересно, — и нет ничего, и никакой помощи ниоткуда. И мысль неотвязная: вот так он умирает здесь, в глуши, он, ему бы даль океана, солнце и розы, и прекрасную женщину дать, все он заслужил, так уж достиг всего — и ничего: корявые березки, да я, все я. Невыносимо! И так на глазах моих он угасал. Тосковал тихо и замолчал. НЕ МОГ ПИСАТЬ!

И все решал: надо полюбить, во что бы то ни стало надо полюбить ее, неизвестную, — одно это может толкнуть опять к жизни, к работе. И все разрывалось во мне от жалости, и своими руками привела бы к нему ее, ту, которая даст ему жизнь. И проходили дни. Бесконечные, один на другой похожие. И ночи.

И этот дом наш, который начал умирать еще раньше: все покосилось, искривилось, темно, пусто, для его жизни нужны люди, деньги. Черные дни, мучительные. Так кончалась его жизнь. „И это все?“ — он спрашивал. Что ответить? Защищаешься, барахтаешься бессмысленно, потому что в душе согласна с ним.

Как я уцелела, как уцелел рассудок?

Только страхом — было страшно то, что произошло. И

НЕПОПРАВИМЫМ. И ВЕЛИКОЙ ТАЙНОЙ. И я ПРЕКЛОНИЛАСЬ.

И теперь и тогда у меня НЕПРЕОДОЛИМАЯ ПОТРЕБНОСТЬ стоять на коленях перед его гробом. И не плачу, нет. А на колени.

Был весенний день. Я плакала там, у нас в саду, над обрывом».

И опять-таки только Саввка, к тому времени сильный, красивый, столь похожий на отца шестнадцатилетний юноша, мог хотя бы отчасти дать смысл маминому существованию. В него она вложила все свои надежды и чаяния, всю веру в исключительную одаренность, в которой она видела как бы продолжение личности отца. Ей казалось, что Саввка один соединил в себе талант отца, понимание его философии и смысла человеческого существования и возможность выразить себя в искусстве — пусть не в литературе, но в живописи, которая была вторым большим талантом отца. Эта страстная, болезненная материнская любовь накладывала свой трагический отпечаток на еще не сложившийся характер брата, внушала ему ощущение своей исключительности, может быть, даже отдаляла его от Тина и от меня. Наверное, нередко он ощущал свое несоответствие требованиям и мечтам матери. Ведь он был еще так молод, полон простой, здоровой, веселой радости, неистребимого и, конечно, эгоистического жизнелюбия. Очень добрый, отзывчивый, Саввка стремился разделять с нами наши интересы, любил так же, как и мы, блуждания по улицам Рима, по окрестностям нашей виа Роверето, делился с нами своими впечатлениями, озаренными его исключительной наблюдательностью и умением сказать о виденном.

Привязанный к маме ее исключительным отношением к нему, Саввка платил маме той же преданностью, той же болезненно напряженной любовью. За всю свою дальнейшую жизнь я не встречала больше таких отношений между матерью и сыном — они внушали не только восхищение, но и некоторые опасения за мягкую и податливую натуру Саввки, которая могла развиться в некую отталкивающую, влюбленную в самого себя личность, в Нарцисса, в блаженной бездеятельности любующегося своим отражением в зеркале лесных вод. К счастью, этого не случилось. Натура Саввки была слишком своеобразна, отличалась известной твердостью взглядов и убеждений, особенной, художественной впечатлительностью, позволявшей ему сохранить свое собственное «я», перед которым сама мама уступала, и в молчании, как бы затаив дыхание, робела перед его мужественным уже, не знавшим никаких компромиссов, прямым в своей правдивости характером.

Очень часто мы с Тином оставались одни, предоставленные самим себе. И снова, как в Берлине, мы предпринимали бесконечные прогулки по городу, изучая особенности «вечного города», его необычайную смесь затаившейся в своем безмолвии древности и шумной, живой, буйно жестикулирующей действительности большого современного города.

Ходили мы пешком, так как денег на трамваи нам не давали, да мы и не нуждались в трамваях — куда как интересней было неторопливо шагать по кривым старым улочкам, вглядываясь в прохожих, заглядывая в лавочки, насквозь пропахшие вяленой и засоленной треской, висевшей гирляндами из угла в угол тесного помещения вперемежку с длинными плетями чеснока и лука. Душный воздух лавчонок был пропитан острым запахом анчоусов; эти крошечные рыбки томились в больших бочках в острейшем красноватом соку.

К этим основным запахам лавчонок примешивался еще разнообразный аромат сыров. Злые языки твердили, что некоторые из этих сыров могут сами, без посторонней помощи ползать по полкам… Мы, однако, по поручению тети Наташи покупали обыкновенно только твердый желтый, как янтарь, необыкновенно вкусный сыр пармеджиано. В тертом виде им посыпали макароны спагетти, столь страстно нелюбимые Сашей Черным. Огромные черные круги пармеджиано, похожие на мельничные жернова, украшали полки лавчонок, а на полу обыкновенно были расставлены в ряд мешки с отвернутыми краями — в них виднелись макароны самых причудливых форм. Тут были и звездочки, и ракушки, и буквы латинского алфавита, и еще какие-то фигуры, похожие на собачьи уши. Сами владельцы лавчонок чаще всего представляли собой некую смесь Карузо и Мопассана и никогда не теряли благодушно-веселого расположения духа.

Все обитатели виа Роверето знали, что мы русские, и с большим любопытством расспрашивали, правда ли, что по улицам Москвы ходят белые медведи и волки вбегают прямо в городские квартиры. Они с недоверием слушали наши объяснения о русских печах, создающих в квартирах тепло и уют. Мы рассказывали им, что, несмотря на легендарные сугробы и трескучий мороз, русские любят прогулки на лыжах и катание на санках.

— Как, даже маленькие дети выходят в такой мороз на улицу?! — вопрошали они с уважением.

Нас же чрезвычайно удивляло, как это почти у всех итальянцев отморожены руки. Это было самым распространенным явлением в жаркой Италии. Наше недоумение

по этому поводу рассеялось с наступлением римской зимы, когда градусник стал показывать да-три градуса тепла и даже опускался к самому нулю. Начались дожди, с пасмурного неба сыпалась пронизывающая морось, в домах же итальянцев не было ничего для борьбы с холодом — никаких печей, никаких каминов, никаких электрических обогревателей. Все было предоставлено капризам природы, и только надежда на приход весны согревала несчастных южан. Кафельные полы, насквозь продувные окна еще усиливали сырость и неуют комнат. В нашем финском доме мы никогда так не мерзли, как в этом «каменном холоде», по выражению папы. Единственным способом борьбы с холодом были бутылки с горячей водой. Целая батарея из бутылок (у каждого из нас была своя персональная) выстраивалась вечерами на кухне. Только с такой грелкой можно было заснуть в отсыревших холодных постелях.

Мы с Тином составляли довольно странную пару в своих блужданиях по городу. Тин — маленький, худенький мальчик, в свои двенадцать лет даже слишком маленький и худенький. Я — рослая, опять-таки не по летам высокая четырнадцатилетняя девочка. В особенности среди мелких итальянцев я чувствовала себя как слон в игрушечном магазине, старалась сгорбиться, чтобы стать незаметной. Только благодаря настойчивым напоминаниям мамы — «не горбись, выпрямись!» — я не стала непоправимо сутулой.

Где только мы не побывали с Тином во время этих хождений! Сначала мы шли по виа Номентана, по направлению к центру города. За порта Пиа начинались кривые, иной раз круто спускавшиеся вниз и поднимающиеся вверх улочки, застроенные старыми, облупленными и обшарпанными домами бедноты.

Густой запах поджариваемых на оливковом масле овощей вырывался всегда из лишенных каких бы то ни было занавесок окон. По таким улочкам надо было ходить, все время ожидая, что вот-вот на голову вам выплеснут помои или выкинут обглоданный хребет какой-нибудь рыбины. Один раз Саша Черный явился домой в шляпе, живописно увешанной спагетти: в своей всегдашней рассеянности он не заметил, что на него опорожнили целый горшок этой излюбленной «паста шутта» под красным соусом. На самом верху его шляпы красовался здоровый огрызок арбузной корки.

Несмотря на описанную небезопасность хождения по улочкам итальянской бедноты, нас непреодолимо привлекал этот открытый всем взорам кипучий и беззаботный мир.

Один раз мы с Тином предприняли далекое путешествие на виа Аппиа. Конечно, было безумием идти туда через весь город

пешком, но это нас не испугало. Главное было знать, по каким улицам нужно передвигаться, куда заворачивать и где именно начиналась легендарная дорога римских легионеров. К сожалению, мы полагались только на объяснения прохожих. Мы бесконечно колесили по пыльным улицам, было страшно жарко, хотелось пить, но мы упорно продолжали путь. Наконец наш стереотипный вопрос стал встречать более определенный ответ. Казалось, виа Аппиа уже совсем близко, хотя ничего похожего на просторы равнины Кампаньи и древние акведуки знаменитой дороги не было видно. Наконец мы вышли на бесконечно длинную унылую улицу, обрамленную глухими заборами и зданиями, похожими на вокзальные пакгаузы. Куда подевалась виа Аппиа со всеми своими красотами? Но навстречу нам выезжает повозка, груженная ящиками, и мы подоспели к погонщику со своим набившим оскомину вопросом:

— Прэго, дов э виа Аппиа?

На лице почтенного мужика появилась странная какая-то улыбка, и он загадочно ответил:

— Какой смысл спрашивать, когда стоишь на этой улице?!

— Как это?! — воскликнули мы дуэтом. — Мы идем на виа Аппиа, а это что за улица?

— Так это и есть виа Аппиа, — усмехаясь саркастически, сказал мужик, которого мы тут же люто возненавидели. — Виа Аппиа Нуова! А вы хотели пройти на виа Аппиа Антика? — догадливо, но ехидно спросил он. — Так это не здесь, в противоположной стороне, километрах этак в десяти — двенадцати отсюда…

Какую ошибку мы сделали! Но кто же знал, что нынешние римляне настолько бесчувственны к красотам древности, что могли назвать бездарнейшую улицу своей фабричной окраины этим священным для нас именем?!

Посрамленные и уничтоженные, мы с Тином скорбно пустились в обратный путь. Мы шли, понуро шаркая стоптанными сандалиями, солнце жарило нам голову. Я бросала сочувственные взгляды на маленькую фигурку Тина, мне так жалко было его, ведь у него еще был порезан палец на ноге. Обмотанный черной от грязи тряпицей, палец сиротливо то высовывался, то скрывался обратно из отверстия его заскорузлой сандалии.

— Болят ноги? — бормотнул он. — Ничего, вот уже скоро виа Номентана…

Короткий взгляд, короткий вопрос, но как много скрыто под кажущимся безразличием! Я не одна, мы вместе, Тин разделяет со мной все невзгоды и напасти, он понимает, он сочувствует — мы вдвоем! Конечно, все это бесформенно и туманно шевельнулось в

душе. Это теперь я понимаю и ясно вижу все оттенки объединявшего нас чувства дружбы и любви, тогда же мне стало неизвестно, отчего стало легче и бесконечная виа Номентана показалась совсем уж не такой бесконечной, да и ноги вовсе не так уж болели…

Мы наконец попали на знаменитую дорогу с мамой, которая знала здесь каждый камень. Воспоминание о виа Аппиа живет нетленно в моей душе. Я так живо ее помню, как будто бы я видела ее вчера.

Был небольшой подъем и крутой поворот налево между двух больших, довольно хорошо сохранившихся гробниц.

— Цицилия Метелла, — сказала мама.

Вот и дорога! Она оказалась гораздо меньше, чем я ее себе представляла: узенькая, прямая, она тянулась к видневшимся в голубоватой дымке невысоким горам. Казалось, ничего особенного в ней не было. Вымощенная большими неровными камнями, ничем между собой не скрепленными, она была чуть ниже окружающих серых полей. По сторонам виднелись остатки бывших гробниц, — наверное, когда-то они были облицованы мрамором, вокруг росли кипарисы, но теперь гробницы представляли собой бесформенные груды камней. Запустением веяло от этих жалких развалин, трудно было представить себе, что вот по этой дороге двигались стройные ряды римских легионеров в хвостатых шлемах, в сандалиях, длинные ремешки которых обвивались вокруг их мускулистых бронзовых икр.

Вдруг я заметила в неровных камнях дороги продолговатые углубления. Ну конечно, это колеи, выбитые колесами повозок. Только подумать, сколько же их должно было проехать, чтобы сточился камень!.. Да, больше двух тысяч лет прошло с тех пор! Две тысячи лет лежат эти камни. По ним двигались, тяжело переваливаясь, груженые повозки на двух больших колесах, запряженные мулами, их погоняли угрюмые рабы, пыль оседала на мраморе пышных гробниц. И я вспомнила маленькую картинку в мамином берлинском кабинете. Удивительно верно передал папа щемящее ощущение мертвого забвения — как будто прервало время свой полет и смотрит пустыми безжизненными глазами в замершую душу.

Пусто все кругом. Давно замолкли звуки божественной латинской речи, но все та же выжженная солнцем земля Кампаньи простиралась до синих гор, она вся потрескалась от зноя, высохшая трава, колючки, и только проворные ящерицы шмыгали среди них — так же шмыгали они две тысячи лет тому назад, так же будут шмыгать и тогда, когда меня не будет. О равнодушие времени: рушатся города, новые возникают на месте их, исчезают

народы и государства, в развалинах лежат великолепные творения рук человеческих и самая память о них исчезает с лица земли. Как жалок человек, обреченный забвению, со всеми своими чаяниями, нежностью, тоской о несбывшихся надеждах — страшно смотреть в безжизненные глаза вечности, это глаза Горгоны Медузы, их нечеловеческий взгляд убивает все живое.

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Мама уехала с Саввкой — в Неаполь, в Сорренто, на Капри — опять то же мучительное странствие по местам, где проходило ее счастье, те же горестные воспоминания о папе. На этот раз ее спутником был Саввка — живой, любознательный, горячий. Но в его ли силах было заменить скорбный образ папы с его, столь похожими на Саввкины, чертами? Конечно, он отвлекал маму своей кипучей энергией от печальных мыслей, от болезненного погружения в прошлое. Конечно, он избегал все Санты Лючии и улички Неаполя, излазил все склоны Везувия, пробежал по отрытым от пепла улицам несчастной Помпеи, взбирался на кручи острова Капри, изнюхал все запахи олеандров и глициний, перекупался во всех Лазоревых гротах и заливчиках Капри, перепробовал всех жутко наперченных улиток и осьминогов, тушеных и жаренных в оливковом масле, съел чудовищное количество дынь и арбузов. И, наевшись как-то раз арбуза, заразился тяжелейшей марокканской дизентерией. Мама привезла его из Неаполя уже больного, с высокой температурой, и начались тягучие дни. Мама никого, кроме врачей, не подпускала к Саввке. Она не спала, не ела, вид у нее был совершенно безумный — остановившийся взгляд, растрепанные волосы, в которых вдруг стала заметна седина.

Потом Саввку увезли в больницу. Мама уехала тоже, чтобы все время находиться при нем. Никакие уговоры, никакие угрозы врачей не могли заставить ее хоть на минуту выйти из отдельной палаты, куда поместили Саввку, как тяжело, вернее, безнадежно больного. Наконец собрался консилиум врачей. Мама рассказывала, что она уже плохо внимала окружающему и только помнила, как были произнесены роковые слова:

— Положение безнадежное, конец может настать каждую минуту.

Последние минуты… Мама смотрела не мигая, как Саввке сделали еще один подкрепляющий сердце укол. Всеми силами души она прислушивалась к его чуть слышному дыханию. Вдруг ей почудилось, что он дышит ровнее, спокойнее. Она взглянула на стоявшего рядом врача, который сосредоточенно считал пульс. Врач сделал предостерегающий жест:

— Тише, жар спадает, мальчик, кажется, заснул…

Восемнадцать дней пролежал тогда Саввка в больнице в беспамятстве, восемнадцать дней он ничего не ел, не пил — это не считая двух недель, проведенных еще дома.

Прошло еще три недели. Настал день, когда нам сказали: «Саввка выздоровел окончательно, и сегодня же его привезет санитарная машина домой». Все бегали, суетились, тетя Наташа то плача, то смеясь готовила что-то вкусное. Мне было очень досадно, что у меня самой такой возмутительно здоровый, благополучный вид.

И вот в ворота нашего садика въезжает машина с красным крестом. Саввку выносят на носилках, и мы все видим его лицо. Оно невероятно худое и бледное, щеки совершенно запали, нос торчит, как лезвие ножа, но на губах дрожащая улыбка, в темных провалах огромные глаза неудержимо сияют, в них стоят слезы счастья. Эти Саввкины глаза всю жизнь стоят передо мной как олицетворение чуда воскресения из мертвых, как символ возвращенной радости бытия.

Саввка удивительно быстро выздоравливал и все время требовал есть. Но мама неукоснительно следовала предписаниям врачей, и никакие Саввкины мольбы не могли разжалобить ее.

Но голодовка была единственным Саввкиным огорчением. Он был все время весел и бодр необыкновенно. Он сочинял стихи вроде следующих:

…И вот уже в дверях
Наталья с тарелкой в могучих руках.
В ней дымится душистый бульон,
С разваренной курицей, нежной как сон.

Наконец ему позволили встать. Поддерживаемый мамой и тетей Наташей, он подошел к окну и выглянул наружу. Дома сохранился его рисунок, изображающий этот момент. Вот Саввка в ночной рубашке, из-под которой торчат голые, невероятно тощие, чуть согнувшиеся от слабости, покрытые редкими волосками ноги. Саввка прислонился к оконной раме и

выглядывает наружу. Все лицо с преувеличенно большим и острым носом вытянуто от любопытства, вытаращенные глаза жадно вбирают в себя все видимое из окна, на губах расплывается блаженная улыбка. Даже в этом шутливом рисунке проявилась Саввкина острая наблюдательность, смелая и точная рука, умело выделившая выразительные детали, — все то, что называется простым и емким словом «талант».

…Итак, Саввка выздоровел, жизнь вошла в свою обычную колею, только мама стала как-то неспокойнее, ей будто опостылела прежде столь любимая Италия, которая чуть не отняла у нее любимого сына. У нее было много дел с разными издательствами, она снова приняла деловой, озабоченный вид, ее деятельный дух требовал каких-то рациональных перемен, он не мог удовлетвориться той застывшей рутиной, в которую превратилась наша жизнь в Италии. Мы росли, нам требовалось образование. Мама ясно видела, что никакие старания Марьи Ивановны не могут заменить систематического обучения в школе. В Риме русских гимназий не было, следовательно, надо было думать о переезде в какую-то другую страну. Вскоре она взяла с собой Саввку и уехала в далекую Финляндию — надо было окончательно разрешить вопрос о покинутом чернореченском доме, ликвидировать все остатки прежней жизни, все, что связано с прошлым.

Снова мне вспомнился наш дом на Черной речке — все это время он терпеливо ждал возвращения своих хозяев. Как-то он выглядит теперь? Наверное, башня еще больше покосилась, крыша еще больше протекает, из комнат, наверное, вынесена вся мебель, сад совсем зарос, папина дорожка к реке обвалилась.

Мне было завидно, что Саввка увидит все это, в то же время какой-то внутренний холод охватывал меня при мысли, что я бы тоже могла поехать туда и своими глазами увидеть дом. Это было бы похоже на посещение тяжелобольного, обреченного, уже на себя не похожего близкого человека. Это нельзя и не надо делать, как нельзя и не надо заглядывать в глаза умирающему.

Я уже говорила, что с одной стороны нашего дома на виа Роверето находился пустырь, весь изрытый ямами. Весной он густо зарастал полевыми маками, что казался сплошным красным пятном. Летом на пустыре оставались одни колючки, между которыми шныряли ящерицы, совсем как в римской Кампанье. С другой стороны глухая каменная стена отделяла наш сад от другого, тоже небольшого. Тот сад казался прохладным — там были деревья, цветущие кустарники, между ними дорожки. Одна из них вела к задней половине дома, в котором жило два

семейства; внизу в парадных комнатах, обитала многолюдная семья зажиточных итальянцев. Она состояла из почтенных отца и матери и шестерых уже взрослых детей: четыре девушки и двое молодых людей. Мы часто задумывались над скучной, несвободной жизнью итальянских девиц. Чем они занимались в бесконечные жаркие летние дни за наглухо закрытыми ставнями окон? Наверное, что-нибудь вязали, вышивали, вспоминали редкие воскресные прогулки, когда, несмотря на строгий надзор, им удавалось обменяться взглядом с каким-нибудь молодым прохожим.

В противоположность женскому населению дома, мужчины пользовались полной свободой передвижения, и их редко можно было видеть дома — старший сын, видимо, уже был женат и только изредка заходил к родителям, а младший — Густаво, или Густя, как мы его называли, запросто заговаривал с нами, заходил даже к нам в садик и оказывал явные знаки внимания тете Наташе. Он был очарован пением тети Наташи, в особенности его трогала и изумляла хабанера из «Кармен», которую она часто пела — «…любовь не птичка, не ручная…».

— Как, вы знаете итальянскую музыку?! — восклицал он, в простоте души причисляя оперу Бизе к творениям итальянских композиторов.

Тетя Наташа была очень польщена вниманием Густи — она смущалась и краснела, тщетно прислушиваясь к непонятному ей разговору. Ведь за все время пребывания в Италии тетя Наташа так и не усвоила ни одного слова по-итальянски. Ей вообще невероятно трудно давались иностранные языки. Так, из немецкого она усвоила только одно слово — капут. В связи с этими лингвистическими познаниями с ней произошел трагикомический случай в Берлине, когда мама послала ее к сапожнику за починенными туфлями.

— Фрау Андреев капут! — восклицала она, указывая на свои ноги, и сапожник, решив, наверное, что фрау Андреев умерла, сочувственно цокал языком и гладил ее по плечу, пытаясь утешить.

Мы очень сочувствовали роману тети Наташи — она похорошела, помолодела, стала кокетливее одеваться и однажды отправилась на свидание с Густей куда-то в город. Как они между собой объяснялись, о чем разговаривали, осталось тайной для всех, но роман после этого похождения пошел на убыль — и тетя Наташа с некоторым раздражением стала говорить об испорченных зубах Густи и об его довольно объемистой лысине.

— Молодой, а уже такой потрепанный. Наверное, от непутевой жизни, — твердила она.

Другая семья соседнего дома жила в более скромных комнатах на втором этаже. Она состояла из матери и двух сыновей — Карло и Антонио. Даже сейчас, когда я пишу это давно забытое имя Антонио, оно пробуждает во мне теплый, наивный, трогательный трепет, который, как некий сладостный обволакивающий туман, захватывает с непонятной силой мое сознание. В нашем старом учебнике географии в трактате об Италии была помещена репродукция картины, не помню уже какого художника, — «Итальянский мальчик». Тонкое смуглое лицо с большими грустными глазами, черная шляпа с широкими полями, темные кудри крупными кольцами падают на плечи — мужественный, несмотря на молодость, простой в своей независимости, замкнутый в непонятной печали образ самой прекрасной, гордой и нищей Италии. Таким представляю я себе Овода. Такие глаза были и у Антонио — синие, большие, в тени густых ресниц. Они ярко выделялись на смуглом худощавом лице. Темно-каштановые кудри в отличие от портрета итальянского мальчика не падали на плечи, а покрывали густой шапкой его голову. Пожалуй, и грусти было мало заметно в глазах Антонио — обыкновенно они блестели живостью и мальчишеским задором.

Я не задумывалась над тем, нравлюсь ли я Антонио. Такая мысль мне просто не приходила в голову, да и не нужно это было вовсе — что бы я делала с его взаимностью? В его присутствии я совершенно терялась, смущалась, все тело у меня делалось как бы деревянным, скованным, и я только и мечтала, чтобы Антонио поскорее ушел. Главной моей заботой было, чтобы никто из домашних, вообще никто на свете не заметил моего состояния, — это было бы так страшно, так невыносимо стыдно!

Но мы часто встречались с Антонио — на улице мы с другими подростками играли в пятнашки, в палочку-стукалочку, собирались по вечерам у наших ворот, разговаривали. Наши римские друзья тоже очень интересовались Россией: что там надевают, что едят и, главное, какие песни там поют? Мы старались возможно подробнее ответить на все их вопросы, только вот насчет пения получился конфуз. Ни у одного из нас не было голоса, то есть, конечно, голос был, но как-то вовсе не приспособленный для пения. Я считала, например, что мой голос глух, невнятен, почему-то очень низок. К тому же он гнусаво тянул куда-то в сторону и фальшивил, несмотря на все мои старания направить его в правильное русло. Если я преодолевала пароксизм застенчивости и некоторое время что-то напевала, то голос крепчал и становился более уверенным. Саввка был решительнее, но Тин и Нина вообще не открывали рта.

Присутствие Антонио еще больше сковывало меня, но постепенно, пользуясь милосердной темнотой, я осмелела, и мы с Саввкой довольно складным дуэтом выводили всякие «Очи черные», «Стеньку Разина», «То не ветер ветку клонит», «Ямщик, не гони лошадей», «Дремлют плакучие ивы», — одним словом все, что могли вспомнить. Нас очень подбадривало внимание итальянцев — они слушали, буквально не дыша, все наши рулады, и вскоре вся улица распевала «Очи черные». Эта бессмертная песня нравилась нашим друзьям больше всего. Я очень жалею, что тогда мы не знали замечательных украинских песен, которые своей певучестью и мелодией так похожи на итальянские, — они должны были бы понравиться. В свою очередь итальянцы с удовольствием пели свои народные песни, тогда слушали мы, тоже не дыша. Одна особенно глубоко трогала меня, наверное, тоже потому, что ее часто запевал Антонио:

Шенде ля нотте, сенца стелле, нелла скурита,
Э нель-лонтано л'ультимо румор делла читта,—

так она начиналась. В переводе теряется звучность итальянских слов, все эти двойные «л» и «р», но и так в мелодии чувствуется широта, раздумье и величавая печаль, столь родственные русскому человеку:

Ночь опустилась — без звезд, в полной темноте,
И только издалека чуть доносится последний шум большого города…
Почему же я так одинок, так полон любви, на которую нет ответа?

Итальянцы страстно любили пение, буквально у всех был прекрасный музыкальный слух, и нас поражало, как хорошо знали они отечественную оперную музыку: они запросто напевали арии из «Тоски», «Паяцев», «Травиаты». Помню, однажды — дело было к вечеру, и жара начинала спадать — мы с Ниной, облокотившись на свои излюбленные подушечки, глядели на улицу. Из другого распахнутого окна высовывались Саввка с Типом. Вдруг издалека послышалось пение. Чей-то сильный необыкновенно красивый тенор виртуозно пел арию «Смейся, паяц!». Мы все разом насторожились и стали гадать: кто же из знаменитых теноров поет на этой пластинке? Неужели сам Карузо? Пение, однако, приближалось. Мы недоуменно переглянулись. Сзади к нам подошла мама.

— Это же Карузо, — сказала она, — разве не узнаете?

И вдруг мы увидели певца — из-за угла вышел на виа Роверето и слегка колеблющейся походкой зашагал по середине проезжей части обыкновенный рабочий, видимо каменщик. Наверное, он немного выпил и пел просто потому, что был в хорошем настроении. Пел от простой радости бытия. Но откуда эта виртуозность, этот прекрасно поставленный голос? Можно было подумать, что блуза каменщика маскировка, а на самом деле певец окончил консерваторию по классу вокала и гастролирует в миланской «Ла Скала». Но нет, поравнявшись с нашим домом, каменщик закончил знаменитую арию глухими рыданиями, а мы, не удержавшись, громко захлопали. К нашим аплодисментам присоединились и другие любители пения, — оказывается, в окнах и у ворот домов столпился народ со всей улицы. Каменщик остановился, взглянул на наши окна и, слегка покачнувшись, отвесил галантный поклон — грации этого поклона мог позавидовать сам д'Артаньян.

Вообще у всех итальянцев, даже самых простых и чуть ли не безграмотных, была какая-то врожденная элегантность движений, интеллигентность и тонкость всего облика. Когда по воскресеньям рабочий переодевался в праздничный костюм и фланировал по улицам, он ничуть не отличался от представителей более обеспеченной части общества.

Особенно были впечатлительны итальянцы к появлению на улице более или менее хорошенькой девушки или женщины.

— Карина, белла-белла, — только и слышно было.

Мы с Ниной научились ходить по улицам с мрачным видом, не оборачиваясь ни на какой манящий свист, — особенно доставалось Нине, которая в белом платье, в белой кружевной шляпке была очень красива: тоненькая, с беленьким тонким личиком, с сияющими молодостью и здоровьем зелено-серыми глазами. Я очень завидовала Нининому небольшому росту, — и в кого это я уродилась такая большая? Говорили, что в маминого деда — отца Якова Чепурина, имевшего высокий духовный сан, главный во всей Таврической губернии. Отец Яков был громадного роста — в дверь не проходил! — и обладал громоподобным голосом.

В это время я подружилась с маленькой двоюродной сестрой Элианой — ей было всего лет шесть-семь, но была она шустрой и развитой не по годам. Со своими небольшими ярко-зелеными глазами, как обмытая дождем болотная ряска, она была подвижной и вертлявой, как обезьянка, — не зря же у нее было прозвище Шиммия, что означает обезьяна. Она тараторила исключительно по-итальянски.

Тетя Толя с Элианой и Марио ютились в одной из комнат огромного, похожего на людской муравейник, типичного дома римской бедноты. Комната была на пятом этаже, и идти туда надо было сначала по узкой обшарпанной и воняющей гнилыми овощами крутой лестнице, которая выходила на галерею. Такие галереи опоясывали по этажам всю внутреннюю стену дома и служили местом встреч, ссор и потасовок всей женской части населения дома. Смех, пение, детский рев, брань мужчин, женский визг — где-то что-то ели, кого-то били, кто-то плакал, кто-то смеялся. Трудно было пройти по галерее, не опрокинув ведра или не наступив на хвост многострадальной кошки. При появлении незнакомца женщины смолкали и с лютым любопытством смотрели, к кому это он пожаловал. В наступившей тишине было слышно, как поворачивались они на каблуках своих стоптанных туфель, глядя вслед.

Мое появление возбуждало непомерное любопытство всех обитателей тети Толиного дома. Еще бы — русская девочка!

— Рагацца русса… — из уст тети Толи все узнали, и очень скоро, о моем загадочном происхождении.

Непутевый итальянский отец Элианы был небольшого роста, обладал хорошеньким голубоглазым лицом, с прямым небольшим носом. Гладко, на пробор причесанные волосы, небольшие усики, галстук бабочкой и маленькие ноги в лакированных туфлях — вылитый Адольф Манжу — был такой французский киноактер. Изысканные манеры Режиса — он был итальянским аристократом и писал свою фамилию с частицей «де» — произвели когда-то на тетю Толю глубокое впечатление. Рядом с миниатюрным Режисом тетя Толя со своим толстоватым русским носом и подпрыгивающей походкой выглядела несколько громоздкой. Она носила туфли на высоких каблуках, даже дома не снимая их. Мама поражалась, как проворно она на них двигалась.

— И ты не устаешь? — восклицала мама.

Но тетя Толя, безостановочно дымя папиросой, улыбалась в ответ:

— Привычка!

Что только тетя Толя не делала, чтобы прокормить свое семейство, — она играла на скрипке в кафе, шила платья, как заправская портниха, хотя никогда портняжному искусству не училась. Но была в ее жизни, несмотря на бедность (частенько бывало, что у тети Толи не было ни сольдо на завтрашний день), какая-то легкость и беззаботность, что опять-таки очень удивляло маму. Как можно шутить и веселиться, когда не знаешь, что будешь есть завтра? Но каждый раз все как-то обходилось — то появлялась новая заказчица, и тетя Толя, просидев над машинкой

всю ночь, изумляла ее готовым платьем, то подворачивалась какая-нибудь свадьба в ресторане, где она играла; веселые гости хорошо платили, и тетя Толя возвращалась под утро, еле волоча ноги, но веселая и радостная. Тут же кто-нибудь отправлялся в магазин, появлялся томный Режис, и все семейство в благодушнейшем настроении садилось за стол — тетя Толя вдобавок к своим другим достоинствам была прекрасной кулинаркой. Казалось бы, обыкновенная сушеная и дико соленая треска, — что вкусного можно из нее приготовить? Но тетя Толя сначала отмачивала ее в нескольких водах, потом поджаривала в оливковом масле с огромным количеством лука, потом заливала рыбу острым, искусно поперченным соусом из свежих помидоров, и получалось восхитительное блюдо, которое можно было есть и горячим, и холодным.

Я приходила к тете Толе, чтобы помочь по хозяйству и присмотреть за Элианой. В маленькой комнате с вечно открытой дверью на галерею царил обыкновенно жуткий беспорядок: похоже было, что в комнате только что произошел взрыв адской машины, так скомкана была постель, так разметаны как бы взрывной волной смытые занавески. Я приносила ведро с водой, тряпку, метлу и методически начинала уборку. Маленькая Элиана с почтением следила за моими действиями, сидя на некрашеном стуле с плетеным соломенным сиденьем, мебели итальянской бедноты.

Элиана и Марио очень часто гостили целыми неделями у нас на виа Роверето, и тогда мы с Элианой бывали неразлучны. Ходили вместе в магазины и на базар, часами гуляли по окрестностям нашей улицы. Элиана поражала меня смекалкой и сообразительностью, — видимо, сказывался опыт полукочевой и полуголодной жизни в римских трущобах. Рядом с ней я казалась себе неуклюжей, наивной, глупо мечтательной. Это Элиана — шестилетний ребенок! — посоветовала мне напудрить нос маминой пудрой и натереть губы лимонной корочкой для придачи им красноты. Действительно, от трения и действия лимонной кислоты губы слегка припухали и делались, — правда, ненадолго — красивого вишневого цвета. Элиана вертелась перед зеркалом с ужимками настоящей обезьяны и с обезьяньей же способностью перенимать жесты и выражения. Не могу сказать, что вертлявость, вездесущность и, главное, слишком ранние сведения о жизни взрослых нравились мне. Я даже краснела при некоторых ее выходках и словах, которые казались мне циничными, — я не понимала тогда, что это всего лишь внешние, попугайные и обезьяньи свойства, наносные свойства ее характера и что на самом деле это просто очень живой и

наблюдательный ребенок.

Я брала с собой Элиану, и мы шли гулять. Сейчас же за «палаццо» наша виа Роверето кончалась и переходила в тропинку, которая вела вдоль невероятно грязного и вонючего ручья. Ручей этот сначала был просто болотом. Дальше мы шли к темному огромному акведуку, пересекавшему долину, — его толстые столбы были сделаны из обнажившихся мелких кирпичей, изрытых и изъеденных временем. Это был один из сохранившихся акведуков древнеримской постройки. В нем шла в город с гор чудесная, холодная как лед знаменитая «аква Марча» — та самая, которую мы так любили с Тином пить из чугунных колонок на улицах Рима.

Под самым акведуком, несмотря на зной, было всегда прохладно от густой тени и сыро. Там был расположен длинный ряд бассейнов для стирки белья. Вокруг бассейнов всегда толпились женщины и стоял страшный шум от их крикливых голосов и ударов вальков по мокрому белью. Женщины с подоткнутыми передниками, с засученными рукавами на белых, как будто вываренных руках при нашем приближении затихали и провожали нас недоуменными взглядами: наверное, им было странно наше фланирование и непонятна сама идея прогулки в будний день.

Как-то мы забрели на другую сторону ручья. Элиана устала и стала хныкать. Я взяла ее на закорки и понесла, сгибаясь от тяжести. Мне предстояло пройти через ручей по редким и скользким камням. С Элианой за плечами я храбро ступила на первый камень, прыгнула на второй, и тут нога у меня поскользнулась, и я рухнула вместе с несчастной девчонкой в самое глубокое место ручья. При падении Элиана сорвалась с моей спины и, исторгши пронзительный крик, скрылась под водой. Я, тоже изрядно намокнув, тут же вскочила и выловила Элиану, которая успела наглотаться воды и со страху даже не ревела. Зато откашлявшись, она подняла такой рев, что я рысью понеслась по тропинке, и у меня в голове гвоздила только одна мысль: она простудится — и я буду виновата. Ведь вода в ручье была совершенно ледяная, и Элианины крики уже прерывались яростным чиханием. Запаренная, как лошадь, я проскакала мимо остолбеневших прачек — тут уж мне было все равно, что они подумают. Все тем же аллюром доставила я Элиану домой прямо в объятия тети Наташи.

Ничего с нами и не сделалось после этого купания, но я зареклась предпринимать с Элианой столь продолжительные путешествия.

Мама договорилась с миланским издательством Чезаре Кастелли о переводах отцовских сочинений на итальянский язык и об их издании в Италии. Сочинения Леонида Андреева были изданы еще в нашу бытность в Риме. Потом мама заключила договор с одним из римских театров о постановке пьесы «Жизнь человека». Это был большой праздник для всех нас и для всей нашей улицы, так как мы раздали на премьеру много билетов нашим уличным друзьям и соседям.

Незабываемое впечатление произвела пьеса на меня и на всех зрителей этого большого театра. Звучный итальянский язык как нельзя лучше передал чеканные слова знаменитого пролога, который бесстрастно читал голосом наемного чтеца «Некто в сером». «…Гуардате, эд, аскольтате, вои, кви венути а ридере э дивертирвы…» — «Смотрите и слушайте, вы, пришедшие сюда для забавы и смеха…» — бросал он тяжелые, как глыбы, грозные в своей непреложности, прекрасные слова о бренной жизни Человека.

Александр Блок, чей хаос перекликнулся с хаосом Леонида Андреева, который он в себе носил, как он говорит в своей статье «Памяти Леонида Андреева», вспоминает о прологе из «Жизни Человека»:

…«Что-то есть в этих словах, что меня до сих пор волнует: „Смотрите и слушайте, вы, пришедшие сюда для забавы и смеха. Вот пройдет перед вами вся жизнь человека с ее темным началом и темным концом. Доселе не бывший, таинственно сохраненный в безграничности времени, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никем…

…Ледяной ветер безграничных пространств бессильно кружится и рыскает, колебля пламя, — светло и ярко горит свеча. Но убывает воск, снедаемый огнем. Но убывает воск…

…И вы, пришедшие сюда для забавы и смеха, вы, обреченные смерти, смотрите и слушайте: вот далеким и призрачным эхом пройдет перед вами, с ее скорбями и радостями, быстротечная жизнь человека“».

«Что-то есть в этих словах, что до сих пор меня волнует», — так сказал Блок, поэт, познавший всю возвышенную и грозную красоту русского языка и воплотивший ее в своих бессмертных стихах. Что же должен сказать простой смертный человек, пришедший «для забавы и смеха» в театр? Он раздавлен каменными глыбами этих слов, потому что открылась на один страшный миг завеса, милосердно скрывавшая до сих пор холод безграничных пространств — туда, куда непреложно ведет его «железное предначертание». Но «тает воск, снедаемый огнем», воск свечи, о которой сказано: «В ночи небытия вспыхнет

светильник, зажженный неведомой рукой, смотрите на пламень его — это жизнь человека». И так жалок и беспомощен маленький человек…

В самые тяжелые минуты своей жизни я повторяла эти слова как молитву, как заклинание, и странное успокоение медленно проникало в душу, и цепенела она в мертвенном забытьи, которому не дано ни крика, ни слез.

…Наши юные друзья, наверное, в силу своей молодости и жизнерадостности, не смогли вникнуть в трагизм пьесы, но и на них произвела впечатление мрачная фигура «Некоего в сером».

— Как это он страшно сказал: тише, человек умер! — и свеча у него в руке погасла, и он вдруг вышел из своего угла, прошел через всю сцену… — мне даже ночью приснилась его квадратная спина — брррр! — говорил мне Джузеппе — Пеппино из «палаццо», блестя расширенными глазами. Этот Пеппино даже стал именовать меня «синьорина Вэра».

С тех пор мы часто ловили на себе восхищенные взгляды обитателей виа Роверето, и я снова испытала смесь неловкости, гордости и благоговения перед именем нашего папы, которое — неизвестно за какие заслуги! — носила и я, слабо светясь его отраженным светом.

Гротескную песенку, назойливую в своей пошловатой наивности, которую без устали наигрывают стилизованные музыканты на балу у Человека, конечно, тотчас же усвоили все мальчишки нашей улицы и до омерзения насвистывали: «Что танцуешь, Катенька? — польку, польку, папенька!» Странно звучал в итальянском воздухе этот мотивчик, знакомый мне с детства. Его певала наша прислуга, званная Зеленая Лошадь, в той, другой, столь не похожей на теперешнюю, жизни в доме на Черной речке. В той жизни был мамин кабинет, весь розовый и светлый, — черным пятном выделялся рояль, а на стене у двери небольшая картинка — трио музыкантов, играющих на балу у Человека. Контрабасист высок и толст, как его инструмент, — вид у него мрачный и сосредоточенный. Скрипач до невероятия худ и высок — его длинное тело как бы извивается под пение скрипки, на лице вдохновение и неземное блаженство. Третий — виолончелист — среднего роста, толстоват и лысоват, играет с несколько брезгливым выражением.

Один раз я уговорила Нину пойти со мной гулять. Мы купили винограду — каждой из нас досталась огромная кисть: мелкие виноградинки были так тесно спресованны, что их бока носили следы вмятен и их приходилось чуть ли не выковыривать из монолитной массы. Почему-то было особенно приятно идти

неторопливым шагом все дальше и дальше, держа в руке большую кисть и выбирая оттуда кисленькие ягоды. До сих пор помню их вкус, который слился в моей памяти с панорамой вечереющей Кампаньи, с выжженными солнцем полями, сизыми волнами, уходящими вдаль к совсем прозрачным, невесомо парящим над горизонтом голубым горам. Мы забрели так далеко, что уже перестали слышать шум города, и погрузились в тишину, такую проникновенную, что слышно было только шуршание сухой травы под ногами.

Солнце уже близилось к закату — черные тени от арок далекого акведука гигантскими шагами прошли через равнину и покорно легли у ног первых розовых домов города. Каждый предмет, мало-мальски возвышающийся над землей, отбрасывал тень, и все эти тени, постепенно утоньшаясь, устремлялись к городу, как бы указывая на него остриями, как бы призывая глядеть на него в безмолвном ожидании чуда, которое вот-вот свершится. Все замерло, ни звука не доносилось из города, только далекие дома все больше розовели, и блеснуло вдруг что-то, как молния, в сиреневой дымке — это луч солнца отразился от золотого креста на куполе собора святого Петра. Все ждало чуда, и не понимала я тогда, что оно уже творится, уже свершается на глазах у меня, потому что разве не чудом надо назвать видение нетленной красоты, явившееся мне, четырнадцатилетней девочке, с такой томительной силой, что преодолело оно время и сохранилось в памяти на всю жизнь.

Мы долго стояли под пиниями — солнце склонялось все ниже, тени заполнили собой всю равнину, подошли вплотную к городу и потушили розовый свет его домов. Но все еще таяли в зеленоватом небе воздушные очертания далеких гор, а небо как бы еще посветлело и вознеслось над потемневшей землей.

* * *

По воскресеньям входная плата во все музеи Рима не взималась, и мы отправлялись в какой-нибудь музей. Празднично одетые римские обыватели чинно прохаживались по залам музеев, как бы приглашая полюбоваться своей собственностью. Не без основания римляне считали, что все Венеры, Аполлоны и гладиаторы пусть и отдаленные, но все же их родственники.

У нас вскоре среди бесчисленных статуй Ватиканского, Капитолийского и других музеев появились любимцы, к которым мы всегда в первую очередь стремились. Таким был для меня Аполлон Бельведерский, покоривший мое воображение непринужденной грацией движения, с которым он, свободно и гордо подняв прекрасную голову, держал в откинутой руке конец своего легкого одеяния. Особым восхищением Саввки пользовалась маленькая молоденькая — лет шестнадцати? — Венера в музее «Дель пополо», кажется. У нее были отбиты руки и совсем не было головы, но юное тело было божественно прекрасно и трогательно невинно, и всем делалось радостно глядеть на нее и думать, каким совершенным творением может быть человеческое тело в своей прекрасной наготе.

Чаще всего мы ходили в Ватиканский музей, который, как известно, расположен во дворце в центре загадочного «государства в государстве», именуемого Ватиканом. Чтобы пройти во дворец, нужно было пересечь площадь святого Петра, потом обойти под самыми стенами собор, и только тогда открывался вход в музей, возвышавшийся сплошной громадой справа. Влево за низкой стеной был виден Ватиканский сад с кущами апельсиновых деревьев — оранжевые плоды красиво выделялись на темной зелени. Сплошной поток посетителей беспрепятственно проходил в ворота, по обеим сторонам которых стояла швейцарская папская стража. Почему именно швейцарская, я уже не помню, но красочно одетые в средневековые костюмы часовые с алебардами неизменно возбуждали большое любопытство посетителей. У них были короткие камзолы в обтяжку с широкими полосатыми в складку рукавами. Складки сверху были желтого цвета, а при сгибе внутри оказывалась синяя материя. Такими же полосатыми были короткие широкие штаны с напуском, ноги обуты в башмаки с пряжками. Один синий, другой желтый чулок обтягивал икры и ляжки часовых, на голове красовалась широкополая шляпа с пером. Что-то несерьезное, игрушечное было в облике этой

папской гвардии, несмотря на алебарды. Казалось, что это веселый маскарад. Гораздо большее впечатление на нас производили другие папские гвардейцы, неподвижно стоявшие у подножия широких лестниц и на перекрестках бесконечных коридоров. На этих часовых были наглухо застегнутые черные мундиры с золотыми пуговицами, а на головах золотые, ярко блестевшие шлемы с гребнем на макушке, откуда падал на спину густой хвост из конских волос.

Однажды я побывала и в других залах дворца, отведенных уже не под музей, а для жизни самого папы римского. При помощи тети Толи, которая перешла в католичество и стала очень ревностной посетительницей католических церквей и верноподданной папы, мне удалось присутствовать на посвящении в кардиналы и лицезреть папу.

Тетя Толя распорядилась одеть меня во все белое.

— Голова должна быть прикрыта, — говорила она, — белой шалью. Так одеваются девушки, а замужние женщины должны быть одеты в черное, с черной шалью на головах.

Я очень понравилась себе в белых кружевах — совсем Исидора Каварубио де лос Льянос — мстительная мексиканка из «Всадника без головы», испортившая столько крови ни в чем не повинному Морису Джеральду.

Тетя Толя была очень импозантна в своих черных кружевах и строго одергивала меня за неуместные, по ее мнению, вопросы и неприличное любопытство, которое я проявляла, войдя во дворец. Мы прошли мимо величественной стражи в золотых шлемах с хвостами, долго шли через анфилады роскошных комнат, потом поднялись по широкой лестнице — ступеньки были чрезвычайно широки и низки — всего на несколько сантиметров они возвышались друг над другом, делая лестницу пологой и очень удобной для подъема. Наверное, все сделано для удобства папы, думала я, лифтов-то нет…

В большом зале, где происходило посвящение в кардиналы, были ряды скамеек, разделенные широким проходом, как в католических храмах. На них сидела, тихо переговариваясь, масса народу, ожидая появления папы. Впереди, несколько на возвышении, стоял полукругом ряд богато убранных кресел, посередине полукруга возвышался весь в золоте и инкрустациях великолепный трон, украшенный рубинами и сапфирами, горевшими красными и синими огнями. Кресла и трон пустовали еще довольно продолжительное время, но вот сбоку один за другим медленным и торжественным шагом стали выходить кардиналы в длинных красно-лиловых мантиях. Они поднимались на возвышение и садились в кресла. Когда все

расселись, я заметила, что одно крайнее кресло слева осталось свободным.

— Наверное, это место для будущего кардинала? — шепнула я тетке, и она утвердительно кивнула головой.

Вдруг сзади послышался шум, все присутствующие встали и как по команде опустили головы в благоговейном молчании. Я скосила глаза на проход и увидела великолепно одетых прислужников, держащих на плечах золотые ручки носилок, на них восседал в кресле под балдахином с бахромой сухой носатый старик в расшитой блестящей мантии и высокой тиаре на голове — крест на ней так и сверкал бриллиантами. Сзади носилок шли еще двое прислужников с огромными опахалами из страусовых перьев, которыми они равномерными движениями обмахивали старика. Папа милостиво кивал направо и налево, благословляя народ поднятой рукой. Большой перстень при каждом повороте руки сыпал снопами разноцветных огней. Что-то варварски великолепное было в этом зрелище, что-то древнеязыческое. Наверное, так носили египетских фараонов и библейских царей.

Церемониальным маршем папу поднесли к возвышению, рабы, то есть прислужники, преклонили колена, он сошел с носилок и опустился на трон. Только тогда кардиналы и остальной народ осмелились снова занять свои места, а слуги с опахалами встали позади трона и продолжали махать своими страусовыми перьями над головой папы. Началась длинная церемония, папа долго что-то вещал по-латыни, потом вышел еще один священник в черном, стал перед троном на одно колено и низко склонил неприкрытую голову. Папа привстал, сказал еще что-то невразумительное, благословил коленопреклоненного, подняв сухонькое личико к небу, взял поданный ему слугой длинный блестящий меч и три раза легонько ударил плашмя по спине будущего кардинала. Мне тут же вспомнилось посвящение в рыцари при дворе короля Артура. Появился еще один слуга и набросил на нового кардинала лилово-красную мантию. Тот склонился еще ниже и поцеловал папе ногу, вернее, тот огромный сапфир, который красовался на самом кончике папской туфли, на загнутом по-турецки носке. Только после этого новый кардинал встал с колен и сел на приготовленное кресло. На этом церемония посвящения в кардиналы и закончилась. Папа еще коротко помолился, сложив руки ладонями к себе и зажмурив глаза, потом все пришло в движение: кардиналы один за другим преклоняли колено, целовали туфлю и выходили из зала. Перед троном образовалась длинная цепь верующих, стремящихся в свою очередь облобызать драгоценный камень на туфле, которую папа для удобства выставил немного вперед, и получить его

благословение. Тетя Толя как католичка тоже встала в очередь, а я будучи православной, то есть еретичкой, к счастью, была избавлена от этого обряда и стояла в стороне, размышляя о виденном и о том, что все это, однако, происходит в нашем XX веке…

Мы с Тином очень любили приходить на площадь святого Петра — она ограничена кругом колоннад, которые как два крыла охватывают ее с двух сторон. Точно посередине площади стоит высокий обелиск, вывезенный из Египта, а по бокам его два великолепных фонтана мощно и высоко извергают к небу ледяную прозрачную воду, всю в белой пене и брызгах. В летнюю жару большие плиты площади были раскалены чуть не добела разящими лучами «соле дель лионе» — львиным солнцем Рима. Стараясь не дышать, мы чуть ли не рысью устремлялись к фонтанам. Свеж и прохладен был воздух, напоенный мельчайшей водяной пылью, оседая сединой в волосах. Мы совали руки в ледяную бурлящую воду, брызгались ею и радостно хохотали. Камни вокруг фонтанов позеленели от непрестанно брызжущей воды, в щелях между ними рос даже низенький бархатистый мох. В полуденный зной на огромной площади виднелись только фигуры одиноких туристов, которых сразу можно было узнать по невероятному количеству фотоаппаратов, гирляндами свисавших с их плеч. Вот долговязый англичанин в клетчатом пиджаке и с тропическим шлемом на голове, смотря в открытый «Бедекер», делает несколько неверных шагов в сторону, спотыкается, внимательно глядя то в «Бедекер», то в землю. Вот он ставит аккуратно рядышком ноги и с торжествующим видом, вытянув шею, как кулик на болоте, долго смотрит по сторонам. Дело в том, что посередине площади, слегка влево от обелиска есть отмеченная плита. Если встать на нее и посмотреть на колоннады, опоясывающие площадь, то кажется, что в ряд стоят не четыре колонны, как это было на самом деле, а всего одна, остальные скрывались за нею.

Мы много раз входили по широким ступенькам в храм святого Петра, размеры которого поражают воображение: площадь пола настолько велика и пустынна, что напоминает самую площадь, окруженную почему-то стенами, уходящими в непостижимую высь. Нам говорили, что внутри храма могла бы свободно поместиться кремлевская колокольня Ивана Великого и еще много осталось бы места под сводом купола. Страшно идти напрямик через пустое пространство пола, непонятная робость одолевает человека, остро чувствующего свое ничтожество перед лицом молчаливых, замерших в своем отчуждении грандиозных

стен. Ближе к алтарю тягостное ощущение пустого пространства несколько разбивает скульптурная композиция, изображающая коленопреклоненного папу перед алтарем.

Однажды мы все — Нина, Саввка, Тин и я — под предводительством мамы решили подняться к куполу, где был выход наружу. Оттуда был виден весь «вечный город» — так говорила мама, которая, конечно, там была раньше с папой.

Темные кривые лестницы с узкими и высокими, вытоптанными ступеньками, бесчисленные повороты и переходы, от которых кружилась голова, наконец кончились, и в узкую дверь забрезжил дневной свет. Мы вышли на узенькую галерею с перильцами. С одной стороны уходила ввысь грандиозная выпуклость купола, с другой предстала нашим ослепленным глазам яркая панорама города. Мама старалась не прикасаться к перилам, не рискуя поглядеть вниз, а все прижималась к стене, хотя вниз смотреть было не так страшно: там еще был кусок крыши храма. Было прекрасно видно вдаль, так что мы различили и семь холмов, на которых лежит Рим, и извилистую мутно-желтую ленту реки Тибра, и отдельные здания и улицы. Вон Капитолий, вон круглая башня Сант-Анджело, вот в своей ненужной громоздкости несуразная белая постройка монумента Витторио Эмануэле. Площадь святого Петра с этой высоты казалась совсем небольшой и кругленькой, посередине спичечкой торчал обелиск, по его бокам над крошечными фонтанчиками неподвижно застыли белые пятна воды. Слева тесно к стене храма примыкало сплетение крыш и выступов Ватиканского дворца — сверху было видно, какую громадную площадь он занимает и как велики его владения вокруг с садами, дворами, хозяйственными постройками.

Мы обошли по галерейке весь купол и увидели, что сзади храма город, собственно говоря, кончался, и за редкими белыми зданиями уже виднелся невысокий зеленый холм, а вдали туманно-серое пространство Кампаньи с синими очертаниями Апенинниских гор.

Вернувшись к двери, мы увидели, что в толще купола сделана, оказывается, совсем узенькая лестница, которая вьется спиралевидно вокруг него. Естественно, мы тотчас же туда устремились. Свет падал через зеленоватые непрозрачные стекла купола на выпукло-изогнутую противоположную его стену.

По мере того как мы шли, проход становился все уже, а стены наклоннее. Наконец перед нами предстала маленькая дверца, и мы осторожно ступили в закрытую круговую галерейку, с небольшими оконцами в обеих ее стенах. Окошко открывалось внутрь храма святого Петра, с самой высокой точки купола была

видна с птичьего полета внутренность здания. Будто я поднялась на каких-то мощных крыльях под самый купол и гляжу, замерев, вниз в эту головокружительную пустоту. Это был вид внутрь здания, возведенного человеческими руками, здания, ограниченного стенами, и жутко было видеть на сумеречном дне этой пропасти застывшие крошечные фигурки людей, похожих на маковые зернышки, рассыпанные чьей-то огромной рукой по дну большого блюда… Неповторимое, уникальное в своей грандиозности и величии зрелище, равного ему нет во всем мире!

Была еще одна винтовая лесенка, ведшая через короткую башенку-основание в пустотелый металлический шар, на котором воздвигнут гигантский золотой крест собора. В этом шаре могут, как сказано в «Бедекере», поместиться двадцать человек, и Саввка, конечно, полез туда; вернувшись, он объявил, что в шаре была несусветная жара, а смотреть некуда.

Выйдя на площадь, мы долго смотрели на грандиозное здание, на купол, казавшийся отсюда таким соразмерно-воздушным, на совсем незаметное основание шара, который блестящей бусинкой уже в самом небе поддерживал маленький золотой крестик. И подумать только, что в той бусинке помещается двадцать человек!

…Мама с Саввкой все еще не возвращались из Финляндии, Саша Черный с Марьей Ивановной давно уехали от нас, и мы оставались одни с бабушкой Анной Яковлевной и тетей Наташей в довольно-таки опостылевшем доме на виа Роверето. Все так же великолепно раскидывала свои перистые листья наша пальма во дворе, так же душно пахли цветущие олеандры, так же лиловы и ароматны были гроздья глициний на стене сарайчика, но все это стало привычным, обыденным. Мы мечтали о новом путешествии, пусть даже это путешествие должно нас привести в неведомую Чехословакию, которую и на карте-то мы не любили рассматривать. Уж очень уныла и однообразна была эта карта — ни тебе больших озер, ни морских заливов, ни уютно изрезанных островов… И название-то малопривлекательное: Чехия, Моравия и Силезия! Что мы о них знали? Только туманные сведения о том, что раньше эти земли входили в состав Австро-Венгерской империи, а после окончания первой мировой войны в 1918 году отделились и образовали самостоятельное государство Чехословакию. Мама решила переселиться туда под влиянием знакомых. По рассказам, жизнь в этой Чехословакии была налаженной и высококультурной — и, что особенно привлекло маму, там жило много русских эмигрантов, к которым власти хорошо относились. Университеты были полны русской

молодежи, попавшей сюда из Константинополя, Болгарии, Югославии и получавшей государственную стипендию, а главное, в столице Чехословакии Праге была открыта русская гимназия с бесплатным обучением.

Мама собиралась ехать из Финляндии прямо в Чехословакию, а мы с помощью бабушки и тети Наташи должны были уложить вещи и ехать туда же, чтобы уже быть там к моменту маминого приезда. Весь план был детально разработан мамой и бабушкой. Мама устроила визы, списалась с некоторыми знакомыми, которые жили в деревне недалеко от Праги с малопривлекательным именем Мокропсы. Рядом с Мокропсами была другая деревня, называвшаяся тоже не особенно красиво — Вшенорами. В этих Вшенорах (Вшивых норах, как мы тотчас их окрестили) была нам уготовлена квартира. Мы должны были поступить в гимназию и жить в пансионе. Мы — это Тин и я. Нина и тетя Наташа будут жить во Вшенорах.

Время переезда из Рима в Чехословакию осталось туманным пятном в моей памяти, так как большую часть его я провела в постели, тяжело заболев малярией. Чтобы как-то сбить температуру, меня заворачивали в мокрые холодные простыни. Когда тетя Наташа вспоминала, какие темные круги были у меня под глазами, она всхлипывала и отворачивалась, и я понимала, что тогда она думала: я умру, как ее бедный мальчик Горик в то далекое, нереальное уже время, когда она была молодая, веселая, в белом платье жила в домике за обрывом, недалеко от нашего большого дома на Черной речке.

Болела я тяжело и очень долго, со странными бредовыми видениями, которые возникали в пылающей от жара голове с такой отчетливостью, настолько реально, что я невольно поражаюсь — моя ли фантазия смогла породить их? Или действительно прав Гойя, утверждая, что «сон разума порождает чудовищ»? «Сон разума»… Нет, то не был сон, так как мой разум, возбужденный, разгоряченный страшным жаром, силой воображения вознесся к той непостижимо высокой грани между жизнью и смертью, откуда видно все — и тщета и суетность всего земного, и величие вечности, и ослепительный свет познания добра и зла.

Выздоровление мое было длительным и тягучим. Дни шли, неестественное лихорадочное возбуждение сменилось апатией, слабость сковала тело. Я безучастно лежала в постели, глядя в потолок, где вместо видений видела лишь давно изученные пятна и трещину, напоминающую течение реки Нила и теперь казавшуюся мне отвратительной. В зеркало мне расхотелось смотреться — щеки впали, живой румянец исчез, глаза потухли.

Есть мне давали все те же рисовые и манные каши, политые малиновым сиропом; вкус этого сиропа до сих пор ассоциируется у меня с болезнью и надоевшим лежанием в постели — до чего же он тошнотворно сладок!

А время нашего отъезда близилось. Тетя Наташа, бабенька, тетя Толя, даже Тин и Нина были включены в хлопоты, с ним связанные. Они пробегали с озабоченным видом мимо моей постели, и мне было обидно, что они не уделяют мне прежнего внимания. Наконец мне позволили встать, и я как сонная муха слонялась по комнате, часто присаживалась от слабости то на стул, то на кровать. Однако через неделю я уже спускалась, держась за перила, по нашей деревянной лестнице на первый этаж и была признана наконец окончательно выздоровевшей.

По бабенькиному плану, мы втроем, совершенно самостоятельно, должны были ехать скорым поездом до Флоренции, там высадиться, провести три дня в знакомом бабеньке пансионе, опять сесть в поезд, ехать в Венецию, там пробыть один день, ехать дальше в Вену и там пересесть на поезд, идущий в Прагу. В Праге нас должен был встретить какой-то мамин знакомый и отвезти местным пассажирским поездом во Вшеноры. Мы подробно записали все бабенькины наставления, которым должны были неукоснительно следовать. Бабенька сделала расписание каждого дня и чуть ли не каждого часа нашего пребывания во Флоренции и в Венеции. Эти города она знала ничуть не хуже, чем свои родимые Евпаторию и Одессу.

Нам были выданы деньги и паспорта с визами, даны подробнейшие инструкции о всех музеях и достопримечательностях, которые мы должны будем осмотреть, расписаны поезда и даже номера трамваев, названы улицы, по которым мы будем ходить. Бабенька не забыла дать нам немного австрийских крон, чтобы мы не умерли от голода в Вене, где нужно было переехать с одного вокзала на другой и провести в ожидании поезда в Прагу чуть ли не целый день.

Деньгами и паспортами заведовал Тин — самый младший, самый маленький из нашей троицы, он был признан бабенькой наиболее рассудительным и достойным чести быть ответственным за легкомысленные и слабонервные создания, какими были мы с Ниной. Деньги были зашпилены английской булавкой во внутреннем кармане его курточки, паспорта находились в другом, специально пришитом к рубашке большом кармане, снабженном пуговкой с петелькой. Нечего и говорить, что Тин невыносимо возгордился и поливал презрением «слабых женщин», доверенных ему «как какие-нибудь бездушные овцы».

И вот путешествие началось. Не помню, как мы распрощались

со знакомыми ребятами с виа Роверето, даже Антонио, обожаемый Антонио совершенно вылетел у меня из головы. Антонио просто исчез, был напрочь выброшен из памяти. Так же спокойно, без всякого сожаления смотрела я из окна поезда на равнины столь любимой Кампаньи, которую покидали мы навсегда, на мелькнувшие тени акведуков, на исчезавшие вдали купола и башни великого города. Все сознание было устремлено вперед, только вперед, к всему, еще не изведанному.

Мы благополучно приехали во Флоренцию, легко нашли бабенькин пансион, и Тин, страшно конфузясь и краснея, поговорил с владетельницей, причем эта почтенная дама никак не могла взять в толк, что он тут самый главный, и все обращалась со своими восклицаниями и экспансивными воспоминаниями к Нине и ко мне. Из нас троих я единственная жила во Флоренции почти три месяца и живо помнила те места, где мы тогда бродили с Саввкой, поэтому главным гидом оказалась я. Мы обегали музеи, о которых говорила бабенька, осмотрели соборы и площади, причем, совестно признаться, главной нашей задачей было не запомнить и усвоить виденное, а лишь точно исполнить бабенькины предписания. К вечеру ноги у нас гудели от беганья по бесконечным музейным залам, улицам и переулкам. Поедая скромный ужин, Тин с удовлетворением вычеркивал из своего списка названия уже виденных мест, и мы, охая и стеная, валились в постели, чтобы назавтра, с раннего утра начать снова беготню по городу. Из-за спешки и из-за немного досадного чувства обязательности всего, что мы делали, божественная Флоренция на этот раз не произвела на меня такого глубокого впечатления. Было только приятно сравнить мое тогдашнее незнание итальянского языка с совершенно свободным и непринужденным теперешним разговором.

В общем, мы несколько уподобились тем туристам, над которыми сами издевались. Мы так же, как они, во что бы то ни стало, чуть ли не рысью пробегали по залам музеев, автоматически вертя головой то вправо, то влево, ничего толком не понимая и ничего не запоминая.

В последний вечер нашего пребывания во Флоренции мы поехали на Фьезоле и совершенно измученные присели на невысокую стену, ограждающую крутой склон холма высоко над городом. Какой-то бродячий фотограф запечатлел нас на этой стене — мы с Ниной сидим, а Тин стоит рядом. На Нине большая белая шляпа с отогнутым впереди полем надвинута по тогдашней моде на самые глаза, которые светятся мрачно-озлобленно. Она горбится, а тонкие руки бессильно лежат на коленях. Я сижу совсем согнувшись, руки тоже сложены на коленях, взгляд

исподлобья мрачен и нелюдим. На мне парадное красное платье, которое на фотографии выглядит черным, что придает еще больше меланхоличности всему облику, на голове красный берет. Мы обе похожи на несчастных сирот, которых силой приволокли и зачем-то посадили на это место. Один Тин выглядит нормально — он стоит, небрежно заложив одну ногу за другую в стоптанной сандалии и смотрит вполоборота на город. Тин говорил, что следил тогда за трамваем, идущим по пьяцца дель Дуомо. Фотография была туманной и уныло-серой, и на ней не получилась та величественная и трогающая душу панорама старого милого города, которая живет в моей памяти как самое нежное, самое волнующее воспоминание юности.

Поздно вечером мы, согласно расписанию бабеньки, сели в поезд, направлявшийся в Венецию. И тут выяснилось не предвиденное бабенькой обстоятельство, повергшее нас в уныние: в скором поезде оказались только вагоны первого класса — и к нашим билетам второго класса требовалось доплатить сумму, показавшуюся нам огромной. Хватит ли денег? Тин лихорадочно раскрыл свой зашпиленный карман и стал перебирать бумажки и медяки, в то время как мы с Ниной с тревогой за ним следили.

— Придется взять из денег, оставленных на Венецию. — пролепетал Тин, — а то ведь высадят…

Бедняга Тин дрожащей рукой отсчитал требуемую сумму. После этого мы успокоились, решив, что авось не умрем от голода в этой Венеции: подумаешь, один день не есть! Но с каким комфортом мы теперь ехали — отдельное купе с мягкими диванами, на спинках вышитые салфеточки, окно большое, зеркально-чистое, развевающиеся тюлевые занавески…

За окном уже стемнело и ничего не было видно, кроме красных искр, снопами вырывавшихся из трубы паровоза и трассирующим полетом проносившихся мимо выхваченных огнями поезда из окружающего мрака деревьев, кустов, будок и шлагбаумов. С трудом оторвавшись от завораживающего верчения за окном, мы с удовольствием прочитали уже знакомую надпись на эмалированной дощечке, прибитой к подоконнику. На трех языках она гласила: «Э периколозо спорджерси, дэфанс де панше ан деор, нихт хинаус ленен!» — что по-русски означало: «Запрещено высовываться наружу!» Три раза повторенное, это грозное предупреждение звучало как заклинание международного бога железных дорог, и мы с уважением подумали, что этот наш вагон скоро промчится через Италию, пронесется через Францию, Германию, и в нем будут сидеть французы и немцы, разговаривать на своих языках и жевать бутерброды: итальянцы — с «салами миланезе», французы,

наверное, с вонючим рокфором, а уж немцы, конечно, с «ландлебервурстом»… Итальянец будет запивать свой бутерброд кьянти из оплетенной соломой бутылки, француз нальет ядовито-зеленую жидкость из плоской фляжки в миниатюрную рюмочку, хитроумно образованную из завинчивающейся пробки, и, притворно-вежливо улыбаясь, маленькими глоточками выпьет ее за здоровье хорошенькой спутницы. Немец на ближайшей же станции спустит оконную раму и зычно потребует пива, которое и будет ему подано в картонном стакане; сдув пену, он задерет голову, поднесет стакан к отверстому рту и выльет в него содержимое… На больших станциях, независимо от страны, через которую едут путешественники, в окна подают общепризнанную международную пищу в виде жареных кур и варенных вкрутую яиц… Я думаю обо всем этом, и мне становится приятно, что вот я тоже, как знатная иностранка, несусь в международном вагоне — и вся Европа стелется у моих ног, вернее, у колес моего вагона.

С этими величавыми мыслями я заснула в не слишком удобной позе, скрючив ноги на пружинистом диване. Мы все равномерно подпрыгивали на пружинах, и было смешно наблюдать это непроизвольное подскакивание — похоже было, что мы лягушки и что сквозь нас пропускают гальванический ток.

Поезд шел по сероватой, покрытой предрассветным туманом равнине; сквозь волны низко стелющегося тумана были неясно видны силуэты бесплотных деревьев, их верхушки, как паруса призрачных кораблей, кругловращательным движением плыли по волнам, не рассекая их, а двигаясь как бы вместе с ними к каким-то неведомым берегам. На фоне туманной стены были отчетливо видны только телефонные столбы с проводами — столбы стояли близко к железнодорожной насыпи, и было видно, как провода все разом слегка спускались вниз и потом стремительно возносились вверх к столбам, и те ударяли по ним с какой-то злорадной силой, как бы пресекая их вдохновенный порыв и бросая обратно на скучную землю. Постепенно туман стал похожим на прозрачную кисею, сквозь которую проступали и предметы, более удаленные от железнодорожной насыпи. Все видимое стало понемногу окрашиваться в розовый цвет, розовым блеском засверкала роса на траве, порозовели поверхность пруда и легкая завеса колышущегося тумана, а в зеркальной поверхности воды отразилось длинное алое облачко, неподвижно стоящее на розовом небе. И вдруг длинные лучи, как красные стрелы, брызнули откуда-то слева — и я поняла, что взошло солнце.

Довольно бесцеремонно я растолкала Тина, и мы спустили тяжелую раму — свежий холодный воздух упруго ударил по

лицам и как бы обмыл их ледяной водой. Ослушавшись строгого приказа железнодорожного бога, мы высунули головы из окна. Всего одно мгновение смотрела я вперед, но этого мгновения было достаточно: я запомнила — поезд мчится прямо на восток, в клубах белого дыма от паровоза встает огромное багровое солнце, а впереди до самого горизонта простирается бесконечно широкая гладь воды… Я оглянулась на Тина и увидела его широко открытые глаза: казалось, он видел мираж, чудо, которое нельзя осознать, которому нельзя верить…

— Ты видел? — прошептала я. — Это же море!..

— Море! — как эхо повторил он. — И мы летим прямо в море!..

Действительно, уже не оставалось сомнения, что безумный поезд сейчас будет поглощен волнами. Сзади оставалась только узкая полоска суши, еще мгновение — и синяя гладь раскинулась под окном и закрыла землю… Как же так — поезд не погружается в воду, а летит дальше — и колеса все так же мерно перестукивают по рельсам над самой ее поверхностью… Мы кинулись в коридор, к противоположному окну, но и там было море, а берег едва различимой полоской виднелся позади. На наших лицах так красноречиво было написано наше недоумение, что пожилой итальянец, стоявший у окна, усмехнулся и сказал:

— Чего вы удивляетесь? Мы едем по насыпи, специально сооруженной через Венецианскую лагуну для проезда поездов в Венецию. Скоро вы увидите город! — и он махнул рукой куда-то в глубь моря.

Чуда никакого не оказалось, но все-таки было очень странно, что вокруг поезда вода, к этому нельзя было привыкнуть. Прозрачная голубоватая вода не была глубокой. Было даже видно главное песчаное дно.

— Метра три-четыре, — сказал Тин.

Я снова высунулась из окна и посмотрела вперед — и увидела поднимавшиеся прямо из воды купола, башни и дома большого города. Без признака земли, без кромки берега, без растительности выросли из воды золотистые стены домов, хаос низких и высоких, плоских и островерхих красноватых крыш, белые мраморные дворцы, ажурные арки, зеленоватые купола, а поезд все шел, золотисто-розовый город приближался и вскоре занял все видимое пространство. Через несколько минут поезд замедлил ход, и мы въехали под темные своды вокзала — самого обыкновенного вокзала с перронами, с киосками, с шарканьем многочисленных ног, с шипением паровозного пара, с возгласами носильщиков, с приветственными объятиями и поцелуями встречающих. Было дико думать, что мы только что мчались

среди голубой теплой воды… Мы почувствовали себя обманутыми и довольно понуро, подталкиваемые и чуть ли не несомые спешащей толпой, вышли на улицу и поняли, что чудо не исчезло… Улицы, как таковой, перед вокзалом не оказалось — был довольно широкий тротуар, а вместо мостовой перед нами предстал довольно широкий канал — мелкие волночки, разбитые веслами лодок, винтами пароходов и катеров, рябили поверхность воды. Каково, у них лодки вместо извозчиков, а катера вместо трамваев!

Бабенька часто рассказывала, как она сама часами блуждала по улочкам, настолько узким, что, подняв руки, можно было упереться ими в противоположные стены домов, и никто не мог толком объяснить, как пройти к той гостинице, где она остановилась. Оказывается, это неправда, что в Венеции одни каналы вместо улиц, — повсюду можно пройти, не замочив в прямом смысле слова ног, так как там, где нет улицы или переулка, обязательно найдется или узенький тротуарчик, лепящийся к стене дома, или проход, вернее, лаз между домами, через крошечные дворики, лестницы с пологими, стертыми от старости каменными плитами. И всюду мостики и мостики, перекинутые через каналы-улицы. Среди них есть большие, широкой аркой поднимающиеся над водой, у них красивые узорчатые перила, по ним снует туда-сюда масса народа. Но есть мостики, так сказать, персональные — узенькие, хлипкие, с шаткими перильцами, только с одной стороны. Мостики перекинуты из двери — или, может быть, даже окна? — одного дома в дверь или окно другого, и по ним соседки ходят друг к другу в гости, носятся дети да пробежит по своим личным делам, задрав хвост, рыжий венецианский кот Базилио, с тем самым выражением разбойничьей морды, что и у его русского сородича кота Васьки.

В этом странном городе, вероятно, плохо решен вопрос с канализацией. Я не берусь утверждать, что ее не было вовсе, но в воде канала плавали арбузные корки, размокшие бумажки и прочий мусор. Да и запах соответствующий, в особенности в узких канальчиках со стоячей водой. В широких каналах другое дело: там большое уличное движение — лодки всех фасонов, под парусами и с веслами проворно шныряют туда и назад, пыхтят пароходики, трещат моторы катеров.

В ожидании, когда откроются двери Дворца дожей, мы долго наблюдаем за лодками с набережной. Лодки перевозят и торговок с корзинами за плечами, в широких юбках и в черных шалях с помпончиками, и мужчин с красными платками на головах, по-пиратски завязанных над ухом, так, что концы свисают на плечо,

и по-городски одетых женщин с сумками. Гребцы не сидят, как обычно, на скамейке с двумя веслами, а стоят на самом краю остроконечной кормы и каким-то непостижимым круговым движением одного-единственного весла, сноровисто гонят лодку вперед, ловко лавируя между остальным транспортом. В знаменитых гондолах катаются только иностранцы с фотоаппаратами и еще какие-то личности, видимо из венецианской знати. Первые без устали снуют от одного борта гондолы к другому, щелкают аппаратами и вообще очень нервно ведут себя. Знатных же венецианцев обыкновенно двое — она в белой шляпе, скромно потупив глаза, опирается на руку мужчины с черными усами, галантно помогающему ей взойти на борт лодки. Гондола длинная и черная, нос ее, постепенно сужаясь, высоко поднимается над водой и заканчивается красиво изогнутой шейкой с украшением на конце. По-видимому, это сооружение придумано еще в дни венецианской славы для удобства тайных свиданий знатных вельмож с прекрасными дамами.

Присев на мрамор ампирной скамейки под стеною дворца, Тин отшпилил заветный карман и тщательно сосчитал оставшиеся лиры и чентезимы. Увы, результат его подсчетов был плачевен. Оставались жалкие гроши, которых никак не могло хватить на развернутую программу бабеньки, по которой мы должны были купить себе съестного, посетить Дворец дожей, залезть на Кампаниллу — высоченную полосатую колокольню напротив дворца, купить там и отослать маме, тете Наташе и самой бабеньке открытки со специальным штемпелем колокольни, съездить на остров Лидо близ Венеции, обойти еще какой-то музей, еще какие-то галереи… И мы решили посетить все эти места, отказавшись от покупки съестного, — ведь завтра к полудню мы уже прибудем в Вену и там чего-нибудь купим за те австрийские кроны, что нам выдала бабенька.

Мы, бодро встав с мраморной скамейки, вошли в роскошный дворец, весь в мраморных кружевах и балкончиках. Залов оказалось так много, что пестрые картины начали мелькать перед нашими равнодушными взорами, не оставляя никакого следа в памяти. Помню только многочисленные натюрморты с рядами висящих вниз головой уток и неестественно розовыми окороками, — они вызывали отдаленное воспоминание о берлинских колбасках. Увы, все это нельзя есть, и мы, не оборачиваясь уже на стены с картинами, чуть ли не рысью неслись по бесконечным коридорам и залам. Один раз мы очутились у какого-то большого окна и увидели ту же, уже знакомую площадь Сан-Марко, видимую на этот раз сверху. Мы

заметили: вровень с нашим окном так близко, что, казалось, стоит протянуть руку — и коснешься его, стоит на верхушке одинокой колонны крылатый лев с разинутой клыкастой пастью — эмблема города Венеции, о которой говорила бабенька. Но лев со своей тощей фигурой на кривоватых лапах был скорее похож на уличную шавку, чем на грозного царя зверей, а выражение его ощеренной морды было так неожиданно комично, что мы отпрянули от окна, давясь неприличным хохотом, и поспешно бросились вон из зала. Нина была особенно смешливой, и на нее часто нападал в самых неподходящих местах неудержимый «дурацкий» смех. При этом она слабела, согнувшись в три погибели, делала два-три неверных шага и падала без сил на любой подвернувшийся стул, кресло или скамейку. Этот ее смех, столь неуместный в чинной, торжественной тишине залов, где иностранцы с глубокомысленным видом рассматривали шедевры мирового искусства, действовал необычайно заразительно на нас с Тином. Я почувствовала, как неудержимая его волна взмывает вверх, заполняя все существо, раздирая как чьими-то пальцами рот и сводя до боли скулы. Голос благоразумия, твердящий, что я покрываю себя несмываемым позором, ничего не смог поделать с этим стихийным безумием. Чем невозможнее была окружающая обстановка, тем яростнее смех завладевал мною. Конечно, венецианский лев вовсе не был так смешон, как нам показалось, но мы хохотали, и чопорные англичане с возмущением и даже с некоторым беспокойством косились на нас.

Веселое настроение, столь неожиданно вызванное гримасой священной венецианской эмблемы, не покинуло нас и во время путешествия на остров Лидо. Мы здорово похохотали там над нелепыми фигурами купающихся иностранцев. По тогдашней моде дамы были застегнуты до самого горла в купальники с длинными рукавами и со штанами, спускавшимися ниже колен. На головах у них были шляпки, ноги обуты в резиновые туфли. Какое удовольствие, спрашивается, недоумевали мы, могли они получить от купанья в таком наряде? Но они жеманно вскрикивали, делая вид, что напуганы крошечными волнами мелкого залива, и кавалеры в таких же закрытых купальниках успокаивали их. «…А в воде, вздев дам за плечи, рой самцов выводит па, — веселился, человече, это — голая толпа!» Очень точно об этом сказал ехидный Саша Черный.

На острове Лидо были только пляжи и несколько отелей с террасами, на которых стояли столики и сидела разряженная публика. Увидев официантов, разносящих по террасам тарелки, мы напустили на себя сытый до отвращения вид и поплелись обратно на пристань, где нас ждал пароходик-трамвай,

рекомендованный еще в Риме нашей всеведущей бабенькой.

Плыть от Лидо сначала по открытой лагуне, а потом по Каналe Гранде — самому широкому из венецианских каналов — было очень интересно. Отсюда было заметно, что Венеция действительно вся окружена морем, — «жемчужина Адриатики» называют ее, и она в самом деле была похожа на желтовато-розовую жемчужину, нежащуюся на волнах голубого бархата. Вода в Канале Гранде была сильно взбаламучена и, казалось, кипела от множества проплывающего транспорта.

Прибыв на пьяцца Сан-Марко, мы обнаружили, что по расписанию нам оставался для обследования только один подъем на Кампаниллу.

Подъем оказался крут, и наши одеревеневшие ноги с трудом ступали по узким ступенькам. Вид, открывшийся с Кампаниллы, сторицей, однако, вознаградил нас. Отсюда была видна вся Венеция. Вечерело, и низко уже стоявшее на побледневшем небе солнце бросало тени от домов на воду каналов. Разноцветные крыши яркими пятнами пестрели на солнце. На некоторых из них были даже разбиты миниатюрные садики, освежая камень своей зеленью. Пьяцца Сан-Марко прямоугольником простиралась под Кампаниллой; на ней кишел народ, казавшийся отсюда скопищем хлебных жучков, деловито снующих взад и вперед на невидимых лапках. И еще одна странность этого города — не было видно ни одного автомобиля, ни одной телеги, ни одного велосипеда, вообще никакого транспорта — одни переходы! Венецианцы даже острили, что единственной лошадью в городе является конь на одном из памятников какого-то всадника, и детей водят к нему для изучения этого животного. У жителей города никогда не возникнет проблем по загрязнению воздуха выхлопными газами, никогда не будет автомобильных аварий, никто не ляжет в больницу с переломанными ногами, некому, да и незачем будет брать штраф за переход улицы в неположенном месте. А какая чистота и домашний уют в венецианских улочках, где старинные плиты стерты ногами пешеходов, где женщины подбирают мусор своими домашними метелками и совками и моют тряпками, как пол у себя на кухне. А какая тишина царит в городе — никаких автомобильных гудков, трамвайных звонков, грохота колес, шума моторов, — люди здесь погружены в райскую первобытную тишину, — наверное, поэтому все без боязни открывают окна, дышат предвечерней прохладой и так много поют тихих и звонких задушевных лирических песен в этом благословенном городе.

Мы спустились на площадь, являвшуюся самым большим сухим пространством города. По сторонам ее расположены были

многочисленные кафе и рестораны с выставленными на панель столиками. «Все-таки в еде есть что-то безнравственное, — подумала я, — такое низменное занятие! И неужели нельзя обойтись без нее? Вокруг такая красота, а эти люди, с плотоядным блеском в глазах, с лоснящимися от жира губами, жуют, глотают, обсасывают кости цыплят с единственной заботой наполнить свои бездонные желудки — какая гадость!» И мы поскорее отошли подальше от столиков и уселись на скамейке напротив Дворца дожей и стали наблюдать за людьми, кишмя кишевшими на площади. Тут было на что посмотреть: туристы всех национальностей и возрастов, в больших шляпах с перьями, в тирольских шапочках без полей, с заткнутой за ленту кисточкой, похожей на бритвенную, в клетчатых картузах, в баскских беретах, в черных котелках и серебристых цилиндрах, восклицания на всех языках мира. Главными же занятиями туристов было фотографирование и кормление знаменитых венецианских голубей. Голуби эти были знамениты не своим внешним видом, который был тот же, что у их сородичей на всем земном шаре, а количеством и беспримерной назойливостью. Они клевали зерна и хлебные крошки прямо под ногами людей, а самые дерзкие отваживались садиться на их плечи и головы. Воркование, треск голубиных крыльев, стук клювов о каменные плиты производили шум, почти заглушавший многоязычный говор и возгласы продавцов сувениров. Для голубей с лотков продавали пакетики с кормом.

От усталости, общей расслабленности и голода на нас опять напал смех.

Удивительное дело — смех! В памяти сглаживаются неприятности, забываются обиды, даже горестные минуты жизни обесцвечиваются и тускнеют со временем, но дружный этот, неудержимый, дурацкий хохот вспоминается ярко, живо, с какой-то радостной, счастливой благодарностью. Сама молодость, беззаботная и ликующая, встает из-под пепла забвения и играя веселит душу, трогает тайные ее, казалось бы одеревеневшие, струны, и они снова звучат юностью и счастьем. Неловко признаться, но для меня этот наш стихийный, беспричинный хохот остался самым трогательным, самым живым воспоминанием о волшебном городе Венеции. А какая горячая нежность к тем, кто смеялся вместе с тобой, какое блаженное сознание взаимного понимания и любви! И благодарности за минуты разделенного счастья, которое ведь тоже — не разделенное другим — не может быть полным…

Я окончательно утратила всякий интерес к каким-либо достопримечательностям, мною овладело одно желание — лечь,

протянуть гудящие ноги и спать, спать! Но, увы, в нашем поезде были только сидячие места, скамейки были твердыми, без всяких подлокотников. В вагоне было темно, еле светил синий огонек ночника, и в его призрачном свете шевелились темные фигуры пассажиров, напрасно силящихся принять удобную позу. Ночь слилась в одно ощущение мучительного, непрекращающегося кошмара.

Я снова погружаюсь в одуревающе-теплое болото, стараясь ни о чем не думать, спать, но глаза сами открываются… За окном темнота, только порой стремительно проносятся световые пятна каких-то огней, — они сливаются в толстые и тонкие, косые и параллельные огненные линии. Чудится мне, что колеса стучат в темпе вальса, и я слышу голосок тети Наташи, напевающей: «Что ты, Ленский, не танцуешь, или Ольгу ты не любишь?!» Голос назойливо повторяет все ту же фразу, и уже не хочется ее слышать, а все слышишь, и колеса все отбивают надоевший темп вальса, а в голосе кружатся огни бального зала, звенят шпоры элегантного офицера — раз-два-три, раз-два-три, и на каждом повороте как бы вспыхивает, развеваясь, бархатное платье его дамы…

Вдруг грохот ударил в уши, а ослепительный свет ножом резанул по глазам — что такое? Поезд стоит, дверь купе распахнута, и в ней мужчина в железнодорожной форме с большой кожаной сумкой через плечо. В его руках фонарь, и яркий свет конусом прорезает темноту, впиваясь в глаза, передвигается по лицам пассажиров. Грубый голос третий раз вопрошает то по-итальянски, то по-немецки:

— Пограничный контроль! Ваши паспорта, билеты!

Граница! — наконец доходит до моего сознания. — Австрийская граница! Наши паспорта с визами, билеты — у Тина… Но где же он? Нина тоже проснулась и с беспокойством оглядывается… И тут мы видим маленькую, скрюченную фигурку в самом углу у окна — ее еле видно из-за чьего-то пальто, свисающего с крючка. В отчаянии мы тормошим бесчувственного Тина, но он только мычит, и голова его бессильно болтается. Мы переглядываемся с Ниной, валим Тина на скамейку, расстегиваем курточку на его распростертом теле, отшпиливаем булавку. В этот момент до затемненного сознания нашего руководителя доходит, что его хотят ограбить. Он яростно и возмущенно отбивается и открывает очумелые глаза… Но документы уже в моих руках, и контролер, что-то бормоча себе в усы, выхватывает их. Все оказывается в порядке.

Скоро поезд опять трогается, но никто не пытается спать. Над дверью тухнет тусклая синяя лампочка, так как неясный утренний

свет уже пробивается в окно. Кто-то отдергивает занавеску, серый рассвет вползает нехотя в купе и освещает нашу помятую одежду и такие же лица.

Старушка напротив вынимает кружевной платочек из своего ридикюльчика и одеколон и вытирает им лицо и руки. В воздухе распространяется удушливый запах гелиотропа. Примеру старушки следует толстый немец. Мы бы с удовольствием последовали его примеру, но, к сожалению, ничего похожего на одеколон у нас нет, и мы только пальцами приглаживаем себе волосы.

Благоухающая старушка итальянка аккуратно разложила на столике на белоснежной салфетке крутые яйца, миниатюрные бутербродики, куриную котлетку на бумажке, конфетки. Мы поспешно отворачиваемся, так как чувствуем болезненные спазмы в пустых желудках. Старушка, конечно, видит наши вытянувшиеся физиономии, но ей и в голову не приходит разделить с нами трапезу.

Поезд останавливается на какой-то большой станции. Из немецкого разговора под нашим окном мы узнаем, что поезд простоит здесь минут двадцать. Странно звучит немецкая речь в наших отвыкших от нее ушах.

— Стоим двадцать минут? — вдруг повторяет Тин. — Тогда я сбегаю с нашей бутылкой на вокзал, хоть воды наберу!

Мы с Ниной смотрим ему вслед, и мне делается немного беспокойно — ведь неизвестно, как долго мы уже стоим и когда пройдут эти двадцать минут… Вдруг толчок, лязг буферов… и наш вагон начинает медленно двигаться вперед… мы уезжаем?! А Тин? И тут мы видим, как он выбегает из дверей вокзала. Ему предстоит перескочить через несколько путей. Как в столбняке я не могу отвести глаз от него. Пронзительное отчаяние, нежность и любовь охватывают меня. Вся сила моей души сосредоточилась во взгляде, устремленном на Тина. Вот Тин рядом со ступенькой последней двери — она так ужасно высоко!.. Он хватается правой рукой за поручень — в левой у него крепко зажата проклятая бутылка.

— Брось! Брось бутылку! — мне кажется, что я кричу, но из спертого горла не выходит ни звука.

Несколько скачков вровень с поездом, и Тин прыгает… Оскальзывается, страшный миг, когда, оледенев от ужаса, я думаю, что он упадет под колеса, но он все-таки как-то вползает на ступеньку…

Мы долго не можем опомниться. Я даю себе слово ни на шаг не отпускать Тина, в то время как он, захлебываясь от азарта, снова и снова рассказывает, что он пережил, когда увидел, что

наш поезд уходит.

Наконец мы приезжаем в Вену. Опять вокзальная сутолока, но мы уже опытные путешественники, весь этот хаос нам нипочем. Яркое солнце слепит усталые глаза. Много машин, трамваи со звоном подкатывают к вокзалу. К счастью, мы сразу видим тот самый номер трамвая, о котором нам говорила бабенька, и влезаем в него. Тин с торжествующим видом вытаскивает свои кроны, платит за билеты, и мы едем через весь город на другой вокзал, с которого вечером идет поезд в Прагу. Мы смотрим во все глаза, но от прекрасного города Вены у меня остаются весьма сумбурные впечатления. Запомнились только широкие чистые улицы, большие площади, великолепные здания, похожие на музеи или дворцы, со множеством выступов, колонн, украшений, зеленоватых куполов, и, главное, высокие раскидистые деревья, обрамляющие почти все улицы; их пышные зеленые кроны, щедро освещенные солнцем, придают городу веселый, праздничный вид. В одном месте трамвай проезжал через большой парк с зелеными лужайками, с клумбами, — извилистый пруд блеснул сквозь зелень, и эти потоки света напомнили мне лучи прожектора, шарящие в морозной мгле по льду Финского залива.

На вокзале мы первым делом узнали, что до поезда в Прагу нам остается три часа, и устремились, ковыляя от усталости и голода, прямо в буфет. Там мы купили огромное кольцо тонкой колбасы, две бутылки лимонада и, дрожа от вожделения, уселись на скамейку в длиннейшем коридоре. Мимо нас сновали люди, но мы на них не обращали внимания.

Но вот мы снова сидим в осточертевшем поезде. В нашем купе сидят с чопорным видом спокойные сытые люди, изредка переговариваясь между собой на совершенно незнакомом нам языке, состоящем, как нам показалось, из одних букв «ш», «ж» и сочетания «рж», — напевное окончание слов явно не гармонировало с обилием согласных, которые резали ухо, привыкшее к музыкальной речи незабвенной Италии. Это была чешская речь, и это были чехи, а может быть, и словаки, — тогда мы не видели никакой разницы между этими национальностями. Мы с любопытством и некоторой опаской рассматривали чехов и прислушивались к их речи. Ведь нам предстояло с ними жить — и как мы будем с ними разговаривать?

В Прагу мы приехали поздно — часов в одиннадцать. Нас встречал совсем незнакомый человек, нашедший нас по описанию бабеньки. Ошибиться было, конечно, невозможно — другую такую троицу на всем вокзале вряд ли можно было найти. Одна Нина еще сохраняла вид, более или менее отвечающий общепринятым представлениям о заграничных путешественниках, — Тина

пришлось чуть ли не выволакивать из вагона, а я едва ковыляла на распухших ногах.

Незнакомец тут же отвел нас в вокзальный ресторан и хотел чем-то покормить, но мы так устали, что отказались от еды и только выпили с жадностью лимонаду.

Загородный поезд, в котором мы наконец очутились, совсем не походил на роскошные заграничные курьерские поезда, в которых мы привыкли ездить. Короткие вагончики с узкими окнами, деревянными площадками и с жесткими желтыми скамьями. На одних вагонах было написано «куржацы», на других — «некуржацы». Мы было сунулись в «куржацы», но там стеной стоял удушливый дым от папирос и трубок, которые курили меланхоличные деды.

Нам пришлось уйти к «некуржацам» — хоть там и был приятный свежий воздух, но все места заняты женщинами с детьми, бабками в платках с помпончиками, на полках громоздились сумки, корзины и прочий багаж.

Через каждые пять минут поезд останавливался, бесконечно хлопали двери, толкались выходившие люди… Наконец наш провожатый сказал нам, чтобы мы приготовились: Вшеноры только полустанок и надо торопиться, чтобы успеть выйти.

Поезд останавливается, и мы поспешно слезаем — ни платформы, ни здания станции нет. Есть длинная, плотно убитая ногами земляная насыпь, нечто вроде дорожки вдоль рельсов. Почти на каждой подножке вагонов стоят кондуктора с желтыми фонарями в руках. Кондуктора хором кричат:

— Дале! — и поезд медленно проходит мимо нас, освещая своими окнами нашу унылую группу.

Вот прошел последний вагон, и все погрузилось в кромешную тьму. Гуськом, чуть ли не ощупью мы двигаемся за нашим провожатым. С дорожки вдоль рельсов мы сворачиваем на дорогу, видимо просто проселочную. Недавно прошел дождь, и дорога была невероятно грязной. В темноте мы ступали по лужам, ноги разъезжались по размокшей глине. Время от времени тусклый фонарь освещал низкие деревенские домишки, туда молча сворачивали черные тени людей, вместе с нами прибывших на этом последнем ночном поезде. А мы все шли и шли… Один раз сбоку блеснула гладь пруда, потом опять поворот куда-то в темноту, а наш проводник все идет впереди, изредка приговаривая:

— Уже близко, сейчас придем…

Ничего себе близко! Пахнет сыростью, прелым листом… Куда он нас ведет?

Довольно близко перед нами светится большое окно. Наш

проводник говорит:

— Пришли!

Мои глаза настолько привыкли к темноте, что кажется — окно висит в пространстве и живет отдельной жизнью, далекой от этой мокрой темноты, с ее слякотью и отчаянием. Как слепые, мы нащупываем калитку, проходим через сад, — наверное, это сад. Наш проводник кричит:

— Наталья Матвеевна, мы приехали!

Неужели я сейчас увижу тетю Наташу?! Распахивается где-то чуть выше дверь, и яркий столб света падает на несколько широких ступенек террасы, выхватив из темноты кусок дорожки и клумбу с белыми поникшими цветами. Черный силуэт рассекает столб света — в дверях стоит тетя Наташа. Она протягивает руки, не то смеется, не то плачет:

— Приехали! Наконец-то!

Не помню, как я очутилась на террасе, — я только чувствовала, как сильные руки тети Наташи обнимали меня, слышала ее милый голос, сквозь слезы повторяющий:

— Веруха! Приехала!

Я вдыхаю ее такой знакомый, родной запах — пахнет немного сдобным тестом. Чем-то вкусным пахнут и ее руки, и пушистые завитки волос на шее, куда я тычусь носом.

Дома! Пусть этот дом совершенно еще незнакомый, пусть он заставлен чужой мебелью. Это все безразлично теперь — ведь здесь тетя Наташа, и одно ее присутствие уничтожает кошмар бесконечного блуждания среди чужих людей, создает теплое ощущение родного дома, уверенность, что сейчас — без всяких слов и объяснений! — тебя обласкают, обогреют, накормят, уложат в мягкую просторную постель.

У меня на глаза навертываются слезы, но я от расслабленности могу только восторженно смотреть в небольшие карие глазки тети Наташи, светящиеся глубокой нежностью и счастьем.

Наша вилла «Боженка» была довольно большим каменным одноэтажным домом с островерхой крышей. Дом стоял в небольшом садике у самого подножия крутого холма, так что казалось, он упирается в него спиной. Холм был невысок, но крут и изрезан оврагами, как щелями, и весь порос лиственными деревьями — кленами, буками.

Дом был разделен на две половины, сообщавшиеся между собой только через террасу. Во второй половине дома жила семья писателя Евгения Николаевича Чирикова. С Чириковым мой отец и мать дружили еще в России. Это был удивительно живой,

жизнерадостный человек. Трудно было определить его возраст: несмотря ни на что, его никак нельзя было назвать стариком. Небольшого роста, всегда подтянутый, худощавый, он держался чрезвычайно прямо, ходил быстро, оживленно жестикулировал и часто смеялся заразительным смехом. Голова его была с сильной проседью, но смешливые глаза светились лукавством и юношеским задором.

Евгений Николаевич обладал большим чувством юмора и пересыпал свою речь шутками и остротами. Иные его остроты были на редкость удачны и метки, особенно когда он избирал своей мишенью наших соседей — медлительных чехов с их склонностью к накопительству и мещанскому образу жизни. Тут доставалось и их наружности, и их неблагозвучному, по его мнению, языку. Конечно, в этом отношении Евгений Николаевич был не прав — чешский язык только при полном незнании или очень поверхностном знании поражает обилием согласных и разных шипящих и горловых звуков. К нему нужно привыкнуть, постичь его премудрости, и тогда становится ясным, что язык этот очень богат и своеобразен, что в нем мало заимствованных иностранных слов, которыми, кстати сказать, изобилует русский язык, а, напротив, много слов древнеславянских, только слегка модернизированных. Но тогда, когда мы приехали и совершенно еще не знали языка, сарказм Евгения Николаевича нам казался вполне уместным, и мы от души потешались над его меткими сравнениями чешских слов с русскими. Иные были в самом деле очень похожи на русские, но имели порой совсем иной, неожиданный смысл, а их сходство казалось некой карикатурой, некрасивым и примитивным жаргоном литературного русского языка. Рассказывалась масса анекдотов, случавшихся с нашими соотечественниками, легко путавшими чешские слова с русскими и наивно думавшими, что стоит слегка исковеркать свой язык, чтобы получился чешский.

Жена Евгения Николаевича, Валентина Георгиевна, элегантная стройная дама, сохранила, как принято говорить, следы былой красоты. В прошлом петербургская довольно известная актриса, она и сейчас производила впечатление играющей на сцене. Ее манеры не были лишены немного неуместного в домашней жизни пафоса и экзальтации.

Валентина Георгиевна представлялась моему воображению в длинном платье начала века, с перетянутой талией и рукавами пуфф, в огромной шляпе с перьями и кружевным зонтиком в руках, этакой дамой высшего света из пьес Чехова или Ибсена. С Чириковыми жили их дочь Новелла (почему не «Повесть»? — вопрошал ехидный Тин), с мужем и маленькой дочерью. Новелла

была молода и хороша собой, с несколько холодным и капризным выражением лица. Чем она занималась, не могу сказать. Муж Новеллы, высокий, красивый человек, хорошо играл на скрипке.

Еще у Чириковых были два сына — младший Георгий, или попросту Гога, и старший Евгений — Женя. Гога был молодой человек, с подвижным красивым лицом, настоящий живчик. Он не ходил, а бегал, говорил быстро, занимательно. А Женя… был инвалидом — у него была ампутирована левая нога, и он ходил на костылях. Такой красивый, молодой, с юношески стройной широкоплечей фигурой, — как он должен был быть хорош, если бы не это увечье полученное им в бытность его добровольцем в рядах белой армии! Как он попал в белую армию, мне трудно сказать и объяснить, — ошибка горячей молодости, неверно понятый патриотический долг… Тогда ведь многие устремились на фронт «спасать Россию». А Жене было всего девятнадцать лет! Я помню его большую фотографию: необычайно красивая, чуть приподнятая в гордом полуобороте голова, с прекрасными темными глазами, горящими молодостью и беззаботной отвагой.

В первый раз я столкнулась с бессмысленным ужасом войны, с косным безразличием, с которым она уничтожала цветущую молодость человека, превращала его в инвалида. В первый раз, не осмысливая, конечно, причин, послуживших ее возникновению, я почувствовала страх и ненависть к войне.

Несмотря на свое увечье, Женя Чириков сохранил жизнерадостность и оптимизм. Трудно было поверить, что он обездолен судьбой, когда он сидел за общим столом и рассказывал что-нибудь забавное. При этом он хохотал так заразительно, что даже из другой комнаты, не зная, о чем рассказывают, человек, слыша эти раскатистые взрыва смеха, невольно тоже начинал улыбаться.

— Ха-ха-ха! — отчетливо, с непередаваемым удовольствием смачно смеялся Женя, и такая ширь, удаль чувствовалась в этом хохоте, что казалось, смеется от всей широкой необъятной души сама наша Родина — добрая, могучая, свободная.

Согласно маминым планам, на вилле «Боженка» оставались тетя Наташа с Ниной, а мы с Тином должны были немедленно поступить в гимназию и жить до ее приезда в пансионе. Об этом уже было заранее договорено с маминым представителем в Праге.

В один прекрасный осенний день тетя Наташа постаралась одеть нас как можно параднее. При дневном свете, в погожий день эта дорога оказалась вовсе не такой длинной и грязной, как в ночь нашего приезда, а очень даже живописной: по ее сторонам стояли хорошенькие каменные дома, называвшиеся здесь виллами. На фронтоне домов красовались затейливо выведенные

названия: «Андулка», «Марженка», «Вера» — все почему-то женские имена. Небольшие садики были тщательно ухожены, клумбы полны цветов, дорожки посыпаны красноватым песком.

Сердца у нас замирали при мысли о неведомых экзаменах, нас ожидавших. Ведь надо было установить степень наших знаний — или незнаний! — для определения нас в тот или другой класс. Несмотря на то что между нами было три года разницы, пребывание в Италии и учение с Марией Ивановной Черной почти совершенно сгладили разницу в летах. Тем не менее было бы довольно нелепо, если бы мы попали с Тином в один класс!

Русская реальная, реформированная гимназия, где нам с Тином предстояло изучать всевозможные предметы, включая французский или немецкий язык (по выбору) и с пятого класса латынь, и два пансиона — мужской и женский — содержались за счет государства. Государство оплачивало все учебные пособия, одежду и питание учеников. Большая часть детей эмигрантов была школьного возраста, но очень много было и переростков, не успевших окончить среднее образование в России. К моменту нашего прибытия в Прагу жизнь гимназии уже была вполне налажена и подчинялась достаточно суровой дисциплине и выработанному регламенту. Она была устроена по образцу чешских гимназий, представляя собой некую смесь гимназий реальных и классических. Из-за латыни русская гимназия имела несколько классический дух и называлась реформированной.

Когда мы вошли во двор, там оказалось только несколько юношей в светлых полотняных гимнастерках и таких же светлых широких штанах. Мы во все глаза смотрели на странные одеяния, похожие на арестантские, и были поражены возрастом и независимыми манерами этих молодых людей.

В директорской нас представили нескольким учителям. Они с интересом воззрились на нас. Им сообщили, что мы дети Леонида Андреева, после чего их интерес еще усилился, и нас с Тином повели экзаменоваться — Тин скрылся в одном помещении с надписью на двери «физический кабинет», кинув на меня жалобно-унылый взгляд, а меня отвели в другую комнату, где некоторое время я посидела в печальном одиночестве. Потом вошел молодой элегантный мужчина с правильными чертами лица и в пенсне со шнурочком, как у Чехова. Как оказалось впоследствии, это был Карцевский, учитель русского языка и литературы. Он с ходу спросил меня, помню ли я рассказ моего отца «Кусака» и могу ли я написать его пересказ?

Помню ли я рассказ «Кусака»? Мне даже смешно сделалось от нелепости и наивности этого вопроса. Уж я-то знала этот рассказ

чуть ли не наизусть… С недоумением посмотрев на учителя, я пробормотала, что помню. Тогда он, с любопытством взглянув на меня, сунул мне в руки тетрадку, перо и с видимым облегчением вышел. Я тотчас уселась и, все еще поражаясь легкости задания, очень старательно, самым своим лучшим почерком постаралась как можно вернее передать содержание этого рассказа. Как и тургеневская «Муму», рассказ заставлял меня горько плакать над участью бездомной собаки, полюбившей людей, которые потом так равнодушно и жестоко предали ее. Уж лучше бы Кусака осталась прежней, не познавшей ласки собакой, — познав любовь и счастье, слишком тяжело вернуться обратно к одиночеству и бесцельности существования. И еще одно чувство я испытывала, читая и перечитывая рассказ «Кусака» — и не только этот рассказ! — безграничное восхищение и благоговейное преклонение перед талантом отца, перед его особенным слогом, метафорами, сравнениями. Каждое его слово непосредственно входило в мою душу и находило в ней живой, страстный отклик. Я не боюсь сказать, что интенсивность этого чувства имела более глубокие корни, чем только восхищение талантом любимого писателя. В ней сказалась родственная связь, кровные узы отцовского духа с моим собственным сокровенным миром. Если бы я писала, я бы писала только так, как мой отец! — думала я, не умея иначе выразить свою глубочайшую, нежнейшую благодарность к этой большой душе, в которой растворялась без остатка моя робкая, несмелая и все же родственная душа.

По русскому языку экзамен был выдержан.

— В дальнейшем вам придется писать по новой орфографии, — вот все, что я услышала от учителя.

С математикой дело обстояло гораздо хуже — я обнаружила такое глубокое невежество в этой области, что грозный Владимир Антонович посмотрел на меня с сожалением. Одним словом, меня определили в третий класс, а Тина во второй. Это было довольно неприятно, так как еще в Берлине я ходила тоже в третий класс… «Что же, все учение с Марией Ивановной Черной пропало?» — думала я. Да и возраст мой был не слишком подходящий для третьего класса — ведь мне уже шел пятнадцатый год!

«Я, кажется, выше всех девчонок», — подумала я с ужасом, в первый раз войдя в этот класс, где буйно носились по партам девочки с косичками и разнокалиберные мальчишки: большинство было небольшого роста и явно подросткового возраста, но некоторые выглядели взрослыми юношами, чуть ли не с пробивающимися усами.

Сначала меня поразила одна девочка своей яркой, я бы даже сказала, цыганской красотой. У нее были настолько черные глаза,

что даже белки казались коричневатыми, а смуглая кожа приобретала у глаз еще более интенсивную смуглоту, так что глаза казались глубокими, бархатными и какими-то горячими, как тлеющие угли. Однако я вскоре убедилась, что за ее красивой внешностью ничего не скрывалось, — никакими способностями Тамара не отличалась, а была самой заурядной девочкой.

Затем мое внимание привлекла высокая — такая же, как я сама! — худенькая девочка-подросток. У нее были довольно большие серовато-зеленовато-голубые глаза. Она была близорука, но очков не носила, только сидела всегда за первой партой, и когда вглядывалась в написанное на доске, то щурилась с видимым усилием и сдвигала коротковатые густые брови неопределенно-серого, «мышиного» цвета. Того же неопределенного цвета были и ее гладкие, не слишком густые волосы. Сначала мне нравился в Тане Варламовой только ее высокий рост — рядом с нею я не казалась себе такой большой и неуклюжей. Но через некоторое время мне стал нравиться и ее тихий, грудной голос, серьезное и вдумчивое выражение глаз, скромная и сдержанная манера говорить и двигаться. Она была задумчива, умна и развита не по годам. По всем предметам у нее всегда стояли круглые единицы (в гимназии была принята четкая система баллов, по которой лучшая отметка была единица, а самая плохая — пятерка), и не было вопроса, на который она не сумела бы ответить. Самые отъявленные лодыри, самые распущенные мальчишки никогда не осмеливались обижать ее. Если в классе случалось какое-нибудь событие, требующее разъяснения, все как по уговору обращались к Тане — Варламова рассудит, Варламова разъяснит, кто прав, кто виноват, Варламова пристыдит или похвалит. Ее суждение считалось единственно правильным и неоспоримым. Таня была очень самолюбива, очень горда и скрытна. Никто не мог похвастаться дружбой с нею, хотя со всеми она была ровна и приветлива, может быть, особенно отличая самых незаметных девочек.

В конце первой четверти меня перевели в четвертый класс, убедившись в моих общеобразовательных знаниях, намного превышавших уровень знаний третьего класса. Так я очутилась в пансионе — заведении, о котором столько начиталась в романах Лидии Чарской, о котором привыкла думать как о некоей тюрьме, где подавляется индивидуальность и всякая свобода духа строгими и бездушными воспитательницами.

Мужской пансион был расположен в низких дощатых бараках, которые так поразили мое воображение еще при поступлении. Угрюмые юноши, скорее взрослые мужи, бродившие тогда по двору, — среди них преобладали почему-то явно выраженные

монгольские типы лица, возбуждавшие недоумение жителей Праги, в простоте души принимавших их не то за японцев, не то за китайцев, — и были воспитанниками пансиона, куда попал и бедняга Тин. Конечно, то были просто российские калмыки, не знаю уж по каким причинам попавшие в таком количестве в пражскую гимназию. Беседовали они между собой главным образом по-калмыцки и по-чешски. С русским языком, а тем более с французским, у калмыков были большие нелады. Как-то Тин, с которым я теперь лишь изредка общалась на переменах, мой дорогой Тинчик, такой весь теперь маленький и забитый, сказал мне с гордостью:

— А я знаю, как по-калмыцки «здравствуй», — наздар!

Я с почтением выслушала его лингвистический пассаж, удивляясь этому воинственному приветствию, от которого так и веяло степными просторами и татарскими ханами, вроде Батыя и Мамая. Каков же был конфуз, когда впоследствии оказалось, что «наздар» вовсе не калмыцкое слово, а самое обыкновенное чешское, с явным славянским корнем: на здоровье.

— Но так всегда говорят калмыки, когда встречаются утром, я и подумал, что это по-ихнему, — оправдывался Тин.

Сама гимназия была расположена в пражском районе Страшнице… «Очень подходящее название, — подумала я, — если принять во внимание все те кладбища, мимо которых надо ехать в эти Страшнице».

А женский пансион находился на противоположном конце города в старом бедном квартале у самого берега Влтавы — Голешовице. Там были кривые улочки, мощенные круглыми булыжниками — «кошачьими головами», как их называли чехи, — низенькие домишки чуть ли не деревенского типа, с маленькими окнами, сплошь заставленными геранью, где замшелые старички и старушки торговали твердыми как железо пряниками, копчеными селедками и оломоуцкими сырками, цвет и запах которых сливался в моем воображении с цветом и запахом рокфора. Старушонки с фантастической сноровкой вели карандашом сверху вниз по столбцу цифр и тут же, никогда не ошибаясь, говорили:

— Итого три кроны сорок семь геллеров!

«Вот бы и мне так», — думала я с почтением.

Улицы, лишенные какой бы то ни было зелени, мостовые, черные от грязи, непросыхающие лужи от почти беспрерывно льющегося мелкого дождя, домишки серые, закопченные… Боже мой, какая разница с сияющим небом Италии, с ее веселыми, неунывающими жителями!

Я долго не могу отвыкнуть от сравнений и сопоставлений с

незабвенной Италией, которая отодвигается все дальше и дальше, как давно приснившийся прекрасный сон, как далекая синяя мечта, которая когда-то была действительностью, а я ее не умела ценить.

Наш пансион был, видимо, в прошлом фабрикой. Справа во всю длину был ряд больших окон, выходивших в небольшой двор-сад — неухоженный, неопрятный, с поникшими голыми деревьями. Слева окон до самого туманного горизонта, а на самом деле до конца помещения — низкие полки с ячейками. Над каждой стояло имя и фамилия пансионерки. Кровати располагались перпендикулярно к полкам в строгом порядке. В этом унылом бесконечном ряду одинаково застеленных серыми одеялами коек явственно чувствовался тот самый казенный дух, каким отличаются военные казармы, дома для престарелых и бедные сиротские дортуары, столь ярко описанные Диккенсом и Ильфом и Петровым. Для полного сходства с домом для туальденоровых старушек из «Двенадцати стульев» на одеялах цвета старой мыши, как говорят французы, не хватало только угрюмой надписи «ноги»… Тюфяки были набиты соломой, той же самой, если судить по их жесткости, были набиты и плоские блинообразные подушки.

Поближе к окнам — длинные столы со стульями, здесь воспитанницы готовили уроки. Близость к окнам помогала мало, так как вставали мы в несусветную рань, на дворе еще не брезжил рассвет, а приезжали из гимназии часам к пяти, и за окнами была та же темень.

Меня ошеломили строгие порядки пансиона — с топорностью роботов мы вскакивали из своих постелей, пробужденные громовым голосом дежурной воспитательницы. Ее рык раздавался одновременно с неожиданно вспыхнувшим, ослепительным, как мне казалось со сна, светом. Зажмурив глаза, мы хватали свои полотенца и умывальные принадлежности и рысью устремлялись в умывалки — холодные и сырые помещения с мокрыми деревянными настилами из узких дощечек на бетонированном полу. Вдоль одной стены был вмонтирован длинный желоб с кранами, из которых била удивительно холодная, прямо-таки ледяная вода. Воспитанницы раздевались до пояса — я долго не могла привыкнуть к их бесстыжести и старалась не смотреть вокруг, — усердно мылились и плескались. От их тел шел густой пар, сырость каплями оседала на холодных стенах. Одетые и подбодренные холодной водой, мы устремлялись на кухню — в одном ее конце была огромная плита, а у стены длинный ряд деревянных некрашеных столов. Все рассаживались в строго определенном порядке, согласно классам, в которых учились, и

дежурные разносили дымящиеся жестяные кружки с кофе, просто чаем или чаем с молоком. Все эти напитки отличались одним общим свойством — они были жидки, безвкусны и пахли распаренным веником. Я предпочитала брать «чай з молоком» — почему-то так его называли младшие девочки, именно с буквой «з» вместо «с». Потом я поняла, что это чешское произношение, и в дальнейшем общении с пансионерками находила все больше примеров засорения русского языка чехизмами, как, например: «наша трамвай ехала медленно», «я сама оставалась дома», «я достала единицу», «я его не рада», «он с нею ходит». Я не могла оставаться равнодушной к этим искажениям и пыталась объяснять неправильности, но вскоре убедилась, что при сходстве языков славянского происхождения ухо быстро привыкает к, казалось бы, несущественным различиям и перестает воспринимать их. Плачевное зрелище, когда взрослый, считающий себя интеллигентным, человек забывает свой родной язык, не научившись хорошо говорить на чужом, не вникнув в его особенности. Такой человек не ценит и не уважает ни свой язык, ни язык той страны, в которой живет.

Собравшись за столом, воспитанницы не садились до тех пор, пока не была прочитана молитва. Обыкновенно ее читала девочка из старших классов, и я каждый раз испытывала чувство неловкости от своего незнания молитв и опасения, как бы это незнание не обнаружилось, — а вдруг воспитательница попросит на этот раз меня прочитать молитву?

Многие девочки с исключительным интересом и вниманием относились ко мне. Я была выходцем из другого мира, я приехала из Италии, у меня был знаменитый отец, живые мать, братья, сестра — целая семья, в то время как у большинства пансионерок родителей не было, или они были далеко, или прозябали где-то без всяких средств. Все были очень бедны, у редкой девочки находилась в копилке хотя бы крона, и счастливую обладательницу этого сокровища считали богачкой. Меня тоже отнесли к этому разряду, видимо, потому, что у меня хватило денег пойти однажды к парикмахеру и остричь волосы: тогда была мода носить короткие, а мне ужасно надоели мои косы.

Это был первый мой самостоятельный, безумно храбрый поступок, и я помню недоумение в глазах Тина, с которым он на переменке уставился на мою голову.

Какая тоска, однако, была в этом пансионе! Вся бывшая жизнь как будто отодвинулась далеко и казалась нереальной. А тут черная пустота вокруг, кто-то насморочно сопит во сне, кто-то кашляет, кто-то вскрикивает дурным голосом: «Я ти дам фацку!..» И кажется мне, что я уже никогда не увижу маму, Савку, тетю

Наташу, Нину, что я здесь брошена, всеми забыта, никому не нужна. Никому не нужна — особенно эта печальная мысль угнетает. Я никого при этом не винила, не обижалась на маму — таких мыслей у меня не было. Значит, так надо, надо терпеть, может быть, я привыкну? Но как можно привыкнуть к серому грязному рассвету, нехотя расползавшемуся по грязным кривым улочкам Голешовиц, когда мы спешим на трамвай № 3.

С громом и скрежетом преодолевая бесчисленные повороты, трамвай выполз наконец на Вацлавске намести и медленно поднимался вверх к мрачному музею. У памятника святого Вацлава надо было пересаживаться на другой. И вот мы едем мимо Дома радио, через площадь-сквер Короля Иржи, радовавшую глаз полуобсыпавшейся, но такой родной листвой деревьев, клумбами с закутанными еловыми ветками розами.

Мои глаза, истосковавшиеся по виду деревьев, по траве, по простой вскопанной земле, пахнущей осенью и немного дымом от сожженных опавших листьев, с нежностью ласкают и этот втоптанный в грязь кленовый листок, и куст золотого шара, который, изворачиваясь, все еще тянет к несуществующему солнцу сломанные красноватые ветки.

Трамвай доезжает до поворота к кондитерской фабрике «Орион».

Бережно ощущая в ноздрях мимолетный лакомый запах, мы пускались вниз мимо Ольшанского кладбища, мимо еврейского, мимо протестантского… Вот и крематорий, с вечно дымящейся широкой трубой, — дым валил зловеще черными клубами и возбуждал странные мысли. С одной стороны — о тщете всего земного, с другой — любопытство и холодно-циничное рассуждение о техническом процессе сжигания покойников. Говорили… но лучше об этом не думать, тем более что трамвай с оглушительным воем заворачивал вправо, проезжал мимо трамвайного депо и останавливался у ворот нашей гимназии.

Первое время в пансионе мне все казалось, что девочки и даже воспитательницы как-то особенно внимательно ко мне приглядываются. Например, мои черные брови показались моим пансионеркам подозрительными, и они даже тайком осматривали мою подушку, думая найти на ней следы краски, которой я должна была, по их мнению, мазать себе брови. Они очень любили слушать рассказы о наших диковинных путешествиях, с большим почтением вслушивались в мои рассуждения в области литературы и искусства. Подбадриваемая их вниманием, я даже читала наизусть пролог «Некоего в сером» из «Жизни Человека». Не знаю, много ли они поняли из моего чтения, но они смотрели на меня как завороженные. Смешно, конечно: мне самой было

четырнадцать лет — и разве я могла подняться в своих представлениях, в своем воображении до той высоты духа, до того отцовского трагизма, которыми проникнуты слова «Некоего в сером» о «быстротечной жизни человека». Но почему же даже в этом возрасте мне были бесконечно близки мятежные порывы творчества моего отца, почему мой дух как бы приподнимал завесу вместе с ним — ту завесу, скрывавшую тайну бытия, и заглядывал по ту сторону со щемящим и замирающим ощущением?

В гимназии было интереснее, хотя многие уроки навевали скуку и неудовлетворение скупыми и маловыразительными объяснениями учителей.

Даже на уроках русского языка и литературы я изрядно скучала, но зато преподаватель чешского языка, а главное, математик Владимир Антонович внушали мне страх.

Я, наверное, представляла собой весьма жалкое зрелище, когда Владимир Антонович, по-медвежьи потоптавшись у доски, в наступившей мертвой тишине суровым голосом провозглашал:

— Андреева, пожалуйте!

Я стояла понурив голову у доски, сжимая в потной руке кусок мела, до тех пор, пока Владимир Антонович с каким-то злорадством, как мне казалось, не произносил роковое слово:

— Садитесь.

Какую необъяснимую смесь стыда, позора и преступного облегчения чувствовала я, когда брела на свое место, в то время как наш «Гризли» (прозвище математика) вытаскивал из-за пазухи заветную свою тетрадочку в черном переплете и тремя легкими движениями пальцев вписывал против моей фамилии какую-то цифру. Не оставалось сомнения, что то была ненавистная четверка, или на гимназическом жаргоне «банан». Геометрия мне больше нравилась — в теоремах было все просто и логично объяснено, и я усваивала их довольно легко, стоило, конечно, приложить немного старания. Но вот старания-то мне и не хватало… Молчаливое страдание в глазах Тани Варламовой, когда она отворачивалась, стараясь из деликатности не увеличивать мои мучения у доски, прожигало меня насквозь мучительным стыдом. Уж лучше бы она меня ругала! Но Таня никогда не ругала — она жалела меня! Вот эта-то жалость и пронзала меня, резала на куски мою совесть, уничтожала напрочь.

Мое унылое прозябание в пансионе, к счастью, скоро кончилось: мама наконец приехала из Финляндии и забрала нас с

Тином домой. На маму произвела очень тягостное впечатление поездка в гимназию мимо всех этих кладбищ и крематория, а наши гимназические бараки не смогли внушить ей должного уважения к «храму науки». Возможно, поэтому Саввку в гимназию не определили, и он оставался дома.

Нельзя сказать, что это было педагогически правильно, так как он лишался, может быть, не идеального, но все-таки систематического обучения, но мы с Тином над этим не задумывались: все, что делала мама, казалось нам не подлежащим никакой критике, совершенно непреложным, и нам дико было слышать, когда кто-нибудь при нас шепотом осуждал маму за ее «болезненную любовь» к Саввке, которая уродует его жизнь.

Очень хорошо помню зимние утра на вилле «Боженка»: мама, Саввка, Нина еще крепко спят. Сонная тишина царит в комнатах — настала та самая глухая пора, когда все живое замирает, почти прекращается деятельность организма, погруженного каждой своей клеточкой в глубокий сон. И в это самое время в спящее сознание начинают вторгаться неприятные ощущения какой-то перемены, какие-то неясные звуки приходят извне, какой-то свет проникает сквозь сомкнутые веки, мешает спать. Инстинктивно отворачиваешься, шевелишься недовольно, но звуки становятся отчетливее, свет резче, сознание возвращается неровными скачками: что за звуки? — ага, это голос тети Наташи. Что за свет? — ага, это тетя Наташа зажгла лампу. Зачем она это делает? Да ведь уже утро, надо вставать, идти в гимназию. И еще не все осознано, еще сонные глаза щурятся на свет лампы, но ноги уже опускаются на пол — и я бреду на кухню. Умывание колодезной водой несколько проясняет затуманенные сном мозги, я начинаю более отчетливо внимать окружающее — вот Тин, тупо уставясь в стену, запихивает себе в рот громадный кусок хлеба с маслом и с трудом его пережевывает. В этот момент бессмысленным своим выражением он напоминает корову, когда та, стоя на лугу и уставившись сонными глазами куда-то вдаль, мерно жует свою жвачку. Обжигаясь, мы пьем какао — оно очень вкусно, но слишком горячо, и на нем образовываются противные морщинистые пенки, которые Тин выплевывает, а я с отвращением проглатываю.

Надо торопиться, об этом твердит обеспокоенная тетя Наташа, о том же стучат назойливо часы с немилосердно быстро движущимися стрелками. Тети Наташи мы как будто не видим, но ее присутствие все время ощущается как олицетворение заботы, беспокойства, желания все приготовить так, чтобы одежда наша, ботинки были чисты и вовремя поданы. И вот все это стало

привычным, незаметным, я даже хотела сказать — обыденным, но это слово жестокое, даже оскорбительное по отношению к тете Наташе. Разве может стать воздух, которым мы дышим, обыденным? Он как нечто само собой разумеющееся, — когда он есть, мы еще можем рассуждать, плох он или хорош, душен или свеж, но попробуйте отнять его или хотя бы уменьшить необходимое для жизни количество… Без воздуха все живое гибнет, но не гибнет ли без ласки и любви и то глубокое, непередаваемое, что есть душа человека?

Тетя Наташа уже держит в протянутых руках наши пальто и шапки, но Тин, чутко прислушиваясь к звукам, доносящимся с улицы, вернее, с дороги, авторитетно говорит:

— Народ еще не прошел!

Народом мы называем рабочих, торопящихся на тот же поезд в 6 часов 42 минуты, на который должны попасть и мы. Минута в минуту, в точно вымеренный час тишина нарушается топотом «народа», — значит, пора нам с Тином выходить.

Редкие фонари не только не рассеивают темноту, но скорее сгущают ее. Дорога неровна и изобилует лужами, которые не успеваешь обойти, и холодная грязная вода окатывает ноги, проникая в ботинки.

В особенности бывало страшно, когда мы с Тином выбегали на финишную прямую — длинную, посыпанную гравием дорожку, идущую к станции в непосредственной близости к рельсам железной дороги. Поезд подходит сзади, из-за поворота уже доносится лязг и грохот, земля под ногами начинает слегка подрагивать, рельсы тонко и нежно звенят. Оглянешься на бегу, — и вот уже вся черная громада паровоза вырастает из мрака с огнедышащей, рассыпающей искры трубой. Грохот и лязг делаются нестерпимыми, в какой-то момент кажется, то вот-вот паровоз тебя раздавит, и хотя ты прекрасно знаешь, что он не сможет этого сделать, так как пройдет рядом, по рельсам, тем не менее какая-то сатанинская сила подкашивает тебе ноги и как бы убеждает свернуть немного, чуть-чуть влево — туда, где прогибаются рельсы под железной, надвигающейся как рок, громадой… Секунда — и паровоз равняется с тобой, дыхнув жаром раскаленных топок, и вот уже мелькают мимо освещенные окна вагонов.

Все медленнее, медленнее движется поезд. Прибавив ходу, мы мчимся вдогонку красному фонарю на последнем вагоне, — поезд останавливается наконец, но мы знаем, как коротка остановка на нашем полустанке. Еще несколько метров — и наши ослабевшие руки вцепляются в поручни, мы вскарабкиваемся на высокую подножку площадки, вагон дергается, и мы

благополучно едем на обвеваемой холодным ветром трясущейся и вихляющейся в стороны площадке последнего вагона. Отдышавшись, мы открываем тугую железную дверь в вагон — теплый воздух, густо насыщенный дымом курящих дедов, захватывает дыхание…

Все пассажиры знакомы между собой, вежливо здороваются друг с другом, причем обязательно называют «пан, пани, слечно», иногда добавляя и титул: пан инженер, пани инженирова (я по наивности сначала думала, что, раз эту даму называют пани инженирова, значит, она и есть инженер по образованию, — не тут-то было! Она оказывается просто жена инженера…). Слечна — это означает барышня — довольно странное какое-то слово. Вообще чешский язык чем дальше, тем больше повергает меня в смущение своими, на мой взгляд, совершенно лишними придаточными словами. По-русски, например, коротко и ясно говорится — я шел, а чехи чего-то прибавляют — шел йсем. Без «я» и с этим непонятным йсем. Причем иногда говорится йсем, а иногда йсме, но бывают случаи, когда этих слов не говорят вовсе. «Когда, почему, зачем?» — ломала я себе напрасно голову. Так же долго я не могла научиться произносить чешское «х» с придыханием, наподобие украинского «г», в то время как чешская речь, казалось, вся состояла из придыханий и этих йсем, йсте, без которых она почему-то никак не могла обойтись. Кроме того, стоило поставить не то ударение или слишком мягко выговорить «е», скажем, в том же «хлеб», как любой чех впадал в оцепенение и ровно ничего не понимал.

На следующей остановке Черношице в вагон входила Таня Варламова. Поселок Черношице считался аристократическим, почти что курортным местом. Там действительно было очень красиво: крутой изгиб под живописными скалами, вокруг зеленые холмы, обрывавшиеся в ее темную гладкую воду. Миновав деревню Мокропсы, поезд въезжал на железнодорожный мост через реку Бероунку, срезая таким образом ее изгиб, и подходил к Черношицам. Деревня Мокропсы служила источником насмешек для всей русской колонии. Во-первых, одно ее название возбуждало веселье, во-вторых, там было множество исключительно свирепых гусей, не дававших проходу ни одному, даже самому мирному, прохожему. В-третьих, там жили наиболее бедные эмигрантские семьи — множество пожилых дам, бывших раньше, возможно, вполне состоятельными, но утративших при тяжелых обстоятельствах весь свой лоск. Они, как правило, ютились с замужними и незамужними дочерьми, женатыми и неженатыми сыновьями в одной комнате деревенского дома, с маленькими окошками во двор, с некрашеными полами, с

примусом, вечно гудящим на кухонном столике, приспособленном из ящиков из-под фруктов, с мебелью, собранной иногда очень ловко и красиво из того же «строительного материала». «Мебель» покрывалась вышитыми салфеточками, разные покрывала скрывали соломенные матрасы, и у аккуратных хозяек комната выглядела даже уютно, в то время как у студентов, составлявших большинство жителей Мокропсов, царила ничем не прикрытая мизерия. Голые матрасы без малейшего намека на простыню бесстыдно показывали свои растерзанные утробы, ящики расползались под тяжестью вечно валяющихся на них адептов науки, грязный, коптящий примус стоял прямо на полу, на единственном столе валялись сальные бумаги от колбасы или селедки, стояли грязные тарелки и кружки.

Вообще русские студенты, вечно голодные и совершенно нищие, пользовались дурной славой — и недаром! Картофельные поля у реки Бероунки часто подвергались организованным набегам студентов. Честные чехи не огораживали свои поля, да я и не думаю, что какая-нибудь изгородь могла удержать молодых, здоровенных парней, движимых лютым голодом. Они перелезли бы, наверное, даже через Великую китайскую стену, если бы она стояла на пути к вожделенной молодой картошечке, искусно печенной после удачного набега на костре, разложенном тут же, неподалеку от места преступления, на берегу тихо журчащей Бероунки. Яблоки, груши и сливы тоже легко добывались у доверчивых чехов, которые обсаживали этими фруктовыми деревьями свои дороги, — о святая простота! Стоило, небрежно прогуливаясь по такой аллее, чуть-чуть подпрыгнуть и — готово! Сочный плод оказывался в руке и запихивался за пазуху, отчего в конце аллеи человек оказывался на диво растолстевшим.

Несчастные владельцы слив и яблок стали нанимать сторожей, которые, зорко всматриваясь в прохожих, ходили по аллеям и дорогам. Но и это не помогало: ведь сторож не может одним взглядом окинуть всю длинную аллею с поворотами. Неминуемо в какой-то момент он отворачивался, или шел назад, или скрывался за поворотом. Вот тогда совершенно невинный молодой человек, только что глубокомысленно смотревший на ходу в раскрытую книгу и вежливо здоровавшийся со сторожем, мгновенно преображался и гигантскими прыжками, которым мог позавидовать сам кенгуру-самец, начинал скакать вокруг дерева, срывая чуть ли не с верхушки самые зрелые плоды.

На полустанке Вшеноры во второй от паровоза вагон «некуржацы» вместе с нами входили сестры Мякотины: Нина, учившаяся со мной в четвертом классе, стройная светловолосая,

коротко остриженная девушка, и Наташа из пятого класса — рыхлая, с длинным волнообразным носом, с двумя толстыми светлыми косами, уныло висевшими вдоль лица. У Наташи была неуклюжая походка. Чулки всегда вились у нее спиралью вокруг ног, и на уроках гимнастики она не могла сделать ни одного, самого пустякового упражнения — висела мешком на кольцах, спотыкалась и падала при беге и служила источником вечных огорчений нашего добродушного Карла Ивановича, учителя гимнастики. При этом она была умной, способной и эрудированной.

Отец Нины и Наташи был профессором, мать, образованная и энергичная дама, держала в ежовых рукавицах своего мужа с большими добрыми голубыми глазами, вечно все терявшего и все забывавшего. Лекции его в Карловом университете пользовались большой популярностью.

Мы встречались с Ниной Мякотиной не только в классе и в поезде, но, бывало, и гуляли вместе с моими братьями по окрестностям Вшенор. Она была большой любительницей поэзии, очень много знала стихов Пушкина, Лермонтова и многих других поэтов, и мы часто, гуляя, читали попеременно любимые произведения. Нина хорошо, «с выражением» читала стихи и на уроках литературы. Когда бывало задано выучить наизусть какое-нибудь стихотворение, учитель обязательно вызывал Нину. Особенно хорошо ей удавалось стихотворение Лермонтова «Умирающий гладиатор». Я восхищалась не только прекрасной декламацией Нины, но также и мужеством, с которым она выступала перед столькими слушателями. Я же оставалась страшно, прямо-таки болезненно застенчивой.

Вообще в присутствии сестер Мякотиных мне было как-то не по себе. Приходилось все время быть начеку и проверять каждое свое слово, чтобы не поймать чуть снисходительный взгляд Нины или недоумевающее выражение на длинноносом лице Наташи. То ли дело Таня Варламова! Каждое ее слово или действие были как бы взвешены на точнейших весах ее ума и души.

Таня была необыкновенно внимательна и к мнению собеседника. Ее серо-зеленые глаза чуть щурились, короткие, пушистые у переносицы брови слегка сдвигались… Это ее внимание как-то особенно подбадривало, порождало желание еще и еще говорить. С нею всегда было очень легко и радостно разговаривать, с нею я совершенно забывала свою стеснительность.

Постепенно я совсем влюбилась в Таню. Иначе это чувство трудно было назвать, так как, когда я ее не видела, все время думала о ней и считала часы до нашего свидания. А когда я

вглядывалась в сумрачно освещенную платформу станции Чернощицы и наконец замечала ее высокую тонкую фигуру, то не могла сдержать счастливой и, наверное, крайне глупой улыбки, которая все ширилась на моем лице, пока длинные ноги моей подруги догоняли вагон и вскакивали на подножку. И вот Таня уже входит в купе, раздевается, аккуратно вешает свое пальто на крючок и садится напротив у окна на место, с большими трудами отвоеванное мною.

На Тане все сидело просто, скромно, красиво самой чистотой и аккуратностью. Во всем ее облике чувствовалась крепкая, постоянная материнская забота. Мне трудно определить конкретно, в чем именно заключались внешние признаки этой заботы. Но, приглядываясь к Тане, я прямо физически ощущала за ее спиной дружную и сильную поддержку семьи, а в ее рассказах о матери, отце и брате чувствовалась глубокая любовь и уважение к ним. Я уже знала, что ее отец был профессором истории в Московском университете и что теперь он преподает историю восточных и западных славян в Карловом университете. Мне ее отец представлялся обязательно в очках, с окладистой бородой, весь заросший густыми волосами на манер Менделеева, и, когда Таня говорила, что пора мне познакомиться с ее родителями и прийти к ним в гости, я заранее робела и пугалась того строгого взгляда из-под очков, которым, по моему мнению, должен был посмотреть на меня Сергей Владимирович при обнаружении моих далеких от совершенства знаний по истории.

Нельзя сказать, что этой зимой мы скучали во Вшенорах. Я уже говорила, что нашими соседями в вилле «Боженка» было семейство Чириковых. Уже одна эта семья, многочисленная и очень деятельная, не позволяла чувствовать одиночество. У радушных и хлебосольных Чириковых всегда кто-то бывал, самовар кипел у них с утра до ночи и за столом собиралось много веселого молодого народа, причем самым молодым и веселым был сам Евгений Николаевич. Он умел замечательно рассказывать всякие случаи из своей прежней жизни на Волге, пересыпая речь остроумными шутками, иногда достаточно солеными, так что я краснела, а он подмигивал мне блестящим черным глазом с таким выражением добродушного лукавства, что на него нельзя было сердиться.

У Чириковых устраивались литературно-музыкальные вечера: муж их дочери играл на скрипке, какой-то мрачный молчаливый студент усердно водил смычком по струнам виолончели — звук получался похожим на самого исполнителя: такой же мрачный и меланхоличный. На рояле играли вперемежку то наша мама, то «мамин доктор» — Альтшуллер: знаменитый сын знаменитого

отца. Удивительно, как он сочетал свои медицинские таланты с нежной, поразительно одухотворенной игрой на рояле. За эту-то последнюю способность мама его и любила.

Почти постоянным посетителем у Чириковых был еще один человек — маленького роста, очень живой и веселый, образованный и эрудированный до такой степени, что походил на живую энциклопедию. Его фамилия была Брей, и он очень смешно рассказывал, как представлялся в обществе слегка подвыпившему Куприну. «Брей!» — сказал наш знакомый с учтивым поклоном, на что Куприн мрачно ответствовал: «Брейся сам, что я тебе — парикмахер?» Вообще я никогда не встречала более остроумного рассказчика. Один раз мы были у Чириковых. Мы расселись на диване, и Брей стал нам рассказывать фильм «Погоня за золотом», или «Золотая лихорадка» Чарли Чаплина. Это было так невероятно смешно, что мы катались по дивану, слезы струились из глаз, а Брей припоминал все новые и новые подробности, изображая в лицах незадачливого беднягу Чарли в суровых условиях Севера. Потом, когда я смотрела в кино этот фильм, сквозь немую игру Чаплина я, казалось, все время видела оживленное лицо Брея, его светящиеся тонким юмором глаза, его меткие слова, которые так точно передавали внутренний мир Чаплина, где смешались воедино смех, грусть, жалость и комизм. Обаятельнейший, талантливейший человек был Брей, и мы все просто влюбились в него, ходили за ним по пятам, все упрашивая, чтобы он рассказал нам еще что-нибудь.

В литературной части чириковских вечеров выступала обыкновенно Марина Ивановна Цветаева с чтением своих стихов. В первый раз я видела перед собой живого поэта, вернее, даже поэтессу, что было, на мой взгляд, совсем уж загадочным, из ряда вон выходящим фактом. Исподтишка, с почтительного расстояния я наблюдала за этим непонятным явлением, думая найти на лице Цветаевой высшую озаренность, печать божественного духа. Я до такой степени была уверена в исключительном, богом данном таланте поэта, что даже не допускала мысли, что этот самый поэт может вести обыкновенную жизнь, заботиться о хлебе насущном, о детях, вести — чудовищное предположение! — хозяйство, готовить суп на примусе, стирать пеленки… И несмотря на то что Марина Ивановна как раз и занималась всеми этими низменными делами — жила в одной из вшенорских хибар со знаменитой мебелью из ящиков, готовила, стирала, — все равно она резко отличалась от обыкновенных женщин и внешностью, и этой неуловимой печатью божественного духа, которую я видела на ее лице.

В моей полудетской памяти она представляется мне целиком

серой. Серо-зеленые глаза, коротко остриженные серые волосы с челкой, сероватое худощавое лицо без всякого румянца, серые платья, красиво облегавшие ее стройную, очень прямо держащуюся фигуру в сером облаке папиросного дыма. Глаза Цветаевой, чуть прищуренные, обыкновенно не смотрели прямо на собеседника, но порой бросали короткие, такие пронзительные взгляды, что я невольно вздрагивала и от неожиданности, и от ощущения, что взгляд этот легко и беспрепятственно проходил сквозь меня, как через какой-нибудь сноп соломы.

У Цветаевой была дочка Аля, толстая девочка с большими голубыми глазами, такими светлыми, что их синева почти сливалась с голубоватыми белками, — они казались белыми, и в них трудно было уловить какое-нибудь выражение, и невольно мне приходило на ум довольно нелестное сравнение Алиных глаз с глазами вареного судака. Несмотря на небольшую разницу в нашем возрасте, мы с Алей не подружились. Я робела перед ней, так как про нее говорили, что она вундеркинд и в своем десяти-одиннадцатилетнем возрасте пишет замечательные стихи. Кроме того, она все время была занята своим маленьким братом Муром, и я ее почти не видела одну. Всегда она толкала перед собой коляску, всегда была нагружена хозяйственными сумками, всегда торопилась и куда-то опаздывала. Я никогда не знала, о чем разговаривать с маленькими детьми и как их занять. А Мур в этом смысле был диковинным ребенком. Несмотря на младенчески пухлое лицо, обрамленное золотыми кудрями, в его прекрасных голубых глазах было странное недетское выражение мудрости и печали, как будто он уже познал всю горечь бытия. Он напоминал мне младенца Христа в руках у Сикстинской мадонны с его недетской трагической печалью на лице.

Стихов Цветаевой, несмотря на все свои старания, я совершенно не понимала: я привыкла к кристально чистой поэзии Пушкина, Лермонтова, где каждое слово было понятно и прямо входило в восхищенную, взволнованную красотой душу, и поэзия Цветаевой, полная неожиданных и странных выражений, сравнений, редко употребляемых слов, порой ею же самой образованных, не могла найти непосредственного отклика в моей душе. Над каждым словом приходилось думать, соображать, что именно хотел сказать автор, воображение уставало, и в душе поднималось некое раздражение против поэта, как будто бы он нарочно издевался над моей непонятливостью. Конечно, я не выражала вслух своих ощущений и делала вид, что, как и все, восхищаюсь стихами Марины Ивановны, в то же время стараясь не смотреть в ее сторону — как бы она своим пронзительным взглядом не разгадала мои мысли.

Иногда собиралось много народу не у Чириковых, а у Альтшуллеров. Вся наша троица обязательно участвовала в этих интересных собраниях, где много говорили, спорили, разговаривали на разные темы, музицировали. Саввка каждый раз брал с собой карандаш и альбом для рисования, и у него набралось много зарисовок особенно интересных и выразительных лиц присутствующих. Однажды мы одновременно нарисовали портрет, вернее, набросок одного скромного, тихого средних лет человека, незаметно сидевшего в углу под лампой, которая удачно, как нашел Саввка, освещала его лицо. Я старалась изо всех сил как можно вернее изобразить все морщины и изъяны нашей модели. Мне очень удалось сходство, и я была страшно поражена, когда мой рисунок был встречен совершенно неприличным, по моему мнению, хохотом присутствующих. Хохот еще больше усилился, когда мой «портрет» сравнили с Саввкиным.

— Ну и братец с сестрицей, насмешили! — говорили все.

Дело в том, что в обоих портретах было большое сходство с оригиналом, но мое произведение явилось злостной его карикатурой. Я состарила беднягу лет на пятнадцать, избороздила его вполне еще моложавое лицо глубокими морщинами, придала его маленьким глазам угрюмое выражение, волосы сильно разредила и посыпала сединой, в то время как Саввкин портрет представлял собой красивого, совсем еще молодого, свежего человека, без единой морщинки, одухотворенного, с блестящими юмором глазами. Смешнее же всего было именно необыкновенное сходство этих двух персоналий, будто бы это был портрет Дориана Грея до и после всех его преступлений.

Наконец унылая зима стала подходить к концу, и все очень оживилось. Дорожки подсохли, за задней стеной виллы «Боженка», где поднимался почти отвесно холм, поросший молодым лесом, запели дрозды — их черные фигурки с желтыми клювами проворно забегали между прутиков кустов и заброшенными клумбами нашего садика. Голые прутики кустов превратились в пышные, ярко-зеленые ветви, а некоторые вместо листьев сплошь покрылись ярко-желтыми цветами. Странно и очень радостно было смотреть на такой куст — совершенно голые, чуть красноватые веточки и эти желтые, на кончиках чуть разрезанные и доверчиво раскрытые лепестки. Чехи, как я узнала потом, называют эти цветы «золотым дождем». В самом деле, очень подходящее название. На клумбе перед террасой распустились темно-лиловые, нежно и сильно пахнущие фиалки.

Мы были так поражены их появлением на, казалось бы, совершенно заброшенной, истоптанной клумбе, что даже окопали ее вокруг и утыкали окружность большими раковинами, совсем как в том незабвенном флорентийском садике.

В пруду, мимо которого мы с Тином ходили на станцию, плавало такое количество гусей, что грязной взбаламученной воды с плавающим гусиным пухом почти не было видно, а на изумрудных лужаечках под надзором маленькой девочки паслись гусята. Цветом своего ярко-желтого пуха они могли поспорить с одуванчиками, которые во множестве цвели всюду. Только за чугунными оградами богатых вилл тщательно ухоженные лужайки не желтели одуванчиками. Видимо, владельцы считали эти милые весенние цветы чем-то некультурным, плебейским. Но так же, как и всюду, по дорожкам и между кустов «золотого дождя» шмыгали озабоченные дрозды, держа в оранжевых клювах толстых червяков.

Канули в прошлое черные декабрьские и январские утра, когда мы с Тином, вслушиваясь в топот ног «народа», в кромешной сырой тьме выходили на грязную дорогу. Теперь, когда мы выходили, уже давно радостно светило солнце и теплый воздух, казалось, весь дрожал и переливался от ликующего чириканья воробьев и более музыкальных их пернатых собратьев, ноги сами несли нас по знакомой дороге, которая уже не казалось длинной. Окна в поезде были совсем спущены, и было весело ощущать, как теплый воздух шевелит и развевает волосы и пахнет то цветущими яблонями, то сиренью, а то просто угольным дымом из паровозной трубы.

Несмотря на весну и начало лета, нам приходилось зубрить уроки, в частности решать непонятные задачи про бассейны, почему-то всегда очень медленно наполнявшиеся из-за коварных труб (в то время как две трубы старательно наполняли бассейн, одна для чего-то выпускала воду, и нужно было совершенно непостижимым способом узнать, когда же проклятый бассейн все-таки наполнится). Мне это казалось совершенно бессмысленным занятием, все равно что решетом воду таскать, и увлечение нашего Владимира Антоновича этого рода задачами тоже было непонятной блажью. Пешеходы из того же задачника, несмотря на то что выходили одновременно навстречу друг другу, тоже никак не могли встретиться там, где им хотелось, потому что один шел очень медленно, а второй мчался со всех ног. Было бессмысленно доказывать, что хорошо и то, что они вообще встретились, ведь при таком аллюре, который развивал второй пешеход, он мог не заметить своего товарища и пронестись мимо. Владимир Антонович плохо разбирался в моих логических доводах и с

отвращением рассматривал неряшливую мою тетрадку, с наспех переписанными у кого-нибудь задачками, произносил своим скрипучим голосом всегда одну и ту же, ставшую знаменитой, фразу:

— Вы что тут ели, Андреева, шоколад или селедку? — и со злорадством, как мне казалось, ставил в своей заветной книжечке ненавистную четверку.

И ничего он не злорадствовал, этот наш страшный математик, — на самом деле он был добрым, хорошим человеком, говорил с занятным одесским произношением такие слова, как кастрюля, планэта, монэта, чем напоминал мне бабеньку Анну Яковлевну. Когда в конце четверти я подходила к нему и, умоляюще глядя в глаза, просила вызвать меня для улучшения отметки, он обязательно соглашался, терпеливо выслушивал мои вызубренные в последнюю минуту формулы и теоремы, выводил спасительную тройку, со вздохом приговаривая:

— Видите, ведь можете же учиться!..

Было большим наслаждением после сидения в душном классе выйти наконец из переполненного трамвая, войти в громадное высокое помещение Вильсоновского вокзала с куполом, резонирующим от выкриков диспетчеров, объявляющих поезда, и окунуться в беспокойную атмосферу отъездов и приездов, которая действует всегда так возбуждающе. Несмотря на то что мы ездили только скверным дачным поездом, останавливающимся «на каждой меже», как говорили чехи, эта вокзальная атмосфера каждый раз волновала меня. Ведь рядом с табличкой, означавшей цель нашего скромного путешествия, стояла другая, на которой было написано «Париж», или «Вена», или «Будапешт»… Я видела перед собой длинные пульмановские вагоны с большими зеркальными окнами, вагон-ресторан и голубой спальный вагон с надписью «вагон-ли», который чехи, к моему возмущению, называли «вагон-литс». За окнами этих международных поездов сидели развалясь толстые бизнесмены, покуривая сигары и даже не глядя на людей, спешащих на пригородный поезд… Ничего удивительного: ведь сейчас их международный бесшумно тронется, все убыстряя ход, мягко простучит по стыкам рельсов и бесчисленным стрелкам привокзальной путаницы путей, потом нырнет в черный зев Вышеградского туннеля и пойдет считать километры, в пыли и грохоте проносясь мимо совершенно им неведомых Черношиц и Вшенор, — прогремит, прошумит, взвихрит мусор и бумажки, и вот уже нет его: накренясь на повороте, он исчезнет, а люди на платформе все еще будут стоять, придерживая шляпы и юбки, смотреть блестящими

глазами вслед…

Довольно часто случалось, однако, что мы вылезали из трамвая слишком поздно. Проклятый трамвай невыносимо тащился, оставалось всего минуты три до отправки нашего пригородного поезда, и мы с Тином и Таней неслись бегом, не сводя глаз с высокой вокзальной башни с этой непонятной птицей наверху, — на башне были громадные часы, и мы как завороженные следили за их минутной стрелкой. Стрелка как будто бы не двигалась, и мы уже радовались, что благополучно поспеваем, как вдруг коварная стрелка делала скачок вперед — и драгоценная минута, на которую мы так рассчитывали, оказывалась уже в прошлом, и не стоило больше стараться бежать, расталкивая неповоротливых прохожих. Тогда, махнув рукой, мы резко переходили на шаг и начинали собирать по карманам мелочь, чтобы купить заветных шоколадных палочек с кофейной начинкой, — они назывались «кофила», стоили крону и были необычайно вкусны. Запасшись ими, мы отправлялись в привокзальный парк и рассаживались там на скамейках. Если все скамейки были заняты, приходилось садиться на стульчики, соединенные между собой железным шестом.

Сидение на таких стульчиках обходилось, в прямом смысле, дорого — специальные, очень зоркие старушки откуда ни возьмись появлялись, требовали десять геллеров, выдавали билетик, только тогда ты приобретал право сидеть сколько вздумается. Мы потом научились вовремя замечать приближение старушки, независимо вставали, отходили и садились подальше, хорошо рассчитывали, что, пока старушка сообразит, куда мы подевались, пока подойдет, мы выгадаем время и пора будет идти на поезд. Сидение же на скамейках было бесплатное, и было очень приятно занять место в тени больших каштанов около искусственного грота — под ним был бассейн, которому искусно придали вид естественного пруда, с растущим по краям тростником и расцветшими кувшинками, плавающими по его поверхности, — даже дикая уточка была обманута, и не стесняясь высиживала своих утят, и занималась их воспитанием, не обращая внимания на людей.

В один чудесный майский день мы с Таней собрались посетить зубного врача, который жил в Добржиховицах — следующей после Вшенор станции.

Мы ехали к врачу прямо из гимназии, и Таня, обедавшая всегда дома, на этот раз должна была остаться без обеда до самого нашего возвращения из Добржиховиц, что, конечно, было учтено заботливыми родителями.

— На моей станции мы должны высунуться из окна, — сказала она, — на платформе будет стоять мой брат с бутербродами, он даст их мне, чтобы я не умерла с голоду…

Мне было страшно любопытно посмотреть на Таниного брата — какой он из себя, этот взрослый студент медицинского факультета, похож ли на Таню, такой же симпатичный или противный какой-нибудь? Противным он, конечно, быть не может — ведь он же брат Тани!

Уже задолго до остановки мы торчали у окна и прежде Тани я увидела своими дальнозоркими глазами высокого человека, всматривающегося в окна проходящих вагонов.

— Вот он, — сказала я Тане, и таинственный ее брат подбежал к нашему окну.

Все произошло очень быстро: он подбежал, сунул Тане пакет с бутербродами, что-то сказал, улыбнулся. Таня машет рукой, мы видим ответный взмах руки, и платформа исчезает за поворотом.

С тех пор, пусть не высказанная никому, даже самой себе, но поразительно упорная мысль прочно угнездилась в моем сознании — как бы поскорее поехать к Тане в гости и увидеть… Нет, это слишком страшно, — хоть бы краем глаза посмотреть еще раз на этого ее брата, Волю.

Но, увы, этому свиданию еще долго не суждено было состояться: в конце мая я заболела скарлатиной в очень тяжелой форме.

Скарлатина в то время считалась очень опасной заразной болезнью, и по заключению врача меня необходимо было изолировать — отвезти в Прагу «на Буловку», как называлась больница для инфекционных болезней.

Я плохо помню, как меня укладывали на носилки, выносили в сад… В памяти остались только яркие лучи света от фар, прощальный взмах маминой руки, и все поглотило вязкое и душное забытье.

Я пролежала шесть дней без сознания, в сильном жару. К счастью, мрачные прогнозы не оправдались, и в один прекрасный день я проснулась совершенно здоровой и в прекраснейшем настроении. Яркий солнечный свет заливал небольшую белую комнату. Скосив глаза, я увидела, что у другой стены стоит еще кровать и незнакомая женщина с улыбкой на меня смотрит. Я хотела приподняться, но не смогла… Может быть, я привязана к постели тысячью невидимых шелковых нитей, как Гулливер в

стране лилипутов? Я могла только ворочать глазами, которые я и уставила на эту женщину, которая сказала что-то на странном языке. И тут я сообразила, в чем дело: я же в больнице. И соседка моя, значит, тоже больна этой детской болезнью, что достаточно странно, принимая во внимание ее далеко не детский возраст. Но я выздоровела, я уже здорова! Я так обрадовалась, что даже слезы выступили на глазах. Женщина, видимо обеспокоенная моими слезами, подошла ко мне, бормоча что-то успокаивающее. И вдруг я поняла — она говорит по-итальянски! Как это, почему, где я очутилась? И снова противное кружение завихрилось у меня в голове — я, что ли, в Италии? А мои губы совершенно автоматически зашевелились, и я ответила женщине тоже по-итальянски:

— Ничего, мне хорошо, это я от радости.

Надо было видеть изумление женщины! Она попятилась от меня, протягивая руку, как бы отталкивая некий призрак, а на лице появилось смешное выражение ужаса, как будто она увидела Всадника без головы, быстро сменившееся радостью, так и озарившей ее простоватое крестьянское лицо.

— Ты итальянка? — воскликнула она.

Мне было неловко ее огорчать, но я ответила по правде, что я русская. Такого ответа бедная женщина уж совсем не ожидала: наверное, она в первый раз слышала, что существует такая нация, — во всяком случае на ее лице появилось выражение полной растерянности.

— Я недавно приехала из Италии. Мы жили почти два года в Риме, — поспешила я объяснить.

— О, Рома! — вскричала моя итальянка. — Я тоже из Рима… — И даже слезы радости сверкнули в ее небольших черных глазах, а руки молитвенно прижались к груди.

Время тянулось томительно долго. Очень скоро я совсем поправилась, встала, выходила и в коридор, и на кухню, но чаще оставалась в обществе моей Джеммы, с которой мы оживленно, на удивление нянек и докторов, быстро-быстро говорили по-итальянски. Оказалось, что она родилась на той самой виа Номентана и тоже знала все лавчонки по дороге на базар и чуть ли не каждого лавочника и продавца.

Всякие визиты были запрещены, и Саввка и Тин появлялись только вдалеке за забором больницы, откуда делали мне достаточно непонятные знаки и гримасы. Все равно было очень приятно видеть родные физиономии братцев, и одновременно было очень обидно, что я торчу здесь за закрытым окном, в то время как они пользуются великолепной свободой, дышат свежим воздухом и вон даже как загорели. Ведь лето было в самом

разгаре, и они, конечно, купались в нашей Бероунке, играли в волейбол…

Братцы принесли мне вышивальных ниток и куски полотна — на них уже были напечатаны рисунки всяких цветов и бабочек. Это занятие меня увлекло. Я лишний раз подивилась маминой мудрости: действительно, время, доселе казавшееся неподвижным, застывшим от скуки и безделия, пришло в движение и стало хотя и медленно, но неуклонно приближаться к желанной выписке. Тем не менее мне очень хотелось еще как-нибудь ускорить движение времени. И вдруг появилась надежда на убыстрение этого процесса.

К нам в палату из другой перевели одну чешку. В вечер своего прихода она с таинственным видом вытащила из сумки какую-то баночку, натерла мазью подошвы своих ног и удовлетворенно залезла под одеяло. Я, естественно, поинтересовалась: что это за мазь и зачем вся эта процедура?

— А для того, чтобы кожа поскорее слезла, — отвечала та. — Хочешь? Только врачам не говори.

— Конечно, хочу! — чуть не закричала я.

Я последовала ее совету, густо намазала себе ноги, завернула поплотнее в полотенца и улеглась в полном восторге.

Когда сестра утром увидела мои ноги, она, всплеснув руками, проворно убежала за врачом. Этот молодой врач, всегда добродушно потешавшийся над моими лингвистическими способностями, на этот раз обрушил на меня целый водопад отборнейших ругательств.

Проклятая кожа на подошвах заживала удивительно медленно. Мне принесли костыли…

Получилось, что меня задержали в больнице еще на две недели сверх срока, — какой ужас! Дома очень беспокоились, заслуженно ругали в письмах, особенно братцы растравляли душу, намекая на тот унылый факт, что лето, пожалуй, уже скоро кончится. Так оно и вышло.

В один из первых, еще не вполне устоявшихся дней занятий пришел в наш зевающий от безделья класс учитель литературы и задал нам сочинение на излюбленную после каникул тему: как я провела лето. Тема прозвучала для меня издевательской иронией. «Постой же, — подумала я, — я тебе опишу свой летний „отдых“!» И, почувствовав прилив сатирического вдохновения, взялась за перо. С отступом времени я стала усматривать в этой злополучной истории множество комедийных ситуаций, происходивших от несоответствия желаемого с действительностью, и заполнила свое сочинение

юмористическими подробностями. Бывают такие счастливые — я не боюсь этого слова! — моменты, когда в уме буквально роятся меткие, уморительно смешные сравнения — они не могут оставить равнодушным человека, наделенного чувством юмора. Что может быть драгоценнее этого редчайшего свойства человека — усмотреть в, казалось бы, совсем не смешной, скорее грустной ситуации юмористическое начало. Странный парадокс — посмеиваясь над незадачливой судьбой неудачника, читатель проникается в то же время глубоким сочувствием, которое, может быть, не было бы достигнуто самым ярким, самым трагичным описанием действительных страданий.

Я вспоминаю с величайшей теплотой и благодарностью некоторые отцовские письма своим родственникам в Орле. Отец тогда только что окончил юридический факультет и жил в Москве в самой настоящей нищите, в убогой полуподвальной квартирке.

«…Забыл совсем, что Вы не имеете представления о моей теперешней внешности. Пышная грива черных волос обрамляет высокое чело. Сияющие умом глаза разбегаются по сторонам. Изнеможенный язык на пол-аршина висит изо рта. На мне чудный, блестящий особенно на локтях — фрак. Хотя он и чужой, но настолько длинен, что на полу после моего прохода остаются две грязные полосы от фалд. Роскошные короткие панталоны, не скрывающие изящного очертания икр, небрежно вздернуты вверх. Прелестные ботинки от Шумахера как бы улыбаются своими поперечными трещинами и грациозно шлепают отвисшими подметками. Нервные люди не выносят этого: „Шлеп, шлеп“, но для здоровых одно удовольствие».

Итак, меня охватил веселый демон смеха, и я в ярких, красках описала свое несчастное лето, со всеми уморительными подробностями, сгущая краски до самой незримой границы гротеска. Получилось действительно смешно, а в конце, уже совершенно развеселившись, я привела фразу одного анекдота — там, на стереотипный вопрос «как вы провели лето?» — один ученик мрачно написал: лето я провел очень плохо, а если раз катался на лодке, так что?

Сдав сочинение, я засомневалась — а что, если учитель примет его как издевательство, насмешку… Может быть, вообще это только мне кажется смешным, а вдруг вся эта затея неприлична, недостойна и меня ждет скверная отметка, что не особенно приятно в начале года, да еще по любимой литературе…

С нетерпением я ждала, когда же учитель принесет сочинения, и каково же было мое ликование, когда, наконец с

дрожью открыв тетрадку, я увидела в конце красную единицу с плюсом! — и приписку учителя: «Автор не лишен чувства юмора!»

Необъяснимые провалы памяти: когда мама точно уехала вместе с Мариной Цветаевой и Саввой из Праги в Париж? Когда Тин, тетя Наташа и я тоже уехали в Париж? Как долго мы оставались во Вшенорах без мамы? Все это мешается у меня в голове, и очень неприятен, томителен этот туман, покрывший непрозрачной, вязкой пеленою тогдашнюю жизнь. Какие-то отрывочные картины местами выступают из тумана прошлого.

Мы едем в Париж! Сначала, по-видимому, мама с Саввкой, с Мариной Цветаевой и ее семьей. К этому времени мама очень подружилась с Мариной Ивановной и с ее мужем Сергеем Яковлевичем Эфроном — это был очень худой, чрезвычайно деликатный, ласковый человек, с огромными светло-голубыми глазами, внимательно глядящими на собеседника. Нам всем было всегда легко и просто в его присутствии. Мне особенно нравился наш «Царь-Голод». С ним я теряла свою всегдашнюю застенчивость. В его внимании не было ни оттенка покровительства, ни снисхождения, которые чувствовались в обращении к нам, подросткам, взрослых, уверенных людей, окруженных ореолом своего возраста, умудренных опытом прожитой жизни, подавлявших своим умом и эрудицией. «Ну, что ты там, глупенькая, говоришь, ты же ничего не понимаешь», — так и слышалось в снисходительном тоне взрослого собеседника, и этот тон моментально охлаждал, разочаровывал, заставлял умолкнуть и поскорее ретироваться.

Марину Ивановну я просто боялась и старалась держаться от нее подальше именно из-за ее острого, внезапного, как удар шпаги, взгляда, беспрепятственно проникавшего в самое нутро. Какой глупой, безнадежно глупой, тупой должна была я ей казаться. Со всех сторон слышалось: «Какая Цветаева умница, какая талантливая поэтесса». Тогда еще не говорили про женщину «поэт», да и зачем это было делать, — как будто бы слово «поэтесса» как-то умаляло, снижало ее поэтический дар, как будто бы только мужчины-поэты достойны столь высокого звания, а женские потуги на этом поприще заклеймены снисходительным словом «поэтесса» — нечто неприятное, непризнанное, так, пописывает себе стишки…. Теперь у нас все поэты, и, боже мой, сколько развелось женщин-поэтов — им несть числа, но как-то незаметно, чтобы эта мужественность повлияла на их творчество…

«Поэтесса»! Да, возможно, это слово выражает женскую

особенность поэтического дара, тонкую эмоциональность, свойственную женщине, ее наблюдательность, специфику ее воображения, творческую интуицию, позволяющую ей понять и видеть все переливы тончайших нюансов, настроений, эмоций. Все то, что называется «эвиг вайблихе» — вечно женственное, чему во веки веков поклонялись мужчины всех времен и народов как чему-то высшему, недоступному их пониманию, но тем более обаятельному и желанному. Зачем же тогда это омужествление, не признается ли этим сама женщина в своей неполноценности, не унижает ли она свое достоинство женщины?

Как же подружились эти две необыкновенные женщины — Марина Цветаева и моя мама, столь непохожие внешне друг на друга, не подходящие, казалось, характерами и судьбами. Марина Цветаева — творческий человек, сама начало и конец, сама горит, сама летит, ей никто не нужен, ничего не надо, ей все подвластно, она же — ничему! А где же тогда женственное начало, где же обыкновенные женские любови, заботы, горе и счастье материнства? И это было у Марины Цветаевой — и любимый муж, и дочь, и сын. И нужно было ей заботиться о них, об их пропитании, обо всем этом быте, трудности которого были усугублены более чем скромным материальным положением.

Мне все было странно — да и не одной мне, наверное: как же это Марина Ивановна сочетает в своей жизни такие два несовместимые понятия, как поэзия и быт, надоедливые, бессмысленные своим убийственным повторением «хозяйственные заботы» — ежедневные, ежечасные. Бедное поэтическое вдохновение в таких условиях должно упрятаться куда-то в самую глубь сознания и сидеть там тихо-тихо, притаившись невидимкой. И все ж таки, невидимый всем, придавленный заботами, глубоко запрятанный под слоем житейского пепла, поэтический дар этот невиданными, таинственными путями просачивается, проникает сквозь толщу житейских дрязг, обволакивает их, разъедает, превращает во что-то несущественное, неважное, второстепенное.

Что же получается на взгляд простой, обыкновенной женщины-хозяйки? Получается, что Марина Ивановна плохая хозяйка, что у нее беспорядок, что она эксплуатирует бедную девочку, с неестественной страстью обожает Мура (остальное семейство в загоне), что она несправедлива, зла. Таково мнение обывателя, а ведь как оно устойчиво. А этот рассеянный вид постоянно углубленного в свой внутренний мир человека, это невнимание, неинтерес, даже презрение к житейским радостям и горестям, воспринимаемым как надоедливое жужжание мухи, отвлекающей от нужных мыслей! Конечно, Марина Ивановна не

сознательно напускала на себя такой вид, она не была ни несправедлива, ни зла, — такова была ее поэтическая сущность, придавленная житейскими рамками.

И вот тут-то становится понятной дружба Марины Ивановны и Анны Ильиничны, моей мамы. Нет, мама не была творческим человеком, сама она не создала ни одного произведения — ни поэтического, ни прозаического, хотя имела несомненный литературный талант, обладала своеобразным стилем, изобиловавшим меткими метафорами, наделена психологическим проникновением в самую суть вещи, беспощадно аналитическим умом. Больше всего мама ненавидела ограниченность, глупость, отсутствие интересов, жизнь «ленивого животного», как она этим словом припечатывала обывателя. Особенно от нее доставалось женщинам, которых в большинстве своем мама не уважала именно за мелочность интересов, за их мнения, основанные на предвзятости, глупости, за расплывчатость характера: «женщина — это аморфная сама по себе масса, принимающая форму сосуда, в который ее вольют», — говорила она. Я не могла в душе не согласиться с нею, так как вспоминала чеховскую «Душечку», эту злую, беспощадную карикатуру на то «вечно женственное», что самое ценное в женщине и что Чехов так зло высмеял в своем произведении, причем так виртуозно завуалировав острие своей сатиры, что большинство даже не видит ядовитого жала, а воспринимает «Душечку» вполне сочувственно, с умильной улыбкой над «добротой» писателя, над его «гуманностью», — дрожь берет от такой гуманности!

Как же должна была обрадоваться мама, когда в этих зачуханных Мокропсах, на задворках Европы, среди кучки случайно заброшенных сюда людей, она встретила Марину Цветаеву — первую женщину, первую яркую личность в образе настоящей женщины, первый талант, воплощенный в женскую оболочку! Только подумать, что после смерти отца, своей мощной личностью заполнявшего все ее сознание, мама очутилась в каком-то духовном вакууме, где не было никого, кто хотя бы отчасти понимал ее, уводил бы от разъедающих душу размышлений о «текучести времени», о своей «несостоятельности» жить без поддержки, воспитывать четырех детей, теперь уже великовозрастных подростков, которые так же неуправляемы, как раки, расползающиеся в разные стороны из опрокинутой корзины.

И вот Марина Цветаева с ее неуемной жизненной энергией, с ее умом и талантом, с ее всеобъемлющей любовью к сыну, с ее «ярлыком» плохой хозяйки и человека с большими

странностями, — разве подобные суждения не были распространены и вокруг Анны Ильиничны? Злая, несправедливая, эксплуатирует бессловесную тетю Наташу, все семейство в загоне, кроме обожаемого Саввы…

Не знаю, конечно, сопоставляла ли себя мама сознательно с Мариной Цветаевой, — по-моему, она просто со всей страстностью и бескомпромиссностью своей натуры прильнула к ней, распознав наконец долгожданного друга и единомышленника. Вот с кем маме не нужно было снижаться в мыслях и в разговоре до уровня собеседника. Вот с кем не надо было бояться, что он не поймет, не оценит, когда, наоборот, он все понимает с намека, с полуслова, вот с кем можно было, окутавшись дымом сигарет, отделиться от земли, воспарить в какое-то высшее пространство.

Маме, однако, не могло нравиться непонимание творчества и самой личности Леонида Андреева. Здесь умная Марина Ивановна составила совершенно превратное, глубоко ошибочное мнение о нем как о «сплошь мозговом» человеке и с равнодушным упорством так всю жизнь и оставалась непоколебимой — была упряма ужасно и никакая сила не могла ее сдвинуть с раз сформировавшейся точки зрения. Но мама примирилась с этим, так как просто полюбила Марину Цветаеву. Бескомпромиссная, благородная в своем доверии, любовь моей мамы к Марине Ивановне доходила до того, что даже на что-то явное, всем известное не слишком лестное свойство или поступок своего друга мама говорила:

— Не верю, не хочу слышать, замолчите!

Удивительное, благороднейшее свойство мамы: не хочу слышать ничего плохого о моем друге… Эх, если бы каждый друг рассуждал так же, провалились бы в тартарары все сплетницы и сплетники мира!

Уехала мама с Мариной Цветаевой из Чехословакии в Париж в 24-м году. Мама хотела отдать Савку учиться в русскую гимназию в Париже, с тем чтобы, окончив ее, он смог бы поступить в Академию изящных искусств — сделаться настоящим художником — «не Репиным, конечно, но художником, никак не меньше Серова», как писала она в своем дневнике.

Со своей всегдашней покорностью я не рассуждала — нужно или не нужно ехать в Париж, хорошо ли мне там будет в той русской гимназии, каково менять уже привычный уклад жизни на совершенно новое, неизвестное. А французский язык, в котором я ничего не смыслю? Неужели предвкушение новизны, желание увидеть знаменитый город, само предстоящее путешествие могли

затмить сожаление о покинутой подруге, о несбывшихся надеждах? В том-то и дело, что легкомыслие молодости не допускало рассуждений о таких глобальных понятиях, как «навсегда», «на всю жизнь», — об этом просто не думалось. Париж так Париж. Мы будем переписываться — вот простая и понятная установка на текущий момент. Самое удивительное, что я даже не помню самого прощания, каких-нибудь последних слов, выражений лиц… Как это могло случиться, до сих пор не понимаю…

Зато помню, как мы ехали бесконечно долго в жестком вагоне третьего класса, в обществе каких-то крестьян из самых дремучих уголков Европы, все бедно, чуть ли не нищенски одетые, с детьми, ни слова не понимающих ни на каком языке, кроме своего собственного, которого опять-таки не понимал никто из окружающих… Что за сила заставляла их покидать родные места и ехать на другой конец света? Этой силой был голод и беспросветная нищета обездоленных батраков.

Этих несчастных вербовали предприимчивые иностранцы, главным образом американцы, для работ на своих фермах, реже на промышленных предприятиях. Они сулили им золотые горы, расписывали необычайно выгодные условия работы: собственный домик с собственным участком земли, заработок для всех членов семьи. «Домик!», «Земля!», «Заработок!»

И они ехали — безграмотные, бесправные! Их размещали на полу вагонов международных экспрессов, высаживали в прекраснейшей столице Европы — Париже, гнали, как гурт скота, по его шумным улицам и проспектам через весь город на другой вокзал, — отупевшие, оглушенные, судорожно сжимая в руках свои жалкие узелки и орущих младенцев, ничего не видя, не замечая вокруг, эти европейские дикари спешили за своими вожатыми, больше всего на свете боясь отстать, потеряться в этом Вавилоне, что было бы равносильно смерти.

«Без языка!» Как тут не вспомнить страшную своей правдивостью повесть Короленко: один как перст, странно и нелепо одетый в какую-то свитку, обутый в лапти, стоит на улице он, а вокруг мельтешат чужие, равнодушные — и какие равнодушные! — люди, говорящие на совершенно непонятном языке. Тому, кто никогда не был хотя бы отчасти в такой ситуации, не понять того утробного ужаса, который овладевает человеком, того отчаяния, той бессловесной мольбы, с которой он смотрит на людей вокруг.

Помню: рассказывали, как бабушка Настасья Николаевна почему-то одна очутилась в Берлине на вокзале. Видимо, она приехала из Москвы, чтобы объединиться с папой, который

находился в одном из своих заграничных путешествий и ждал ее где-то под Берлином. Бабушка очень боялась ехать одна, но ее успокоили, снабдив множеством записочек на немецком языке. На одной было написано: «Когда идет поезд туда-то?» На другой: «Где можно пообедать?» На третьей: «Скажите, пожалуйста, где уборная?» и т. д. Расставшись со своими русскими попутчиками и очутившись в одиночестве на том громадном, бурно кипящем берлинском вокзале, бабушка решила сходить в уборную и сунула прохожему первую попавшуюся записочку — эффект оказался блестящим: бабушку с улыбкой и поклонами подвели к заветной двери с двумя нулями. Прекрасно! Теперь надо было бы спросить, когда и с какой платформы идет поезд в то место, где живет папа. Бабушка нашаривает в сумке записочку и сует ее прохожему. Тот расплывается в улыбке, долго ведет бабушку куда-то. Наконец с поклоном показывает дверь… с двумя нулями. Бабушка машет руками:

— Нет, нет! Я уже была там! — упирается и ни за что не хочет войти, несмотря на уговоры недоумевающего немца.

Пожимая плечами, он удалился, а бабушка стала лихорадочно перебирать записочки — увы, на них почему-то не было русского текста. Все записочки казались бабушке на одно лицо. Бабушка наугад стала показывать то одну, то другую, и ее то водили в ресторан, то подводили к киоску с журналами, то показывали на дверь, которую бабушка уже издали с ужасом узнавала…

Совершенно отчаявшись, бедняга бабушка рухнула на какую-то скамейку и стала плакать. Мимо сновали люди, никто не обращал на нее внимания, прохожие безостановочно бубнили что-то свое, непонятное, — все терзало утомленный слух своей бессмысленностью.

И вдруг среди этого жужжания бабушке послышались до боли знакомые, на родном языке слова:

— Черт возьми, сколько же тут этих немцев!

Бабушка кинулась к ближайшему русскому, обняла его и стала целовать, смеясь и плача от счастья.

Того счастья, какое испытала моя бабушка, тем иммигрантам никогда не доведется пережить: белые рабы, привезенные в трюмах трансатлантических гигантов кораблей в иллюзорный мир свободы и счастья, они будут гнуть спины от зари до зари на фермах своих хозяев, и им не дано будет до конца дней своих хотя бы краем глаза увидеть ту тропинку в поле, по которой бегали они босиком по мягким, прохладным листьям подорожника…

Молодость не любит долго печалиться, не любит подолгу вникать и сочувствовать чужой судьбе, — печальные картины, как будто бы невнимательно, поверхностно замеченные, откладываются, однако, в памяти как в некий альбом для семейных фотографий, наслаиваются одна на другую накрепко, фиксируются, и может настать час, когда человек начнет листать свой памятный альбом, и фотографии прошлого оживают, шевелятся, разговаривают призрачными голосами, улыбаются, плачут горькими, незабытыми — незабываемыми слезами.

Двадцать два часа шел скорый поезд Прага — Париж, и мы почти все эти часы простояли с Тином в коридоре, прилепившись к окну. Ведь мы ехали в том самом поезде, на который столько раз смотрели со станции, пассажирам которого смертельно завидовали.

И мы тоже пронеслись со стуком и грохотом по памятному — мне особенно! — железнодорожному мосту через Бероунку, промчались, чуть накренясь, сквозь взвихренную пыль и бумажки мимо полустанка Вшеноры. Так быстро и так стремительно промчались мы, что не было возможности разглядеть отдельных людей на перроне — все мимо, мимо… «И когда же остановится мой жизненный поезд, до каких пор я все буду проноситься мимо, все мимо?» — прозвучало далеким призрачным эхом у меня в ушах. Мелькнуло видение мутной реки Арно во Флоренции — «и, быстро несясь, колебала река отраженные в ней облака»…

Мелькала за окном живописная земля Чехословакии — железная дорога долго тянется вдоль течения реки Влтавы: тут и скалы, и пороги, и зеленые луга… «Земным раем, родина моя, ты предстаешь передо мной», — слова чехословацкого гимна очень точно выражали красоту земли. Действительно, тут как на иллюстрациях Доре к «Потерянному раю» Мильтона у реки стоят тенистые кущи деревьев, листва пронизана солнечным лучом, светлая, прозрачная вода журча омывает берег. В ушах снова начинает звучать совершенно потрясающая симфоническая поэма Сметаны «Влтава», особенно тот мотив простой, народной, почти что детской песенки, который гениальная фантазия автора переосмыслила в ликующий победный образ мощного, всего в пене и брызгах прибоя речных волн, дробящихся об отвесные скалы, прокладывающих победный путь через теснины к матери чешских городов — к «стобашенной» Праге.

Но вот скучная и продолжительная остановка — граница. Паспорта, таможенный осмотр. Слышится подзабытая немецкая речь.

Ночь. Из вязкой дремоты нас пробуждает лязг колес.

Непривычная тишина, только гулкие чьи-то шаги, отдельные немецкие выкрики эхом отдаются от высоких сводов. Мы с Тином выходим в пустынный коридор. Большой город, множество путей, между ними пустые перроны, надписи — где выход, где подземные переходы, где питьевая вода. А где же название города? Да вот же оно, — громадными буквами мы читаем его в перевернутом виде на стеклянном фронтоне вокзала — Карлсруэ. Мы переглядываемся с Тином, так как вспоминаем, как неприлично разделил Саввка это название на три отдельных слова…

Вдали прошел железнодорожник, который был занят своим всегдашним таинственным, непонятным для нас делом: наклонялся далеко под поезд и постукивал там молотком. «Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом», — так и вздрогнешь от этого видения жуткого кошмара бедной Анны Карениной. Как я ее жалела! Как, оцепенев от ужаса, следила за ее последней поездкой на эту роковую станцию, повторяла в душе каждое ее движение… Ах, зачем она решилась на этот страшный шаг! Ее несчастный детский какой-то жест, когда она поправила сумочку, как перекрестилась, как бросилась… и никого не было рядом, чтобы удержать ее, обнять, утешить, сказать: «Успокойся, милая, потерпи. Все будет хорошо. Ты же такая умница, такая красавица…»

И этот небольшого роста мужичок, со своим почему-то французским бормотанием, что он там делал над этим железом, почему это так невыносимо страшно?

«И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла».

Мне кажется, что здесь Толстой достиг самой вершины своего гениального творчества. Это невозможно читать без слез восторга, восхищения и сожаления.

С тех самых пор, как я, четырнадцатилетней, прочла «Анну Каренину», она в моем представлении настойчиво ассоциируется, как истина, не требующая доказательств, с моей мамой… Умница, красавица — и такая несчастная! Нет, она не покончила с собой после смерти папы. Она осталась жить, и та свеча, при которой она читала полную страданий и горя книгу, продолжала гореть дымным, чадным, то стелющимся — вот-вот погаснет — пламенем, то ненадолго вспыхивающим золотым огнем… Но тает воск, снедаемый огнем, но тает воск!

Свеча Толстого горит рядом со свечой в руке «Некоего в сером». И это воображаемое единство образа как-то еще более

приближает Андреева к Толстому, мою маму к Анне Карениной, делает все творчество Толстого близким, чуть ли не родственным моей сокровенной сущности, моему «Я».

Наконец рассвет — и вот мы уже на границе с Францией. Прочухавшись, смотрим во все глаза — вот она перед нами, прекрасная Франция! В общем, вид достаточно однообразный. Всюду вода, и не понять, где река, где озеро, а где просто зеленый луг. Земля почему-то поделена на квадраты, обозначенные в большинстве своем шеренгами высоких пирамидальных тополей. А вот уже и город Эскалье, как писал нам Саввка, название действительно написано большими буквами… но почему от него стрелка показывает куда-то вниз, в подземный переход? Да это, наверное, вовсе не название города, а надпись «Лестница» — по-французски «Эскалье»? В самом деле на здании вокзала мы видим настоящее название — Нанси! Как был сконфужен Саввка, когда мы ему напомнили пассаж из его письма. Потом-то он, конечно, узнал, какую ошибку закатил.

После Нанси мы уже не отходим от окна: ведь совсем недалеко и Париж.

Наши попутчики тоже смотрят в окна.

— Видите, видите, — говорит один немец, — уже видны пригороды Парижа, скоро увидите Эйфелеву башню!

И вдруг в самом деле, над туманом или смогом, закрывавшим пеленой великий город, мы заметили еле видную перпендикулярную черточку — то была она!

Но бесконечно долго еще наш скорый поезд пробирался к Восточному вокзалу (гар де л'Эст) через целые массивы старых, обшарпанных домов, грязных, с балкончиками, увешанными стираным бельем — «хорошо же оно выбелится в дыму паровозных труб», — подумала я привычно. Почему привычно? Да точно так же мы подъезжали к Берлину, к Праге, к Вене. Всюду были эти закопченные дома, чуть ли не вплотную подходившие к железной дороге, в промежутках между ними уже просто сарайчики из рифленого железа, с жалкими огородиками — что там может расти?

Наконец наш поезд, сильно замедливший ход, искусно извиваясь между стрелками, вползает уже под своды вокзала: из-за голов пассажиров я успела разглядеть на медленно проезжающем мимо нас перроне фигуру нашего Саввки. Люди протаскивают свои чемоданы, толкаются. Мы выходим, вернее, вываливаемся на перрон. Саввка с бессмысленно отсутствующим видом, расталкивая народ, устремился куда-то вдаль.

— Саввка! — орем мы с Тином синхронным дуэтом.

Он останавливается как вкопанный, не понимая, откуда послышался зов, и тут же видит нас. Бессмысленное лицо его озаряется радостной, белозубой улыбкой, в следующий миг Саввка уже тискает меня неуклюжими, сильными руками, хлопает Тина по плечу, по спине так, что тот пригибается к земле, но все сияет и тоже норовит треснуть Саввку по плечу — целоваться у нас не было принято.

Вот мы уже в такси, которое жестом принца Уэльского подозвал Саввка. После лабиринта ничем не примечательных улиц машина внезапно вынырнула на такой ослепительный простор, что захватило дух. Громадная площадь, окруженная невысокими старинными домами, которые не загромождают ее, а, наоборот, делают ее еще шире, просторнее. Посередине площади высокий обелиск, по бокам фонтаны, что-то вроде площади святого Петра в Риме, но вместо громады храма глазам открылся широченный проспект, обсаженный деревьями. Плавно, едва заметно проспект повышался к своему истоку — и в великолепной перспективе, сквозь легкую дымку расстояния белокаменное видение Триумфальной арки предстало нашим восхищенным взорам.

— Ну, как? — горделиво спросил Саввка с таким видом, как будто бы он был хозяином всего этого великолепия.

Он все вглядывался в выражение наших лиц, стараясь уловить то восхищение, тот восторг, которые испытал сам, когда впервые попал в эти места. Наши междометия, а главное, нужное ему выражение наших лиц, наверное, его удовлетворили.

Триумфальная арка вырастала в наших глазах по мере того, как машина приближалась, вернее, возносилась к ней… И вот мы уже объезжаем ее вокруг. Эта площадь Звезды, на которой стоит арка, действительно похожа на звезду с ее расходящимися улицами-лучами. На одной из мощных опор арки барельеф, изображающий Марсельезу: женщина в тунике, с крылатым шлемом на голове, с флагом в руке, повернула вдохновенное лицо назад, к устремленным за нею в одном мощном порыве людям. Она зовет за собой, она поет эту бессмертную песню свободы.

Вдохновенная, прекрасная, трагически-ликующая, призывная мелодия «Марсельезы»! При первых же звуках все существо мое вздрагивает, замирая, на какой-то сладостный, неизъяснимо волнующий миг. Мощная волна восторга, всеобъемлющего счастья заливает глаза слезами, смахивает, как ненужный мусор, все мелочи бытия, поднимает на недосягаемую высоту славы и бессмертия человеческий дух.

…Шаляпин поет «Марсельезу» в папином кабинете, в

квартире «угол Мойки и Марсова поля». Что же это за чудо? Что же это за сила, которая заставила меня, трехлетнюю, забиться под диван в пыль и темноту и там, размазывая по щекам слезы вместе с пылью, плакать жалобно и безутешно? Когда меня извлекли из-под дивана, Шаляпин спросил:

— Что же ты ревешь, чудище африканское?

А я уже успокоилась — ведь страшное пение прекратилось — и, всхлипнув в последний раз, со вздохом объяснила:

— Потому что это так красиво…

И так на всю жизнь: услышу «Марсельезу» — и судорога восторга сжимает горло, а в глазах неудержимо накипают слезы…

…А посередине, у ног Триумфальной арки, пылает неугасимый «вечный огонь» перед гладкой мраморной плитой с гениальными в своей простоте и величии словами: «Здесь покоится французский солдат, павший за родину».

Мама встречала нас на довольно узкой, совсем неинтересной рю Вотье, в очень милой квартирке со всеми привычными атрибутами маминой обстановки. С пианино в ее кабинете-спальне, с расписными чашками богемского фарфора, подвешенными на крючках под полками с посудой на кухне, с папиным рисунком виа Аппиа над диваном и, конечно, чертями Гойи, занимавшими почти всю противоположную стену кабинета.

Улица Вотье была вовсе прозаичной — перед окнами нашего второго этажа красовалась почти всегда стянутая вниз железная штора какого-то гаража, небольшая прачечная портила специфическим мыльным ароматом воздух, так что, как только я вспоминаю наше житье на рю Вотье, сразу знакомый мыльный дух шибает в нос и я вижу почему-то глухой зеленоватый забор, в который упиралась неказистая наша улочка, без всякой освежающей зелени, как, впрочем, и большинство парижских улиц: асфальт, бетон, сплошные дома. Дворов не существует — разве можно назвать двором каменный колодец, где стоят мусорные ящики. Оттуда иной раз слышится истошный, пронзительный, как сирена, зычный от постоянных повторений «Лэ бутэ-э-эй-й!» — что означает «бутылки». Последние «э» и «й», до невозможности растянутые, усиленные эхом, рикошетом отскакивают от стен и мечутся в поисках выхода, терзают слух прислуги и домработниц — ведь во двор выходят окна кухонь, кладовых, других подсобных помещений квартир.

Парадный ход всегда с улицы — там и широкая лестница, иной раз покрытая ковром с медными крепящими прутьями, там бывают зеркала и даже пальмы в кадках. Все чисто, надраено, благопристойная тишина никогда не нарушается ни истошным

криком приемщицы бутылок, ни призывными воплями точильщиков ножей. Сюда никогда не заходят уличные певцы, исполняющие под гитару или мандолину какой-нибудь шлягер, необъяснимыми путями молниеносно распространяющийся по всему Парижу. Мне всегда были милы эти песенки именно потому, что их насвистывали, мурлыкали буквально все жители удивительного города. Чувствовалось трогательное единение, дружелюбные, даже родственные какие-то связи между жителями этого города, с полуслова понимающими друг друга, порой даже и слов им не надо: взглянет, сделает неповторимый, до чего же типично-выразительный жест — и все, пошел себе дальше, а на подвижной физиономии удовольствие оттого, что его поняли как надо, смесь озорного лукавства и добродушного веселья, — и чего только не увидишь на лице этого простого парижанина.

Однажды я слышала, как виртуозно ругались два шофера, когда их грузовики как-то не так съехались. Признаться, я получила большое удовольствие от этой стычки. Они не ругались грубым, отвратительным матом (мата, как такового, во французском языке просто не существует), они чуть ли не с улыбкой на лице сыпали самыми фантастическими сочетаниями — безобидно, весело.

Вскоре мама повела нас, всех троих, в русскую гимназию на рю Доктёр Бланш, — Саввка, среднего роста семнадцатилетний парень, с широченными плечами, стройный, ловкий, с красивым — иначе не назовешь, — правильным лицом, столь похожим на молодое лицо нашего папы. Особенно хороши были у него глаза, небольшие, темно-карие, с очень белыми, даже чуть синеватыми белками. Ничего особенного как будто, но цепкая заинтересованность взгляда, который никогда не бывал сонным и равнодушным, и милое дружелюбие придавали его глазам удивительную красоту. Четко очерченные черные брови («…как траурный бархат оттеняли…», нет, зачем траурный, но в общем Саввка в моем воображении и по описанию Гоголя был похож на младшего сына Тараса Бульбы красавца Андрея), смуглые щеки с румянцем, который только угадывался под смуглотой кожи, придавая ей чудесный оттенок молодости и здоровья, белые, как рафинад, даже как будто чуточку подсиненные, красивой формы зубы, блиставшие из-за резко очерченных губ, освещали его лицо неожиданно теплым, добрым блеском.

В одной из последних страниц папиного дневника он вспоминает свою молодость в Орле: «…в пальто нараспашку, в шитой рубахе, иду по Очному мосту и смотрю на мелькающие

носки блестящих, собственноручно вычищенных сапог. Вечерок. Внизу разливающаяся, полноводная река. И сапоги красивы, и сам я красив — а навстречу плывут тоже молодые и красивые, и где-то церковный звон. И в каждую я влюблен, и каждая смотрит на меня, но глаза у меня вниз или прямо перед собой, и вид строг. От застенчивости и самолюбия, от полного чувства, что я красив и на меня смотрят, — я всегда так ходил: глаза перед собою и выше. Вероятно, я был очень красив, об этом сочинялись местные легенды…»

И я вижу Саввку, как он идет по двору русской гимназии. Глаза у него вниз и прямо вперед и вид строг. И в каждую он влюблен, и каждая смотрит на него… Да, так оно и было: не было во всей русской гимназии девочки, которая оставалась бы равнодушной к Саввке…

Рядом с Саввкой иду и я, покорно, как большой телок, но глаза так и рыщут вокруг, все и вся запоминая и фиксируя. Глаза большие, темно-карие, как у Саввки, и брови тоже, как у него, черные, нос короткий, небольшой, губы толстые, румяные, четко очерченные, все лицо имеет форму правильного овала. «Слишком румяная и слишком здоровая», — думаю я с сожалением, а потом этот ужасный высокий рост, эти большие руки, ноги, — и в кого я уродилась?! Я знаю в кого — в прадеда, отца Якова. Мама рассказывала, что он едва проходил в двери, а когда провозглашал в церкви: «Господу помолимся!» — то его низкий бас заставлял дрожать и мигать лампадки перед иконами. У меня тоже низкий голос!.. И надо же — прадед так нехорошо вмешался в мою наружность. Были бы мальчишки такими здоровыми, а то единственная девчонка — и такая большая…

А Тинчик-то наш! — все такой же маленький, юркий… Но ему только тринадцать лет, он не по летам развит, начитан, хитер, как бес («мелкий бес» — называл его еще папа), необыкновенно предприимчив, проказничает жутко, но хорошо умеет заметать следы.

Тин вовсе не похож на нас с Саввкой. Волосы у него светло-каштановые, глаза светло-карие, чуть-чуть даже зеленоватые. Брови тоненькие. Густые, длинные, чуть загнутые ресницы по-прежнему как бы поддерживают верхние веки. «Хорошее приспособление, — острит Саввка, — у тебя веки как у Вия!» Тин не обижается.

Тина определили в пятый класс, а мы с Саввкой попали в шестой, хотя Саввка и старше, но он ведь школ не посещал и, несмотря на репетиторов, просто до неприличия плохо разбирался в точных науках. Я, впрочем, не намного лучше «знала» эти предметы. К тому же в пражской гимназии я только-

только кончила пятый класс, а тут шестой, да еще с французским языком, да еще с латынью, очень странно выговариваемой на французский манер: вместо Юлиус Цезарь, например, произносилось Жюль Сезар. А уж этот французский пихали повсюду, даже в точные науки. Химия, например, преподавалась на французском языке, причем учебников не было и ученики конспектировали лекции преподавателя. Почти ничего не понимая и стыдясь признаться в этом, я что-то там «записывала». Что это был за изысканный французский язык, можно легко себе представить. И все время мне было стыдно перед одноклассниками — они-то и говорили, и писали по-французски большею часть даже лучше и свободнее, чем по-русски.

Бедняга Саввка тоже безостановочно плавал на уроках, но он легче к этому относился. Ему ни чуточки не было стыдно, когда он бессовестно коверкал какое-нибудь французское слово и все ученики потешались над ним: он смеялся вместе со всеми.

Но зато на русском он потряс однажды всех своим сочинением на тему «Мой любимый поэт». Мне очень жаль, что это сочинение не сохранилось, потому что такое создается единожды, — вдохновение ведь не приходит по заказу. Оно налетает вдруг в какой-то никем не предугаданный, таинственный — почему именно сейчас? — миг, и в ушах начинают звучать те самые, единственные слова. Стройные, отточенные, они целыми строчками встают перед глазами, как будто бы только ждали приказания восстать из темноты и выйти на простор, как будто лежали они в мозгу, как в некоем складе — тщательно упакованные, разложенные по полочкам, перевязанные ленточкой, лежали тихо-тихо, незаметно покрытые пылью, целыми наслоениями пепла от сожженных надежд, рухнувших иллюзий, истлевших мечтаний… Нет, не исчезли они, не забылись — вечно юные, вечно прекрасные, они восстали из пепла, — время не властно, нет для них времени, нет им забвения!

Северянин, Апухтин, Бальмонт — кого только наши с Саввкой одноклассники не называли, щеголяя главным образом своей эрудицией и современными мышлениями. А Савва назвал Пушкина! Он не мог поступить иначе, хотя, что нового, казалось, можно сказать про Пушкина — миллионы статей, научных изысканий, затасканных дифирамбов, целые океаны сентиментальных восторженных слез выплеснуто в литературу. Но для каждого русского рисуется свой, самый близкий, самый родной портрет Пушкина. Он умел грустить, веселиться, как никто другой, не было в душе человеческой такой струны, которую он бы не задел своей лирикой, своей поразительной

мыслью, своим чеканным, из какого-то тяжелого благородного металла, словом. И каждый находит в его творчестве то самое нужное, то единственное, что отвечает его мировоззрению, его запросам, его представлению о жизни, его идеалам. И Саввка написал это так, что дрожал голос нашего учителя Попича, когда он читал Саввкино сочинение в классе, — у того самого циничного Попича, с коричневой от загара лысиной и плутоватыми глазами, дрожал голос, и несколько раз подносил он к глазам смятый платок.

Увы, учебный год кончился плачевно для нас — мы все были оставлены на второй год. Пропали старания репетиторов, пропали деньги — и не малые! — которые платила мама за право учения в гимназии. А главное, пропало драгоценное время. Глубоко запрятанная тоска разъедала душу, обесцвечивала радостные краски жизни. А великолепная молодость кипела во мне, разбрасывая радужные брызги радостного бытия. Конечно, молодость брала верх, и, бывало, я надолго увлекалась чем-нибудь, как, например, ездой на велосипеде или пением нашего двоюродного дяди Коли, внезапно появившегося на нашем скучноватом горизонте в Булони.

Двоюродный брат мамы, он возник в один прекрасный день из эмигрантского небытия и произвел на нас неизгладимое впечатление: мы как раз уныло прибыли из гимназии и, войдя в переднюю, услышали из-за двери в кухню (она же столовая) чей-то мужской голос, называвший нашу маму на «ты» и Аней, — такого человека вообще не могло существовать в природе. Мама раскрыла дверь и сказала:

— Познакомьтесь, это ваш дядя Коля!

И мы увидели стройного молодого человека, с веселыми карими глазами, с небольшими усиками. Он в три счета обворожил всех нас своими рассказами из матросской жизни, он был вольноопределяющимся на миноносце «Дерзком» Черноморского флота. А когда мама спросила:

— Ты все еще поешь, Коля? — и, получив утвердительный ответ, подвела его к пианино, мы сейчас же расселись на диване и приготовились слушать.

Покопавшись в нотах, мама вытащила итальянскую песенку «Окки туркини» («Голубые глаза»). Коля согласно кивнул головой, и мама взяла первые аккорды этой, хорошо нам известной, песни. Коля запел:

— «Окки туркини, колор дель маре…»

Мы окаменели на своем диване — никогда мы еще не слышали так близко настоящий певческий голос. Сильной,

звучной волной голос Коли заполнил слишком маленькое для него пространство маминого кабинета. Его тембр драматического тенора был необыкновенно мягок, лиричен, в нем слышалось обаяние настоящей, столь любимой нами Италии, ее страстность, ее красивая печаль…

Коленька — как мы его немного насмешливо называли — почему насмешливо? Это Саввке, несмотря на всеобщее увлечение дядей Колей, всегда чего-то в нем не хватало, что-то ему мешало безоговорочно его полюбить — или излишняя самоуверенность, или некоторые его взгляды на искусство, вообще на жизнь, даже его умение все делать: он и готовить умел получше иного повара, и шить. Только подумать: нигде портняжному делу не учившись, он сшил себе брюки галифе с таким искусством, что известный в Одессе портной, Шиферзон (рассказывал Коля) сказал: «Да, вот это вещь!»

И рисовать он умел… Может быть, именно в этом, родном Саввке искусстве и было у Коли это «что-то», не нравящееся Саввке? И танцевать: он умел ловко пройтись чечеткой, и мы с восхищением слушали ритмический перестук его подметок. Он танцевал танго, скользя длинными шагами — раз-два медленно, три-четыре-пять — быстро — на чуть согнутых в коленях, почти не отстающих от пола скользящих ногах, с совершенно неподвижной верхней половиной туловища. Коля и нас всех научил танцевать танго, без извиваний и без взмахов рук партнеров — вверх-вниз, как будто они качают насос уличной колонки.

Мама была очарована Колиным пением. Она самозабвенно любила оперное, камерное пение — только эстрадного не признавала, да тогда, собственно говоря, эстрада в теперешнем понимании была в эмбриональном состоянии и иллюстрировала по тем временам достаточно низкие понятия, как, например, цыганщина и джаз-банд…

Мама всегда говорила: «Меня хлебом не корми, а только поставь у рояля хорошего певца и позволь мне ему аккомпанировать!» А тут этот двоюродный братец, у которого и прекрасный голос, и серьезное отношение к вокальному искусству, и большое, упорное стремление сделаться оперным певцом. Тут, наверное, Коля сделал большую ошибку своей жизни — голос его все ж таки не имел той силы, которая могла бы покрыть просторы оперного зала. Мама, конечно, это сознавала, но ей импонировало упорство, с каким Коля шел к своей цели, и она с радостью согласилась служить ему аккомпаниаторшей.

Так и начались почти ежедневные посещения Коленьки. Из маминого кабинета постоянно слышались бесконечные вокальные

упражнения.

— А-а-а! — тянул Коленька вверх, как-то по-особенному дыша и открывая рот. — А-а-а! — спускался он вниз, и так до бесконечности…

Зато с каким восторгом я вслушивалась в арии итальянских и русских опер, в романсы Глинки, Чайковского. Передо мной открывался целый мир неизвестной мне доселе красоты.

Я была польщена, когда Коля попросил перевести тексты нескольких итальянских песен. Мне необычайно нравилась одна (народная ли?) песня: «Фенеста, кэ лючиве, мо нон люче…» — «горел свет в окне, а теперь погас, заболела моя Ненелла, умерла. Теперь ее душа со святыми в райском саду».

Мама сказала мне, что песня эта стала народной после того, как Беллини написал свою «Норму», — это ария из оперы, она вошла в народ, и простой неаполитанец, конечно, и не подозревает об этом: придумал свои слова, на своем неаполитанском жаргоне и поет, когда ему взгрустнется… Я слышала потом оперу «Норма», но этой арии, до боли знакомой, много раз оплаканной, так и не услышала, — не может быть, чтобы мама ошиблась! Наверное, я плохо слушала…

Из Праги летом мы получили телеграмму — у нашей сестры Нины-Ниниши родился сын Митя, и мы все превратились кто в тетю, кто в дядей, а мама стала бабушкой. Это новое звание маме так не понравилось, что она строго-настрого запретила так себя называть.

— Когда Митя заговорит, он будет просто называть меня тетей Аней, — сказала она.

Нина, еще до отъезда мамы в Париж, вышла замуж за студента Володю Капенкина, совершенно неимущего красивого молодого человека, родом откуда-то с Волги. У него был небольшой шрам на лбу, не позволявший ему поднимать одну бровь, что придавало его лицу несколько надменное выражение, твердая походка широкими уверенными шагами, что особенно нравилось маме. Уверенно и твердо ступая, подходил он к маме и целовал ей руку — молча, но с таким достоинством! Мама, однако, не поощряла этого брака. Она предрекала Нине нищенское существование в богом забытых Вшенорах и, зная неприспособленность ее к жизни, отсутствие какой-либо профессии, а значит, и возможности самой зарабатывать, отговаривала Нину от этого шага. Но Нина настояла на своем.

Мы все уехали, а Нинка осталась во Вшенорах, и все вышло так, как предрекала мама: нищенская жизнь, грязная дорога на станцию, бесконечная осень, зима в низенькой хибарке, в

комнатушке прямо с улицы, ведра с водой, вечно коптящий, ревущий примус… Володя возвращался из города последним поездом, — Нина целыми днями была одна. Как должно было быть скучно ей, так любившей беззаботное веселье, смех, красивые платья. «Я не красавица, но я очень хорошенькая», — любила говорить она, любуясь собой в зеркале. И вот теперь у нее ребенок — как она справится с ним, такая неумеха, такая неприспособленная?..

Дядя Коля уговорил маму отправить нас вместе с тетей Наташей на берег Атлантического океана, в небольшой рыбачий городок Сен-Жиль-сюр-Ви, где снимала дачу Марина Ивановна Цветаева со всем своим семейством. Марина Ивановна нашла нам в этом городишке комнату с кухней. Коленька доказал мне, что на океане и в сентябре стоит жаркая погода, — во Франции начало занятий не первого сентября, а первого октября именно потому, что стоит жара. Начало осени — это и жатва, и сбор овощей, а главное, винограда по всей стране. Многие учащиеся старших классов разъезжаются по виноградникам и неплохо подрабатывают, питаясь во время сбора тем же виноградом, — его можно есть в любом количестве.

Мы, услышав про океан, изо всех сил старались во всем угодить маме и помочь тете Наташе. В первых же числах сентября мы отчалили от перрона Западного вокзала и, проведя ночь в жестком вагоне, ранним утром уже ехали по очень унылой, однообразной равнине, где должна была появиться непостижимо прямая черта горизонта — место слияния земного океана с лазурью воздушного. К сожалению, никакой вожделенной черты мы не увидели. Поезд уже вкатил на дрянной вокзальчик этого городишки. С улицы моря тоже не было видно, но уже чувствовалось близкое его присутствие: во-первых, в щелях тротуара, трещинах стен, повсюду виднелся песок — мелкий, почти белый. Он потрескивал под ногами, скрипел на зубах, старался засыпать чахлую «городскую» растительность — жалкие комочки серой травки и такие же серенькие деревца, почему-то наклоненные в одну сторону: от вечного ветра, дующего с океана, как сообразили мы потом.

Транспорта не было, и мы потащились пешком.

Вот и мост через речку со странным именем Ви, что значит Жизнь. Странно, но интересно, наводит на разные размышления. Речка грязная, мутная, и илистое дно почти обнажено. Видя наше недоумение, провожавший нас подросток — мы захватили его на вокзале, и он был рад заработать несколько су — объяснил, что сейчас в океане отлив и потому в реке мало воды.

«Где именье, а где наводненье!» — подумала я, но тут нашим глазам открылась морская бухта, в ней стояло, вернее, лежало — воды-то почти не было! — несколько рыбачьих лодок, баркасов. Кроме этих лодок из грязи и ила торчал грязный металлолом — остов железной кровати, какой-то котел, дырявая кастрюля, а там виден железный стул, вернее, его три ноги… Прямо свалка какая-то, а не бухта. А от открытого моря нас, видимо, отделяет гряда высоких дюн, замыкающих бухту. И все-таки это бухта, — вот причалы, вот кнехты!

А вот и наша «дача» — просто дом в шеренге других домов, выходящий окнами на «набережную». Мы сваливаем как попало свою поклажу, хватаем купальники и бегом устремляемся по набережной, а потом по песчаной дороге под дюнами. Ноги увязают все в том же мелком, почти белом песке. В дюнах просвет, дорога заворачивает туда, небольшой подъем… и безграничный простор океана вдруг открывается перед нами во всей своей величественной красоте! А ветер, пронесшийся через бескрайние просторы Атлантики, напоенный солеными брызгами ее волн, треплет волосы, обвивает вокруг ног платье, вытесняет из груди застоявшийся воздух, наполняет ее своим чистым дыханием. Он уносит печаль, вселяет в душу легкокрылую надежду на вдруг ставшее возможным счастье…

Папа пишет в последних страницах своего дневника:

«…Море и моя любовь к нему!.. Не то, что „вы любите ли сыр“, а самая настоящая, доподлинная, нежнейшая любовь, многолетний роман с возлюбленной, стремления и томления, печаль и отчаяние, мгновения высокой радости и почти чувственного восторга…

И как для верующего слово „бог“, вероятно, чертится какими-нибудь особенными знаками, так для меня особенно писалось и особенно звучало слово „море“. Одно это слово, даже случайное, наполняло целую страницу и так возвышалось над остальным текстом, как Кельнский собор над остальными домами.

И тут закавыка. Почему я не пишу и не могу писать о море? Хочу — и не могу. Кажется уж, „мастер слова“, и порою я сам полно и сильно ощущаю свою власть. Но для моря — нет у меня ни слов, ни красок, ни способности работать, т. е. кропотливо и настойчиво вытаскивать слова-бирюльки и осторожно строить из них воздушные палаццо. Море я должен охватить одним словом, одним вздохом и звуком. Как легко описать чужую возлюбленную и как невозможно свою!»

Наверное, мы — и Саввка, и я, и Тин — унаследовали от отца

эту его любовь к морю. Иначе я не могу объяснить своего состояния, когда после долгой разлуки я снова вижу море. Не могу объяснить, почему моя душа испытывает неизъяснимо-сладостный полет куда-то ввысь, все выше и выше, и я парю, очищенная от земных печалей, а море шумит подо мной и катит свои волны — вечно свободное, вечно прекрасное!

— А, вот вы наконец. Приехали! — услышали мы вдруг близко раздавшийся голос, выведший нас из оцепенения.

Быстро обернувшись, мы увидели Сергея Яковлевича Эфрона. Рядом с ним стояла улыбающаяся Аля. Они вышли, оказывается, из домика, которого мы в своем ажиотаже не заметили. Как могло случиться, что мы пронеслись буквально мимо его крыльца? Мы были так ошарашены, что даже не сразу узнали отца с дочерью. Впрочем, их и немудрено было не узнать. Если прежде они были белокурыми, то сейчас превратились в альбиносов, настолько обесцветило солнце их волосы. Этот белый цвет волос резко контрастировал с сильно загорелым лицом, на котором опять-таки резко выделялись, одинаковые у отца и дочери, большие светло-светло-голубые глаза. Глаза казались белыми на негритянском лице. Узнав их наконец, мы пришли в восторг от их вида. «Что может быть красивее, — восклицал Саввка, — когда под гладкой, бронзовой кожей, политой еще вдобавок морской водой, переливаются мускулы! А какую особенную выразительность приобретают глаза, — они освещают все лицо! А зубы-то! Как вечные снега высочайших гор, освещенные солнцем…»

Пока мы охали и ахали, восхищаясь загаром Эфронов, в дверях домика показалась Марина Ивановна, и мы снова замолкли; всегда смуглая кожа Цветаевой приобрела на море интенсивно бронзовый оттенок, еще более густой, чем у ее блондинистых мужа и дочери. И на этом сухощавом тонком лице до чего же красиво светились ее зеленые, чуть прищуренные глаза!

Все очень дружелюбно встретили нас. Особенно обрадовалась Аля и тотчас же пошла переодеваться в купальник.

Нам очень понравился домик Цветаевых. Во-первых, он стоял на самом краю дюн, чуть ли не на пляже. Что и говорить, идти к морю было недалеко! Во-вторых, ветер с моря уносил весь отвратительный дух гниющей рыбы. В-третьих, домик был очень светел и мил — деревянный, сделанный из гладких, отполированных бревен и досок — точно такие выносит морской прибой на берег, — бог знает, сколько времени носились они по волнам, бог знает, какой корабль потерпел крушение далеко от своей земли… На чистом полу из этих досок, до того

истонченных, даже изъеденных соленой водой океана и солнцем, что связующая ткань древесины почти исчезла и явственно стала видна сама структура дерева — концентрические его круги, все сухожилия сучков, зримо проступающих на поверхности, извилины, трещины, — вся многострадальная жизнь дерева представала перед глазами. На этом полу, за створками открытой двери, по углам виднелись миниатюрные барханчики из мельчайшего песка, принесенного ветром. Казалось, весь мир состоял здесь из трех компонентов — солнца, воды и песка — бог мой, сколько песка! Обвеваемый, продуваемый океанским ветром, домик чуточку звенел, как дека дорогой гитары.

Море, однако, было далеко, — чуть ли не километр тянулась полоса твердого и гладкого, как теннисная площадка, сырого песка, расставленных на вскопанном ногами сухом песке кабинок из плетеных камышей, с парусиновыми чехлами, — до первых волн моря, видневшихся белой чертой прибоя. Это был отлив, который здесь, на плоском берегу Вандеи, достигает большой силы.

Мы дружно добежали до воды. Какое наслаждение нестись босиком по этому гладкому, твердому, прохладному песочку!

Наскоро выкупавшись — Аля нас предупредила, что скоро начнется прилив, и если мы хотим построить «крепость» из песка на его пути, то должны поторопиться. Мы, вооружившись принесенными Алей лопатками, стали с необыкновенной энергией копать сырой песок и делать «крепость», просто большую кучу — как можно выше!

В азарте мы забыли про море, а оказывается, волны коварно подкрадывались к нам, и вот уже первая ажурная пена лизнула мою пятку. Следующая залила ноги, а дальнейшие начали размывать нашу постройку… Мы засуетились, затоптались на своей куче, заделывали брешь в ее стене, но накатывала новая волна, и целый кусок ее обваливался и тотчас же исчезал, размытый, уничтоженный злорадной волной. Давно уже мокрые, выпачканные, мы хохотали, но все еще пытались «защитить» нашу «крепость»… Но вот волны прибоя сомкнулись за нашими спинами, — вода взяла нас в кольцо. Мгновение еще мы стояли на крошечном островочке, но и его поглотила торжествующая волна!.. А прилив продолжал подкрадываться к своей последней черте, обозначенной на пляже полосой из остатков просохших водорослей.

Нечаянно взглянув на спину своего братца, я увидела, что его спина была неестественного багрового цвета, а на ней россыпью белели какие-то пятна…

— Тин! Что у тебя со спиной! — возопила я в ужасе.

— А что такое? — Тин, скосив глаза, пытался разглядеть свою спину. А когда он повернулся ко мне, глаза его округлились — Да ты посмотри лучше на свою спину! Она у тебя черно-красная и белые пузыри!

Вот так штука! Забыв про коварство солнца, мы самым легкомысленным образом полдня жарили свои белые спины — и вот результат! Что это была за ночь! Даже прикосновение простыни причиняло адскую боль, а каждое движение отдавалось болезненным пощипыванием в спине!

Утром было не легче. С отвращением мы смотрели на палящее солнце и даже купаться не пошли. После обеда вонючая обмелевшая бухта до краев наполнилась свежей океанской водой, и под ее поверхностью исчезло все утильсырье, был полный прилив. Лежавшие в тине лодки выпрямились, их мачты чертили зигзаги по синему небу, вода заплескалась у бортов и у причалов. На набережной появилось много людей, главным образом женщин и девушек с большими корзинами. Мы как-то поинтересовались у одного старого рыбака: «Почему это рыбаки, жители поселка совсем не купаются в море? Ведь это так приятно, когда жара!»

Старик вынул трубку изо рта и с каким-то сожалением на меня посмотрел:

— У нас это никому в голову не придет, мадемуазель! Купаться! (Надо было слышать, с каким презрением он это сказал.) Мы не шутим таких шуток с морем. Оно нас кормит, но оно нас и хоронит. Море слишком велико и могуче, оно не позволяет легкомысленно, без уважения относиться к нему. Оно строго и требовательно, но оно и справедливо. Мы любим море и уважаем его. — Голос старика звучал строго и даже торжественно. — А вы, городские, купайтесь себе на здоровье, — опять дружелюбно посмотрел на меня, — вам оно не страшно. Но остерегайтесь заплывать далеко, когда большие волны. Море может не пустить вас обратно на берег. О, у него сильные, холодные объятия!

У меня даже мурашки побежали по спине: с таким каким-то дьявольским выражением старик все это сказал.

Мне отчасти был понятен суеверный страх нашего сенжильского рыбака оскорбить чем-нибудь океан, не выказать ему должного уважения. Рыбак ведь всецело в его власти, он может миловать и не миловать, дарить жизнь и отнимать ее…

Ведь роковое дыхание мощной стихии сметает как пылинку жалкую человеческую жизнь, и негоже человеку фиглярничать и шутить со стихией — это ему даром не пройдет!

Совсем освоившись с океаном, мы очень полюбили наблюдать за подплывающими к причалам лодками рыбаков.

Из-за песчаной косы, сначала даже как будто бы скользя над нею, появлялись паруса рыбачьих лодок. Они вовсе не белые, как их обычно представляют. Белыми паруса, конечно, бывают, но ими украшают большей частью яхты богачей. «Кто не любит „природы“? — вопрошал мой папа, — всякий дурак в белых туфлях ее любит, всякий розовый зонтик утверждает то же». Мне совсем не хочется обижать яхтсменов, — ведь кроме чисто физического наслаждения солнцем, воздухом и водой, существо человека очищается от земной скверны, наполняется возвышающим душу ощущением близости к природе, подпадает под магию плещущихся волн… А ночью на яхте, как пишет папа: «…так приятно ложиться на мягкий и теплый диван и, засыпая, чувствовать близко, под боком, на толщине одной доски, глубокую, отраженно волнующуюся воду, слышать замирающим слухом погромыхивание и лязг якорной цепи…»

Да, паруса рыбачьих лодок не белые. Они того трудно передаваемого цвета «туаль насиональ», с прибавлением более интенсивного оранжевого. Из этой «туаль насиональ» делаются и паруса, и навесы над витринами магазинов, и громадные зонтики на южных берегах. И до чего же красиво сочетается этот цвет с глубокой синевой неба!

Если бы я была живописцем, я бы нарисовала синее небо в зените, ближе к горизонту уже прозрачно зеленеющее, как яблоко антоновка, когда его разрежешь. Белый шар солнца, приближаясь к океану, чуть-чуть желтеет, розовеет. Вся поднебесная ширь вместе с маленькими розовыми черточками облаков отражается в ставших пологими и гладкими волнах моря так, что теряется черта, отделяющая небосвод от воды, теряется само ощущение реальности видимого — и ты возносишься, паришь где-то в этом голубо-розовом пространстве, пока не закружится голова и не замрет сладостно сердце… И вот паруса. Их много. Их надувает легкий, едва ощутимый на суше бриз. Прямо стоя на зеленоватом небе, паруса, приближаясь, теряют свою одинаковую окраску. Кажется, что лодки сами легко и бесшумно плывут прямо, потом поворачивают в бухту и разворачиваются у причалов…

Мы с Тином не все время проводили на пляже. Когда надоедало, бродили по окрестностям поселка, ходили по белым дорогам посреди виноградников. Эти дороги были обсажены ежевичными кустами, образовывающими непроходимые изгороди. Кусты были буквально обсыпаны крупными пыльными ягодами, которые никто не собирал.

В ежевичных изгородях были провалы, и, заглянув как-то в один из них, мы увидели виноградник с совершенно спелыми кистями темно-синего и желтоватого винограда… Мы оглянулись по сторонам: нигде никого, и даже сторожа нет, — чудаки, они не сторожат такое спелое чудо!.. Озираясь, мы подкрались к первым кустам, поспешно сорвали несколько кистей и опрометью бросились обратно на дорогу. Немного отойдя от места преступления, мы с Тином спрятались за кустами по ту сторону дороги и, удобно усевшись в их тени, стали, причмокивая от удовольствия, поедать виноград.

Так безнаказанно и кончилось бы наше похождение, но вот ненасытность и жадность человеческая: мы повадились ходить на этот виноградник чуть ли не каждый день и до того обнахалели, что перестали остерегаться и залезали в середину виноградника. И однажды едва-едва унесли ноги от погони.

Близилось к концу наше пребывание в Сен-Жиль-сюр-Ви, и я все чаще стала задумываться об унизительном возвращении в шестой класс гимназии на рю Доктёр Бланш. Только подумать — оставлена на второй год — «второгодница».

Что же делать с этой гимназией? — в тысячный раз этот вопрос прозвучал у меня в мозгу, и вдруг я даже села от неожиданности, с какой ясно, просто, как ответ на давно что-то обдуманное и решенное, вошла в голову мысль и остановилась: «Я уеду в Прагу и поступлю там в мою, знакомую, такую родную и милую гимназию!»

Только под утро я заснула, твердо решив сейчас же после возвращения домой рассказать о своем плане маме, убедить ее, что я, охваченная святым стремлением к наукам, не пешком и не с рыбьим обозом — а скорым поездом помчусь в Прагу, а там без всякого труда поступлю в храм науки, который, кстати, не в пример парижскому, не будет стоить маме ни копейки: там и кормят, там и одевают, там и учат — все даром. «Это тоже будет немалым козырем в маминых глазах», — вполне логично рассуждала я.

Не помню, как я простилась с океаном, — мной владела одна святая любовь к знаниям.

Перед отъездом мы с Тином несколько раз приходили в гости к Цветаевым. Марина Ивановна по-прежнему внушала мне некий трепет. Я не знала, о чем с ней разговаривать, остро сознавая свою обыденность и недостойность, хотя она никогда, ничем, никак не показывала своего превосходства. Скорее наоборот, она очень дружелюбно смотрела на нас с Тином, интересовалась

вполне искренне нашими занятиями, приглашала приходить, но что тут поделаешь: мое дикарство брало верх, — и в присутствии Марины Ивановны я предпочитала помалкивать, удивляясь в душе, как это Тин, совсем еще мальчишка, свободно и раскованно разговаривает с нею.

С Алей было легко. Она была довольно упитанной девочкой лет четырнадцати, крупной, немного стеснительной и неуклюжей, что как-то роднило меня с нею. Она понимала толк во всех наших предприятиях и играх на пляже, но не могла часто бывать с нами, так как ее братец Мур отнимал у нее большую часть времени.

Зато с Сергеем Яковлевичем Эфроном мне было очень хорошо. Всякая застенчивость с меня слетала, когда он, медленно моргая своими удивительными глазами, вдумчиво слушал, что я говорила. И я рассказала Сергею Яковлевичу про свое решение ехать в Прагу учиться. Я привела все свои доводы. Со страстью, со слезами на глазах я говорила, как мне осточертела парижская гимназия и как мне хочется учиться. Я просила Сергея Яковлевича поговорить с мамой. И Сергей Яковлевич согласился.

Вместе с Цветаевыми мы уезжаем из Сен-Жиль-сюр-Ви. На второй день по приезде Сергей Яковлевич приходит к нам «поговорить с мамой». Мама до того изумляется, что в первое время не находится что сказать, а только смотрит расширенными глазами. «Плохо дело», — думаю я, сжавшись на своем стуле.

— Но это же безумие! — опомнившись, восклицает мама. — В Прагу! Одна! Ей же шестнадцать лет!

Однако Сергей Яковлевич не теряет хладнокровия. Спокойно и обстоятельно он доказывает маме, что ничего безумного в моей затее нет, что я буду жить в пансионе, что имеется семейство Варламовых, которые будут следить за моим поведением, и прочая и прочая. Я вижу, что мама колеблется, — во всяком случае выражение ее лица несколько меняется.

— А как же дорога? Что же, Верка поедет одна? Мало ли что случится… — говорит она.

У Сергея Яковлевича и на это как будто заранее приготовленный ответ:

— А Евгений Николаевич Чириков на что? Они же целым семейством как раз сейчас уезжают обратно в Прагу. Вот Вера и поедет вместе с ними…

«Какой исчерпывающий аргумент в мою пользу!» — думаю я в восторге. Маме уже просто нечего возразить: действительно, милейший Евгений Николаевич уже насмотрелся на Париж и только мечтает поскорее уехать в Прагу, в свою тихую квартиру, носящую неистребимую печать российского интеллигентского жилища: какие-то ветхозаветные люстры, скатерти с помпончиками до самого пола, застекленный буфет, где при малейшем сотрясении мелодично перезваниваются на тоненьких ножках фужерчики, рюмочки, рядом дедовские, затейливых фасонов чашки, скорее похожие на полоскательницы, — на них надписи: «Пей до дна!», «Пей, да дело разумей!». И повсюду, куда ни кинешь взор, книги, журналы, газеты — и на полках, и в шкафах, и просто так на столе, на подоконнике. А у Евгения Николаевича еще свое «хобби»: он строит с непостижимым искусством из спичечных коробок модели волжских колесных пароходов — со всеми деталями, с трубами, с палубами, даже с миниатюрными спасательными кругами и перильцами. На всю жизнь в Волгу влюбленный, на всю жизнь с нею разлученный, он хотя бы таким детски наивным способом хотел воскресить в памяти величие ее просторов, ее разливов, подобных морям, ее диким мохом поросших утесов… Чириковские модели волжских пароходов были совсем небольших размеров — 20–30 сантиметров в длину, тем более поражало скрупулезное искусство — и терпение! — с каким были воспроизведены все детали. Для пущего эффекта строился ящик без передней стенки, где был воспроизведен целый участок волжского берега в миниатюре. Утесы, желтый песочек, деревца, сама Волга изображалась куском зеркала, в котором отражался весь этот берег и сам пароход, плывший посередине. Где-то сзади зажигалась лампочка, и было действительно очень похоже на реку, освещенную солнцем, — полная иллюзия незабвенной волжской панорамы.

Мне, однако, было совсем не весело смотреть на эту картину — бедняга Евгений Николаевич со своей иллюзорной игрой в бирюльки! Этим детским занятием хочет он заглушить свою глубокую тоску по прошлому, по родным волжским берегам. Это занятие поддерживает в нем мечту о возвращении туда… Да разве он может вернуться туда? Удерживаемый многочисленной семьей, отошедший от того нового, что вершилось в Советской России, он оказался «за бортом истории», как это принято говорить, потому что к заграница он никогда не мог приспособиться, принять европейский уклад жизни, — он всегда был ему чужд и далек. Да и как его принять, когда и европейцы не выказывали большого желания принимать русских как

равноценных партнеров. «Мы живем в благороднейшем отеле, где нас все презирают», — в шутку писал мой папа из Рима. Хотя это и шутка, но она удивительно смахивает на действительность — за что было в самом деле нас уважать? Разве мы были владельцами фабрик и концернов? Разве мы имели, подвластные нам, рассеянные по всему миру колонии, которые снабжали бы нас всем, чего только душа захочет?

Там твердо установилось мнение, что русские — нищие и темные люди. Мы, давшие миру Пушкина, Толстого, Достоевского, Менделеева, Чайковского, — все равно мы темные!

По их тогдашнему мнению, до революции были еще в России именитые люди, которых, пожалуй, можно было уважать, так как у них были деньги, и даже так много денег, что и европейца могли заткнуть за пояс. Один князь строил православную церковь в Ницце, другой граф в Карлсбаде, князь Демидов Сан Донато так широко применил свои богатства в Италии, что благодарное население прибавило к его фамилии еще одно знатное имя. Были и несомненно богатые купчики, которые приезжали в Париж кутнуть, повеселиться. Они и веселились так, что европейцы только рот разевали, глядя, как один зажигает об свечу крупные купюры, как другой колотит зеркала в ресторане, а директор ресторана и официанты раскланиваются перед ним, так как знают, что непонятный русский заплатит за все в три раза больше, чем стоило его развлечение. Что-то было, однако, в этих русских, что неотразимо влекло к ним сугубо материалистических иностранцев: то, что они называли «загадочной русской душой» или просто «ам слав» — славянской душой.

Страшно счастливая, напевая модный мотивчик чарльстона: «Пеликан, пеликан», я еду в скором поезде Париж — Прага. Торчу в коридоре, не внимая уговорам разморенных сном Чириковых, — какое уж тут спанье!

В обратном порядке я проезжаю Штутгарт, Карлсруэ. Вот и Чехословакия, возгласы на перронах: «Горке парки! Чоколада! Пи-и-иво!» — райской музыкой звучат у меня в ушах. Вот и долина Влтавы. В вихре пыли и бумажек мой поезд проносится чуть накренившись мимо полустанка Вшеноры, гремит по железнодорожному мосту, пролетает мимо Черношиц — где-то там Таня, Воля… Неужели это все правда и я скоро увижу их? Пока я добираюсь до самой станции, там уже никого нет. Обескураженная я иду по скупо освещенной редкими фонарями улице, вернее, дороге, все время всматриваясь вперед, я увидела вдали две фигуры. И вдруг услышала Танькин недоумевающий

голос:

— Не может быть, чтобы она не приехала… Пропустили ее, что ли?..

Что отвечал Воля, мне не было слышно. Странное какое-то чувство сдавило горло — и облегчение, и радость, и робость, и страх…

— Танька! — закричала я что есть силы. И поставила чемодан.

Таня остановилась, обернулась, что-то радостное выкрикнула, и вот уже она бежит тем самым размашистым шагом, каким, бывало, она бежала за поездом, а я беспокойно следила за ней из окна вагона — успеет ли?

Варламовы занимали небольшой домик, служивший, видимо, раньше жилищем для прислуги богатого пана Долежала. Большой «господский» дом пустовал — хозяин жил за границей. У Варламовых были ключи от этого дома, а Воле там в маленькой комнате был предоставлен ночлег. Не знаю, может быть, по договоренности с этим Долежалом Воля таким образом исполнял обязанности сторожа?

По воскресным дням, после общего обеда, уборки посуды и прочих хозяйственных забот, мы, то есть Таня, Воля, Леня Чернобровкин, Танин двоюродный, троюродный брат и я, чрезвычайно полюбили отправляться в большой дом, в Волину комнату. Там был большой, просто громадный диван, шкаф с книгами, а на стене висел большой ковер. Уютно пахло немного табаком, немного горящими дровами. Какая-то неистребимая знакомая смесь предчувствия чего-то неизведанного, сулящего возможность немыслимого счастья или черного провала всех надежд, охватывала меня с томительной силой, как только я переступала этот порог.

Мы рассаживались кто на стульях, кто на диване, благо там было много места. Воля брал гитару и начинал что-то наигрывать, а я не сводила с него глаз. «В этом нет ничего странного, — утешала я себя, — ведь полагается смотреть на человека, когда он поет и играет». «Не сводила глаз» — неправильное выражение в данном случае. Я не могла неотрывно смотреть на Волю, как нельзя неотрывно глядеть на яркий свет.

Остальные дни недели я проводила в пансионе и в гимназии, и до чего же бесконечно длинными они были — «они ожиданье, одно ожиданье, эти тоскливые серые дни».

Меня определили в шестой класс нашей гимназии — опять шестой! — с тем условием, что я сдам некоторые предметы за неоконченный пятый и до середины января.

Надо было видеть, с каким рвением я бросилась изучать эти страшные науки. Я буквально бредила латинскими фразами и грамматикой, постигала все сложности химических формул, законы физики я вытверживала наизусть. Я уходила, чтобы мне никто не мешал, куда-нибудь подальше, большею частью в холодную, сырую умывалку с ее настилами из мокрых дощечек на бетонном полу, с вечно капающими кранами. Клубы пара вырывались у меня изо рта, когда я самозабвенно зубрила: «Галлия эст омниа девиза ин партес трес…» — Юлия Цезаря. На всякий случай я и математику зубрила наизусть, не слишком полагаясь на свое понимание этого ненавистного предмета.

Учителя были просто в восторге от моих блестящих ответов, потрясенные моими способностями и усидчивостью, и вскоре настолько уверовали в мои достижения, что перестали вызывать к доске и спрашивать по курсу пятого класса. Увы, они совершили ужасную ошибку! Когда в конце декабря кто-то из них вызвал меня к доске, то оказалось, что я ничего не знаю ни из курса пятого класса, ни из курса шестого и что, следовательно, моя зубрежка кончилась когда-то в конце ноября… Это каверзное свойство моей натуры, — она неспособна выдерживать долго накал усердия. И накал этот не только исчезает совсем, но на его место вылезает лохматое, безобразное, насквозь лживое, бесстыдное, название которому — «лень»! Да, обыкновенная обломовская лень. В отличие от Обломова, из глаз которого «выглядывал паралич», моя лень распространялась исключительно на учение уроков, — из всей остальной деятельности она совершенно исключалась, — наоборот, я была необыкновенно энергична, оживленна. В особенности эти свойства усиливались по мере приближения заветной субботы — счастливого дня, когда после уроков мы с Танькой отправлялись на поезд, чтобы ехать в Черношицы.

С каждым новым воскресеньем, с каждым новым часом, проведенным у Варламовых, я стала замечать, что Воля не так уж безразлично смотрит на меня. Вот я мою — очень старательно — деревянный пол на кухне, мы чередуемся с Танькой в этом деле. Спиной я чувствую присутствие Воли, — он сидит за столом и что-то читает. Мне захотелось изобразить некую интеллектуальную грусть, и, зная, что он слушает, я стала напевать бесконечно печальную фразу из Патетической сонаты. Воля встал и отложил книгу:

— Это все-таки нехорошо, что тебя заставили мыть этот пол. Это же тяжелая работа… И что ты напеваешь такое грустное? Ты устала?

Как радостно мне стало от его участливых слов — и ничего я

не устала, и вовсе не было мне грустно, и пела я тоже не от тоски, но до чего же приятно, что он меня пожалел. В душе все пело, ликовало, качало на качелях — все выше, все дальше от скучного мира земли…

По утрам в понедельник мы все втроем едем в поезде. Мы с Танькой едем в гимназию, Воля в университет — он учится уже на четвертом курсе медицинского факультета. Мы все немного сонные, немного помятые со сна, — какой я, должно быть, урод, и как противно, должно быть, Воле смотреть на меня. Он и не смотрит, уткнулся в какую-то свою библию — одну из устрашающих толстых книг по медицине — и совсем обо мне забыл. Скоро рождественские каникулы, Новый год — целых десять дней я буду жить у Варламовых. Это удивительно — прежде Воля никогда не проявлял интереса ко всяким гимназическим мероприятиям и «балам», а тут вдруг сам напросился на новогодний концерт — что бы это значило?.. Неужели из-за меня?

Мы с Танькой усердно готовимся встречать рождество — заранее клеим цепи, фонарики, коробочки.

Среди украшений на елке была маленькая негритянка, танцующая чарльстон, — я смастерила ее из картона, покрасила в черный цвет, надела юбочку из соломы. Она получилась такая веселая, в такой улыбке сверкали белые ее зубы и белки глаз, так лихо отплясывала она наш любимый чарльстон, что все пришли в восторг, а Воля выхватил у меня из рук бедную жертву и унес к себе в большой дом, отчего я тайно возликовала, а родители переглянулись.

Я стала замечать какое-то настороженное отношение родителей ко мне. Со свойственным им тактом, но упорно они старались разъединить нас: то меня вызывали помочь на кухне, то его отсылали в большой дом, чтобы «не мешался под ногами».

И вот наконец торжественный вечер настал. К Варламовым пришло много гостей — пожилые и менее пожилые ученые дяди с бородами и без бород, довольно чопорные дамы, видимо, их жены, двое-трое молодых людей. Все эти гости сливались для меня в одно лицо, до которого мне не было никакого дела. Не помню, что я пила и ела за богатым столом, уставленным вкуснейшими блюдами, не помню, как зажгли елку со всеми нашими самодельными игрушками, цепями и подарками, зато я прекрасно помню, как все потом собрались в большой комнате и затеяли игру в почту: один играющий провозглашался почтальоном, остальные прицепляли где-нибудь на видном месте номер и все писали друг другу записочки, а почтальон забирал «письмо» и вручал адресату. «Почтальон» только и делал, что без

конца носил мне записочки, я получила кучу признаний своих достоинств.

А что же Воля? Раскапывая очередную кучу записок, я с первого взгляда замечала корявый почерк, но продолжала небрежно просматривать другие, как бы вовсе не торопясь вскрывать его послание. Потом быстро прочитывала, чувствуя не себе его взгляд. Как долго я хранила эти листочки, вызубренные наизусть, почти истлевшие на сгибах! Но волею судеб решено было, чтобы они были потеряны, а содержание их забыто, навсегда забыто мною. Только чуть слышно доносится: «Тю-у-уся!» — как эхо моей невозвратной молодости, смешное мое прозвище, данное мне Волей.

В гимназии на новогоднем вечере очень весело, по крайней мере мы с Танькой чрезвычайно веселимся, все время бегая куда-то, шушукаясь и с удовольствием замечая, как растерянно и одиноко стоит Волька.

Но вот начинается концерт. Очень удачная инсценировка «Дачного мужа» Чехова, — до чего же остроумно, до чего же верно, до чего же точно изобразил Чехов дачную атмосферу.

Может быть, я так живо представляю себе чеховскую и андреевскую дачную жизнь по своим же чернореченским воспоминаниям детства — разве не гуляли по берегу нашей Черной речки изящные барышни в белых платьях под розовыми зонтами, разве не бросали усатые молодые люди в белых фланелевых брюках и в белых туфлях — далеко в воду палку, чтобы наш красавец сенбернар Тюха поплыл за нею, а потом доставлял ее обратно и, встряхиваясь, обдавал каскадом брызг кружевных барышень, с визгом разбегавшихся по сторонам, а мы, дети, с восторгом хохотали, прекрасно зная коварный нрав нашего доброго друга: ведь может же встряхнуться, только выйдя из воды, — нет, он, мокрый, нарочно подбегает поближе к людям и тут встряхивается, да как! — даже весь скрывается в радужных брызгах…

Я, конечно, понимала, что дачный мир, описанный Чеховым и Андреевым и виденный мною в тех отчетливо осязаемых выпуклых годах детства на моей «лестнице времени», остался где-то позади, далеко позади, в невозвратном прошлом, и никакая сила никогда не сможет вернуть утраченное — нет больше папы, нет больше дома на Черной речке, нет ни тех цветов, ни тех запахов, ни тех тропинок, поросших подорожником, по которым бегали мы босиком, «срезавши хлыстик», — это неизбежно, с этим надо смириться, этому необходимо покориться… И мерные звуки Лунной сонаты, настойчиво повторяясь, знакомо убеждают в

тщете надежд и чаяний…

Но тогда ничто не казалось невыполнимым: когда-нибудь, может быть не скоро, но наверняка что-то вернется — ведь те цветы, те запахи, те тропинки и сейчас существуют, они не подвластны смерти, они будут всегда. Не они ушли от меня, а я покинула их, — значит, я могу и вернуться!.. Конечно, я не думала тогда ни о каком «возвращении», скорее наоборот, никогда моя мысль не была так далека от этого понятия, как сейчас, — мне просто она не приходила в голову. Я чувствовала себя еще зависимой от родителей, то есть от мамы, — как она захочет, как распорядится, так и будет, мне и думать-то не к чему, мне еще долго учиться в гимназии, потом, конечно, университет, а там вообще какая-то жизнь, длинная-длинная, в которой найдется место для всех чудес мира, и уж конечно дождусь я и той поездки далеко на север, который почему-то дороже даже возлюбленной Италии. В любви к Италии есть что-то конкретное, ее можно выразить словами, объяснить — почему и за что любишь, — а та любовь необъяснимая, ни на чем осязаемом не основанная, что-то из области сказок и преданий, где «на неведомых дорожках следы невиданных зверей», — только там могут жить эти невиданные звери, только среди этих тихих озер, поросших у берега тростником, — вокруг их стеблей легкий прохладный ветерок рябит немного поверхность серебристо-серого озера, зыбкие тени от деревянных мостков струятся по сероватой воде, маленькие волны чуть слышно чмокают о борт привязанной к мосткам лодки… Простенькая, серенькая картинка, и нельзя ничем объяснить, почему она дороже усталому сердцу всех ярчайших красок юга, знойного сияния жгучего неба. Зачем же эти растравляющие душу воспоминания о том, что было, и ведь достоверно с тобой все это было. Неужели в самом деле со мной это было — и я стояла на песочке у теплой водички, а ласковые маленькие волны чуть касались моих загорелых ног… Тогда ты жила полной жизнью, говорила я себе, она лежала перед тобой, маня и сверкая, и ты шла к ней, и она принимала тебя или тебе казалось, что принимала, что ласкала, что исполняла желания. Исполняла желания? Все обман, никаких твоих сокровенных желаний она не исполняла, все это был мираж, а сейчас ты живешь, вернее прозябаешь какой-то совсем другой, ненастоящей жизнью, — не сама это жизнь, а только изуродованное эхо ее…

Пасхальные каникулы я снова провожу у Варламовых. Воля изо всех сил старается не остаться со мной наедине. Нас всегда целая компания — мы гуляем по окрестностям Черноших,

взбираемся на холмы, поросшие лесом, — всюду сквозь старые прелые листья пробиваются острые шильца ярко-зеленой травки, мы находим и подснежники — такие самые подснежники росли и в нашем саду на Черной речке, — их надо было отыскивать на склонах обрыва, на маленьких полянках в соседнем саду Плаксина, — бедняга Плаксин! — он и не подозревал, наверное, что мы излазили каждый уголок его сада, что нам были известны сроки поспевания его малины, что именно на склонах его сада, спускавшихся к Черной речке, росла единственная в округе земляника, которой мы с Тином угощали когда-то папу…

Только этими подснежниками и напоминали окрестности Черношиц наш сад на Черной речке, но и это напоминание больно отзывалось где-то глубоко в сердце, эта неизлечимая болезнь сердца, — неужели всегда она будет сопровождать меня? Ведь эти первые цветочки — на вид они совершенно такие же, а мне кажется, что те другие были и крупнее, и не так быстро вяли, и стебельки у них были красноватые, а не бледные, как у этих… И окрестности были исхожены, истоптаны тысячами ног, а лес даже посажен рядами, как в Германии, — разве можно его сравнить с нашим лесом «за колодцем», куда мы ходили за грибами? Вот то был настоящий лес — темный, глухой, с огромными елями, с узловатыми толстыми корнями у красноватых стволов — об эти корни так больно ссаживаешь большой палец босой ноги, — там были озерца со стоячей черной водой, в которой отражались склонившиеся над нею кривые деревца, и такая глубокая первозданная тишина вокруг, что становилось жутко, а глаза, казалось, сами выпучивались, испуганно озираясь, а уши настороженно ловили хоть какой-нибудь звук, производимый живым существом…

Но вот и пасха. Мы с Танькой помогаем Любови Васильевне печь куличи, делать творожные пасхи — у Варламовых все эти действия освящены традицией, все должно быть продумано, сделано вовремя. И какие сдобные душистые куличи у нее выходили! У каждого члена семьи был свой, именной, так сказать, кулич — у главы семьи самый большой, у матери немного поменьше, для молодежи маленькие, у меня тоже был свой куличик.

Мы отправлялись на пасхальную заутреню. На меня произвела убогое впечатление эта служба в весьма сомнительного вида зале какого-то трактира: хотя верующие дамы и позаботились об интерьере, более или менее похожем на церковный, но это им плохо удавалось, — в самом деле, пропитанные пивным духом стены с какими-то полуголыми нимфами, намалеванными на потолке, бар с бутылками и

пивными кранами на стойке хотя и был наполовину скрыт занавесом, тем не менее его очертания вносили неприятную дисгармонию, — приходилось все время повторять себе, что это только условности, что надо иметь достаток воображения, чтобы дорисовать себе правильную картину, но само неподходящее время — ведь все время надо было не позволять себе думать, что сейчас вовсе не 12 часов ночи, а всего лишь десять, и в настоящей церкви Христос еще и не думал воскресать, а мы вот притворно радуемся и поем «Христос воскрес из мертвых…».

Я не могла избавиться от ощущения, что все это какой-то фарс, да и сам священник, явно торопящийся и поглядывающий на часы, не смог создать нужной, торжественной атмосферы. Устав насиловать свое воображение, я покорно ожидала окончания службы, когда должно будет происходить христосование. Ведь к вам может подойти любой нищий калека, ваш, скажем, заклятый недруг, человек, с которым вы рассорились на всю жизнь, или молодой человек, к которому вы неравнодушны, и сказать: «Христос воскрес!» — и вы обязаны ему ответить: «Воистину воскрес!» — и троекратно с ним… поцеловаться! И вот сейчас, через пять — десять минут, мне придется поцеловаться с Волей — как я смогу выдержать это — ведь я же просто потеряю сознание. Я стою ни жива ни мертва, чувствуя, что лицо холодеет все больше и больше, — украдкой я прикладываю к щеке руку — мне кажется, что я трону лед, но щека совсем теплая, зато рука холодная — даже мурашки побежали по спине, — скорей бы, скорей кончилась эта музыка!.. И тут я замечаю движение в публике: оказывается, священник уже кончил службу и поспешно снимает свою рясу, — немудрено, что он торопится, так как по расписанию ему еще нужно попасть в Мокропсы, там повторить всю процедуру с псевдовоскрешением несчастного Христа, а потом поспеть на поезд в Прагу — вот там наконец пасхальная заутреня приобретает надлежащую торжественность и достойную красоту.

Как деревянный истукан, я выхожу вместе со всеми из трактира — как приятен этот свежий воздух, пахнущий немного березовыми клейкими почками, немного прошлогодними прелыми листьями, он полон весенними обещаниями: томительное ожидание счастья, робкие надежды…

Я останавливаюсь под молоденькими тополькими короткой аллейки, косо освещенной светом, льющимся из окон трактира, — такие самые сердцевидные листочки были и на нашей аллейке, которая вела от флигеля к воротам нашего сада на Черной речке. Здесь все другое, да я и не думаю о чернореченских тополях — просто так мелькнуло что-то, как

молния, и погасло… Я стою под этими деревьями, безжизненно опустив руки вдоль тела, не в силах двинуться, чтобы догнать остальных. Воля, немного отставший от основной группы, оглядывается и вдруг решительно подходит ко мне.

— Мы же с тобой не похристосовались, — говорит он шепотом, он крепко обнимает меня, прижимает к себе и три раза целует не тем традиционным поцелуем, а самым крепким, самым горячим поцелуем в губы.

Три поцелуя, они слились в один — долгий, долгий. Я чувствовала, словно жизнь, со всеми ее радостями, счастьем и красотой, уходила от меня, просочилась, как вода, в сухой песок и стало темно в душе моей, как будто бы опустел концертный зал и медленно погасла большая люстра на высоком лепном потолке. Рассыпались в прах фантастические постройки моего воображаемого будущего, — рушились беззвучно воздушные замки, а на их месте начинала незаметно пускать ростки серая, пыльная трава забвения, — всем существом я поняла, что Волин поцелуй был собственно прощальным поцелуем, которым он как бы расставался со мной, прощался с нашей общей мечтой и просил у меня прощения.

Я еду в Париж! Опять Вильсоновский вокзал, знакомый до того, что, наверное, я с успехом могла бы сидеть в справочном окошке и разъяснять путешественникам, когда и с какой платформы пойдет скорый поезд в Вену, в Рим и… в Париж. Вот он стоит у платформы, у него длинные пульмановские вагоны, с занавесочками на опускающихся окнах, в которых видно, как пассажиры закидывают свои баулы, чемоданы, несессеры и шляпы на веревочные сетки полок, снимают пальто и плащи, вешают их на крючок у окна и со вздохом облегчения — как же, ничего не забыто, на поезд не опаздали, ничего не потеряли! — высовываются из окон, — приунывшие было провожающие, надолго потерявшие своих дорогих из виду, оживляются несколько театрально и лихорадочно придумывают хоть какой-нибудь завалящий сюжетик для разговора, но, кроме разных междометий и стереотипных, набивших оскомину наставлений, предупреждений, напоминаний, вроде таких, как: «Пишите! Телеграфируйте приезд! Не забудь — курица в сумке! Котлеты поскорее съешьте!» — ничего придумать не могут. Пассажиры только кивают головами и украдкой смотрят на часы — знакомое состояние отъезда, когда одна половина существа уже отделилась и живет своей обособленной жизнью, не похожей ни на покидаемую, ни тем более на будущую, — там, куда едешь. Совершенно особенное состояние, как бы вне времени и

пространства, когда вдруг больше не надо спешить, что особенно странно после сумятицы сборов. Не надо больше сожалеть о покинутых близких, и не дай бог жалеть о том, что не было сказано таких-то и таких-то слов, — сказанное на прощание слово будет долго звучать в ушах сквозь шум и покачивание вагона, и кто знает, не нахлынут ли в душу поздние сожаления о том, кого покидаешь так бездумно, о том, без кого не жизнь тебе будет и там, в том прекрасном далеке, куда ты от него убегаешь…

Несмотря на скромный вид, я чувствую себя опытной путешественницей — еще бы, ведь не в первый же раз я залезаю с независимым видом в пульман, правда, не в голубой спальный вагон первого класса и даже не в мягкий, а в вагон третьего класса с жесткими деревянными диванчиками. Проводник не провожает меня на место, и вообще ни одна душа не интересуется, есть ли у меня действительно билет до Парижа, есть ли у меня паспорт с французской визой и транзитной немецкой, за которыми мне пришлось идти во французское консульство.

Через несколько дней я совсем акклиматизировалась в Париже. Стояла страшная жара, в Клямаре было пыльно и душно, делать было нечего, мы слонялись совершенно разбитые, хотя здоровье у всех было отменное, — мы могли бы ворочать камни, как говорила тетя Наташа, но куда приложить свои усилия? Мы отправлялись в Клямарский лес играть в волейбол. С нами часто ходили, говорили и дети тех эмигрантов, о жизни которых мы имели весьма слабое представление, вернее, мы вовсе с ними не встречались, никогда ни о чем не дискутировали, мы относились к ним с легким пренебрежением, со смесью жалости к их неустроенности и потрепанности, к их совершенно неинтересным на наш взгляд проблемам, каким-то ненавистническим отношением их к России, всему, что в ней делалось. А что именно делалось, было никому не известно, просачивались только неясные слухи о том, что там нищенски живет народ «под пятой большевиков», что, по сведениям «Последних новостей», там «гниют овощи», «ржавеют паровозы» и вообще полная разруха и сумятица. Еще больше изощрялась газета «Возрождение», которую мы презрительно называли «Вырождением», — по ней выходило, что «большевистский режим остро ненавидим русским народом и что он вот-вот развалится, в чем было бы недурно помочь, организуя всякие общества и объединения».

И сколько же было этих обществ! И «Общество бывших авиаторов» и «Бывших галлиполийцев», не говоря уже о бесчисленных казачьих организациях, — все это было унылое,

нищенское, в столовых этих обществ всегда пахло капустой и вареной свеклой из борща, приготовленного из французских продуктов «бывшими» поварами разных бывших князей и графов, в то время как их бывшие хозяева служили таксистами на парижских улицах. От самого этого слова «бывшие» веяло такой унылой затхлостью, безнадежностью, беспомощным нищенским фанатизмом, и я не удивлялась, что наша мама с отвращением сторонилась всей этой жизни.

Тем не менее нам нисколько не мешало общество христианского движения молодежи, — мы усердно посещали их танцевальные вечера, «балы», как их называли. Саввка называл это общество «христианским телодвижением», — в самом деле, кроме танцев, мы не посещали ни одно мероприятие «этого общества».

На маленькой улочке имени какого-то доктора — не помню фамилии — эта улочка в некотором отдалении пересекала под прямым углом нашу Маргерит Ренодэн, — жил наш брат Вадим со своей женой и ее родными. Родоначальница семейства Ольга Елисеевна Чернова была разведенной женой известного эсэра, — он жил где-то в Чехословакии в это время, и, собственно, одна ее младшая дочь Ариадна была его дочерью, другие две сестры — близнецы Оля и Наташа — носили фамилию Колбасины, так как первым браком Ольга Елисеевна была Колбасина (отдаленные родственники Тургенева). «Ничего себе фамилия», — потешались мы, не питая никакого уважения к родственникам Тургенева с такой неэстетичной фамилией. «Ты представляешь себе, — особенно изощрялся Саввка, — что меня звали бы Савва Колбасин, — кошмар!»

Жили они все на этой тихой улочке в маленьком двухэтажном особнячке с садиком — там все были такие дома с садиками. Придешь туда, бывало, и кто-то открывает дверь.

— Здравствуйте, Оля, — говоришь.

— Я не Оля, я Наташа… — отвечает изящное создание с большими глазами, обрамленными прямыми ресницами, с большим ртом, — не очень красивая, по нашему мнению, но красавица — по мнению Вадима, — молодая женщина, сестра-близнец его жены Оли. То же самое лицо, те же манеры, тот же голос. Только когда поставишь их рядом, замечаешь некоторую разницу. («Нет счастливее меня в подсолнечном мире». «Подсолнечном» зачеркнуто, сверху написано — «подлунном!». — Так писал нам Вадим о своей женитьбе, когда мы жили еще в Риме.)

Мы, конечно, поражались, как это Вадим живет в этом

родственном коллективе, — и не ссорятся они никогда! И жен никогда не путают? — непонятно! Но наша мама часто отправлялась «к родичам», как мы говорили, на своем велосипеде. Она никогда не делала никаких нелестных замечаний об этом многочисленном семействе, скорее, наоборот, отмечала эрудицию и ум своей приятельницы Ольги Елисеевны и могла часами с ней беседовать на разные темы. Мы таких тесных контактов с семейством Вадима не имели. Нас отталкивало, меня в особенности, несколько пренебрежительное отношение ко мне — или мне так казалось? — я еще недоросла, чего-то недопонимаю, не знаю, путаю, в то время как они все читали, все знают, их ничем не удивишь. И потом, я никак не могла взять в толк, что уж такого хорошего в стихах Вадима — тонких, изящных, но каких-то таких чуждых, непонятных даже, — которыми, ясно, восхищалась вся женская часть семейства, шурины Вадима тоже писали стихи… еще менее понятные. Вообще в их доме часто бывали разные молодые поэты — помню Поплавского, мрачного дядю в черных очках, эти черные очки мы дружно ненавидели, ведь за темными стеклами совершенно не видно глаз собеседника: смотрит ли он на вас или на котлету на своей тарелке?

С самим Вадимом было легко и просто: будучи значительно старше, значительно эрудированнее, начитаннее, он никогда не показывал своего превосходства, и я всегда с благодарностью выслушивала его поправки в написании или произношении некоторых слов и выражений в русском языке, которого он был большим знатоком. И вот чего не видно в его прозаических произведениях, написанных отточенным, тщательно отполированным языком, это юмора, а ведь какой это был остроумный человек!

Дома у нас большие перемены — дядя Коля ходит к нам по-прежнему, но вот наша дорогая, милая тетя Наташа уже не живет с нами… Ее уходу предшествовал длинный период недоразумений и разговоров с нашей мамой. Дело в том, что, когда болел наш папа и он чувствовал, что с его сердцем долго не проживешь, он в долгих доверительных беседах со своей свояченицей Наташей, оставшейся вдовой после смерти мужа, папиного брата Всеволода, взял с нее обещание всегда жить с его детьми, никогда их не оставлять, так как, говорил он, Анне будет слишком трудно справиться с ними одной и ей будет необходима помощь. Наташа свято выполняла папин наказ, следовала за нашим беспокойным семейством по всем печальным дорогам Европы. С мамой у тети Наташи была договоренность, по которой мама обязывалась платить ей некоторую небольшую сумму. Так

все и происходило, пока мы были детьми, а потом подростками, но вот мы выросли здоровыми… оболтусами, я хотела сказать, в общем, почти совсем взрослыми, да еще разбрелись кто куда — я уехала в Прагу, Тин учился во французском лицее, Савва поступил в Академи де Бо-з-Ар, то есть Академию изящных искусств, он легко выдержал конкурс на отделение живописи. Маме не нравилось, что Наташа по-прежнему все убирает, готовит. Ей казалось, что это портит нас, учит безделью; что давно пора все делать самим, без «прислуги». Кроме того, мама уже не так часто и не так много получала гонораров за папины произведения, надо было и нам наконец становиться на ноги.

И получилось так, что Наташе, собственно говоря, стало нечего делать у нас в доме, мама устроила ее помощницей по хозяйству к Марине Цветаевой. Но никогда Наташа этого маме не простила — ведь ей пришлось нарушить обещание, данное ею папе.

Итак, тетя Наташа перебралась к Цветаевым вести хозяйство и летом 1927 (или 1928 года, не помню) уехала с ними на берег Атлантического океана, но уже не в Сен-Жиль-сюр-Ви, а в селение Понтайак, рядом с городишком Руайян.

Мама сняла для нас троих — на этот раз и Саввка поехал с Тином и со мной — комнату в том же доме, где поселилась Марина Ивановна с семьей и с нашей тетей Наташей. Таким образом, хотя вести наше хозяйство было поручено мне — к немалой гордости моей! — мы находились под патронатом Цветаевых и под недремлющим оком незабвенной тети Наташи — уж она не оставит нас в случае необходимости!

Решено было, что я отправляюсь в Руайян на поезде, а Саввка с Тином будут туда добираться на велосипедах через всю Вандею. Ну что ж, я в восторге уселась в поезд со всем скарбом — там были и разные кухонные принадлежности, примус, продукты. Мальчишки выехали на день раньше.

В домике, который снимали Цветаевы пополам с мамой, кухня была общая, а комнаты смежные. Наша была порядком пустая, с одной кроватью, диваном и круглым большим столом посередине, на котором мы расположили и примус, и наши книги, и рисовальный блокнот, и карандаши вперемежку с вилками, ложками. Дом стоял на скалистом берегу довольно далеко за понтайакским пляжем, куда надо было идти по извилистой белой пыльной дороге, одной стороной круто обрывавшейся к морю, а с другой стороны была выжженная солнцем унылая равнина.

Понтайакский пляж большой, широкий, кабин там почти нет, посередине некое громоздкое сооружение на столбиках —

ресторан, в котором, естественно, мы ни разу не побывали. По пляжу, поближе к воде, шагает взад вперед ажан, — в своей темно-синей форме, с несгибаемым круглым кепи на голове, он с трудом ковыляет по глубокому мелкому песку, увязая в нем чуть ли не по колено, ему нестерпимо жарко, но он застегнут на все пуговицы согласно предписанию. Несчастный! И мы не удивляемся, что под действием жары у бедняги портится характер, он делается желчным и озлобленным. Он с остервенением набрасывается на всех мужчин в купальных трусиках: оказывается, в трусиках ходить неприлично, нужен целый купальник с верхней майкой. Это пуританское, совершенно идиотическое требование ажан неукоснительно исполняет, уступая лишь в одном пункте — майку можно спустить с одного плеча, но на другом она должна держаться, пусть даже бретелька будет тоненькой, как веревочка. По просьбе братцев я сделала бретельки маек тонюсенькими, а декольте таким глубоким, что оно доходило чуть ли не до пупка. Бывало, только Саввка разляжется на горячем песочке и закроет в сладком блаженстве глаза, как раздается зычный голос ажана:

— Майо! — что означало «майка»!

Саввка несколько перефразировал этот возглас: «Майо! — сказал Евгений грозно…»

Я рьяно взялась за хозяйство и стала готовить братцам всякую снедь на вечно чадящем примусе, этом священном очаге всех эмигрантов мира, — я уверена, что даже в далекой Африке какой-нибудь Иван Иванович варит свое рагу из черепахи на примусе.

Я очень старалась, делая крепкий мясной бульон, но Саввка совсем не ценил моих усилий, заявляя, что суп очень противно «пахнет мясом». Я как-то пожаловалась на кухне Сергею Яковлевичу, и он, вдумчиво глядя на меня своими прекрасными глазами, посоветовал, чтобы я клала в бульон кусочек рыбы, чтобы отбить вкус мяса…

Милый Сергей Яковлевич! Мы с ним очень дружили, чего нельзя было сказать про мои отношения с Мариной Ивановной, — я по-прежнему побаивалась ее острого, как мне казалось, молниеносного, зеленого взгляда из-под слегка прищуренных, как бы в презрении, глаз. И ничего она не презирала, и ничего плохого про меня при этом не думала, — просто Марина Ивановна была сильно близорука, очков не носила и потому щурилась.

Вот несколько строчек из письма Марины Ивановны Цветаевой Володе Сосинскому, шурину брата Вадима, от 27 сентября 1926 года.

«…Очень подружилась здесь с детьми Андреевыми: Верой и Валентином, особенно — Верой. Добрая, красивая, естественная великанша-девочка, великаненок, простодушная амазонка. Такой полной природы, такого существования вне умственного, ПРИ УМЕ, я никогда не встречала и не встречу. От Психеи — ничего, ЕВА ДО АДАМА — чудесная.

Не знаю, никогда не знаю, что чувствует другой, но от нее на меня — мне казалось — шли большие теплые, теплые волны дружественности, неизвестно почему и за что. Жара, песок, волна, Вера — так и останется.

Вера полное обратное Вадиму и такое же полное, хотя в другую сторону — Савве (его я не полюбила). В Вадиме ничего от природы: одна голова, в Вере ничего от головы: одно (блаженное) дыхание.

Странно, что у мозгового сплошь — Л. Андреева — такие дети (Валентин и Вера). Любовь к природе отца и сына (Вадим) — страх перед собственным мозгом, бегство его. Бессознательное свето-водо- и т. д. лечение. Этим детям лечиться не от чего».

А мне-то казалось, что она меня просто не замечает… И усмотрела же она в моем отношении к ней — почтительно-боязливом — дружественный интерес, скорее желание понять, проникнуть в глубины внутреннего мира поэта, тщательно скрываемое восхищение наружностью Марины Ивановны, преклонение перед загадочностью, таинственностью ее личности.

В виде комментария к этому отрывку не могу не посомневаться в оценке Вадима и Саввы — почему я оказалась полной противоположностью Савве? Это совсем не правильно, так как мы с ним были очень похожи… И как можно было не полюбить Савву — такого обаятельного, красивого, как греческий бог! И почему Л. Андреев «сплошь мозговой»? А его великая любовь к природе, к морю, его страстно эмоциональная натура — неужели только из страха перед собственным мозгом? Бегство от него к природе? Прекрасно и глубоко сказано, но не совсем правильно — неужели только «бессознательное свето-водо- и т. д. лечение», а не неразрывная глубинная связь между природой и отцовской натурой? И почему же все-таки у Вадима «одна голова» и ничего «от природы». Мы все — отцовские дети, может быть, по-разному, может быть, в неравной степени, но все без исключения любили природу, всецело растворяясь в ней, одушевляя ее своей эмоциональностью.

Эти строчки Марины Ивановны я прочитала гораздо позже понтайакского лета, — и как же я пожалела, что тогда была этим

самым «великаненком», слишком молодым, слишком застенчивым, и не сумела войти в более тесный контакт с Мариной Ивановной, а только чисто внешнее нечто, только несколько боязливых взглядов, только немного внимательного слушания!..

На пляже в Понтайаке собиралось довольно много наших соотечественников. Откуда они все брались, затрудняюсь сказать, да, к сожалению, не помню и фамилий. Они были интеллигенты или дети интеллигентов, и было интересно проводить с ними время, — все лежали или сидели пестрой группой на чудесном мелком атлантическом песочке, — центром группы обязательно была Марина Ивановна с Муром и Сергеем Яковлевичем и незаметно тушевавшейся милой девушкой-подростком Алей. Иногда Аля приходила одна с Муром, а Марина Ивановна приходила позже. Как сейчас вижу ее невысокую стройную фигуру в неизменном ситцевом платье типа «Дирдельн-клайд» — любимое платье немецких девушек-подростков, — в таком платье я тоже ходила в нашу бытность в Берлине. Это простенькое платье, с лифом, шитым в талию, с пуговками по корсажу, с четырехугольным вырезом, окаймленным тонким кружевцем с бархоткой, с короткими рукавами, с широкой в сборку юбкой и с передничком. У Марины Ивановны на платье отсутствовали, конечно, такие инфантильные детали, как кружевце и передничек, но общий фасон сохранялся и, надо сказать, как нельзя лучше шел к ее коротко подстриженным волосам пепельного цвета, сухощавой стройной фигуре с тонкой талией, красивым рукам в толстых серебряных браслетах.

Очень прямо держась, быстрой и энергичной походкой, Марина Ивановна шла к общей группе, скидывала на ходу платье и, оставшись в купальнике, усаживалась на песок. Все учтиво приподнимались, здороваясь с нею, она окидывала всех своим прищуренным зеленым глазом, и начинался разговор сначала о всяких житейских делах, а потом поднимался на какую-нибудь отвлеченную тему. И я, прислушиваясь, убеждалась, что мне следует лучше помолчать, так как, к стыду своему, я должна была признаться, что толком мало что понимаю.

Как сейчас вижу всю нашу группу: в центре сидит, скрестив ноги по-турецки, златокудрый Мур — мне всегда казалось, что он похож на одного из римских императоров времен упадка Римской империи, — кажется, Веспасиана, — такое же лениво-властное выражение лица с детскими чертами. Странное сочетание, делавшее Мура в моих глазах, несмотря на возраст, подозрительно взрослым и мудрым. Он не высказывал никакого

интереса к разговорам и развлечениям подростковой молодежи, — он участвовал, совершенно на равных, в разговорах взрослых, время от времени вставляя свои замечания, по которым можно было судить, что он правильно все понял, вник в самую сущность вовсе абстрактных разговоров и имеет совершенно определенное, свое личное мнение. Помню, как-то заспорили взрослые насчет выгодности разведения кроликов в «приусадебных», так сказать, садиках около городских вилл.

— Нет, — сказал спокойно Мур, — я считаю, что это совершенно нерентабельно: где вы достанете столько травы, сена и прочего корма для этих прожорливых животных?

Все так и застыли: только подумать — «нерентабельно»! И это говорит шести-семилетний мальчик!..

А Марина Ивановна лежала в своей любимой позе: на животе, опираясь на локти, серебристые, чуть вьющиеся волосы — они не были седыми, это только такой серебристо-пепельный цвет — очень красиво обрамляли ее бронзово-загорелое лицо с резкими чертами, как у камеи. Стройные, загорелые ноги; сухощавая рука нервными движениями набирает песок, медленной струйкой выпускает его — извечное занятие всякого человека, лежащего или сидящего на песке, — вдруг резко отбрасывает песок нетерпеливым жестом, — в нем вся ее натура — нетерпеливая, своенравная.

Как-то раз я пришла на пляж позже и застала Марину Ивановну одну. Она сидела и, опершись на руки, смотрела на море. Глаза ее, того же зелено-серого цвета, что и морские волны, были устремлены прямо вперед, туда, где линия горизонта, туда, где небо сливается с водой. И такая страстная печаль была в них, такое желание — чего? — полета, слияния с морем? — что мне невольно вспомнилась Русалка Андерсена, что сидит на камне перед гаванью Копенгагена, — образ вечной печали о несбывшейся мечте…

…Жизнь на берегу океана имеет свои особенности, резко отличающие ее от течения обыкновенной жизни. Подобно Петьке из папиного рассказа «Петька на даче», подавленному величием леса, сначала я была потрясена размером и величием океана, и мне было страшно вглядываться в эти волны, поражаясь их тупому, как мне казалось, упорству, с которым они набрасывались на берег. Они мне казались какой-то злой силой, одержимо стремящейся уничтожить милую землю — милую, теплую, родную, напоенную тысячей ароматов, овеянную ласковым ветерком. Как хороша наша Земля, как хорошо, что я и все люди живем на ней, и как нежно и сильно я ее люблю.

Днем, при ласковом солнце, при легком ветерке океан не

страшен — он даже дурачится, плескаясь небольшими волнами, распростирая по мокрому песочку прозрачную, такую невинную пленку воды, с легким шипением окаймляя ее беленьким кружевцем.

Но бывает днем сильный ветер, который поднимает громадные волны, кидает их на берег со страшной силой, — тогда на пляже поднимают черный флаг в знак опасности, предупреждая: «люди, не ходите купаться! — если станете тонуть, то никто вас спасать не будет!»

Мы ходили, несмотря на предупреждение черного флага. Купаться! Это легкомысленное слово вовсе не подходит к той борьбе за жизнь, которую приходится вести человеку, безрассудно залезшему в прибой. С замирающим от ужаса сердцем я вытягиваю вперед руки, как бы заклиная волну помилосердствовать, и, закрыв глаза, ныряю прямо в эту серо-зеленую пенную стену, — вода ощутимо хватает за волосы, как будто намереваясь выдрать их с корнем, с силой прочесывает их, прокатывается по спине, по ногам, придавливая тело вниз, потом давление слегка слабеет и можно, правда с трудом, высунуть голову для того, чтобы вдохнуть воздуху и приготовиться к атаке следующей волны.

— А, Иван Иванович! Здравствуйте! — приветствует надвигающийся вал пляжный шутник и весельчак Петр Семеныч, приготовившийся нырять неподалеку от меня.

Я снова ныряю, волна проносится надо мной, но — я немного замешкиваюсь, не успеваю вдохнуть воздух, и новый вал ударяет меня в грудь, в голову, с силой переворачивает, и я напрасно силюсь встать на ноги — вода с какой-то злобной силой волочит меня ко дну, тычет лицом в песок, в камни, а я даже не в силах отвернуть лицо… Вот тут-то меня и охватило жуткое ощущение конца — но в последний момент я все-таки высовываю голову из воды… Больше я уже в такую волну не купалась.

В шторм мы ходили с братцами на скалистый мыс за пляжем и там смотрели на прибой: громадные волны, беснуясь, кидались на скалы с такой страшной силой, что дрожала земля и целые фонтаны пены поднимались высоко в воздух. Проносясь по источенным водой извилинам и проходам в камнях, волны, извиваясь и грозно шипя, врывались в промоины и, встретив непоколебимую каменную стену, разбивались об нее в бессильной злобе, вставали стеной пены и брызг. Грохот и шум были так сильны, что надо было кричать, чтобы быть услышанным.

Саввка становился на самый край скалы, каскад брызг и пены обрушивался на него, а он простирал вперед руку, как бы призывая их к еще более страстной атаке. Мокрые до нитки, но

ужасно счастливые, мы плясали и кричали что-то восторженное, и грохот прибоя заглушал наши крики, и чайки с хриплыми воплями носились над волнами, и весь мир в пене и брызгах лежал перед нами, — о молодость, о жизнь, о счастье!

Совсем другие чувства охватывали меня, когда наступила ночь и необъятная чаша небосвода, вся темно-темно-синяя, как торжественный бархат королевской мантии, усыпалась бесшумно шевелящимися звездами. Нигде больше нет такого громадного неба, полновластно царящего над землей и ее океаном. Нет ни гор, ни деревьев, ни домов, нет никакой живой природы — только огромное море, только огромное небо, только таинственное шуршание галактики, проносящейся где-то мимо, обтекая сверху, снизу, со всех сторон.

Далеко вдаль ушло море, под ногами гладкий твердый песок отлива. Я робко иду по песку, робко взглядываю вверх и уже не могу оторвать глаз от грозно молчащего неба, — оно властно притягивает к себе, погружает холодные когти в саму душу — знакомые, угрюмо покорные звуки Лунной сонаты призрачным эхом раздаются в ушах. С безмолвной мольбой я всматриваюсь в небо и с ужасом чувствую, до чего же оно равнодушно, до чего безжизненно, до чего ему нет дела до ничтожной козявки, какой являюсь я со всеми своими ничтожными мыслями, ничтожными печалями, ничтожной, короткой, как единый миг, жизнью. Так было, так будет: разрушится мир, разрушатся прекрасные города, провалятся в бездну забвения все дела человека, все пожрет этот ненасытный космос. И казалось мне — «сам космос, не дыша, глядит, как леденеет в нас душа», будто бросил он в мою душу осколки того злого зеркала, от которого заледенело сердце маленького Кая. Нет, не надо так долго всматриваться в ночное небо, лежа навзничь на океанском берегу, необъятность вселенной силой вторгается в душу, опустошает ее, всасывает в себя — и вот уже душа отделяется от тела, и, боже мой, как трудно, как неохотно возвращаться из этого ледяного полета в свой маленький тесный мир, такой ничтожный, но такой теплый, такой родной, — тише, надо лежать, скорчившись и закрыв глаза, — пусть там, наверху, летят куда-то галактики, пусть ненасытный космос глотает свои жертвы, — я здесь, на земле, вот она — теплая, родная, у меня под руками, я касаюсь ее, я ласкаю ее.

Воспоминания обо всем пережитом на океане кажутся далекими и не реальными, когда мой скорый поезд снова уносит меня обратно в Чехословакию, — мир снова окружен земными понятными рамками: вот причесанный лесок, вот речка, сердитые

волны которой кажутся игрушечными, не приносящими никакого вреда, вот мостик — по нему беспечно проходят даже такие трусливые существа, как куры и бараны…

И снова пансион. На этот раз он находится уже за чертой города — туда надо ехать на поезде одну остановку с полустанка Страшнице.

Мама присылала мне один раз в месяц 150 тогдашних крон. Это было довольно много, если представить себе, что билет в кино стоил крону двадцать, а лучшее пирожное сорок геллеров. Я получала чеком в банке на Вацлавской площади — в благоговейной тишине чинные люди за окошком брали мой чек, совали в руку таинственный жетон. Я усаживалась в большое кожаное кресло, проваливалась чуть ли не до земли. «В такое кресло может свободно сесть и бегемот», — думала я, стараясь не слишком задирать коленки. Минут через десять чей-то деревянный голос называл цифру моего жетона, — я выкарабкивалась из кресла и шла к другому окошку. Высовывалась бледная рука, забирала жетон, и невидимый за темным стеклом фантом отсчитывал мои 150 крон. Взяв их и поклонившись уже опять наглухо закрытому окошку, мучительно сознавая, что мои казенные башмаки стоптаны, я, пошатываясь, выходила из тяжелых дверей банка на улицу. Немедленно придя в себя, я ускоренным темпом устремлялась в кафе Юлиш, неподалеку от банка, и, шикарно рассевшись в уютном уголке за столиком, заказывала себе любимые пирожные со сбитыми сливками и черный кофе — невероятно вкусные были эти пирожные, а кофе своим пронзительным ароматом привлекал даже прохожих на улице — даже с закрытыми глазами можно было понять, что приближаешься к знаменитой «каварне Юлиш» («кава» — это кофе по-чешски). Вкусив пирожных, я отправлялась покупать билеты в кино — один на дневной сеанс на один фильм, другой в другом кино на вечерний сеанс. Так как перед фильмом обыкновенно показывали «журнал», то есть новости со всего мира, а иной раз и целый добавочный фильм, то получалось, что за один день я ухитрялась увидеть целых три, а то и четыре фильма, не считая двух журналов. И, сжавшись в темноте на своем стуле и забывая даже пережевывать любимый шоколад с орехами, я упивалась зрелищем Гарри Купера или Джона Фарелла, недосягаемых, непостижимо мужественных, фантастически обаятельных. Что из того, что Гарри Купер был слишком тощ и неуклюж, что из того, что раз он даже свалился в мусорный ящик из-за своей деревенской неуклюжести, но зато какое мужественное благородное сердце у него было, какой

взгляд он бросил на свою очаровательную блондинку, каким небрежным жестом он подносил два пальца к своему колониальному кепи, прощаясь с таинственной, загадочной Марлен Дитрих, отдавшей ему свое изменчивое сердце и последовавшей за ним босиком в пески Сахары. Этот финал фильма «Марокко» слегка шокировал меня — и ребенку становилось ясно, что далеко по пескам пустыни в таком скудном снаряжении Марлен Дитрих не дойти, даром, что она подхватила какую-то козу, показывая этим, что она такая же покорная женщина, как те бедуинки, что безропотно следуют за своим повелителем-мужчиной.

Конечно, тут еще был и Дуглас Фербенкс — такого Зорро-мстителя, такого насквозь пропитанного романтикой Багдадского вора, такого Робин Гуда, каким был этот необычайно ловкий, жизнерадостный, подкупающе искренний актер, гимнаст, почти акробат, только и можно себе представить. Сколько потом было этих Зорро-мстителей, но ни один не сравнился с Дугласом Фербенксом, «Дугом», как ласково-фамильярно называл его Саввка. Еще бы: многие говорили, что Саввка похож на Дугласа Фербенкса и лицом, и фигурой, а главное — этой непостижимой легкостью движений, изяществом каждого прыжка, подкупающей непринужденностью каждого жеста. Любой молодой мужчина, если поднатужится, может перепрыгнуть, скажем, через стул, вопрос — как он это сделает? Он сморщится от усилий, неуклюже разбежится, с треском оттолкнется от пола, разбросав в стороны руки и ноги, кое-как перелетит через стул и с грохотом обрушится на пол, с трудом сохраняя равновесие. А Дуглас? Неуловимым движением, совсем не разбегаясь, а прямо с места он взлетает над стулом, даже как бы задержится над ним, как птица, поддерживаемая восходящей струей воздуха, и потом мягко, бесшумно опустится на пол — все это непринужденно улыбаясь, как бы между прочим.

Помню, на пляже в Понтайаке Саввка выделывал какие-то свои акробатические прыжки и трюки — залезал на сваи ресторана, прыгал через стулья. Публика с большим восхищением любовалась им, а одна сумасшедшая американка решила, что он действительно Дуглас Фербенкс, инкогнито путешествующий по Франции, погналась за ним с фотоаппаратом, но Саввка, загадочно улыбаясь дугласовской ослепительной улыбкой, предпочел удрать от нее подальше, так и не раскрыв своего инкогнито.

Слегка обалдев от количества впечатлений, уже к вечеру я прибывала в пансион. Наскоро поужинав, обитательницы нашей комнаты укладывались в постели, и я принималась рассказывать

содержание всех этих трех или четырех фильмов. Увлекаясь общим вниманием, я рассказывала со всеми подробностями, описывала наружность любимых героев, их влюбленные взгляды, выражение их лиц, когда переходя на шепот, когда подчеркивая драматизм ситуаций театральными паузами, я держала в напряжении своих слушательниц, совсем упустивших из виду, что по пансионным законам давно пора спать.

Вдруг распахивается дверь, вспыхивает свет. Резкий окрик:

— Андреева, я давно слышу твой голос! — повергает всех в ужас, все ныряют под одеяла, а я нахально говорю сонным голосом:

— Это вовсе не я, здесь все молчали…

Сбитая с толку воспитательница неуверенно вопрошает:

— Кто разговаривал? Признавайтесь!

Никто, конечно, не признается, и «Цапля», посрамленная, уходит. Напрасно, значит, она подслушивала под дверью — ха-ха! По поводу этого подслушивания про нее сочиняли стихи под Лермонтова:

…По гладким доскам коридора,
Лишь десять пробьет на часах,
Зловещая Цапля несется,
Несется на длинных ногах.
Не гнутся тощие ноги,
На них башмаки не скрипят,
И молча в открытые щели
Змеиные глазки глядят.

После одного слишком резкого разговора с Цаплей я сгоряча совершила оплошность — взяла да и уехала во Вшеноры к сестре Нине. Там, решив, что мне все равно в пансионе не бывать, я сняла комнату. Недели через две я с некоторым беспокойством явилась в гимназию — мне было не совсем ясно, как я объясню учителям свое долгое отсутствие. Все как будто обошлось, но на переменке мне сказали, что меня вызывает директор.

Строго глядя на меня, директор спросил, почему это я так долго отсутствовала. У меня душа ушла в пятки, и я пробормотала что-то насчет болезни, но он не дал мне договорить и сказал такое, отчего все окружающее как-то завертелось и неожиданно для самой себя я очутилась уже сидящей на стуле, а директор оказался передо мной со стаканом воды в руке. Я залилась горькими слезами:

— Как это? Меня исключают из гимназии? За что? Что я такого сделала?

Значительно потеплевшим голосом — все-таки он здорово испугался — директор объяснил мне, что существует гимназическое правило: если ученик (ца) отсутствуют, не объясняя причины, более двух недель, то их автоматически вычеркивают из списков учащихся.

— Но… — тут он сделал многозначительную паузу, — вы отсутствовали не больше двух недель, а на два дня меньше, поэтому мы, пожалуй, оставим вас в списках. Тем не менее за дерзкие ответы воспитательнице Маргарите Францевне вы исключаетесь из списков воспитанниц пансиона.

«Ну, чепуха какая, — мелькнуло у меня в голове, — главное, что из гимназии не исключают!» И, слезно поблагодарив директора, я отправилась восвояси.

Осень продолжалась, становилось все холоднее в моем насквозь продуваемом домике, к тому же по вечерам, когда я приезжала из гимназии, меня томил волчий голод — обедала-то я в гимназии в 12 часов дня, а потом, вместо обильного пансионного ужина, должна была довольствоваться булочками с чаем… Вскоре у меня кончились выпрошенные у мамы деньги — и досталось же мне за уход из пансиона! — и пришлось «брать на книжку» у лавочника Соботки. Вскоре я слишком хорошо поняла коварное свойство долговой книжки, когда совершенно незаметно к булочкам лавочник стал приписывать и масло, и колбасу, и варенье… Я диктую, а он проворно записывает… Внутренне вся похолодев, чувствуя себя преступницей, не смея даже в уме прикинуть стоимость всего, что так безвольно я заказывала, испытывая страшные угрызения совести, я тем не менее приходила в свой домик, растапливала плиту дровишками и углем, принесенным от того же Соботки, и, тяжело вздыхая, пила дымящийся чай с отборной снедью, — на аппетит почему-то угрызения совести не действовали.

Началась зима, та знаменитая снежная зима 1927/28 года, когда грянули морозы в 25–30 градусов, совершенно исключительные для Чехословакии.

Вшеноры засыпало снегом, всякое движение поездов прекратилось, школы закрылись. Я оказалась отрезанной от мира в своем оледенелом домике, без еды, без топлива, так как Соботка потребовал оплаты всех яств, которые он мне дал в долг. Я стала заходить к тем немногим знакомым, которые еще оставались с прежних времен во Вшенорах: к Чириковым, к Мусе, милой доброй женщине, к еще другим дамам в Мокропсах — все это были очень бедные люди, и мне ужасно совестно было оставаться у них на обед, пить у них чай, греться у их печки — они сами недоедали, сами мерзли в эту ужасную зиму, которой, казалось,

не будет конца. Я старательно чередовала своих знакомых, и сколько раз, бывало, приходила домой, так и не осмелившись принять приглашение «поужинать с нами»: я же видела приготовления к этому ужину — немного картошки в мундире (какой аппетитной, какой ароматной!), чай (какой горячий, какой сладкий!), — если бы я осталась, кому-нибудь из членов семьи не хватило бы этой скудной еды.

Я приходила в свой домик, где, казалось, было еще холоднее, чем на улице, — стекла были сплошь в толстых морозных узорах, стены седые от инея, вода в тазу, где я умывалась, промерзла до дна и стояла горкой, пар клубами вырывался изо рта. Негнущимися руками я растапливала плиту остатками щепок и угля, выпрошенными у сурового Соботки, — куда девались его услужливые улыбки и елейный голос?! Я кипятила чайник, усаживалась на стул, поближе к раскаленной плите, и, обжигаясь, пила пустой кипяток. Комната постепенно нагревалась, иней на стенах таял и сверкал бриллиантовыми каплями, в отдаленном же углу стены покрывались еще более пушистым белым его слоем, ноги чуть ли не дымились, а спина леденела под холодными струями воздуха, от окон.

Потом я наполняла горячей водой, почти кипятком литровую бутылку, крепко закупоривала и клала в постель, обогревая таким образом ледяные, сыроватые простыни и одеяло. Потом одевалась потеплее — два шерстяных платья, все кофты, какие только были в моем гардеробе, — и в шапке залезала под одеяло. Долго еще я дрожала, пока наконец вся толща платьев, кофт и одеяла прогревалась, и я засыпала, как медведь в своей берлоге. Я спала, а комната снова простывала, и, проснувшись поздно утром, я боялась высунуть ноги из-под одеяла: казалось, мороз их обхватит — и я упаду на пол, как те птицы, что замерзают на лету в районе Оймякона. Сделав наконец усилие, я вскакивала, снимала лишние кофты, надевала куртку, обматывала шарфом голову и шею и выходила во двор.

Мы с одной знакомой купили как-то пополам настоящие финские сани из гнутого дерева, с обитыми сталью полозьями. Конечно, знакомая дама и носу не показывала в такой мороз из дому, и я всецело завладела санями — они послушно дожидались меня в моей запорошенной снегом прихожей. Схватив сани за веревку, я бодро шагала по свистящему под ногами, никем не убираемому, только слегка притоптанному снегу по улочке до самого конца Вшенор — по дороге мне обыкновенно не встречалась ни одна живая душа, — даже собаки и кошки попрятались, а из каждой трубы медленно поднимались к светло-голубому небу белые столбики дыма. Низко стоящее на небе

солнце словно зажигало бенгальские огни на покрытых инеем деревьях — совсем как в далекой Финляндии, на нашей родимой Черной речке, вот так же точно сверкали распушенные инеем березки, когда нас, маленьких, выпускали закутанных до глаз из дому и мы копались в рассыпчато-зернистом снегу, играя в продавцов сахарным песком и скрипящей картофельной мукой…

Стояла прекрасная, сверкающая, веселящая душу морозная погода: чистейшей, свежайшей струей воздух вливался в легкие, ноздри слегка слипались от мороза, и такая огромная радость охватывала все существо, что хотелось прыгать, бегать, кричать, кататься по этим сверкающим, с голубоватыми тенями сугробам, — русский, широкий и свободный, как сама великая Россия, дух, вопреки расстояниям, вопреки чужеродному окружающему, играл и пел во мне, и никогда уже мне не сделаться иной — где бы я ни была, что бы со мной ни происходило!

В конце Вшенор улочка поднималась среди леса к Чертовым скалам, где когда-то Саввка выделывал свои головокружительные трюки. Я втаскивала сани на самый верх этой длинной крутой дороги с несколькими поворотами, разгонялась, вцепившись обеими руками, потом я вскакивала сзади на одно колено, как принято было у нас на Черной речке, и неслась, все увеличивая скорость, рискуя перевернуться, удариться об обступившие дорогу деревья, — прямо вниз, вниз! Морозный ветер выдувал слезы из глаз, дыхание замирало, безмолвный лес, застывший в неподвижном покое, вдруг оживлялся, шевелился, кружился передо мной, повторяя скрип саней, шелест полозьев, мои восторженные крики, сливающиеся в какое-то нечленораздельное, но такое счастливое завывание… Так завывали мы, несясь вечером на лыжах по замерзшему каналу из Рунолины в Раухаранту, изображая голодных волков, настигающих добычу.

Примчишься, едва дыша, вниз и какое-то время посидишь неподвижно на санках, прислушиваясь к тишине, — лес опять погрузился в сон, только вдруг сверкающая струйка инея бесшумно прольется с ветки, да слегка треснет промерзающее дерево — малейший звук долго стоит в неподвижном воздухе.

Вскоре мороз чуточку ослабел, и я узнала, что какой-то поезд пойдет все-таки в город. «Скорей в гимназию! — думала я. — Взмолюсь там, неужели меня бросят замерзать во Вшенорах!»

Там я с восторгом узнала, что у нас новый директор — преподаватель русского языка Сватош, чех по происхождению, живший всю жизнь в России и ничем не отличавшийся от русского. Его все любили, и я храбро отправилась к нему в

кабинет. Красочно описав свои злоключения во Вшенорах, холодную и голодную свою жизнь, я так растрогала доброго Сватоша, что он чуть не прослезился и приказал, чтобы я немедленно отправлялась в пансион.

До чего же было тепло, хорошо, весело в пансионе! Опять грянули морозы, опять школы закрыли и не ходили поезда, а здесь большая железная печь посередине комнаты распространяла божественное тепло. Только и забот было, как дождаться обеда, ужина, полдника, гадать, что будет на ужин.

Весна приближается, а с нею и матура, так называют эти экзамены чехи латинским словом (матура — зрелость). Но я ничего не делаю.

Мое преступное безделье на фоне приближающихся экзаменов удивляло и интриговало многих.

— Когда же ты начнешь заниматься? — спрашивали приятельницы, и вскоре наиболее любопытные стали глазеть на меня, как на чудо: ведь те, кому угрожали экзамены, не расставались с учебниками ни днем ни ночью — бледные, они бродили как сомнамбулы, бормоча свои биномы Ньютона и прочую математическую ересь вперемежку с именами чешских просветителей: Ян Амос Коменский родился в Гавловицах… Ян Колар родился в Мниховицах… Неужели так важно, в какой деревушке родились эти славные мужи?

В моей же голове образовалась каша из просветителей, их произведений и деревушек, в которых они родились. Причиной же моего безделья было твердое убеждение начать зубрежку только непосредственно перед экзаменами: ведь если бы я начала раньше, то успела бы все забыть — даже математику я должна была зубрить наизусть, так как ничего в ней не понимала.

За две недели до матуры наш восьмой класс распустили, выдали по 30 билетов по каждому предмету, и я принялась за зубрежку. Меня, главное, пугали два предмета — математика и чешский язык, и, забросивши все остальные, я кинулась на них. Еще заранее Таня Варламова написала для меня шесть чешских сочинений на тему разных произведений чешских классиков, — прошел слух, что одно из них обязательно будет на письменном экзамене. Плохо понимая содержание, не зная смысла некоторых слов, я несчетное количество раз переписывала каждое это сочинение со всеми закорючками на буквах, со всеми «мягкими» и «твердыми» чешской замысловатой орфографии. Со слепым доверием я настолько добросовестно вызубрила эти шесть сочинений, что, если бы хотя бы на миг переставила бы какое-нибудь слово, я бы уже не знала, как быть дальше… Я вызубрила все доказательства математических формул, ничего в них не

понимая.

И вот настал первый день письменных экзаменов — сочинение по русскому языку, — вот уж чего я совсем не боялась, даже наоборот, с удовольствием предвкушала, как я им всем — кому всем? — докажу, что не одной математикой жив человек!

В гимназии с этого раннего утра царило оживление: принаряженные девушки, в отутюженных формах, в кружевных воротничках, толпились с гимназистами — черные их косоворотки выглядели особенно торжественно. У каждой девушки в руке была ветка сирени.

Сочинение получилось, наверное, хорошее, так как я потом слышала, что его как-то отметили в анналах гимназии, что о нем говорили учителя как о лучшем.

На другой день был письменный чешский. Перед экзаменом ко мне подошел наш учитель-чех и пошептал, чтобы я села подальше от кафедры инспектора: тогда он сможет подходить и незаметно указывать мне на ошибки. Но когда объявили, что тема как раз одна из тех вызубренных шести, я демонстративно уселась за первым столиком, прямо перед носом у инспектора. Как живые передо мной встали вызубренные фразы, стройными рядами выстроились все нужные закорючки, и никакие коварные языковые ловушки не могли поколебать железной уверенности, с которой, не поднимая головы от бумаги, я строчила свое сочинение «Клад» по балладе Эрбена. Недоумевающий учитель раза два подошел и заглянул, как я пишу, не увидел ни одной ошибки и больше уже ко мне не подходил.

Потом была письменная латынь — большущий перевод из «Метаморфоз» Овидия. Я неплохо понимала латинский язык из-за его сходства с итальянским — бывали, однако, смешные казусы, когда, понимая в данной фразе каждое слово, общий смысл из-за плохого знания грамматики я совершенно искажала… Благоразумно усевшись недалеко от Тани, я по чуть заметным ее знакам догадывалась о своих превратных умозаключениях и в три счета все направляла в нужное русло — умному только подскажи!

Итак, письменные благополучно позади, но вот устные!..

Вот за большим столом, покрытым зеленым сукном, рассаживаются члены экзаменационной комиссии — все учителя во главе с директором и свирепый инспектор Лакомый, который даром, говорят, носит такую съедобно-милую фамилию…

Ни жива ни мертва сижу я за партой — все чувства мои напряжены до предела. Мысль работает четко и проворно, когда называют первой — мою фамилию, и я подхожу к столу — перед нашим математиком Владимиром Антоновичем, столько раз видевшим меня плавающей или молчащей у доски, лежит горка

билетов: там, значит, задача и теория. Я смотрю на эту кучу и вижу, что карандаш нашего грозного учителя как-то странно кружит над одним местом этой кучки… «Ага» — молнией блеснула догадка, и я твердой рукой беру ту сложенную бумажку, над которой кружил карандаш. Отхожу, разворачиваю… В глазах у меня потемнело — бесконечно длинная заковыристая задача! И мне кажется, что я вижу, с какого конца ее можно начать, — попробовать?.. Иду к доске и начинаю подставлять цифры, выводить формулы — получается какое-то огромное число, корень ни каким чертом не извлекается… Стерев его, я быстренько в уголке множу одно на другое какое-то выдуманное число и торжественно «извлекаю из него корень». Владимир Антонович, покряхтывая, подходит к моей доске и глядит на мои художества. Мне стыдно на него смотреть, но он молча отходит. Вот наконец и желаемый «ответ». Теория — бином Ньютона — мне не особенно страшен; кажется, я его выведу на чистую воду, ведь я даже словно вижу перед собой ту самую страницу из учебника, где о нем написано, надорванный уголок этой страницы.

К моей доске, видя, что я положила мел, подходит Владимир Антонович с инспектором.

— Расскажите ход задачи, Андреева.

Ясным и твердым голосом я рассказываю ход своих действий, инспектор вместе с Владимиром Антоновичем согласно кивают головами.

— Здесь у нее получились большие числа, она их сократила, — говорит учитель, инспектор кивает, а я думаю: «Милый, милый Владимир Антонович! „Сократила!“ — он же знает, как я сокращала…» — Вот, вы видите, задача решена правильно, теперь желаете теорию?

— Не надо теории, — вдруг говорит инспектор, — она так хорошо решила задачу, что избавим ее от теории!

И они отходят. Не чуя ног под собой, я отправляюсь за свою парту — только подумать, страшная математика позади, теперь мне сам черт не страшен, ведь я в первый раз решила самостоятельно задачу!

После небольшого перерыва нас опять загнали в класс — чешский язык! Перед тем как войти, ко мне приблизился наш учитель чешского и тихо спросил:

— Сколько билетов вы выучили?

Я по правде отвечала, что кое-как знаю три билета, остальные совсем не знаю, а из этих трех мечтаю получить первый… Он схватился за голову и запричитал, но когда я приблизилась к роковому столу, то повторился трюк с карандашом, — на этот раз

карандаш свалился прямо на билет, лежавший немного в сторонке от основной кучки. Потом я играючи отвечала по истории о семейных делах Петра Великого. Честно говоря, я страшно все перепутала — какая жена у него была прежде, какая потом, какие дети… В тот момент, когда я твердила, что царевич Алексей был сыном Екатерины I, я почувствовала легкие толчки ногой рядом сидящей учительницы истории — она давала понять, чтобы я опомнилась и перестала нести чушь, но я, не переставая говорить, взглянула на нее, посмотрела на членов комиссии — инспектор о чем-то шептался с директором, и я поняла, что надо говорить не останавливаясь, ибо если я замолчу, то тут-то они и забеспокоятся. Я и говорила до победного конца, пока мне наконец не сказали:

— Очень хорошо! Можете сесть.

Так победно и кончились страшные экзамены. Я просто ликовала! Окончено учение в опостылевшей гимназии, и вот, наскоро со всеми простившись, я уезжала в Париж, к взрослой жизни, — может быть, там меня ждет счастье?..

Что же происходило во время моего отсутствия в нашей семье? Да ничего особенного: тетя Наташа работала теперь в семье обрусевших французов. Дез Обри жили по нашим эмигрантским понятиям вполне богато, у них была прекрасная квартира и прочие удобства, Наташе платили хорошее жалованье, но она все-таки казалась чем-то недовольной, неуверенно и как-то заискивающе себя держала с хозяевами. Тетя Наташа нашла все-таки свое призвание. Она оказалась необходимой маленьким детям: у маленькой Люси чуть ли не каждый год прибавлялось братьев и сестер — всех их тетя Наташа беззаветно любила, была им самым нужным человеком, а разве недостаточно этого для счастья?

Савва по-прежнему «ходил на базар», по его выражению, то есть посещал Академи де Бо-з-Ар. Бесконечные эскизы, рисунки голых натурщиц, бюстов известных скульптур, портретов пачками лежали на столах. Постепенно стало проявляться тяготение Саввы к портрету, но он долго вырабатывал себе свою манеру письма, находясь то под влиянием Репина, то Шухаева, стараясь избежать фотографичности. Валентин посещал лицей Мишле и очень преуспевал во французском языке и литературе. У него появились приятели-французы, и я слыхала, как он несколько раз упомянул имя какой-то Соланж, когда шептался с Саввкой. Вообще мои братцы стали вполне взрослыми парнями, тщательно брились и старательно следили за своей наружностью. Валентин, однако, сохранил неистребимо мальчишеский вид, каким всегда

отличался. Братья вместе с шурином Вадима Володей Сосинским ходили играть в теннис на порядком заброшенные клямарские корты — очень по-домашнему выглядели эти площадки, с пробивавшейся сквозь когда-то оранжевый песок сорной травкой по обочинам, со слегка провисающей старенькой сеткой. Иногда приходила и я посмотреть на их игру, и мне очень нравился азарт, с которым братцы носились по своим площадкам, меткие удары, головоломные прыжки, «пушечные подачи». Даже здесь заметна была разница между братьями — Савва, сильный и ловкий, бил так, что казалось, сейчас лопнут струны ракетки. Тин играл более сдержанно, избегал прямых нападений, часто обманными ударами около сетки ставил в тупик разогнавшегося для своего сокрушительного удара Саввку.

Чем же занималась я? Почти ничем, — немного хозяйством, ходила в магазин, убирала, что-то готовила, все под бдительным оком мамы, всегда недовольной моей якобы медлительностью и нерасторопностью. Создавалось мрачное, гнетущее сознание своей неполноценности, ущербности и даже никчемности. Сколько раз, сидя в мансарде братьев и слушая бесконечные упражнения на рояле, доносящиеся из маминой комнаты, я себя чувствовала настолько несчастной, что казалось, так и будет проходить вся жизнь — без радости, без счастья, без любимого человека, вечно среди этих четырех стен под звуки «Музыкального мгновения» Шуберта и «Турецкого марша» Моцарта — особенно любимые, особенно трогательно-задумчивые и печальные вещи, которые с особенным пониманием играла мама.

Я с тоской думала, что ведь есть такая страна в мире, где я не буду казаться странной, нелепой, где не думают, согласно чешской пословице, что «одежда делает человека».

Стоя где-нибудь на перекрестке Больших бульваров, глядя на мельтешащие толпы всяких иностранцев, глазеющих по сторонам, рабочего люда, торопящегося по своим делам, бездельников, фланирующих по улицам своего обожаемого Парижа, я чувствовала себя бесконечно чужой, никому не нужной, неинтересной. Я была уверена, что в той, другой стране я не буду никчемно стоять в стороне, что перестану быть глупой и тупой, никому не нужной «рослой девицей в теннисных туфлях»… Почему я была так уверена, что в России такими мелочами не заняты? Откуда, совершенно ничего не зная о положении вещей в России, о жизни и работе тамошних людей, я черпала уверенность, что там процветает и искусство, и высшие интересы, что там весело, дружно живется всем? Я это чувствовала всем русским существом своим, я понимала, что только там есть

родные мне, близкие люди.

Нельзя сказать, чтобы эти мысли приобретали твердую, конкретную форму и толкали на какие-нибудь конкретные действия, да и какие конкретные действия я могла предпринимать, — ведь неизвестность порождала слухи, которым не хотелось верить, но которые назойливо лезли в уши, кричали со страниц эмигрантских газет, шепотом слетали с искривленных ненавистью губ приверженцев бесчисленных организаций. Именно потому, что ненавидели, что шипели, мы и не верили этим слухам — ненависть искажает правду, эта истина давно известна. Но где же правда? Ее никто не знал, и потому лучше было отгородиться от всей этой лживой, ненавистнической болтовни и погрузиться в туманный мир собственных представлений, мечтаний, которым, конечно, вряд ли суждено сбыться, — ведь вся Европа со всеми своими государствами казалась гораздо проще, понятнее, привычнее, чем та далекая, громадная страна. Казалось, проще поехать куда-нибудь в Испанию или Швецию, пожить там, встретить тех же знакомых или чуточку незнакомых европейцев, увидеть тот же — с небольшими вариациями — уклад жизни с теми же богатыми магазинами и нищими в подворотнях, чем хотя бы краешком глаза заглянуть на какую-нибудь петроградскую улицу, — впрочем, она уже не петроградская, а ленинградская, — взглянуть в лицо хоть одного прохожего, вдохнуть тот неизъяснимый, пахнущий немного разрезанным арбузом, немного морской сыростью, питерский воздух… Невозможно! Несбыточная мечта! «А вдруг, — подкрадывается змеей подколодной мыслишка, — там и люди-то изменились? Перестали быть русскими — и мне с ними не найти общего языка?» Но непостижимыми путями все-таки пробивались тоненькие струйки мелодий советских песенок из фильма «Путевка в жизнь», — причем самого фильма никто не видал. Эти песни пела, собравшись, молодежь наравне с «Коробейниками».

Много позже в Париже появились фильмы «Цирк» и «Веселые ребята». Я уже тогда зарабатывала деньги, служа «прислугой за все» у одного богатого адвоката, французского еврея. Часто я приходила к маме в ее «подвальчик», в котором мама жила в последнее время в Париже, приносила ей купленные в специальных итальянских гастрономах сыр «пармеджиано», колбасу «салами миланезе» или оплетенную бутылку «Кьянти» — до чего же я чувствовала себя счастливой, когда видела просветлевшее лицо мамы при виде этих дорогих ей по воспоминаниям итальянских деликатесов, — ведь они были частью ее обожаемой Италии…

— Спасибо, Веруха, — говорила она ласково, и ее строгие обыкновенно глаза озарялись таким мягким светом, что я готова была за один этот взгляд сделать все на свете, ничего не пожалеть, все отдать.

Так вот, принесла я маме билеты в кино, на этот «Цирк» — в то время я довольно часто так делала, и мама охотно ходила со мной в кино, что было удивительно, так как прежде мама не считала кинематограф искусством и очень резко говорила о его дурном влиянии на духовный мир, главным образом молодежи. «Развалясь в кресле в затемненном зале, они впитывают чужие любовные страсти иллюзорной богатой жизни, иллюзорные красавицы-красавцы уводят их от настоящего, от деятельности. Кинематограф учит пассивности, бездеятельности, — ты уж сам не живешь, ты стоишь в стороне и только созерцаешь чужую жизнь, раздразниваешь самые низменные инстинкты, а потом выходишь в эту суровую, некрасивую — не сравнить с киношной! — жизнь, где царят серые будни, где надо работать, делать какую-то скучнейшую работу… Ты как наркоман, нанюхавшийся кокаина, только и мечтаешь попасть снова в кино, снова пережить с любимыми героями их любовные драмы в этом иллюзорном экранном мире». Так говорила мама, и я почти с нею соглашалась. «Почти» потому, что разве не таким же наркотиком является и книга, в которой тоже происходит чужая жизнь, тоже живут иллюзорной жизнью красавцы-красавицы — и ты тоже упиваешься и переживаешь вместе с ними их любовные драмы?!

Этот сдвиг в маминых интересах позволил мне доставить ей массу удовольствия, так как я прекрасно разбиралась в фильмах и не было интересного актера, к которому бы я не выработала своего отрицательного или положительного отношения.

Мы идем на советский фильм «Цирк»! Такого еще никогда не бывало, и мы с ажиотажем предвкушаем зрелище. А билеты-то достать было трудно, парижане и конечно же русские эмигранты проявили небывалый интерес.

Много самых разных впечатлений вынесла я от этого фильма — критически отнеслась к Любови Орловой, ее чечетка на дуле пушки меня никак не очаровала, зато ее «американский акцент» был очень хорош. В юного богатыря Столярова я влюбилась с первого взгляда, особенно потому что его открытое, симпатичное лицо было самым настоящим, неподдельно, типично русским… Феерия с лестницами и вертящимися, переливающимися, бесконечными рядами «герлс» совсем не понравилась — таких картин я насмотрелась в американских и прочих фильмах, и — надо сказать честно — там они были сделаны с большим вкусом. Очень понравилась музыка Дунаевского — «Широка страна моя

родная», которая и создала доминирующее впечатление от фильма. Мне трудно его выразить сейчас, восстановить в памяти ту ликующую радость, охватившую меня, — я не обманулась, Россия действительно та единственная страна, где мне хочется жить, работать, учиться! А я здесь торчу, в этом прекрасном, но чужом Париже — зачем, почему?

Мама была всегда занята: ее деятельная натура не могла оставаться инертной — главным ее занятием была переписка со всеми странами света на всех возможных языках насчет издания отцовских произведений; в Америке был некий Левингстон (а где же Стенли? — вопрошал Тин), а в Италии — Чезаре Кастелли, и с каждым из этих издателей мама переписывалась. Мама никогда не посвящала нас в свои дела, разве только с Саввкой она разговаривала на эти темы, да и то только для того, чтобы поделиться новостями. Но было ясно, что содержание всех нас, большая вилла с собственным центральным отоплением — дрова, угли! — продукты питания, одежда, бесчисленные велосипеды и теннисные ракетки — все это должно было стоить больших денег, тем более что никто из нас ничего не зарабатывал — только потреблял, только требовал…

Мама никогда не встречалась с представителями разных эмигрантских организаций, — все они ей были чужды по духу, неинтересны в своих мелких, шипящих ненавистью страстишках, по своей бедности духовных запросов они были просто несовместимы с маминой богатой натурой, всю жизнь носившей в себе отзвук папиного творческого духа, до самой смерти все бытие нашей семьи благодаря маме озарялось отраженным светом папиной большой личности, его отношением к разным жизненным явлениям, его суждением о людях. «Как бы сказал об этом ваш отец?» — спрашивала мама и сама тут же отвечала на этот вопрос. «Как отнесся бы ваш отец к вашему безделью и лени?» И мы, сокрушенно вздыхая, чувствовали себя последними негодяями: еще бы, мы-то знали, каким деятельным был наш папа, как он трудился, как по ночам работал, не щадя своего здоровья. Часто мама устраивала чтения папиных произведений — она читала со всей выразительностью и проникновенностью «Анатэму», — вопрос Давида Лейзера: «Так ли я говорю, Нуллюс?» — так и звучит у меня в ушах маминым голосом, и нам передавалось бережливо благоговейное отношение к папиному творчеству, к каждому его слову и суждению. Можно прямо сказать, что тень нашего отца никогда не покидала нашей осиротевшей семьи, что и после его смерти мы были приучены сопоставлять свои намерения с его воображаемым суждением —

одобрением или порицанием, может быть, даже не отдавая себе отчета, не составляя конкретного определения, — просто это было проявлением глубинной силы отцовского влияния на наши натуры и характеры.

Мама по-прежнему дружила с Мариной Ивановной, которая жила в том же Клямаре недалеко от нас. Часто мама ходила к ней, и они проводили вместе многие часы. Мама бывала и на редких публичных выступлениях Цветаевой, на одном из которых была и я. Мне было довольно странно видеть эту немногочисленную публику, не слишком доброжелательно смотревшую на Марину Ивановну, очень интересную со своими пепельными волосами, стройную, в зеленоватом платье-хитоне, которое ей очень шло. Она вышла на возвышение, коротко поклонилась публике, села перед столиком с бумагами и стала читать свои стихи. Странная вещь: когда я вспоминаю тихий голос Марины Ивановны, читающей стихи, я слышу Аллу Пугачеву, поющую «Мне нравится, что вы больны не мной…» на музыку Таривердиева, — удивительно, как голос певицы, своим тембром, интонацией, манерой — тут нужно отдать должное и необыкновенно подходящей к словам музыке — напоминает тембр, интонацию, манеру самой Марины Ивановны! Если кто-нибудь захочет представить себе давно отзвучавший голос поэтессы, пусть поставит пластинку Аллы Пугачевой: вместе с композитором она создала полную иллюзию сходства, — та же скрытая гордость, достоинство, та же немного вкрадчивая мягкость, кажущаяся покорность, вдруг взрывающаяся протестом, — все это есть в этом голосе, кроме, конечно, певческой интерпретации. Мне кажется, Марина Ивановна была глубоко равнодушна к пению и музыке — просто не могу себе ее представить поющей. Может быть, поэтому в ее натуре было что-то холодное, скрыто рациональное, несмотря на страстную силу ее произведений?.. А может быть, эта холодность только кажущаяся, только некий камуфляж, скрывающий застенчивость, некая броня, защищающая от внешнего равнодушно-холодного вторжения в ее внутренний мир? Помните: «…не знаю, никогда не знаю, ЧТО чувствует другой…» Оттого, может быть, и настороженность, и холодность Марины Ивановны при общении с другими — свойства, часто отталкивавшие от нее людей.

А ведь на самом деле: какой она бывала милой, простой, весело улыбающейся, какую ласку излучали ее уже не прищуренные, а доверчиво раскрытые зеленые глаза!

Во всех подробностях мне врезалось приглашение Марины Ивановны прийти к ним «на блины». Мы все трое — Савва, Валентин и я, — без мамы, пришли в дом, где жила Марина

Ивановна, старый, небольшой, весь провонявший кошками, поднялись по крутой деревянной, еще интенсивнее пахнущей котами лестнице с поворотом на второй этаж и сразу очутились в довольно большой, с какими-то странными нишами и выступами кухне. С ласковой улыбкой, очень оживленная, Марина Ивановна приветствовала нас, раскрасневшаяся у плиты Аля подливала из большой бутылки на сковородку арахисовое масло — самое дешевое и самое распространенное масло среди бедноты. Аля, немного смущенно, но приветливо улыбаясь, поставила на уже накрытый стол стопку золотисто-поджаренных блинов, мы уселись и под предводительством Марины Ивановны, без устали подкладывавшей в тарелки, начали пиршество. Все было необыкновенно вкусно — и сами блины, и «как будто сметана» — творог, разведенный молоком, и засоленные молоки, и икра селедки, вместо самой селедки, — все эти ухищрения бедности, такие привычные в эмигрантском обиходе, не могли испортить праздничного настроения нашего застолья. Гостеприимство Марины Ивановны было чисто русским — даже в этих тяжелых эмигрантских условиях, почти нищете, не теряла она своего доброго русского лица. Аля, застенчиво улыбаясь, тоже потом села за стол, — почти не притронувшись к еде, она все подкладывала нам блины, спрашивала, вкусно ли, не надо ли еще сметаны, — это было трогательно, так как я знала, сколько старания она вложила в приготовление этого угощения.

Я несколько раз встречала Марину Ивановну на рынке — с неизменной кошелкой в руках, близоруко сощурившись, она, бывало, внимательно изучала жабры свежей селедки, грудой наваленной на прилавке торговки рыбой. Эта рыба была самой дешевой едой. Впрочем, свежая сельдь была очень даже не дурна, вопрос был — распознать степень свежести по одному внешнему виду рыбины. Я плохо в этом разбиралась, но Марина Ивановна меня научила.

— Нужны следующие уловки, — говорила она, — нужно заглянуть рыбе в жабры: они должны быть ярко-красными, а не темно-бордовыми. Потом нужно пальцем попробовать продавить бок рыбины: если палец оставляет не расходящуюся вмятину, дело плохо, — вмятина должна упруго исчезнуть, как только отнимешь палец; не дай бог, чтобы глаза у рыбы были тусклыми, покрытыми пленкой, — эта рыба уже совсем дохлая.

Потом я уехала в Чехословакию, и не могу сказать, как развивались в дальнейшем отношения мамы и Марины Ивановны. И вот прощальное письмо.

«Еще — Париж, 8-го июня 1939, четверг

Дорогая Анна Ильинична!

Прощайте.

Проститься не удалось, — все вышло молниеносно!

Спасибо за все — от Вшенор до Ванва (в который ВЫ меня завели, а потом сами уехали, но я не жалею — Был дом — как пещера…).

Спасибо за чудесную весну с Максом, за прогулки — мимо стольких цветущих заборов — а помните поездку в лес — давнюю — Вы были в своем леопарде, а я — в „кое-чем“ — а Мур еще со всего маху наступил в грозовую лужу…

Помню и *буду* помнить все.

Уезжаю с громадным, добрым, умным и суровым Муром — помните его рождение? („Сразу видно, что сын интеллигентных родителей!“ — Вы, любуясь на резкость его новорожденного профиля) — Дружили мы с Вами 14 с половиной лет, — два раза обновляя кофе… Н. Б. — *второй* раз, — состарившись! (Ибо мы с Вами *никогда* не переставали дружить, хотя и не виделись, и от всего — расставание (неминуемое) произошло *раньше* отъезда, м. б. — тем лучше: и Вам и мне…

Живописное, увлекательное, горячее дарование, неожиданное и, в чем-то глубоком — НАСТОЯЩЕЕ человека — я никогда не встречу.

Прочтите, у М.И.Л. мои стихи к Чехии — они мои *любимые* и уже поехали к Бенешу с надписью: — С той верой, которая (нельзя разобрать слова. — *В.А.*).

Жаль уезжать. Я здесь была очень счастлива.

Желаю Вам счастливой Америки с Саввой. Ему — горячий привет. Я его *очень* оценила, и когда рассказываю о нем и *о Вас СКАЗКА*, которая — *ПРАВДА*.

Обнимаю и *НИКОГДА* не забуду. Мою память, которая есть *сердце,* Вы знаете.

М.»

Не помню, когда мама познакомилась с семейством Бальмонтов, — по-моему, она была с ним знакома еще в Петербурге до революции, — ведь отец мой был хорошо знаком со всеми выдающимися литераторами. Во всяком случае, Бальмонт помнил наш дом на Черной речке, помнил хорошо наружность папы, особенно — его сверкающие, как говорил Бальмонт, глаза.

В общем, прихожу я как-то домой — после очередного волейбола — и вижу: в маминой уютной кухоньке сидит человек и с некоей хитрецой на меня смотрит.

— Познакомьтесь, Константин Дмитрич, — говорит мама, — это моя младшая — Вера.

«Да ведь это Бальмонт!» — сообразила я, вспомнив его портрет в газете «Последние новости» рядом с воззванием: «Помогите Бальмонту!» Такие воззвания появлялись не раз в газете — в них эмигранты призывались материально помочь больному поэту, находящемуся без средств к существованию. Очень тягостно было читать эти воззвания — какая все-таки ужасная судьба у этого «поэта божьей милостью», как говорила про Бальмонта мама, человека, исколесившего весь свет, знавшего четырнадцать языков, внесшего драгоценный вклад в русскую поэзию своими талантливейшими стихами, поэмами, написанными высокохудожественным языком, своей особенной поэтической интонацией, которую не спутаешь ни с какой другой. «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце и выси гор!» — гордо заявлял он о себе. Какая сила, какая победная радость звучит в этих словах! Бальмонт вознес «великий, могучий русский язык» на небывалую высоту. Вместе с Блоком он нашел поэзию в, казалось бы, обыденной речи. Каким малым, ничтожно малым количеством слов обходимся мы в разговорной, газетной, журнальной речи! Мы как будто забыли об утонченных, гармонически звучащих словосочетаниях, мелодичном звучании некоторых ритмично повторяющихся букв:

…И, вздох повторяя погибшей души,
Тоскливо, бесшумно шуршат камыши…

Если бы меня спросили — как я представляю себе поэта, я бы без колебания сказала — Бальмонт! У него будто в самих глазах видны были стихи, — мне кажется, он и думал только стихами… Возможно, что Блок обладал более интересной и более «типической» наружностью, отвечающей общепринятому понятию — «поэт». Бальмонт не обладал ни высоким челом с тучей темных кудрей над ним, ни продолговатым красивым лицом, ни надменно сжатыми губами. Он был невысокого роста, очень подвижный, с быстро меняющимся выражением лица. Немного одутловатые щеки, распушенные тонкие блондинисто-седые волосы нимбом стояли над лбом, небольшие серо-голубые уже со старческими красноватыми жилками глаза, которыми Бальмонт озирал с большим удовольствием хорошеньких женщин.

С жадностью смотрела я на Бальмонта, впитывая в себя каждый жест, каждое движение лица. Он мило улыбнулся мне и воскликнул:

— Вы только посмотрите, какие у нее глаза — настоящие самоанские! — И я вспомнила, что Бальмонт довольно долго жил на островах Самоа… Мне был донельзя приятен этот комплимент, так как — загорелая и глазастая — я считала себя похожей на дикую полинезийку, воображаемая наружность которой отвечала нашим понятиям о красоте. Хорошенькой моей сестре Нине, стройной и тоненькой, Бальмонт тоже польстил, сказал, что она — черный тюльпан; даже в этом несколько вычурном сравнении заметна поэтическая особенность Бальмонта — изысканность, изящество, неожиданность и эстетическая возвышенность сравнения, — кто когда видел черные тюльпаны? Таких в природе не существует, — может быть, голландские садовники и вывели сорт тюльпанов настолько темно-красных, что они кажутся черными, но так же, как «…Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ам…» Блока, черные цветы являются привилегией поэтического мышления — обыкновенный смертный никогда не решится на такое смелое вмешательство в цветочное хозяйство природы.

Потом за Константином Дмитриевичем пришла его жена Елена Константиновна — сухая, миниатюрная полуседая блондинка с совершенно необыкновенными громадными глазами чисто бирюзового цвета. Взгляд ее из-под темных ресниц был по-детски наивным, трогательным и доверчивым. Несмотря на частую сетку мелких морщинок, она казалась девочкой, злым волшебством вдруг превратившейся в старуху. Но необыкновенные эти глаза были усталыми, озабоченными: в них жило извечное женское беспокойство — беспокойство матери над трудным своим ребенком, а разве не большим ребенком был этот поэт, ничего не понимавший в реальном, повседневном мире, живший, как та птичка божья, которая «не сеет, не жнет», полагаясь на господа бога, который ее накормит, обогреет, приласкает. Я не хочу этим сказать, что Бальмонт бездельничал и только витал в облаках, — он был на редкость трудолюбив и кроме своих стихов он переводил целые горы рукописей чуть ли не со всех языков мира, — многие из них приобрели широкую известность и печатались еще до революции: «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, «Аннабел Ли» Эдгара По. Прелестное мелодичное стихотворение — баллада о девушке по имени Аннабел Ли, в переводе которого Бальмонт сохранил всю напевность и деликатную красоту оригинала: «…И ни ангелы неба, ни демоны тьмы разлучить никогда не могли — не могли разлучить мою

душу с душой обольстительной Аннабел Ли…» Слезы почему-то выступают на глазах от беспредельной тоски и нежности этих слов — настоящим волшебником должен быть поэт, сумевший раскрыть скрытую прелесть чужого языка, его звуковые и ритмические особенности.

И вот этот «поэт божьей милостью» живет в парижском предместье, в крошечной комнатушке, «с мебелью», сделанной из ящиков от овощей-фруктов, с вечно ревущим примусом, на котором деликатнейшая Елена Константиновна, с глазами усталой мадонны, жарит ему эмигрантскую селедку, варит борщи из завядших несвежих овощей, — и так недорогие, они продавались за полцены.

Довольно часто, посланная мамой с кошелкой, в которой бережно хранилась кастрюля с какой-нибудь снедью, ею приготовленной, или чаще просто с продуктами (маслом, мясом, картошкой), я приходила в эту бедную комнату, где с трудом можно было повернуться: всюду громоздились книги, бумаги, рукописи — и на самодельных полках, и на столе, и на стульях, и на неубранной постели, где, сонно протирая покрасневшие глаза, сидел поэт с взъерошенными, торчащими во все стороны волосами, с помятыми щеками, на которых нездоровая одутловатость становилась еще заметнее, — увы, страсть Бальмонта была всем известна…

Как сейчас вижу печальную картину бальмонтовских будней: пасмурный, туманный вечер промозглой парижской осени, безлюдная улочка предместья, на перекрестке традиционное бистро, под промокшим брезентом на тротуаре несколько круглых столиков с мраморной столешницей, железные стулья, за одним столиком в углу сидит пара, — вглядевшись, я узнаю Константина Дмитриевича: воспаленное лицо дергается, опухшие глаза мечут молнии вдохновения, рука делает широкие жесты — он что-то декламирует. Перед ним бутылка с вином, стакан. А рядом безмолвно сидит Елена Константиновна: вся сжавшись в комочек, похожая на замерзающую мокрую птицу, — она, как верный дух, бдит над мятежной душой любимого, смотрит беспомощно, как немилосердно губит он свое больное сердце, и ее глаза… Какое море страдания в ее потухших, когда-то прекрасных глазах.

У Бальмонта была дочь — Мирра Бальмонт, с ударением на последнем слоге, по старой орфографии писалось слово «миро» через ижицу, вот и имя дочери поэта должно было так писаться, — сам поэт говорил, что это символическое имя: миром мазали раскаявшихся грешников в знак прощения и божьей милости — помазанником божьим назывался царь, при крещении

младенца миром творили священники крест на лобике, на грудке, даже на крошечных ладошках и ступнях. Помазание должно было хранить ребенка от всех будущих напастей. Так и имя Мирра должно было хранить девочку от всех жизненных несчастий. Так надеялся Бальмонт, но, к сожалению, его заветное желание не исполнилось.

…Мы перестали ездить летом на море, так как это обходилось слишком дорого. Лето в Париже большею частью очень жаркое — бывают дни в июле, когда солнце прямо-таки растапливает асфальт, пыльные тощие деревья вянут и не дают тени.

— Как в моей дорогой Евпатории, — говорит мама, — тоже вот так в одних рубахах мы сидели в садике, стараясь не шевелиться и все время обтирая пот, ждали, когда к вечеру наконец станет прохладнее…

Этого опять-таки мы не могли понять, — да ведь в Евпатории море!

— Разве вы не ходили купаться? — восклицали мы, но мама уклончиво отвечала, что было довольно далеко, да потом во времена ее детства купание считалось чем-то экстравагантным, купались только приезжие, да и те надевали плотные костюмы с рукавами, штаны до колен, сверху еще юбка, на ногах чулки, башмаки, — считалось неприличным раздеться, загорать, от загара продавались разные кремы, дамы носили огромные шляпы. «Фи, как загорела, — презрительно говорили они про какую-нибудь юную красотку. — Как цыганка какая-то!» Модной считалась молочно-белая кожа — как раз такая, какая была у нашей мамы, и она рассказывала, что, просидев весь жаркий день дома, она только раз появлялась на солнце: накрыв лицо маской, оставляющей незакрытыми только щеки, она подставляла лицо солнечным лучам минут на пять, — появлялся восхитительный румянец на щеках, остальное же лицо оставалось белым. Мама и сейчас не проявляла восторга, внимая нашим причитаниям, что-де лето проходит, а мы все еще противно белые, незагорелые. «Это они все в отца такие смуглые, легко загорающие. Это им владела неистребимая страсть к солнцу, к загоранию — все они солнцепоклонники, дикари», — жаловалась мама знакомым.

Конечно, мы не стали сидеть сложа руки в садике, а предприняли ряд вылазок за пределы Парижа, мечтая найти какую-нибудь реку, озеро, пруд, бассейн, — одним словом, какой-нибудь водоем, где можно было бы выкупаться. Один раз мы после долгой езды на электричке действительно вышли к Сене в каком-то ничейном месте берега, никак не огороженном, разделись и влезли в зеленовато-мутную воду, — увы, мы забыли,

что, прежде чем река достигла места нашего купания, она пересекла весь Париж. Можно легко себе представить, насколько чиста и прозрачна она была! Помню, плывя в тепловатой противной воде, я носом рассекала радужные пятна машинных масел, а Тин столкнулся нос к носу с дохлой кошкой, — издав страшный крик, чуть не захлебнулся и сажёнками помчался к берегу…

И в следующий раз мы поехали на Марну, — Марна, на которой в первую мировую войну было знаменитое сражение, как известно, является притоком Сены и расположена выше Парижа. Вылезли из электрички, нашли реку, пошли вдоль нее, ища местечка для купанья… Но тщетно — все участки травянистого берега были разделены заборами, заходящими в воду, — всюду частные владения, всюду торчали надписи: «Купаться запрещено». Как усталые верблюды в пустыне, палимые солнцем, тащились мы вдоль заманчиво переливающейся тихой глубокой реки, пока наконец не плюнули на очередную запрещающую надпись, перелезли через забор и плюхнулись в воду, — какое блаженное ощущение! Мы ныряли и фыркали, как молодые бегемоты, не забывая тем не менее оглядываться по сторонам, но время проходило, а разъяренный владелец участка не появлялся. Наша бдительность была усыплена, мы разложили на зеленой травке свои покрывала, закусили принесенной снедью и с вожделением стали загорать. Когда наша кожа достигла уже желаемой красноты (завтра-послезавтра она будет коричневой!) и мы чуть ли не в десятый раз погрузились в прохладные волны, вдруг раздался истошный крик на противоположном берегу: остолбенев от ужаса, мы увидели дюжего крестьянина-фермера, бегущего к лодке, пришвартованной под кустом, — он дико размахивал руками, в одной из них виднелась здоровенная дубина, и не оставалось никаких сомнений в его намерении обрушить эту дубинку на наши спины. Мы сразу оценили наше преимущество: пока он отвяжет лодку, пока подгребет к нашему берегу, мы прекрасно успеем выскочить из воды, схватить свои пожитки и удрать, — слава богу, что мы хорошо освежились и можем бежать не один километр — куда этому битюгу догнать нас!

Так и случилось: дико хохоча и пугая своими скачками и голым видом чинных пейзан, мы оставили далеко позади преследователя, потом надели прямо на мокрые костюмы свои платья и очень довольные отправились домой. На Марну, однако, мы тоже больше не ездили.

Отказ от поездки к морю все ж таки не давал никому из нас покоя. Наша мама тоже очень горевала без моря, которое в конце концов не так уж далеко от Парижа: в какую сторону ни смотри

— на север ли, на юг или на запад, — через какую-нибудь ночь в поезде ты все-таки прибываешь или на берег Ла-Манша, или на Ривьеру, или на Атлантический океан. Нельзя ли сделать этот путь на велосипеде?.. Но не повезешь же палатку, мешки, продукты и прочую амуницию туриста на велосипеде, полагаясь только на свои ноги для верчения педалей и на свою спину для погрузки всех этих рюкзаков!

Однажды, проходя по Елисейским полям мимо бесконечно огромных зеркальных стекол витрин, за которыми стояли сверкающие никелем великолепные автомобили, и случайно взглянув на одну витрину, мама заметила крошечный голубой автомобильчик, он стоял между великанов «роллс-ройсов» и «мерседесов». Вглядевшись, мама поняла, что это вовсе даже не автомобиль, а, так сказать, парный велосипед, — партнеры сидели рядом на диванчике как бы открытого автомобиля, и ногами, скрытыми под крышкой как бы мотора, приводили в движение эту как бы машину. Обтекаемой формы, на четырех колесах, с багажником, — совсем всамделишный автомобиль. Мама зашла в магазин и узнала, что машина недорога, практична, снабжена переключателем скоростей и автомобильными фарами. Мама в восторге пришла домой с выданными ей проспектами, и после бурной дискуссии, в которой приняли участие все мы, решили — купить велокар! — так называлась машина.

И вот велокар привезли на грузовике и торжественно ввезли в наш садик на авеню Маргерит Реноден. Саввка с Тином немедленно залезли в него и покатили по улице, скрывшись за поворотом.

К вечеру Саввка пригласил прокатиться меня на велокаре в Булонский лес. Сидеть было удобно, ноги нажимали на педали не вертикально вниз, как на велосипеде, а почти горизонтально. Такое положение несколько уменьшает силу нажима на педали, приходится употреблять больше усилий — их, однако, вовсе не заметно постороннему взгляду; все скрыто фанерными покрытиями машины. Только наклонившись, можно было видеть мелькающие ноги спортсменов.

Велокар производил огромное впечатление на автомобилистов — мотора не видно, а автомобильчик тем не менее яро несется среди своих гигантских собратьев. Водители высовывались из окон, стараясь заглянуть внутрь машины, и град веселых замечаний сыпался на нас с Саввкой. Мы же поглядывали по сторонам, делая вид, что любуемся окружающим, Саввка даже обнял меня за плечи рукой, как будто мы были влюбленной парочкой, другой рукой он небрежно держался за руль, такой

самый, как у автомобилей. Хорошо было бесшумно нестись по гладким асфальтированным аллеям Булонского леса, но адски чувствительная машина не переносила малейшего подъема, приходилось сейчас же со страшной силой нажимать на педали, пот каплями стекал с разгоряченного лица, искривленного усилием, люди на тротуаре начинали ехидно посмеиваться…

— Не одолжить ли вам бензину?

— Вы забыли включить мотор! — кричали шутники.

— Постойте, мы возьмем вас на буксир!

— Может быть, вам лучше впрячь лошадь?

Приходилось переключать скорость, но тогда зрелище становилось и вовсе комическим: велокар тащился у обочины тротуара, мы с тем же безразличным видом сидим на своих сиденьях — только на покрасневших от натуги лицах видны нечеловеческие усилия сохранить беспечную улыбку.

Вот мама и решила осуществить заветный замысел и отправиться к морю на велокаре! Начитавшись Нансена, в особенности той части его книги «Во мраке ночи и во льдах», где этот славный норвежец описывает свои приготовления к путешествию на Северный полюс на корабле «Фрам», что, как известно, означает «Вперед», мама подошла к проблеме питания со скрупулезно разработанной научной теорией о высококалорийных, питательных продуктах, не занимающих в то же время много места и не обладающих излишним весом, — каждый лишний грамм отягощал маневренные действия велокара и пагубно отражался на ножной мускулатуре путешественников. «Геркулес», особенное сушеное мясо, кажется тот самый пеммикан, которым питались полярные исследователи во времена Нансена и Пири, еще какие-то таинственные тюбики с концентрированным фруктовым соком, с рыбной и мясной пастами были искусно уложены в багажнике велокара. Там же поместился новенький примус, бутылка с денатуратом для его разжигания, маленькая сковородка. Были взяты два одеяла верблюжьей шерсти, две маленькие надувные подушки… Из всего этого получился, однако, такой здоровенный тюк, что он не влез уже в багажник, так и оставшийся приоткрытым и задрапированный куском брезента; брезент должен был предохранять от дождя и ночной росы.

В урочное время тяжело нагруженный голубенький велокар стоял у ворот нашей виллы, и мама отдавала последние приказания оставшимся. Тин довольно кисло смотрел на машину: велосипедные передачи велокара действовали раздельно — и один из путешественников, чаще, конечно, мама, мог отдыхать, в то время как другой…

Наконец путешественники уселись, велокар столкнули с места, и он отчалил, провожаемый нашими с Саввкой озабоченными взглядами.

Прошло два дня. Мы уже начали ждать обещанную открытку из Руана, с полпути к Ла-Маншу, как, случайно взглянув на улицу, я увидела наш велокар, а рядом с ним понурые фигуры мамы и Тина.

Тин красочно описал все злоключения. Выбравшись за пределы города, велокар покатил по шоссе на север, — к сожалению, это шоссе, по словам Тина, оказалось состоящим из одних подъемов, правда, после каждого подъема следовал спуск, на котором велокар развивал скорость, опасную для жизни, как говорила мама: деревянный корпус дребезжал, хлипкие колеса могли каждую минуту соскочить с осей, переключатели скоростей и прочие рычаги вибрировали, велосипедные слабые тормоза готовы были в любую минуту выйти из строя. Картины смертельных аварий возникали в воображении мамы, и она требовала от Тина, чтобы он спускался с горок на тормозах. Начинало уже смеркаться, когда они, уже едва передвигая педали, остановились в довольно пустынной местности — справа, за широкой канавой, виднелся реденький лесок, неухоженное поле и какой-то дом, в котором приветливо светилось окно. Наши путешественники, однако, решительно отвернулись от него, с величайшим трудом перетащили велокар через канаву, вытащили свои спальные принадлежности, но, прежде чем улечься, надо было, однако, приготовить что-нибудь поесть, желательно горячего, так как к ночи стало совсем прохладно. Вытащили примус, налили денатурата, но на открытом пространстве примус ни за что не хотел гореть. Пришлось довольствоваться холодной едой всухомятку: хваленый пеммикан оказался совершенно несъедобен — налипал на зубы, застревал в горле… Стали устраиваться на ночь, мечтая протянуть натруженные ноги, но почва, казалось, была покрыта одними буграми, колдобинами и сосновыми шишками, беспрепятственно проникавшими через тонкий брезент, напрочь отгонявшими сон. На надувные подушки невозможно было положить голову — она отскакивала от ее поверхности тем выше, чем сильнее пытались вдавить ее в подушку. Тоненькое одеяло было, как выяснилось, настолько коротким, что ночная роса могла беспрепятственно смачивать ноги… Прежде незамеченные муравьи, возмущенные грубым вторжением в свои владения, бросились в атаку. Чертыхаясь, несчастные вертелись, как ужи на сковородке, и первые лучи солнца нашли их спящими в сидячем положении на диванчике опостылевшего велокара. Дрожа от утреннего холода и недосыпа,

мама с Тином собрали свои пожитки и поехали дальше по автостраде, мечтая увидеть какой-нибудь трактир, где можно было бы напиться горячего кофе и съесть чего-то жареного, пареного или вареного, но никак не сырого и не сухого. Вскоре их желание было удовлетворено. Слегка разомлев от горячей еды, они, никак не дискутируя о такой перемене своих намерений, повернули велокар и потрюхали обратно в Париж.

Велокар был отведен в садик и там мирно ржавел под дождем и прочими атмосферными осадками.

Мое безделье дома становилось невыносимым — надо было идти куда-нибудь учиться. Если бы спросили тогда меня — куда мне больше всего хочется поступить? — я бы сказала по совести, что в университет на филологический факультет, но, увы, такое учение было абсолютно неперспективным: кому я буду нужна со своим русским языком, когда в Париже 200 тысяч русских эмигрантов, все они отлично изъясняются по-русски и могут легко удовлетворить минимальные потребности французов в этом языке, тем более что уже начинался знаменитый промышленный кризис тридцатых годов и самим французам недоставало работы. Тогда если не филологический, то на медицинский, в Сорбонну, — медицина меня всегда интересовала.

В это грустное для меня время наши «родичи», так мы называли семейство Вадима, дозналось о каком-то удивительном Американском госпитале, при котором открыта школа сестер милосердия. Там в продолжение трех лет учениц совершенно даром, со всем содержанием учат медицинским наукам, они проходят практику тут же в госпитале и выходят прекрасно оплачиваемыми специалистами.

Мы с мамой загорелись страстным желанием попасть в эту школу. Я подходила по всем требованиям вступления — имела диплом об окончании среднего учебного заведения (гимназии), была из хорошей фамилии — дворянских титулов, ясно, не имела, но имя моего отца было хорошо известно в Америке и я могла получить рекомендательное письмо от профессора Кана из Калифорнийского университета. Он писал диссертацию о моем отце и не раз приезжал в Париж на встречу с моей мамой: румяный и седой, как все пожилые американцы, он был весел и очень жизнерадостен — тоже, как большинство американцев.

Все, казалось, было хорошо, за исключением одного «маленького» обстоятельства — требовалось отличное знание английского языка, который всегда, как нарочно, совершенно игнорировался нашим семейством. «Надо изучить английский, — решила мама. И добавила: — учителей я тебе нанимать не стану,

учи сама, — научился же Пушкин самостоятельно английскому — вон, даже Байрона переводил!»

— Но кто слышал, как он разговаривал? — слабо протестовала я. — Небось он выговаривал так, как написано, все буквы, а в английском, ты же знаешь, пишут «мама», а читают «папа» и вообще ужасное произношение — как будто горячую картошку во рту валяют…

— Ничего, как-нибудь научишься. Возьми какой-нибудь роман, словарь и читай себе, а произношение подучи из книжечки «Русский в Англии».

Мне попался в руки душещипательный любовный роман сентиментальной английской писательницы — я взяла словарь и стала «читать». Увы, вскоре я убедилась, что рядом с каждым английским штук двадцать русских слов часто противоположного смысла. Лишний раз преклонившись перед богатством родного языка, я тем не менее была поставлена в тупик перед выбором нужного слова для своего перевода. Кроме того, абсолютное незнание грамматики лишало возможности установить правильную связь между словами: кого любит героиня — этого молодого джентльмена или того синильного старца? Чей ребенок и от кого должен родиться? Все это было совершенно непонятно, и я полагалась только на свою догадливость.

Ну и посмеялась же я, когда много позже, уже зная английский язык, я прочитала этот роман.

Я сообщила маме о своих сомнениях насчет такого способа изучения иностранного языка. Мама согласилась, что не годится.

— Вот что я придумала, — сказала мама через некоторое время, — знаешь это английское семейство, которое живет по соседству с нами? Отправляйся к ним и предложи мадам свою помощь по хозяйству. Ты ей будешь помогать убирать, готовить, а она будет с тобой разговаривать по-английски!

Хорошо, я пошла к этим англичанам — миссис сначала удивилась необыкновенному предложению, но быстренько успокоилась и вошла в свою роль. Придешь к ним утром — отец семейства на работе, очаровательные мальчик и девочка — двойняшки в школе, моложавая миссис в рабочем передничке вводит меня в спальню — там утренний беспорядок, постели разбросаны. Указывая на кровать и постельные принадлежности, миссис громко, но неразборчиво называла каждый предмет — вот это «бэд», это «пиллоу», это «уиндоу» и заставляла повторить. Кончилось тем, что, перестелив миссис тысячи постелей и перемыв невероятное количество посуды, я решила, что все-таки могу попытать счастья в Американском госпитале.

Подойдя по фешенебельной авеню де Нейи, что начинается у

площади Этуаль и похожа скорее на каштановую аллею с особняками за решетками садов, к владениям Американского госпиталя (он был построен в память американцев, погибших в Европе во время первой мировой войны, на средства американских богачей), я увидела широкий разворот асфальтированной дороги среди ухоженных газонов довольно большого парка, упирающийся в подъезд громадного здания. Сильно оробев, я вошла внутрь и очутилась в роскошном холле с колоннами, с мемориальной доской, на которой золотыми буквами были нанесены фамилии не то тех, кто погиб в ту войну, не то тех, кто субсидировал постройку больницы. Администратор учтиво осведомился у меня, что мне нужно.

— Я хочу видеть мисс Харелл на предмет поступления в школу медицинских сестер, — пролепетала я, и он величественно указал куда-то вправо.

Робко постучав, я открыла массивную дверь и очутилась в небольшом округлом помещении с рядом стульев вдоль стены и со столиком посередине. За столиком сидела строгого вида женщина — вся в белом, как мраморная статуя, и с таким же белым, неподвижным лицом.

— Что вам угодно? — спросила она по-французски с тем ужасным акцентом, с каким говорят американцы, и я отвечала, что хочу поступить в подведомственную ей школу.

Когда она прочитала рекомендательное письмо профессора Кана, строгое лицо мисс Харелл несколько прояснилось, вдруг она перешла на… английский язык с американским произношением, который делал классический язык Байрона и Шекспира похожим на грубый жаргон… Конечно, на моем лице отразилась полная растерянность, без слов сказавшая директрисе о моем полном непонимании. Ласковое выражение лица мисс Харелл исчезло, и она вздохнула:

— Вы совсем не знаете английского языка, и я удивляюсь, зачем в таком случае вы пришли сюда.

Печально вышла я из ворот и едва удерживалась от слез, когда, придя домой, рассказывала маме о своем провале. Мама была не одна: у нее сидела мисс Пэгг — миниатюрная англичанка, которой мама сдавала комнату на втором этаже нашей виллы. Она часто спускалась к маме и оживленно беседовала — по-французски, конечно. Мисс Пэгг с большим сочувствием слушала мой рассказ.

— Значит, вам было очень обидно, что вы не попали в эту школу? — спросила она.

— Ужасно! — воскликнула я со всей экспрессией, на которую была способна.

— Как вы считаете, у вас хорошая память?

— Никогда не жаловалась, — по-видимому, хорошая, — отвечала я с некоторым удивлением.

— Если я буду заниматься с вами английским языком, вы обещаете приложить все усилия, чтобы попытаться сдать приемный экзамен?

— Да, конечно! — вскричала я в восторге. — Но ведь последние сроки приема уже через месяц! Выучить язык за такой короткий срок? Это же невозможно! — добавила я с большим унынием.

Мисс Пэгг обратилась к маме:

— Послушайте, мадам Андрейев, я хочу провести эксперимент. Я буду давать Вере уроки — каждый день по три часа в день — и ничего с вас не возьму. Вера обязуется употребить все свои способности и прилежание, — посмотрим, что из этого выйдет!

Стоит ли говорить, с каким восторгом мы с мамой согласились принять это необыкновенное предложение!

С этого дня и начались наши занятия с мисс Пэгг. Надо сказать, что у этой великодушной женщины было высшее филологическое образование и у себя в Англии она преподавала в университете, а одно время была диктором лондонского Би-би-си.

Да, я постигла все тонкости английского языка, я писала на нем сочинения на вольную тему, переводила Тургенева и даже блоковскую «Незнакомку»… Но это было в конце рокового месяца, а в начале занятий мое распределение дня было таково: после обеда мы занимались без передышки три часа, а все остальное время дня, а то и ночи — часов до двенадцати — я посвящала зубрежке заданных уроков. Сколько она мне задавала! Какой-то ужас иной раз охватывал меня: страниц пять грамматики, огромное стихотворение наизусть — ужасный Шекспир, со своим архаическим, тяжеловесным языком! — огромный кусок перевода с английского и еще больший с русского на английский, сочинение на заданную тему — например: «Прогулка по зимнему лесу»… И это все на один день!

Как я зубрила! Целый божий день без передышки, едва успевая наскоро перекусить, я твердила английские слова, из меня так и сыпались английские неправильные глаголы. Даже во сне меня преследовала тень отца Гамлета и три ведьмы из «Леди Макбет», которые повторяли: «Леший крикнул, кот мяукнул — пора, пора!»

Мы проштудировали с мисс Пэгг все возможные варианты вопросов, которые только могут возникнуть в самом воспаленном воображении экзаменующих. Я вызубрила во всех нюансах и

подробностях свою собственную биографию, а мое страстное желание работать медсестрой в Американском госпитале было составлено в таких убедительных и трогательных выражениях, что должно было смягчить самое закостенелое сердце.

И вот настал день, когда мы с мисс Пэгг перешагнули порог госпиталя: она вся дрожащая и взволнованная, я тоже взволнованная, но старающаяся не подать виду, — я чувствовала себя подобно некому сосуду, наполненному до краев цитатами из Шекспира, Голсуорси и из собственной программной речи. Мисс Пэгг, благословив меня в последний раз, осталась в холле, а я деревянной походкой пошла по коридору к заветной двери.

Мисс Харелл сидела все за тем же столиком, — казалось, она не сходила с этого места весь месяц. На ее мраморном белом лице отразилась смесь чувств, среди которых явно преобладало удивление, явно переходящее в возмущение. Сейчас она меня выгонит, поняла я и поскорее заговорила на чистейшем английском языке, прося прощение за свое вторжение, но вот я осмелилась прийти еще раз… все это время я усердно изучала язык, и мне кажется, что приобрела некоторые знания и могу надеяться поступить в школу… По мере того как я говорила, рыжеватые брови мисс Харелл поднимались все выше на ее лбу, а зеленоватые глазки сделались почти квадратными. Жестом прервав мою речь, она проявила живость, совершенно не свойственную ее виду мраморной статуи, и поспешно вышла из комнаты. Через несколько минут она вернулась в сопровождении нескольких женщин и, широким жестом показывая на меня, сказала:

— Вы только послушайте, как говорит эта девушка! Месяц тому назад она не понимала ни слова по-английски, даже поздороваться не умела, и вот сейчас… Говорите, пожалуйста, мисс, расскажите преподавательскому персоналу, как вы сумели в один месяц выучить язык?

И вот я без запинки, употребляя самые изысканные выражения, стала отвечать на самые заковыристые вопросы. Легко и непринужденно слова слетали у меня с языка, повергая преподавателей и мисс Харелл в состояние, близкое к тому, какое испытал бы человек, увидя внезапно собаку с двумя головами, — не может быть! Это был настоящий триумф, и в конце разговора мисс Харелл встала и пожала мне руку:

— Можете считать себя принятой, мисс Андрейев, — она что-то такое сделала из моей фамилии, что я с трудом поняла, о ком речь.

Бедная дрожащая мисс Пэгг со страхом поднялась мне навстречу, но мое сияющее лицо сказало ей все, — она обняла

меня и заплакала… Так и вышли мы, обнявшись и всхлипывая, из ворот госпиталя.

Весь август я провела в одиночестве — все наши уехали к морю, а я должна была сшить четыре форменных платья, в два раза больше передников, приготовить все мелочи, перечисленные в выданной мне бумаге, и главное, было необходимо сделать прививки.

И вот наконец первое сентября — и я со своим чемоданом прибыла в Американский госпиталь уже как полноправный член коллектива школы. В этом году первый класс «пробэйншионерс», то есть «взятых на пробу», состоял из двадцати человек самых разных национальностей. Больше всех было русских — три девушки, две француженки, две американки, две немки, остальных — шведок, норвежек, венгерок — по одной. В общем, девушки были настолько все разные и их языки отличались друг от друга, что все были просто принуждены разговаривать между собой по-английски, что было очень даже полезно для практики. Десять человек, со мной в том числе, и второй русской — баронессой де Сталь фон Гольштайн (о том, что эта белобрысая, с огненным румянцем на щеках, очень живая, вечно куда-то спешащая, вечно жалующаяся на жару и духоту девушка — баронесса, долго никто не знал, она себя называла просто Марина Сталь), поместили в большой комнате-дортуаре. В небольшом холле перед дортуаром нам подавали завтрак, состоящий обыкновенно — о роскошь! — из теплых рогаликов с маслом, джемом из апельсиновых корочек — специально английский джем, удивительно вкусный! Была еще и ветчина, и горячие яйца всмятку, и тарелки с традиционной «порридж» — овсяной кашей.

Мы ходили на лекции по анатомии, физиологии, патологии и даже изучали предмет под названием «этика сестры милосердия» — его преподавала сама мисс Харелл. После ежедневной зубрежки нас приглашали в специальные кабинеты для прохождения практических занятий. В кровать ложилась какая-нибудь из учениц, и преподавательница показывала, как надо обмывать тяжелобольного, лежащего в постели, как переменить под ним белье. Все это было интересно и совсем нетрудно, хотя постелить постель согласно требованиям преподавательницы являлось целой наукой: были постели для легко больных, для тяжелых, специально убранная постель для больного после операции, сделанной под наркозом, — тут были бесчисленные предметы, обязательно разложенные на ночном столике: и графин с водой, и стакан, и деревянные палочки, и особенная мазь, и флакончик со скипидаром и еще с чем-то, почкообразная миска, которую надо было поднести больному, когда после

наркоза его начнет тошнить, бумажные салфетки… Как просто все это запоминалось по сравнению с той зубрежкой, какую я проделала с мисс Пэгг!

Месяца через два после начала занятий я нашла у себя в перегородочке для писем бумагу, где было сказано, чтобы я явилась завтра утром в восемь часов на второй этаж и представилась старшей сестре мисс Кинг: я буду нести практику уже у самих больных. Подобные записочки получили еще только две ученицы. Это было признанием нашей отличной подготовленности — очень, однако, приятно было сознавать себя одной из лучших.

В назначенный час мы выстроились перед столиком некрасивой и очень строгой на вид мисс Кинг. После переклички мисс Кинг поручила мне постелить постель в одной из отдельных палат для больного после тяжелой операции. «Только-то и всего! — подумала я. — Мне ли не знать, что надо делать!» Но совсем одно дело учить теорию в классе, а другое — проделать все на практике. Нас водили, конечно, по всему госпиталю, показывали, где получать белье у кастелянши, где ставить на ночь цветы больных, куда относить и где мыть судна (между прочим, грязное судно надо было всегда прикрыть чистой салфеткой и нести его, не отвернувшись и не скривившись от отвращения, а весело и с улыбкой — как букет цветов, говорила мисс Харелл), где находится операционная (под самой стеклянной крышей здания), где расположены грузовые лифты для перевозки каталок. На практике все оказалось более сложным, и я с трудом нашла обитель кастелянши, которая, выслушав перечень моих требований, сказала, что той особенной простыни, которая нужна, у нее нет, нет и половины требуемых предметов для столика у кровати больного.

— Обойдетесь обыкновенной простыней, — заявила она в ответ на мои причитания, — и без этой мази и палочек тоже. Почкообразная миска — это все, что нужно!

Вскоре, однако, я привыкла к своей работе, и казалось смешным, что я когда-то плутала и путала помещения, — быстро и бесшумно спеша по коридорам на зов больного — над дверью палаты зажигалась красная лампочка, — чувствовала себя вполне уверенной. Вот только телефонных звонков в дежурной комнате старшей сестры я боялась. Когда там никого не было, то надо было брать трубку и нам, пробэйшионерам. Гнусавый голос с ужасным американским акцентом что-то быстро и невразумительно сообщал. И все — стоишь и мучительно гадаешь: что такое мог сказать этот нервный мужчина? А ведь он мог сказать что-то очень важное, вроде как: примите нового

больного, пострадавшего в автомобильной аварии.

Так, совершенно благополучно, прошло полгода моей деятельности и учения в Американском госпитале, с нас уже сняли мерку для будущих форменных платьев младших сестер, и мы готовились к настоящей работе. И тут в воздухе стали носиться слухи, что-де госпиталь не приносит прибыли, а, наоборот, делает ежедневный дефицит в семь тысяч франков, благотворительные взносы почти перестали поступать из Америки, в связи с кризисом все стало дороже, и придется закрыть одно крыло госпиталя и распустить половину учащихся в школе медсестер. Я тут же представила себе, что среди отчисленных могу оказаться и я, — мой ореол лучшей ученицы несколько померк, потому что, хотя в теоретических занятиях я продолжала преуспевать, в практике за мной числились некоторые мелкие, но досадные грешки — то я натерла спину больной не тем порошком, то протянула руку без перчатки над операционным столом, то подала не тот инструмент, то самовольно поила простуженного хоккейного аса — красивый здоровенный парень из Канады! — горячим молоком с содой, то не успела подать судно одному старикашке.

Предчувствие не обмануло — директриса предложила мне сесть и стала задавать вопросы: «Как вам нравится учение? Все еще нравится призвание сестры милосердия? Не чувствуете ли вы, что другое какое-нибудь занятие вам подойдет больше? Только будьте искренни и не обманывайте себя!» — добавила она. Я отвечала ей, что мне все нравится, особенно теория. Мисс Харелл меня прервала:

— Вы слишком эмоциональны, мисс Андрейев, и вам будет трудно приспосабливаться к требованиям нашей профессии. Поймите, если бы не сокращение штата, я бы никогда не предложила вам уйти из школы, но я принуждена это сделать, так как вижу, что вам будет легко устроиться в любом другом месте, а есть учащиеся, которые не имеют таких возможностей, — всего хорошего! — она пожала мне руку, и я удалилась.

Итак, все кончено, все насмарку — все мои старания, зубрежка английского, прекрасная перспектива стать вышколенной медсестрой, стать самостоятельной, зарабатывать деньги… Хорошо говорить мисс Харелл, что я легко могу устроиться на любом месте, — попробовала бы она найти какое-нибудь место сейчас, когда столько безработных?! Да и потом: что, собственно, я умею делать?

С такими невеселыми мыслями я собрала свой чемоданчик, засунула туда с такой тщательностью и любовью сшитые форменные платья, передники и явилась домой.

Мама меня не стала ругать.

— Что ж мы теперь с тобой будем делать, Веруха? — вопрошала она. — Давай поступай в школу для массажисток. Ведь медицинский массаж — это так интересно. Ты будешь работать в водолечебницах, получать неплохие деньги. А богатые толстухи — они озолотят тебя, если ты своим массажем поможешь им похудеть!

Массаж так массаж, и я записалась на курсы медицинского массажа, что на рю Кюжас, тут недалеко и Люксембургский сад — небольшой парк с круглым бассейном, где парижские мальчики пускают свои кораблики, с темным гротом, на фоне которого так ярко выделяется белая, как алебастр, изящная фигурка девушки, — над ней склонилась, обнимая ее, мощная мужская фигура — Амур и Психея, если не изменяет память. Бомиш — так ласково называют бульвар студенты — с широкими тротуарами, почти сплошь заставленными столиками кафе.

Я опять зубрю анатомию, на этот раз на французском языке; главная трудность, которую преодолеваешь только памятью, — это названия мышц человеческого тела, и не только названий, но и точного местонахождения на такой-то именно кости, приросших на таком-то бугорке этой кости: если представить себе, что костей в человеческом теле более двухсот, на каждой кости бугорок или два (а то и три) и каждый имеет свое название, и к каждому прикреплен мускул, тоже с названием, порою очень заковыристым, то делается ясно — стать массажисткой не так-то просто.

Мое учение, благодаря интенсивной зубрежке, быстро продвигается, и вот я сдаю экзамены и получаю новенький диплом «медицинской массажистки», которому, увы, было суждено пожелтеть и истрепаться без всякой пользы для владелицы. У нас не было никаких знакомств в водолечебницах, никаких средств для открытия собственного кабинета, и мои знания массажа пригодились только нескольким знакомым дамам и маме, которой я изредка растирала спину.

Итак, никакого места массажистки я не получила, и вместо этого мне пришлось изучать газетные объявления, рабочая сила требовалась только примитивно грубая — уборщицы, мойщицы посуды или окон, прачки.

А тут вдруг брат Валентин рассказал мне, что в санатории для туберкулезных, где он работает помощником садовника («Собираю опавшие листья», — говорил он поэтично), требуется уборщица, исполняющая также некоторые функции медсестры и потому желательно имеющая представление об этой работе. Немедленно я отправилась к директору Клячкину,

офранцузившемуся русскому еврею, — тот благосклонно выслушал мой рассказ о том, как я училась в Американском госпитале и как стремлюсь мыть полы и убирать комнаты в его санатории…. Ура, меня приняли!

Я была счастлива, потому что санаторий «Ля Коллин» мне очень нравился: в роскошном старом парке со столетними липами и каштанами стоял настоящий средневековый замок с башенками и с рыцарями в латах — две широкие лестницы полукружьями поднимались на обширную террасу.

В подвальном помещении была расположена просторная кухня, она же столовая для персонала. Над громадной плитой колдовал настоящий кудесник — «повар императорского двора», пожилой мужчина с гренадерскими усами. Он умел готовить совершенно фантастические блюда, давно отошедшие в небытие, — жареных лебедей, воздушные пироги, всевозможные кулебяки, расстегаи, как и все, что было в старину, все шедевры французской кухни были ему тоже знакомы, и, конечно, ему не место было в этой санаторной кухне — ему бы в старый московский «Яр» или гостиницу «Европейскую» в Ленинграде!.. Но и здесь, не прерывая стариковского брюзжания, он творил из простого фарша потрясающие, вкуснейшие котлеты, — как какой-нибудь жонглер из цирка, он подбрасывал большую сковородку с тридцатью жарящимися котлетами, и они, синхронно перевернувшись в воздухе, падали на то же место на сковороде.

Дело было ранней весной, когда я поступила на работу в «Ля Коллин», расположенный километрах в двадцати от Парижа, и я просто наслаждалась чудесным воздухом, ароматом цветов в парке: на большой липе в саду поселился соловей и зацвели яблони в отдаленной его части — там, где стоял «охотничий павильон», в котором жили садовники, и мой любезный братец в их числе. Они убирали и жгли прошлогодние листья в парке, поправляли дорожки, ухаживали за цветниками. Брат получал за эту работу двадцать пять франков в день и обед в общей столовой. Его не мог, конечно, удовлетворить один обед за весь день, — к вечеру он изнемогал от голода в своем павильоне. Мое сестринское сердце не могло выдержать такого зрелища, и я научилась очень ловко собирать в кухне-столовой целые нетронутые порции отказавшихся от еды хилых пациентов. Им, увы, не помогал ни чудный весенний воздух, ни деликатесы нашего императорского повара. Набрав целый поднос всякой изысканной снеди, я относила его в «охотничий павильон», где уже, с нетерпением щелкая зубами, поджидал меня братец.

Сначала в мои обязанности входила уборка комнат, мытье мраморного пола в холле и натирание пола директорского

кабинета. Тяжелая эта работа совершенно не удручала меня, — встав в шесть часов утра, когда все еще спали и из парка доносилось только яростное пение птиц, я чувствовала такой прилив сил, что играючи протирала мыльной тряпкой бесконечные квадратные метры пола и натирала мастикой пол директорского кабинета до зеркального блеска. Директор удовлетворенно хмыкал, и его торчащие лопухами уши краснели от удовольствия (ехидный Тин не преминул заметить, что Клячкину нельзя становиться в дверях: сквозной ветер надувает ему уши — и он под этими парусами начинает непроизвольно скользить по паркету).

Вскоре меня за трудолюбие повысили в должности, и я наравне с сестрами стала исполнять работу по уходу за больными. Больные, или, вернее, выздоравливающие, как их называли и как им самим хотелось верить, были большей частью ходячие, и уход за ними сводился главным образом к беспрерывному бегании по бесчисленным лестницам и переходам замка с подносами с едой; с бельем и прочим. Мое великолепное здоровье выдерживало скачку по лестницам, но и у меня к вечеру гудели ноги, а мои напарницы падали без сил на кровати и отказывались от ужина.

Содержание санатория пришлось не по карману предприимчивому Клячкину, и владелец замка решил его продать: во всяком случае, впоследствии мы с Тином узнали, что «Ля Коллин», с которым было связано столько романтических воспоминаний, в особенности для брата, продан и в нем устроено «убежище для матерей-девушек», как поэтично называют во Франции матерей-одиночек.

Опять я безработная. Но, прикопив немного денег — в «Ля Коллин» совершенно некуда было тратить получку, — я с восторгом приняла предложение погостить у одной из учениц из Американского госпиталя. С родителями и с сестрой она жила в собственной вилле на Ривьере близ старинного городка Антиб.

Мы очень близко сошлись с Эми и ее младшей сестрой Хэлен, и я убедилась, что американки очень милы и общительны, с великодушным, широким сердцем, чем напоминают русских. Удивительно, как много жило на Французской Ривьере американцев и англичан. Они все держались независимо и непринужденно, почти у всех были собственные виллы, не говоря уже об автомобилях.

Наших соотечественников на Ривьере тоже было много, но из-за своей бедности они не ходили в рестораны, выстроившиеся шеренгой вдоль набережной, они не жили в отелях, они не гуляли

днем на пляже среди бездельничающей публики. Они добирались на курорт, чтобы работать мойщиками посуды в отелях и ресторанах, уборщиками. Я знала одного скромного молодого человека, служившего «жиголо», то есть платным танцовщиком в ночном баре, — в его обязанности входило приглашать танцевать одиноких, богатых иностранок, крикливо одетых, безвкусно увешанных бриллиантами старух. Было противно смотреть на этих старух, сидящих в ночном баре, и жаль было молодого человека, который, чтобы прокормить свою больную мать, как это было в случае с моим знакомым, ухаживает за ними, предупреждая каждое желание, танцует только с ними, преданно заглядывая в глаза, — какое унизительное занятие!

Прожив месяца полтора у гостеприимных американок, я почувствовала, что нельзя больше испытывать терпение хилого старикашки, их папаши, который начал усиленно осведомляться о здоровье мамы, выражая мнение, что она, наверное, по мне соскучилась… Пришлось купить на последние деньги билет и уехать в Париж, где я еще долго потрясала всех интенсивностью загара. Без работы сидеть мне, однако, пришлось недолго. Муся, невеста брата Валентина, получив место няни к трехмесячной девочке, внучке адвоката Лион-Кана, сообщила, что ее хозяйка как раз лишилась домработницы и поварихи. Хозяйка согласилась принять меня как повара и прислугу «за все» — так называли русские в Париже домработниц. Муся рассеяла мои опасения о недостаточности моего кулинарного искусства спокойным заявлением, что есть-де кулинарные книги, где все прекрасно объяснено, и даже ребенку станет ясно, как готовить жареных фазанов и делать заварной кофейный крем, не говоря уже о фаршированных утках и «испанских птичках»… Семейство Льва, как тут же прозвал Тин моего работодателя, состояло их него самого, его разведенной дочери Марианны и крошечной внучки Жанетты, дипломированной няней которой стала Муся: она получила этот диплом еще в Висбадене, где жила раньше ее семья. Ее обязанностью была исключительно забота о младенце: приготовление пищи, купание и прогулки, мытье посуды ребенка и стирка его пеленок — больше ни к чему она не прикасалась. Укачав Жанетту, она спокойно почитывала книгу на кухне, в то время как я металась между подгоравшими фазанами в духовке, сбегающим кремом и звонками хозяев из столовой, — поразительное бесчувствие!

Приходилось вставать часов в шесть утра, чтобы успеть сходить в молочную и булочную до того, как встанет Лев. Я просыпалась в своей каморке для прислуги на мансарде, под самой крышей пятиэтажного дома. В каморке, в которой

помещалась только большая и мягкая кровать, было прекрасное, огромное окно во всю стену, — я его не закрывала ни днем ни ночью и не уставала любоваться видом, из него открывшимся. Я всегда вспоминала название одного известного фильма: «Под крышами Парижа», глядя на это море красноватых островерхих и плоских крыш великого города, с тысячью дымящихся труб, с лесенками и переходами для трубочистов. Подернутое утренним туманом, как прозрачной, чуть колышущейся вуалью, море крыш простиралось до самого горизонта, где величественно поднимался из тумана купол храма Сакре Кер. Обыкновенно снежно-белый, он розовел в лучах восходящего солнца, и его мавританская архитектура, не вяжущаяся со средневековыми старыми зданиями и храмами Парижа, производила незабываемое впечатление.

Когда я возвращалась с молоком, маслом и булочками, проснувшийся Лев — еще не старый мужчина, с красивым лицом библейского пророка, с волнистой бородой и с затаенной грустью в жгуче-черных глазах — уже плескался в ванной, и я относила ему в кабинет поднос с кофе и рогаликами. Лев был нам симпатичен своим внешним, достойным, действительно львиным видом и предупредительным, очень вежливым отношением к нам, служебному персоналу, — всегда не приказывает, а просит, всегда называет «мадемуазель Вэра», с ударением на последний слог, мадемуазель Мари, никогда не «Вэра-а-а!», как вопит мадам из своей спальни, когда требует, чтобы ей в постель подали кофе с круассонами.

Мадам была художницей, и одно время я позировала ей — в каком-то старинном платье сидела за роялем, положив руки на клавиши, а другая девушка, ее знакомая, стояла рядом со скрипкой, якобы вдохновенно что-то пиликая. Эта картина потом висела в парижском «салоне», и я была рада, что никто из знакомых не узнал меня в этой уродливой девице, с носом, похожим на баклажан… За позирование я получала деньги отдельно от зарплаты домработницы, так что по тем временам мое жалованье было вполне приличным — я могла прикупить себе кое-что из одежды и втихомолку подбрасывала брату Валентину то какие-нибудь ботинки, то брюки, объясняя ему, что это дал мне Лев со своего плеча как уже непригодное: мало-де мне, и все. Бедняга Тин работал лифтером, а потом и открывальщиком подъезжающих к его филателистическому клубу богатых машин. К этому тощему заработку прибавлялся еще обед на кухне клуба, а в остальное время он мог питаться акридами и диким медом, что называется. Поэтому я часто собирала для него остатки с праздничного стола Льва, который любил приглашать

гостей на ужин. Вот тогда-то я и готовила фазанов, кремы и прочие угощения, а в двери кухни звонили посыльные из дорогих магазинов и приносили всякие деликатесы французской кухни паштеты с трюфелями, салаты оливье с корнишонами, в специальных холодильниках мороженое. Меня посылали в погреб, где хранилось, облепленное паутиной, выдержанное вино и шампанское, которое нужно было открыть и принести в ведерке со льдом в столовую. Я очень боялась открывать бутылки с шампанским: когда толстая пробка начинала медленно вылезать из горлышка, я направляла ее в открытое окно. Раздавался оглушительный выстрел, пробка перелетала дворик и ударялась о противоположную стену.

Противнее всего было подавать в столовую, я никак не могла запомнить, с какой стороны надо подавать обедающему блюдо — справа или слева от его локтя, — каждый раз я попадала впросак, и хозяйка злобно косилась в мою сторону. Хотя я и понимала, что «любой труд не унизителен», тем не менее услужливо улыбаться, подсовывать блюдо и дожидаться, пока гость удосужится его заметить, не глядя на подающего, как будто бы это был автомат, было очень противно. И после того, как я как-то пролила одной даме немного соусу на платье — был жуткий скандал! — я упросила мадам нанимать к званым ужинам официантку из ресторана.

Совсем хорошие времена настали, когда Лев с дочерью и внучкой — и Мусей, конечно, — уехал к морю на целый месяц. Я осталась одна в квартире. У меня на попечении был ангорский кот по имени Пуссэ — любимый кот покойной жены Льва, которую он обожал, — во всяком случае на ночном столике у его дивана всегда стоял ее портрет, и часто я замечала на стекле следы поцелуев бедного Льва… Этому Пуссэ было 12 лет — возраст для кота поистине мафусаиловский. Его длинная шерсть, когда-то белоснежная и пышная, пожелтела и свалялась комьями, голубые глаза потускнели. Он питался исключительно телячьей печенкой и всегда спал на Львином диване рядом с куклой «испанкой» — тоже любимицей покойной жены, — пышные юбки куклы были достаточно грязны и помяты, но Лев не разрешал ее убрать.

Перед отъездом мадам оставила денег на пропитание мне и коту, заклиная меня, чтобы я хорошенько смотрела за котом и покупала только телячью печенку:

— Другой он не ест, вы же знаете!

Когда они уехали, я произвела перестановку в квартире — ковер в салоне вычистила, всю мебель затолкала в один угол и прикрыла простынями, чтобы не пылилась. Получилось большое

голое пространство, где мы с Тином танцевали танго под патефонную пластинку, найденную в дискотеке Льва, — это была знаменитая «Кумпарсита», которая для нас стала чем-то вроде гимна.

После танцев мы отправлялись на кухню, где набрасывались на изысканные блюда, приготовленные, позаимствованные мной из запасов моей хозяйки. Так, я обнаружила в шкафах целые горы плоских коробок с изумительными испанскими сардинками, покоившимися в оливковом масле, — филейные их части были живописно переложены красным перчиком и еще чем-то зелененьким, пахучим. Про существование этих коробок мадам совершенно забыла, потому что исчезновение сардинок было просто не замечено! И я только зря испытывала жестокие угрызения совести. Так же незамеченным оказалось исчезновение целого ведерка вместимостью в этаких четыре литра отличного меда, которым мы со страстью угощались, не говоря уже о сахаре и прочем.

Нечего и говорить, что деньги, оставленные хозяйкой нам с Пуссэ, быстро растаяли, и Пуссэ пришлось перевести на другой режим — сначала я стала покупать не телячью, а лошадиную печенку, которую он, оказалось, очень оценил, потом я принялась подавать ему испанские сардинки — их он пожирал с невероятным аппетитом, свидетельствующим о том, что прежнее меню ему опостылело.

…Мы переехали на авеню де Клямар, довольно пустынную широкую улицу. В белом доме с плоской крышей (мы называли его Касабланка) мама снимала квартиру из четырех комнат с уже вмонтированным холодильником и особенным устройством в кухонной раковине. В раковину можно было бросать всякие отбросы овощей, бумагу, щедро поливая все водой, потом надо было потянуть за некий поршень, вмонтированный в дно раковины, и все содержимое проваливалось с треском куда-то в тартарары… «На голову хозяина?» — вопрошал Тин, но в самом деле было непонятно, куда все это девалось. Так как дом находился всего в двух-трех кварталах от реноденской виллы, мама решила не брать грузовик для перевозки мебели и прочих вещей, а дать Савве и Валентину «подработать» — взять ручную тележку и перевезти все самим. Братцы очень энергично взялись за дело, но вскоре энтузиазм их померк, так как на тележку помещалось немного вещей и нужно было без конца повторять надоевший путь, который теперь казался вовсе не таким коротким.

Помню, как тележка, подталкиваемая Саввкой и

поддерживаемая сзади Тином, приблизилась к перекрестку. Мама несла банки с вареньем, делая вид, что совсем незнакома с этими оборванцами, которые хохочут и веселятся, нарушая общественный порядок и привлекая внимание ажана на перекрестке. Ажан как раз сделал знак нашим перевозчикам поскорей перейти улицу под носом у стоящего на остановке трамвая. Трамвай медленно двинулся, братцы заторопились, тележка подпрыгнула на трамвайных колеях, покачнулась, постояла как бы в раздумье и рухнула набок — все вывалилось, стулья разлетелись, трамвай остановился. В довершение всего из плохо завязанной папки вывалились Саввкины рисунки — полураздетые и совсем раздетые натурщицы разлетелись веером по мостовой… Надо было видеть, какой восторг вызвала эта картина у вагоновожатого и любопытных пассажиров трамвая: посыпались веселые и не совсем приличные намеки и замечания, советы, шутливые просьбы оставить какую-нибудь на память… Саввка с Тином, совсем ослабев от хохота, чуть не ползали по проезжей части и никак не могли собрать разбросанные рисунки.

Устроившись на новой квартире, мама по договоренности с владельцем дома получила ключи от чердачной двери, ведущей на плоскую крышу с балюстрадой. Оттуда открывался широкий вид на весь Клямар — дом стоял на пригорке, — на зеленое пятно парка у лицея Мишле и далеко вдаль — там в сиреневой дымке угадывался Париж.

Мама перетащила на крышу с помощью Саввы, конечно, большой пружинный матрас на ножках и приставила его к стене какой-то будки, расположенной посередине крыши: небольшой столик поставила у изголовья, постелила теплую постель и стала на крыше спать. В ясные ночи над маминым ложем простиралось бескрайнее звездное небо. Мама купила звездный атлас и научилась очень хорошо разбираться в созвездиях, знала названия всех крупных звезд, разбиралась в звездах первой величины и второй. Мне было очень завидно и так хотелось провести хоть одну ночь на маминой крыше, но мама ревниво оберегала ее от нашего вторжения — даже Савва не удостоился ночевки.

И еще помню: мы с тетей Толей и с двоюродной сестрой Элианой всю ночь трясемся в поезде по знакомому маршруту Париж — Жуан-лэ-Пен. Тетя Толя, со свойственным ей умением приспосабливаться к самым неожиданным обстоятельствам, тут же по прибытии находит в боковой улочке на некотором отшибе от моря и фешенебельных прибрежных отелей прелестную комнату — у хозяина была большая плантация дынь и помидоров.

Тетя Толя требуемую сумму на два месяца вперед платит, и мы остаемся с весьма ограниченным капиталом в кармане на Лазурном берегу «колыбели человечества». Тетя, однако, не унывает — она надеется, что легендарные старые американки, известные своей экстравагантностью и обилием зеленых банкнот, станут заказывать модные туалеты, которыми не успели обзавестись в своей Америке, — и тут-то тетя Толя подоспеет со своими услугами. Увы, миф о богатых сумасбродных американках быстро рассеялся: они, конечно, не перевелись, но, видимо, предпочли сшить свои туалеты проездом через Париж или Лондон, — во всяком случае заказчиц не было и нам угрожала медленная голодная смерть среди роз, дынь и помидоров.

Бедняга тетя Толя билась как рыба об лед и с экспрессией, выработанной ею за долгие годы, прожитые в Италии, проклинала и юг, и море, и растленный Жуан-лэ-Пен. Мы с Элианой вздыхали сочувственно, но не унывали, загорали на пляже, купались, воровали помидоры.

Наконец тете Толе удалось устроиться на кухне одного ночного бара. Владельцем этого «Ирем-бара» был предприимчивый русский, принявший на работу нескольких соотечественников, в том числе и тетю Толю. Она обязалась готовить «русские пирожки». В баре, как гласила реклама, должен был выступать приехавший из Парижа Александр Вертинский. Мне было очень интересно познакомиться с этим человеком, о котором столько слышала, песни которого знала и многие из них любила.

Удивительно владея ритмом и гармонией, Вертинский создал свой собственный, неповторимый жанр в песне, которая тогда еще не называлась эстрадной.

Изломанная, вся в каких-то взлетах и надрывах, его песня как нельзя лучше выражала упадочническое настроение русской эмиграции. В чем заключалось очарование этих стихов, медленного пения с трагическими паузами, с вибрациями грассирующего вкрадчивого голоса? Теперь нам это не совсем понятно, но тогда, в последние предреволюционные годы и в долгие годы эмиграции, не было, наверное, девушки, которая не твердила бы наизусть стихов про золотистый плен волос ветреной Ирен и не отождествляла бы себя с бледной, экзальтированной девушкой, которая воображает, как «в горящем Версале с мертвым принцем танцует она менуэт».

К моменту открытия бара тетя была уже там своим человеком и получила в свое распоряжение отдельный столик в экзотическом садике с пальмами, подсвеченными разноцветной иллюминацией.

Когда я подходила в назначенный час к высокой стене, за которой расположен был «Ирем-бар», мои выгоревшие на солнце волосы были смазаны арахисовым маслом для блеска, и в них красовался белый цветок. Я отворила калитку, и ко мне сейчас же подошел высокий и худощавый человек в смокинге. Он поклонился мне и сказал, грассируя:

— Здравствуйте, красивая девушка! Что это у вас в волосах — магнолия?

Этот несколько деланный звук в нос в слове «магнолия» и картавое «р» подсказали мне, что передо мной — Вертинский! Так вот он какой — немного бледный блондин неопределенного возраста, скорее молодой, чем старый. Непринужденно взяв под руку, он подвел меня к столику, где уже сидела тетя. Что ж, это был очень интересный вечер. Играл оркестр, и время от времени Вертинский выходил и пел свои песни. Так, пропев один куплет своего знаменитого танго «Магнолия», он вдруг сошел с эстрады и направился к нам. Я оглянулась невольно, но тетя лягнула меня довольно чувствительно под столиком, и я поняла, что приглашают меня…

В самом деле он низко, с любезной улыбкой мне поклонился, и мы пошли на площадку, где перекрещивались разноцветные лучи иллюминации и пары томно скользили под звуки «Магнолии», которую продолжал играть оркестр. Высокий Вертинский оказался прекрасным танцором и очень милым собеседником.

Позже он спел неизвестную мне песню, страстно протягивая в мою сторону руки: «…Я так хочу, чтобы ты была моею!..» — к которой я отнеслась, естественно, как к проявлению художественной гиперболы, свойственной поэтам и певцам, но которая приятно щекотала мое самолюбие. Глубокой уже ночью, когда публика начинала расходиться, Вертинский сел к нашему столику, и мы дружно повеселились вместе с тетей, которая сильно насмешила Александра Николаевича своими рассказами о богатых американках, так бессовестно обманувших ее надежды.

На следующий день я увидела Александра Николаевича на пляже — он сидел в тени большого зонта, а у ног, «как воплощенный миф», полулежала на песке русская жуан-лэ-пенская красавица — ярко-рыжая, того изумительного медно-золотого цвета, какого не достичь никакой краской, с молочно-белым прелестным личиком и огромными зелеными глазами. С русалочьим выражением какой-то скрытой тайны она смотрела на Вертинского, а он закрыл глаза и, кажется, дремал, — при ярком свете его лицо уже вовсе не казалось молодым…. Финансовый эффект, на который надеялся владелец бара, несмотря на песни

Вертинского и тетины пирожки, оказался чрезвычайно скромным, и бесплатных посетителей вроде меня перестали впускать. Заглядывая в щелку, я видела полупустой бар и мрачного Вертинского за отдаленным столиком. Так и погорел «Ирем-бар», просуществовав всего каких-то три недели, в продолжение которых я всего раза два еще разговаривала с Вертинским на пляже.

И опять я дома, в Париже. Опять унылая, такая пустая и неинтересная жизнь в поисках работы, хоть какой-нибудь работы, лишь бы не быть дома, не видеть маминого осуждающего лица. Энергичная и деятельная по своей натуре, мама страдала от своей, скорее кажущейся, чем настоящей, бездеятельности: маме очень хотелось активно участвовать в чем-то конкретном, в труде, приносящем зримую пользу окружающим, — пусть этот труд физический, он все равно приносит удовлетворение и даже счастье тому, кто работает. Таково было мамино кредо, но всю свою жизнь маме не пришлось своим собственным трудом зарабатывать себе на пропитание, на содержание своих детей, — за все это раз и навсегда заплатил папа. Маминым идеалом была деловая женщина, что-то быстро и хорошо — обязательно быстро и хорошо! — делающая со спокойным деловым лицом, подтянутая, никогда ничего не забывающая, не путающая. Маму больше всего огорчало, что сама она как раз меньше всех подходила к этому идеалу своей непривычкой к каждодневной дисциплине, к обязательному вставанию в определенный час раннего утра…

Мама устроилась на работу по своей собственной инициативе. Савва поступил в хореографическое училище, главным педагогом которого был Фокин. В училище принимали самых разных по возрасту и способностям молодых людей, учили классическому балетному танцу, отбирая при этом самых способных, — с ними занимался тогда сам Фокин, остальные, не теряя надежды пробиться к нему в ученики, занимались с разными преподавателями, большей частью это были бывшие «звезды» дореволюционных русских театров: помню, что с Саввой одно время занималась Ольга Преображенская, прима-балерина императорских театров.

«Покорение» Фокина произошло, конечно, не сразу, но в конце концов оно все же произошло, и начались для Саввки тяжелые часы тренировок у стенки, с другими. «Я же гибок, как французский ключ!» — сокрушенно вздыхал Саввка, пытаясь встать в пятую позицию или сделать мост. Постепенно это ему все же начало удаваться, он занимался с увлечением.

На телах танцовщиков не остается ни грамма жира — одни натянутые стальные мускулы выпирают со всех сторон даже у женщин, что вовсе уже не так красиво, зато мужчинам донельзя идет. Мне, кстати, было очень полезно прощупывать эти мышцы во время изучения массажа: на Саввке, как на древнегреческих статуях, были отчетливо видны даже шесть выпуклостей мышц живота, и мышца плеча делтоид, названная так по сходству с дельтой реки, отчетливо делилась на три рукава — прямо живой медицинский атлас!

Хореографическое училище находилось в старых огромных залах в центре Парижа. Никаких уборных для артистов, никаких душей, никаких буфетов. Мама посмотрела на все это, и ей пришла в голову мысль — надо устроить буфет, где за недорогую цену голодные адепты искусства танца могли получить чашку чая с бутербродами или булочками.

С каким увлечением мама взялась за оборудование маленькой комнаты непонятного прежде назначения под буфет! Раздобыла где-то столики и стулья, купила много одинаковых чашек с блюдцами, большой чайник, необходимые кастрюли — боюсь, это оказалось достаточно дорогим, и вряд ли прибыль от буфета окупила его, хотя мама и уверяла всех о прибыльности своего предприятия.

…Я очень увлеклась танцами. Мы с братьями старались не упустить случая попасть на очередной бал какого-нибудь из эмигрантских обществ.

Публика, особенно молодежь, очень любила эти балы. Дамы обязательно должны были быть в бальных длинных платьях, мужчины в смокингах или в строгих черных костюмах. Я помню, каких усилий фантазии и умения надо было употребить, чтобы сшить требуемое платье, — обыкновенно я все шила сама, покупая на распродажах за полцены чуточку бракованный бархат, чуточку бракованные кружева. Очень было приятно, когда фешенебельные дамы, уж наверное больше меня потратившие на туалеты, отводили меня в сторону и спрашивали, в каком «салоне» я его шила.

На эмигрантских балах публика была самая разнообразная: было много личностей из этих «бывших» — помятые, давно пережившие свою первую молодость, а может быть, и вторую, это бывшие летчики и галлиполийцы, в потертых смокингах, видавшие лучшие виды, с такими же потертыми лицами, тщательно побритыми, напускающими на свои морщинки радостно-бодрое выражение молодых ловеласов, кидали на молоденьких девушек — слишком молоденьких! — умильные взгляды, приглашали танцевать только на вальс, который и

танцевали с тем неподражаемым, забытым искусством бывших гусар, когда, как говорится, из стакана, поставленного на голову, не проливалось ни капли.

Это была первая категория эмигрантских «женихов», мечтавших о семейном очаге, который они наконец и создавали, стереотипную эмигрантскую семью: — отец таксист, мать шьет, а дочка танцует — в балете, конечно. Однако девушки, пришедшие во множестве на бал, не мечтали о таких потертых женихах: усевшись на стулья, стоявшие вдоль длинных, бесконечно длинных стен зала, они с молитвенным выражением следили за несколькими молодыми людьми, которые, красные, потные и запыхавшиеся, при всем старании не могли удовлетворить тайные и явные желания милых — и прехорошеньких! — девушек.

Иногда в виде первой части бальной программы устраивались концерты, на которых выступали такие именитые артисты, как Юрий Морфесси, прославившийся исполнением только что появившегося тогда танго «Черные глаза», конферансье Хенкин, очень здорово пародировавший Вертинского, сам Вертинский, петербургские цыгане Дмитриевичи.

На балах я встречала и Вертинского, — он выходил на эстраду, высокий, стройный, в безукоризненном смокинге, и пел свои песни под удивительно чуткий, нежный аккомпанемент своего друга-пианиста. Потом выходил пародист Хенкин и, чуть покачнувшись от томной слабости, картавил:

— Танго «Магнолия», слова мои, музыка тоже ворованная, — до того похоже, что зал тут же разражался смехом и аплодисментами.

Слова знаменитого танго были тоже все перевраны: «… Вертинский в Сингапуре вовсе не был, бананы он в Париже только ел, алчных тигров видел лишь в витрине, магнолию он в парке подсмотрел, — стыд, срам, просто балаган, у Саши, — показывая себе на голову, — не в порядке, очевидно, там!»

Вертинский выступал иногда за пародистом, — велико было его обаяние, потому что никто больше и не думал улыбаться, когда он, чуть покачнувшись, объявлял:

— Танго «Магнолия». Слова мои, музыка тоже моя.

Когда я в первый раз после юга повстречалась с Вертинским на балу, он сразу даже не узнал меня:

— Как, это вы, красивая девушка? — сказал он. — Куда же девался ваш загар? А я-то думал, что это не загар, а ваш натуральный цвет… А вы сейчас бледнее луны…

Потом он жаловался, что стареет, что неинтересно как-то стало жить «среди этих французов». «Надоели они все хуже горькой редьки», — весь как-то скривившись, прошептал он.

Как-то зимой пошли мы с братьями в «Кавказскую пещеру» — нам говорили, что в этом ночном баре выступает Вертинский. Да, он был там: высокий и худой, еще более побледневший, чем на Ривьере. Он вышел на возвышение перед оркестром. Безупречный смокинг облегал его стройную фигуру, светлые волосы блестели под лучом направленного на него света. Оркестр заиграл увертюру к романсу. Вертинский закрыл глаза, усталым жестом опустил руки. Так, с закрытыми глазами, он и начал петь:

Сколько сломанных роз,
Сколько пролитых слез,
Сколько мук и несбывшихся грез…

Его голос дрожал, — казалось рыдания подступили к самому горлу.

В наступившей паузе он поднял руки, взялся длинными, тонкими пальцами за виски и сжал их в невыносимой муке. Медленно, как бы с трудом отрывая от головы какую-то тяжесть, содрогаясь всем мучительно натянутым телом, он бросил, раскинув руки, тяжелые, как камни слова:

А дни бегут, как уходит весной вода,
А дни бегут, унося за собой года,
Время лечит людей, и от всех этих дней
Остается тоска одна, и со мною всегда она!

Возможно, я путаю слова — с тех пор мне больше никогда не довелось их слышать. Возможно, они избиты и сентиментальны до слащавости. Возможно, что трагические придыхания и изломанные жесты Вертинского были театральными и напыщенными. И все-таки в его пении чувствовалось дыхание большого искусства, которое заставляло забыть про банальность, про деланность жестов. В чем таилось очарование? Наверное, в искренности чувства, в ощущении подлинной муки, которая изливала себя в этих тягучих, с роковой монотонностью падающих звуках: «А дни бее-е-гут!»

Я не подошла к Вертинскому, и он не видел меня. Надевая пальто, мы еще слышали приглушенное восточными коврами пение — Вертинский пел танго «Магнолия». Пел он его по-французски…

А вот и моя последняя встреча с Александром Николаевичем Вертинским.

…Дождливый бесприютный вечер парижской зимы.

На узкой черной платформе метро пусто. Поезд только что ушел. За провалом путей другая платформа тоже зияет пустотой. Скупой свет редких лампочек поблескивает в желтоватом кафеле свода, пестрые плакаты и рекламы скрашивают монотонность стен с огромными названиями станций.

Я люблю сидеть на длинной — во всю длину платформы — узкой скамейке под стеной: там уютнее и не так дует из туннеля. Но мое место занято. Я заметила человека в полумраке платформы только тогда, когда вплотную подошла к нему. Он сидел согнувшись, подпирая руками тяжелую голову. Безработный? Таких несчастных часто встречаешь в метро, где они укрываются от дождя и пронизывающего холода улиц. Я хотела пройти мимо, но человек вдруг поднял голову — и я узнала Вертинского. Он тоже узнал меня.

— Как, это вы? — сказал он медленно, без улыбки. — Как хорошо, что вы пришли. Садитесь.

Я села рядом. Вид у Вертинского был неважный. Всегда бледный, на этот раз он был даже как-то синевато-бледен. Резкие складки обозначились по углам рта, нос заострился. Теперь уже никак нельзя было сказать, что он молод. И главное — этот потухший, больной взгляд…

— Скажите, Александр Николаевич, — сказала я ему, — вам, может быть, надо лечиться. Вы нехорошо выглядите.

— Лечиться? — он странно взглянул на меня. — От моей болезни не лечатся — не изобретено еще лекарство. Вернее, оно есть, я вру, — оно всегда было — единственное, сильно действующее…

Я не понимала:

— От чего лекарство?

Он опять взглянул на меня, и столько было в этом взгляде холодного отчаяния, тоски, непроходимой муки, что я содрогнулась.

— Как вы не понимаете? — свистящим шепотом вдруг вырвалось у него. — Я в Россию хочу! Я не могу больше жить здесь! Я погибаю! Перед «бывшими» людьми не хочу петь! Не хочу кривляться на этом пепелище бывшей жизни! А там люди живут, дышат, смеются! Я туда хочу — я русский человек, а они заставляют меня петь по-французски.

Подкатил сверкающий огнями поезд, захлопали двери, зашаркали по платформе люди. Странно мне все это показалось: вот люди, а мы двое — как с другой планеты, марсиане какие-то, сидим здесь в метро — зачем мы здесь, почему мы здесь?..

Вертинский встал.

— Прощайте! Спасибо за сочувствие. И запомните — я тут не

останусь, уеду, — и, ссутулившись, засунув руки в карманы, он пошел к выходу.

Я смотрела ему вслед: «Чудак, благодарит за сочувствие, а ведь я ни слова не успела сказать…»

Мама стала часто встречаться с Татьяной Львовной Толстой — младшей дочерью Льва Николаевича. Не могу сказать, где и каким образом познакомилась мама с этой скорее среднего, чем пожилого возраста женщиной, лицо которой носило такое неопровержимое сходство с лицом ее отца, что казалось, не хватало только бороды и кустистых бровей, чтобы перед вами предстал сам великий старец.

Мама всю жизнь относилась к Льву Николаевичу с совершенно особенной любовью и глубочайшим уважением. Но Софья Андреевна была в представлении мамы существом, только и способным к бесчисленной переписке его сочинений, без собственного мнения, без суждения, без нужной оценки.

— И Толстой читал ей, что написал за день! — восклицала мама. — Тут бы дать ему преданнейшего человека, высокоинтеллектуального, способного чувствовать интуитивно, способного проникнуть в тайную работу его мысли, оценить ее… А этот секретарь Льва Николаевича, Булгаков? Это же такой посредственный, ограниченный человек! — возмущалась мама, и я вспомнила этого самого Булгакова, жившего во Вшенорах — или Мокропсах? — в бытность нашу в Чехословакии.

Благообразный, седой как лунь, еще не старый, очень аккуратный человечек, с младенческим румяным лицом, — весь нашпигованный своей жизнью рядом с гением русской литературы, он, наверное, даже во сне продолжал цитировать разные его высказывания, заученное повторение которых он преподносил слушателям, не слишком разбираясь в уместности того или иного изречения перед той или другой аудиторией. Он пользовался огромным уважением общества, загипнотизированного именем Толстого, и постепенно это уважение он перенес на себя лично, возгордился неимоверно и изображал из себя некоего преемника Льва Николаевича, продолжателя, так сказать, его трудов. Главным мотивом его публичных выступлений были рассказы о том, как Лев Николаевич ценил его, Булгакова, мнение, как беседовал с ним как с равным, как интересовался его суждением о той или иной мысли, высказанной Толстым.

Совсем другое мнение составилось у мамы о Татьяне Львовне Толстой, — она с бесконечным уважением относилась к ней не только как к живой продолжательнице рода Толстых, столь верно

повторяющей внешность и манеры отца, но и как к необыкновенно умной, эрудированной женщине, с которой можно было часами беседовать на всевозможные темы, как абстрактные, так и сугубо житейские. В то время Татьяна Львовна была очень занята предстоящим замужеством своей дочери Тани, внучки Толстого, со знатным итальянцем, ее увлекали мечты о жизни рядом с любимой дочерью в великолепных условиях родового замка и богатства, заставляя забыть об убожестве эмигрантской жизни, ощущаемой Татьяной Львовной не столько на себе, сколько на других, близких ей людях, преданных искусству и литературе.

— Папа, — говорила Татьяна Львовна, — возвышался надо мной, как величественная, вся в снегах мудрости гора, а я стояла внизу как бы на коленях и могла только молитвенно воздевать к нему руки. Надо сказать, папа никогда не дал мне понять, что я мала, как песчинка, рядом с ним, никогда не показал своего превосходства.

Я помню слезы в маленьких глазах дочери Льва Толстого, когда она, уезжая в Италию, в последний раз обняла маму перед крыльцом нашего дома на Маргерит Реноден. Шмыгая своим покрасневшим толстовским носом, она вышла на улицу и со вздохом залезла в такси, — мама грустно стояла у ворот: опять уезжал человек, с которым она сблизилась, в котором нашла родственную душу.

— Я еще приеду к вам в Италию! — крикнула она, когда такси тронулось, но уже только взмах руки был ей ответом…

Мне тоже стало грустно и жалко всех — и уезжающую навстречу своей новой жизни Татьяну Львовну, которая так напоминала мне нашу незабвенную добрую «бабеньку», и маму, которая опять осталась без друга, и Савву, всегда с благоговением взиравшего на любимую дочь Льва Толстого и так восхищавшегося ее фамильным сходством с отцом.

Что же не говорю я ничего о Варламовых? Неужели забыла Таню, Волю, — про все то, что так сроднило нас в Чехословакии… Нет, ничего я не забыла, все так же помню, так же тоскую, так же пишу письма, правда, одной Тане, так же получаю ответы, в которых говорится, что меня всегда ждут, всегда надеются на мой приезд. В самом деле: может быть, в знакомой Чехословакии найдется для меня место под солнцем, где я могла бы работать. Неприятен мне этот громадный, неуютный Париж, где так много народа и так мало настоящей привязанности, милых сердцу людей, какой-то простой, спокойной жизни, приемлемой работы, без этого унизительного прислуживания сильным мира сего?

И я начинаю в своих письмах просить Таню, чтобы она поискала для меня какое-нибудь приличное место, хотя бы гувернантки к большим уже детям, желающим подучить иностранные языки — французский, английский, русский. Таня отвечала, что она постарается, но обещать ничего не может, так как в Чехословакии тоже кризис и найти хорошее место очень трудно.

Прошло каких-то томительных два-три месяца парижской зимы, когда я снова трудилась у Льва, подработав таким образом порядочную сумму, на которую думала совершить переезд в Чехословакию.

Наконец совершается чудо — Таня пишет мне радостное письмо, в котором сообщает, что место гувернантки для меня найдено: один чешский фабрикант, живущий, увы, не в Праге, а в каком-то городишке на севере Чехии, имеющий там текстильную фабрику, нанимает меня для разговора на трех упомянутых языках со своими двумя дочерьми. Меня уверили, что сей фабрикант интеллигентный человек и хорошо платит… Последнее обстоятельство меня несколько утешило.

Удивительное свойство молодости не жалеть о покидаемом, может быть, навсегда! И как не страшно было мне покидать родной дом, ехать куда-то в неизвестное, начинать новую жизнь! Нет, не страшно мне было, а скорее — весело. Мощные, радостные волны поднимали мой дух — ведь даже жутко подумать, что я пять лет не видела Таню… А что же Воля? И вся душа моя замирала, и опять какие-то надежды шевелились. Застенчивость хотя и в какой-то степени оставалась, тем не менее не угнетала меня так, как прежде. Я независима, самостоятельна…

Так думала я, когда скорый поезд Париж — Прага уносил меня по знакомому маршруту, когда опять в обратном порядке мелькали Штутгарт и Карлсруэ, и приближались полузабытые дороги Влтавы, и полузабытая мелодия симфонической поэмы Сметаны снова зазвучала в ушах.

…И не знала я ничего — не знала и не могла знать, что пройдет двадцать шесть лет моей единственной жизни, наполненной страданиями и смертью, несбыточными надеждами и падениями в страшную бездну отчаяния, когда роковые звуки Лунной сонаты зазвучат похоронным звоном в тот ужасный поздний вечер в какой-то чешской, забытой богом Остраве. Я сижу на диване рядом с радиоприемником и слушаю, как знаменитый Падеревский играет Лунную сонату. Все спят, спит и мой двенадцатилетний мальчик, о котором сегодня сказал

хирург, что он никогда не будет ходить. Никогда не будет ходить! Как злой волшебник вбивает Бетховен гвозди отчаяния в мое измученное сердце, надежды нет и не будет, тупо твердит он, и ничто, и никто тебе не поможет — никто, ничто, никогда! Дурх лайден — фрёйде, сказал он, но не о том страдании, не о той радости! Через эти страдания к никакой радости не дойдешь: мертвая равнина, освещенная равнодушной, холодной луной, чуть дымится, уходя в необозримую даль, — все глуше звуки сонаты, все ниже опускается голова, все темнее ночь…

«Все твои волны и бури прошли надо мной…»

…Казалось бы, все поля на свете одинаковы — такая же на них растет трава, так же покрываются они по утрам росой… Но забылись почему-то все те бесчисленные поля, которые довелось мне видеть в других странах, — и поля в окрестностях Рима, все алые от цветущих маков, и альпийские луга — белые от покрывающих их нарциссов, и лужайки в Версальском лесу, все лиловые от гиацинтов. Чья-то мощная рука словно стирает воспоминание, красота виденного тускнеет, бледнеют краски и исчезают в тумане прошедшего, а перед глазами встает поле моего детства: бежим мы с братом босиком по тропинке, поросшей мягкими, прохладными листьями подорожника, а вокруг поле — простое русское поле с неяркими, скромными цветами: ромашки, лютики, лиловые колокольчики — знакомые, родные цветы.

Ни на одной из печальных дорог Европы я не встретила больше того единственного, дорогого сердцу поля. Постепенно счастье детства смешалось с неутолимой болью невозможности свидания с местами, где проходило оно, и воспоминание о нем легло на душу тяжелым камнем.

Ничто не могло заменить того поля. Океан? На тысячи километров протянулась его синяя ширь — беспредельное пространство воды, песка и неба давит сознание, заставляет человека горестно ощущать свое ничтожество перед величием Вселенной. Выйди ночью на берег, ляг на песок и смотри в небо. Постепенно начинает казаться, что ты только одна из этих мельчайших песчинок, тело делается как бы невесомым, оно поднимается над землей, плывет куда-то, все выше и выше, и вот уже в окаменевшее сердце вяло вливается холод космического пространства — «как будто бы сам Космос, не дыша, глядит, как леденеет в нас душа». Нет, не дает мне утешения океан — грозное его величие угнетает душу, в великое одиночество погружается она, в холодный мир пустоты и отчаяния.

Лес?.. Таинственны и мрачны разлапистые ели, толстый мох

заглушает шаги, сырой, затхлый воздух насыщен запахом прели и грибов, набухшие влагой сучья глухо ломаются под ногами. Сумеречно в лесу — солнце не может проникнуть сквозь густые ветви, цветы не растут здесь, только папоротник раскидывает свои перистые листья, да мелькнет изредка ядовитый «вороний глаз».

Тоскливо на сердце в таком лесу — вокруг однообразие высоких стволов, плотной крышей ветвей отгорожен мир, вдруг блеснет сквозь деревья вода: это омут, его зеркальная поверхность черна и неподвижна — таинственная, бездонная глубина… Начинает казаться, что никогда уже не выйдешь из этого леса, что кружит тебя какая-то злая, насмешливая сила…

Но вот деревья редеют, почва делается суше, сквозь верхушки елей видно небо. Невольно убыстряешь шаги, еще немного, и широкий простор захватывает дыхание — поле! Теплый, ласковый ветерок шевелит волосы, обвевает лицо, глаза с наслаждением отдыхают на нежной зелени травы, в которой здесь и там виднеются ромашки, лютики, лиловые колокольчики — знакомые родные цветы. И пахнет хорошо и вызревающим хлебом, и цветущей гречихой, и еще чуть-чуть медом, чуть-чуть горьковатой полынью — дышишь, дышишь и не можешь надышаться. Будто далекий, давно оплаканный друг подошел к тебе, протянул руку, и ты узнаешь дорогие черты.

Да, оно снова со мной, мое поле! После скитаний, после всех горестей, разочарований и смертей я вернулась к полю моего детства, и никто его больше у меня не отнимет. Я узнала его — оно то самое, которое видела я во сне, куда властно звало меня чувство принадлежности к нему.

Сейчас зима — поле покрыто снегом, «сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет она…». Но поле не умерло, оно живет ожиданием нового тепла, оно только спит под сугробами, и настанет весна, и оно оживет, и снова расцветут на нем ромашки, лютики и лиловые колокольчики — знакомые, родные цветы.

Я уже давно городской человек. Но и городские подстриженные деревья, городская чахлая трава, яркие цветы на геометрически правильных клумбах — вся эта тщательно культивированная природа не оставляет меня равнодушной. И как же я радуюсь первым почкам на тополях, первой траве, робко поднимающейся в садике во дворе, — скоро-скоро я увижу мое поле!

И вдруг донесется откуда-то запах полыни, грянет весенний гром, веселый ливень забарабанит по лужам и… обожжет меня эхо прошедшего — голоса друзей и близких далеким сумеречным

отзвуком донесутся из глухой пустоты прошлого, и лишь великий мой исцелитель уже никогда не покинет меня — мой русский язык, мой верный друг, мое второе «я».

И неистово, и жгуче, и неодолимо захочется на простор, в поле — вечно юное, жизнеутверждающее, — мое русское поле!

Москва, 1986